

Артур Болен

**Лестница
в небеса**

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Артур Болен

Лестница в небеса.

Исповедь советского пацана

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70253197
SelfPub; 2024*

Аннотация

Предельно откровенная исповедь человека, чья юность пришлась на 70-е годы прошлого века. Это поколение «пацанов», чьи самые лучшие годы прошли на разломе между эпохами. Читатель сопровождает героя на всем его пути – от обычного мальчишки с улицы в ленинградской «спальнике» до одной из видных фигур в постперестроечной питерской журналистике. Глухая тоска времен застоя, хаос «эпохи перемен», юношеская романтика, дружба, любовь, обращение к вере... Но автор при этом не скрывает и негативных моментов своей жизни, рассказывая о них с искренностью, тем более удивительной, что вся эта книга основана на подлинных фактах и повествует о реальных людях.

Содержание

Глава 1	7
Глава 2	13
Глава 3. Китыч	24
Глава 3. Евреи	30
Глава 4. Учителя	36
Глава 5. Параллельные миры	51
Глава 6. Тимуровцы	56
Глава 7. Девчонки	107
Глава 8. Мистика	119
Глава 9. Хулиганы	138
Глава 10. Горькая правда	147
Глава 11. Первая любовь	154
Глава 12. Полет	169
Глава 13. Памяти друга	181
Глава 14. Антисоветские мысли	196
Глава 15. Отрочество	210
Глава 16. Кризис	223
Глава 17. Спорт	233
Глава 18. Конформизм	258
Глава 19. Опять девчонки	266
Глава 20. Деревня	272
Глава 21. Сестры	283
Глава 22. Юность	300

Глава 23. Сашка и Китыч	319
Глава 24. Школа	327
Глава 25. Выпускной	336
Глава 26. Товарняки и Коновалов	343
Глава 27. Экзамены в ЛГУ	349
Глава 28. Универ	355
Глава 29. Новые друзья	367
Глава 30. Женский вопрос	375
Глава 31. Советская свадьба	387
Глава 32. Пьянство	396
Глава 33. Первый курс	407
Глава 34. Юность ушла	411
Глава 35. Первая практика	432
Глава 36. Писательство	458
Глава 37. Обращение	474
Глава 38. Народная	480
Глава 39. Переходный возраст	484
Глава 40. Академка	498
Глава 41. Газета	504
Глава 42. Натэлла и Марина	515
Глава 43. Перестройка	521
Глава 44. Изгои	540
Глава 45. Тяжело	545
Глава 46. Бехтеревка	552
Глава 47. Бегство	562
Глава 47. Крещение	568

Глава 48. Смута	572
Глава 49. С чистого листа	576
Глава 49. Бедный патриотизм	592
Глава 50. Учимся	602
Глава 51. Победа	609
Глава 51. Мысли	621
Глава 52. Здравствуй, капитализм!	633
Глава 53. «Смена». Константинов	644
Глава 54. Бульварная пресса	656
Глава 55. Позитивизм. Вера	701
Глава 56. Успех	710
Глава 57. Русская литература	726
Глава 58. Писатели	732
Глава 59. Наши и ваши	735
Глава 60. БМГ	741
Глава 61. Умер Руднов	758
Глава 62. И опять лес	773
Глава 63. Не для протокола	776

Артур Болен Лестница в небеса. Исповедь советского пацана

*Рекомендовано для чтения гражданам
Советского Союза 1960-70-х годов
рождения, выросших в новостройках
крупных советских городов
и сохранивших любовь к своему
Отечеству.*

*Имена и фамилии реально существующих людей в тексте
изменены.*

Глава 1

Я решил исповедаться. Сколь можно честно. О себе и времени. Пока не забыл. Пока голову не промыли пропагандисты. А они уже начали свою работу. Одни на ходу придумывают «прекрасное прошлое», другие клеймят это прошлое с яростной неумеренностью умалишенных. И те и другие готовы вновь повести нас в бой за светлое завтра.

А я хочу вспомнить, как пишут нынче на мороженном – «как было»! На самом деле. Потому что я люблю свое прошлое и ненавижу его. И не нахожу в этом ничего предосудительного. Разве может быть предосудительной жизнь? И очень хочу оставить в памяти поколения хотя бы свои честные воспоминания. Пригодятся, ей-Богу, в трудную минуту.

Мне скажут – чем докажешь, что не врешь? Отвечаю – судите сами. Я могу что-то спутать с цифрами и именами, все остальное – предел моей честности и искренности.

Бывает, человек врет, врет всю жизнь и вдруг ему хочется сказать правду. Это про меня. Всю жизнь я притворялся крутым и сильным, умным и расчетливым, талантливым и продвинутым; пугал близких мрачной физиономией, жестокими поступками; карабкался вверх по карьерной лестнице, отпихивая ногами конкурентов; руководил, выступал, заседал в президиумах, получал награды, умничал в телевизоре

с одним лишь желанием – чтоб увидели друзья и знакомые: «Смотрите, это же я! я! я! Видите?!» А сам хотел лежать в мягкой траве жарким июльским днем, среди зеленых берез, смотреть в чистое, синее небо, слушать как жужжит пчела над ухом, и чтоб ни одной падлы не было рядом! Или еще хорошо нежиться в теплой постели в позе беспомощного зародыша и хрюкать от удовольствия, когда ласковые женские руки гладят по спинке. На хрена, скажите, эта крутость? Одно беспокойство. И вот ведь купился. Как там в фильме «Дело пестрых»? «Обвели тебя, Мишка, как последнего фраера!» Ладно...

Для меня всегда было тайной, как человек умудряется заморочить себя ерундой, пустяками до полного нервного истощения и при этом считает, что живет полноценной жизнью. Нет, правда. Только представить себе на минуточку. Вселенная! Биллионы биллионов километров во все стороны и конца края нет! Непостижимо огромные раскаленные шары миллионы лет все куда-то падают и падают, удаляясь друг от друга, быть может, навсегда. В этой бесконечной черной бездне, наполненной вечным молчанием и холодом, где-то затаилась голубенькая песчинка, на которой примостились самые удивительные существа во Вселенной – люди. По мне, так каждый человек от рождения должен сидеть, глядя в небо и открыв рот от изумления. «Мама миа! Кто я?! Откуда взялся в этой мертвой и непостижимо огромной пустоте? Зачем?» Задав этот вопрос, вполне уместно упасть на ко-

лени и содрогаясь от рыданий возопить – кто Ты, Всемогущий, который явил меня в этот мир?! Откройся! Я слишком мал, чтоб отгадать эту тайну! Мне страшно! Смилуйся! Зачем эти невероятные пространства вокруг, если мне хватает несколько метров моего жилища, зачем эти огромные раскаленные шары, если мне хватает тепла моей печки? Зачем я столь жалок и незащищен, если обладаю даром чувствовать и мыслить?!

Вместо этого человек страдает от того, что у его друга в машине на десять лошадиных сил больше, чем в его собственном авто или его утром обругал начальник за опоздание на работу. Нет, вдумайтесь! Диаметр Вселенной 20 миллиардов световых лет, а Егор Тютюкин опоздал на автобус, и теперь страдает – руководитель назвал его лошаком! Ожидал ли Бог таких результатов своего титанического труда? Знал, конечно. И все-таки создал человека. Это внушает надежду, хотя вопросы остаются.

Открою тайну – я считаю себя уникальным человеком. Не таким как все. Сколько себя помню – всегда так считал. Например, я считал, что все вокруг умрут, а я нет. Повзрослею, состарюсь, а потом произойдет нечто – придет ко мне ангел и скажет: «Ну, вот и все, Мишутка, испытания закончились, собирайся домой. Хватит. Бери меня за руку и полетели!» – «А, как же другие? Они же умирают? Страдают?» – «Это видимость одна. Тебе для устрашения. Чтоб не наглел».

Еще я всегда верил, что должен сделать что-нибудь ис-

ключительное. Такова моя миссия. У меня есть Дар. Меня невозможно увлечь до беспамятства большой зарплатой, жирной звездочкой на погонах, супермощностью мотора в автомобиле или итальянскими ботинками из дорогого магазина. Я всегда помню, что диаметр Вселенной 20 миллиардов световых лет. То есть мир создан не просто с избытком, тут чувствуется неслучайный размах. Кто-то явно внушает: «Ребята, итальянские ботинки – это, конечно, хорошо, но маловато для полного счастья. Посмотрите ночью на небо. Посмотрите, как пробуждается утром омытый росой цветок. Почувствуйте разницу, оглоеды. Для вас ведь старался!»

Может быть, именно этот непонятный мне самому до конца дар и заставил меня взяться за эту исповедь. Если ботинки для вас важнее звездного неба – можете не читать. Если вы хоть раз смотрели на Луну ночью, открыв рот от изумления и задавали себе самый простой и самый непостижимый вопрос «Кто я такой? И не сон ли вся моя жизнь, а проснувшись, я пойму, где я и кто я? И зачем я?» – тогда, возможно, вам будет интересно знать, что понял человек 62 лет отроду, переживший разные исторические эпохи, переселившийся кувырком из одной страны в другую, с душой, неоднократно изнасилованной умниками всех мастей, знавший и яркие взлеты и унижительные падения, отчаянье и благодать, и уверовавший, наконец, что рожден был не зря, жил и страдал не напрасно, и на свободу из земного заключения должен выйти с чистой совестью. Потому что там, за колю-

чей оградой земного бытия, ясно будет, обнимут ли тебя с радостью или не подадут руки.

Для меня самого нет повести увлекательнее на свете, чем повесть о скитаниях души человеческой. Особенно, если эта повесть написана честным, искренним и бесстрашным языком. Я давно убедился, что любая, самая простая и даже убогая история жизни, интересней и, конечно, поучительней, чем самый крутой американский блокбастер.

И конечно хочется честно рассказать о своей стране и времени. Русский человек ленив умом, его легко объегорить сказками, увлечь в очередной блудняк примитивными мечтами и обещаниями. «Люди, будьте бдительны!» – как взывал казненный нацистами во время войны известный публицист. Или, говоря языком современным, не будьте лохами! Впереди – новые лохотроны!

НУ И ПОСЛЕДНЕЕ. Нынче много говорят о нейронных сетях, об искусственном интеллекте. Что, мол, робот лучше человека играет в шахматы, решает математические задачи. Скоро научится рисовать картины, писать романы и сценарии, сочинять великолепную музыку. Ну, хорошо, верю, что, если напихать в память машины все, что человек сотворил за тысячу лет, она сможет скомпилировать чудесное художественное произведение – роман, или симфонию, или нарисовать «Гибель Помпеи», или выдать глубокомысленный философский трактат.

А как насчет исповеди? Исповеди искреннего челове-

ского сердца? Компиляция тут не поможет. Изящный слог тоже. Машина может красиво соврать, виртуозно запутать, но искренней сердечной исповеди не получится. Потому как сердца нет. Есть проводки, микрочипы и схемы. А я хочу заглянуть в глубь души настоящего человека. Такого же счастливого мученика земного бытия, как и я сам. Рожденного женщиной. Прошедшего свой драматический земной путь. Родного мне по крови, по судьбе. Возможно, и загробной. Ау, машина? Слабо? А я попробую.

Глава 2

Мне крупно повезло. Я родился в СССР в 1961 году, а это значит, что мои детство, отрочество и юность пришлись на самые лучшие годы в истории человечества! Я не шучу. Лучшие от сотворения мира. В Европе еще процветала подлинная демократия и комфорт на прочном фундаменте христианского мировоззрения. Англосаксы перед тем, как испустить дух, сотворили гениальную музыку, в которой выразилась вся их могучая и мятущаяся натура, чующая надвигающуюся гибель мира. В СССР наконец-то вспомнили, «что все для человека и во имя человека» и, что самое удачное, кому-то пришло в голову, что «дети – наше будущее!». Детей в СССР полюбили как-то даже преувеличенно горячо. Надо было, наконец, объяснить самим себе, что полвека страданий, лишений, мучений были не зря, что вот и пришло то самое светлое будущее, ради которого продырявлено пулями столько затылков; что бедолаги в лагерях голодали и надрывались на лесоповале не напрасно, и даже догадывались, что придет тот светлый час, когда все объяснится и оправдается, и все простят друг друга, и споют, обнявшись, со слезами счастья, «Интернационал»!

Пришло долгожданное время! Кумачевые флаги реяли по всей необъятной стране! Мордатые колхозники меняли те-

леги на удобные кресла «Жигулей». Откормленные девочки и мальчики в белых рубашках и красных галстуках сыто рыгали в школьных столовых, звонко пели речевки в школьных рекреациях и мечтали, что «на пыльных тропинках далеких планет» останутся следы их сандалий. Родители, раскладывая воскресным утром дымящиеся сосиски по тарелкам, любили с гордостью вспоминать, как после войны набивали желудки блинами из червивой муки с лебедой пополам, и рады были промерзшей картофелине больше, чем теперь пирожному, и со вздохом умильно повторяли, что «теперь-то жить и жить»!

Из раннего детства я помню ощущение полного благополучия и безопасности. Утром солнце заливало нежными лучами мою кровать, мне выпало счастье жить в какой-то удивительной, самой большой стране на Земле и при этом в будущем взрослые обещали мне еще больше счастья и изобилия! Хотя и одного фантика, свернутого четырехугольником (для игры) из-под конфеты «Мишка на севере» в кармашке хватало, чтобы целый день быть самым счастливым человеком на планете! А если случалось выпросить у мамы оловянных солдатиков, чтоб похвастаться во дворе?.. Тут и коммунизм никакой не нужен.

Нет, без шуток, жили действительно неплохо. Смеялись гораздо чаще, чем сегодня, песни пели по любому поводу. В домино мужики резались во дворе до полной темноты. О смерти говорили шепотом, чтоб дети не слышали. В празд-

ники квартиры наполнялись гостями. Иногда родственниками, иногда друзьями из соседней деревни, которым посчастливилось сбежать из колхоза в Ленинград в 50-е годы. Гуляли с размахом. Напоказ. Столы ломились от каких-то неведомых в повседневности, волшебных блюд: помидоров в томатном соусе, щедро посыпанных солью, тонко наструганной копченой колбасы, красной горбуши в масле, которая подавалась прямо в открытых консервных банках; в банках подавались и золотистые, пахучие шпроты, а иногда центр стола украшала баночка красной икры – ее даже есть было страшно, так, пробовали по чуть-чуть, причмокивали, пожимали плечами, смеялись. Для заправки на стол ставили бутылку водки или вина, но вскоре появлялся графинчик с коричневой жидкостью, которая вызывала у гостей веселый переполох. Нюхали, взбалтывали, спрашивали рецепт и не болит ли после голова. Мелкота любила залезать во время застолья под стол и там хватать взрослых за коленки. За это нам совали под стол какую-нибудь вкусняшку...

Потом батя брал гармонь, молодо и лихо откидывал назад голову и женщины пускались в пляс под «скобарьскую» – много лет спустя я узнал ее мотив в знаменитом хите «Дип Перпл». Плясали так, что однажды вылетела половица из пола. Плясал весь дом. И песни орали из всех окон. Тверские, псковские, смоленские радовались жизни, радовались, что вовремя свалили из колхозов и совхозов и не пропали на чужбине, обросли жирком и теперь могут себе позволить и

выпить, как люди, и закусить.

Вечером все вываливали во двор и шумной, пьяной толпой, с воздушными шарам, песнями и матами стекались к Володарскому мосту – там давали салют, и огромная масса людей кричала «ура!» с таким энтузиазмом, что их должны были услышать пролетарии всех стран мира.

Еды стало вдоволь. Остатки хлеба выбрасывали в ведра, которые стояли на лестничных площадках и которые выгребали по утрам дворничихи. Старики ругались, говорили, что это грех, но кто их слушал, стариков-то? Темные, отсталые люди, пережитки капитализма, слаще морковки в детстве ничего не ели, соль и сахар на год вперед запасали.

Насытив желудки, люди, как и полагается, занялись накопительством. Напрасно чудаки в телевизоре высмеивали мешанство; напрасно комиссары в «пыльных шлемах» из мосфильмовских кладовых яростно звали в последний и решительный бой... Укрывшийся в семейном окопчике от большевистской шрапнели обыватель потихоньку высовывался наружу и принюхивался, куда дует ветер. Инстинкт более древний, более глубокий, чем пролетарский интернационализм, звал обывателя в путь... по магазинам.

Начался потребительский бум. Последняя предсмертная судорога незаконнорожденного дитя Маркса – общества развитого социализма. Никогда (!) – а я прожил годы самого лютого, пещерного капитализма, – никогда на моей памяти не было такого отвратительного, страстного, жадного покло-

нения вещам, как в 70-е годы, когда КПСС объявила на весь мир, что битва с «частнособственническими инстинктами» успешно завершена и в Советском Союзе народился (выродился?) новый тип человека – человек советский.

Как же он выглядел, успешный советский человек, человек будущего, о котором мечтал Ленин и его соратники и ради которого было истреблено целое поколения «сорняков»? Среднего роста, с брюшком, в огромной шапке из собачьего меха, в рыжей дубленке нараспашку, в югославских джинсах и польских полусапожках, с прищуренными плутоватыми глазами, в которых настороженный интерес мгновенно сменялся либо страхом, либо наглостью. Он всегда был настороже, как мелкий лесной хищник, всегда в поиске пищи, которую находил или на работе, или на стороне. Он был хамоват, но трусоват, ум его был направлен только к выгоде и накопительству, остальные интеллектуальные навыки со временем отсыхали и отпадали за ненужностью. Он уже давно открыл для себя, что все врут, что все воруют, все подличают и предают, все развратничают и жрут в три горла, и что правду ищут только юридивые и карьеристы.

Вступить в партию для такого человека было столь же просто, как и вступить в преступную группировку: разница только в выгоде, которую сулил выбор.

Меня укоризненно спросят – а как же люди честные и благородные, сильные и талантливые, которые покоряют космос и возводят города, учат и лечат? Разве их мало было в 70-

е годы? Позвольте, но ведь я говорю о «новом человеке», о «биологическом виде», который кто-то остроумно окрестил «гомо советикус» – и это действительно новый вид человека, полученный путем активной, принудительной и долгой селекции.

Гомо советикус – это человек вне морали. Гомо-советикус состоит из рта, желудка, жопы и половых органов. Голова ему нужна только для того, чтобы эффективно снабжать эти органы необходимой энергией. А также для того, чтобы эффективно отнимать или воровать у слабых и глупых все, что пригодится в хозяйстве. Гомо советикус живуч и опасен, как борщевик Сосновского. С ним безуспешно борется грозный ОБХСС. Но милиция только срубает верхушки и оставляет жирные корни. Они быстро прорастают и становятся еще гуще. Коммунизм гомо советикусу не страшен. Коммунистический начетчик для него совершенно безвреден – оба исповедуют одинаковый взгляд на жизнь, как на способ существования белковых тел. Собственно, это две бациллы из одного инкубатора. Только коммунист способен к отвлеченному мышлению, а значит может получать удовольствие от интеллектуального онанизма. А гомо советикус занимается онанизмом по старинке, руками и с заграничным порножурналом. Для гомо советикуса отвратительно все, что нельзя лизнуть, разжевать, проглотить, пощупать, оттрахать, посмотреть или послушать. Мысль для гомо-советикуса опасна, поскольку ее трудно приручить, она может взбрыкнуть

когда угодно и внести сумятицу, поэтому лучше не думать. Зачем? Пусть лошади думают: как любили повторять, у них голова большая.

Был и еще один распространенный тип человека, которого можно условно назвать «человеком простым».

О, простота! С благословения партии ее воспевали советские поэты, писатели и режиссеры: «Будь проще!» В 60-е простой человек даже вызывал симпатию: вчерашний крестьянин, которому хватало ума понимать, что он чужой в городской культуре, был скромен. Но в 70-е стал нагл и самодоволен. Отличительная черта простого человека – глубокое недоверие и неприязнь к интеллигентам. За то, что слишком много думают, за то, что умничают, за то, что моют руки после туалета, а за столом пользуются ножом и вилкой, «выкают», все время читают, а сами розетку не могут починить и в армии не служили.

Простой человек любил заламывать кепку на затылок и ходил в пальто нараспашку. Рубаха на нем была расстегнута до пупа. Таким образом он показывал, что ему сам черт не брат, и что он знает, что надо делать с женщиной, если случится остаться с ней наедине. Подруги и жены у «простых» говорили громкими голосами, жирно красили красной помадой губы и мечтали вылезти из «Жигулей» в сетчатых чулках перед парадной, на глазах замолчавших соседей.

Впрочем, не о них речь. Потому что советский прогресс в бездну толкали не они, а растущая армия дельцов, проныр

и других «мелкобуржуазных элементов».

Сколько же было таких людей в семидесятые? Никто их не считал. Но влияние их на повседневную жизнь даже в семьях простых, честных и скромных было огромно. Именно они постепенно овладевали умами масс, выдавливая на историческую обочину «передовое учение Маркса». Именно они по-новому, исподволь обустроивали общество, меняя указатели и авторитеты. Престиж летчиков потеснили бармены в пивнушках, официант стал гламурной фигурой, а таксист – лихим ковбоем на дорогах. О коммунизме еще скучно бубнили преподаватели в институтах, на зданиях еще висели гигантские кумачевые транспаранты: «Наша цель – коммунизм!», но здравомыслящий обыватель знал твердо, что главная цель жизни – «Жигули», дача и отдельная квартира, для начала же сойдут американские джинсы и «Панасоник». По-настоящему противились этому жестокому материалистическому прессингу только высоколобые, бородатые очкарики, да их худосочные подружки. Они упрямо ходили в театры и библиотеки, на выставки и концерты, вели диспуты, на которых доказывали, что «счастье – это когда тебя понимаю», несли прочую пургу, пели песни Окуджавы под гитару; они ненавидели мещан и с энтузиазмом высмеивали мещанство. Мещане не обижались, посмеивались и продолжали копить и потреблять.

Кто был прав? Кто не прав? Кто победил в 91-м? Разве не смешно сейчас говорить об этом всерьез? Что мы вообще

знаем о человеке?

Кто сможет внятно ответить, например, как люди разных возрастов, профессий, национальностей, образования, ума и достатка загораются одним желанием, перебороть которое они не в силах, а именно – натянуть на себя в один прекрасный день тесные синие штаны из американской брезентовой ткани и выйти на улицу с настроением победителя? Откуда приходит массовая мода, которая охватывает большую часть человечества в считанные недели, а потом уходит, как нагонная волна, в пучину забвения? Как вчерашние комсомольцы из приличных семей становились лидерами жестоких преступных группировок?..

И все-таки 70-е мне особенно дороги. Я дитя 70-х. Почему-то так вышло, что об этом времени честно отписались только русские писатели-деревенщики. Но они любили и писали о деревне. Город пугал их. В нем, особенно на окраинах, нарождался странный мир, одинаково чуждый и городу и селу. Мир хрущевских пятиэтажек и брежневских девятиэтажек. О нем не написаны книги. Он не изучен философами. Этот мир жил по своим понятиям и не пускал чужаков. В нем, на унавоженной советской властью почве, расцветала могучим сорняком пугающая и подлинная реальность.росло и мужало поколение, которое в 91-м проводило в могилу пинком под зад целую страну. Рядом существовал другой, параллельный мир, который старательно придумывали за небольшую зарплату специально обученные люди. Имен-

но его и оставила нам в наследство советская культура. Кинематограф 70-х медленно издыхал под бременем «производственной тематики», выдавливая из советского человека по капле остатки уважения к тяжелому труду. На экране очень хорошие ребята, которым хотелось набить морду, совершали на экране очень хорошие поступки, от которых хотелось хулиганить. Они говорили правильные слова, которые рождали чудовищный нигилизм, и глумились над правдой с таким чудовищным пафосом, что вгоняли в краску даже бывалых инструкторов райкомов комсомола.

Как уживались этих два мира? Да как-то уживались. Коммунисты на своих собраниях обещали всех победить, Брежнев награждали очередной звездой Героя, а мужики после полочки трескали водку и мечтали о рыбалке.

Какой-то умник назвал эти годы застойными. Это значит, надо полагать, что не было войны. Не было революции. Не было потрясений. Словом, были редкие годы благополучия, которые выпадают человеку после больших испытаний, когда он еще не готов к новым глупым экспериментам и довольствуется тем, что есть.

Увы, выясняется, что благополучие не красит человека, а иногда просто скотинит. Наверное, с этим надо просто смириться, иначе снова потянет на подвиги, снова захочется перевоспитать человека в существо высшего порядка, превратив его в бесправного раба, страну в концлагерь, а жизнь в ад.

Постараюсь рассказать об этом времени с предельной искренностью.

Глава 3. Китыч

Я родился в Ленинграде, а вырос на Народной улице. Жители улицы Народной всегда жили наособицу. Так и говорили, собираясь в центр: «Поехал в город». Так говорили они в 50-е годы, запирая родную избу, быть может, навсегда, так говорили и в 80-е, когда уже метро было под боком, в паспорте стояла печать с ленинградской пропиской, а в серванте на видном месте красовалась бутылка с ликером «Ванна Таллин». Больше половины мужиков с Народной работали на заводах и фабриках проспекта Обуховской обороны. Каждое утро, матерясь и пихаясь, вчерашние псковские и тверские крестьяне с хмурыми лицами втискивались в трамваи, которые отвозили их к местам трудовой славы. Все были коренасты, грубоваты, мрачноваты и немногословны. Все недолюбливали милиционеров и продавщиц галантерейных магазинов. Некоторые были коммунистами – у этих в лицах сквозила некоторая значительность. Они были как бы и свои и уже не совсем. Имели сообщение с высшими силами и обладали тайными знаниями.

Вечером они же выгружались из трамваев шумной ватагой и растекались по парадным и пивным ларькам, которые становились на Народной улице центрами общественного мнения. У ларька мужик обретал свое естество перед тем,

как идти на «казнь» к суровой крикливой супруге. Здесь его уважали товарищи, здесь он мог врать и хвастаться сколько душе угодно, здесь, как на Запорожской Сечи, любили не за должности, а за мужскую доблесть и щедрость. Здесь, правда, можно было потерять и кошелек с зарплатой, а иногда и зубы в придачу.

Для детей Народная была рай. Во-первых, сразу за последним домом улицы начинались садовые участки, на которых летом созревала сладкая клубника, а за ними рос самый настоящий лес. Во-вторых, в каждом дворе была своя ребячья республика. Дело в том, что Народную в начале 60-х заселяли главным образом молодыми семьями с маленькими детьми. Спустя несколько лет малютки подросли, и Народная вмиг превратилась в сплошной детский мир, так что властям срочно пришлось строить новую восьмилетнюю школу. Блажен ребенок, которому выпала удача расти на нашей улице в эту пору! Это была настоящая детская вольница, которую не слишком сильно опекало государство и родители. Вышел во двор и – ты уже ничей! Зарабатывай свое место под солнцем, как умеешь. Дворы были просторны, пустыри огромны, подвалы манили, с крыш видать было далеко! Зимой возле дома добровольцы с ведрами заливали горячей водой из подвала каток и начинались хоккейные баталии. В оттепель ребятня, иногда с помощью взрослых, строила огромные снежные крепости с подземными ходами. Сражались, крепость на крепость, до полного окоченения пальцев рук и

ног.

Разумеется, начались неизбежные междоусобицы. Каждый двор обзаводился своим вожаком. Каждый вожак хотел славы. Слава добывалась только в бою. Бились двор на двор, класс на класс, парадная на парадную. Победителей воспевали дворовые «скалды». Синяк под глазом был дороже ордена, глубокая царапина ценилась, как медаль.

К этому времени я уже обзавелся близким другом и поступил в первый класс 268-й школы. Друга звали Колей Никитиным, мы были одноклассниками, жили в одном доме, в одной парадной и даже на одном пятом этаже. В школе фамилию Коли обломали очень быстро – сначала он сделался Никитой, потом Никой, потом Китом, и, наконец, Китычем. Был у нас такой умелец-языковед по кличке Волчонок – маленький, шустрый, заводной и едкий. Он, как правило, и раздавал клички. Так Коля Никитин отныне и до сих пор остался Китычем, или Китом, в последние годы – Коляном, несмотря на свои 62 года. Свои имена среди пацанов уже в первом классе не сохранил никто. В основном сокращали фамилии: Неволайнен стал Нивой, Епифановский – Пифом, Петровы мгновенно превращались в Петриков, Голомолзин в Голягу, но иногда «кликухи» буквально падали с неба – так я стал Микки.

Китыч был толстым и насмешки сносил с терпением. Терпение сделалось главной чертой его характера, со временем превратив Кита в фаталиста. Я догадываюсь зачем Бог сна-

рядил нас в дорогу вместе. Без меня Кит уснул бы на первом же привале, без него я заблудился бы в лесу и сломал себе шею. Я учил Китыча всю жизнь, как надо жить. Кит не возражал, но жил как хотел. Если перед нами возникала очередная жизненная дилемма – «надо» или «хочу» – я выбирал «надо», а Кит «хочу». Хотел же он от жизни всегда немного: поспать вдоволь, поиграть в «ножички», весело поболтать и посмеяться с друзьями, покупаться и позагорать, почитать интересную книгу, сходить за грибами; повзрослев – выпить портвейна, лучше всего Агдама, на скамейке, вечерком, под зеленым кустом черемухи, покурить болгарских сигарет, поболтать с повзрослевшими друзьями, сыграть в карты или домино и лечь спать с отрадной мыслью, что завтра не надо идти на работу.

Покорять Северный полюс он не хотел никогда. Узнать, что же находится за нашим лесом, не стремился. Он не хотел совершить подвиг, прославиться, разбогатеть. Просто не понимал, зачем это было нужно, чем приводил меня в детстве прямо в исступление. В коммунизм он верил вяло, по необходимости, пионерский галстук под подушкой не прятал, как я, «Тимур и его команда» так и не прочитал до конца. Однако я всегда знал, что, если случиться мне драться жестоко, то я хотел бы, чтоб за спиной у меня был Кит, и если придется идти в тяжелый поход, то лучшего напарника мне не найти. Как-то много лет спустя после детства, сплаваясь с Китом по реке на резиновой лодке (страсть к походам привил мне

школьный учитель физики на всю жизнь, но об этом чуть позже), я заметил любопытную деталь, которая мне многое разъяснила. Мы ели вечерами на привале после долгих переходов вкусную рисовую похлебку с мясными консервами. Так вот я заметил, что Кит, выловив ложкой в котелке большой кусок мяса, сбрасывал его обратно в котел. А я в таких случаях отправлял ложку в рот без всяких мук совести.

Восемь лет подряд, ровно без двадцати минут девять утра, он заходил за мной с портфелем и мешком для обуви, и мы брели с ним в школу, чтобы со звоном ввалиться в класс. По дороге мы сочиняли бесконечную сагу о фантастических приключениях, в которых участвовали драконы, динозавры, тигры, медведи, и, разумеется, мы сами. Сага эта, помнится, продолжалась почти до восьмого класса. В 90-е я часто вспоминал про нее, когда глядел американское кино.

Восемь лет мы отсидели с ним за одной партой. Восемь лет я бессовестно списывал у него домашние задания и контрольные. Не раз он решал за меня задачки по алгебре и геометрии. И при этом я был на выпуске из восьмого класса в любимчиках у учительниц, а Кит так и остался букой.

В армии экипаж танкиста Никитина стал первым по итогам учений по всему Дальневосточному округу. В третьем классе его с трудом уломали участвовать в шахматном турнире, и он стал бронзовым призером Ленинграда среди младших школьников. Лишь бы отвязались. Медаль свою он скоро потерял и не горевал об этом. Что еще добавить?

Теперь Кит нищий. Семью не завел. Каждый рубль обязательно пропивает. На жизнь не жалуется. На вопрос: «Как поживаешь?», отвечает: «Хорошо живу, никто не завидует». Рад, когда его не учат, как жить. Мечтает сходить в лес за грибами, да колени болят.

Давайте поставим рядом с ним Дэвида Рокфеллера и спросим обоих на пороге вечности: какую жизнь выбираешь? И увидят оба, как жили, и ответят... Что? Ей-Богу, не знаю...

Глава 3. Евреи

Я не представляю, что чувствует сейчас мальчик из вполне благополучной семьи, если в школе за одной партой с ним сидит мальчик из семьи по-настоящему богатой. Что чувствует девочка, за которой к порогу школы приезжает отцовский «Фольксваген», а за подружкой «Бентли» с шофером.

Слава Богу, мы в 70-е были по-настоящему равны. Рабочий высшего разряда нес голову прямо и смотрел в глаза инженеру с некоторым даже вызовом, на который инженеру нечем было ответить. Учителя и врачи смиренно признавали, что работают не за деньги, а за идею, а партийные чиновники все видом давали понять, что они вообще не от мира сего и готовы умереть, как только истощатся их силы в борьбе за светлое будущее.

Мой отец, рабочий фабрики Ногина, зарабатывал больше трехсот рублей в месяц. Правда работать приходилось в три смены и в наушниках, чтобы не потерять слух от адского грохота ткацких станков. Помимо прочего батя мог запросто починить приемник, стиральную машину, розетку и пылесос. Я не припомню, чтоб мы вызывали когда-нибудь даже мастера по починке телевизора. Около двухсот рублей зарабатывала мама, работник торговли, и я не знал тревоги за будущий день. Фрукты, рыба, мясо были на столе ежедневно.

Ощущение безопасности тогда было всеобщим. Особенно у детей. Мы чувствовали, что нас любят, что нас опекают, что нам готовят блестящее поприще и принимали это как данность.

Школьная форма у всех была одинаковая, одинаковыми были и куртки, и пальто, одинаковыми были дома и квартиры, холодильники и магнитофоны. Завидовать было трудно. Любили и дружили мы бескорыстно, исключительно по велению сердца и ума.

Бедность в СССР 70-х была под запретом. Бедный человек обличал и укорял систему. Богатство презиралось. У нас во дворе была лишь одна богатая семья – евреев Гитлиных: у них была машина «Москвич-412». Когда она медленно въезжала во двор, ребятня смолкала. Мишка Гитлин выходил из машины. Черные шортики на ляжках, клетчатая рубашка, белые носочки – тот самый классический паинька-мальчик, которого ненавидят все дворовые пацаны во всем мире. Сид Сойер и Мальчиш-Плохиш в одном лице. А задавался-то он как! То заглянет в боковое зеркало машины, то стукнет ножкой в оранжевых сандалиях по колесу. А нас как будто и нет! Нас он не видит. Мы в эту минуту напоминаем свору осипших от тьяканья дворовых щенков, которые внезапно увидели девочку с пушистым домашним котенком в руках и ждут, когда котенка опустят на землю, чтоб накинуться стаей. Неторопливо вылезал с водительского сиденья отец Мишки, худой, горбоносый, в очках. Не спеша

протирал лобовое стекло тряпкой, придирчиво рассматривал красные бока своей красавицы, подрыгивая затекшими ногами. Он тоже не видел никого вокруг. Это была минута честного еврейского торжества.

Сашка Пончик, самый старший из нас и самый упитанный, пинал разбитым ботинком землю и громко сопел.

– Подумаешь, – говорил он самому себе вполголоса, – у моего бати грузовик в тыщу раз мощней.

– А у моего брата, – возмущенно пищал какой-нибудь шкет, – мотоцикл «Урал», он мощнее трактора!

– Евреи, – произносит кто-то страшное слово.

Так евреи вошли в мою жизнь. Мы дружили с Мишкой Гитлиным, он часто бывал у меня в гостях, но в наших отношениях всегда присутствовала какая-то постыдная тайна. Мишка не умел дружить, как пацан. Он дружил, как девочка. Смотрел на меня то с нежностью и преданностью, то стеснялся вдруг чего-то, а то вдруг становился агрессивным и жестоким. Однажды на своем дне рождения он публично высмеял меня за столом за скромный подарок – это была какая-то детская игра в картонной коробке. Я был унижен и оскорблен. Старшая сестра Мишки Катерина сделала ему резкое, злое замечание. Неловкость была невыносимая. Я сгорал от стыда. На следующий день, после школы, повиснув на качелях, Мишка вдруг признался трагическим голосом, что он – еврей!

– Ну и что! – воскликнул я, словно Мишка признался, что

заразился опасными глистами. – Ты для меня все равно друг!

– Нет! – покачал головой Мишка.

– Почему?!

– Нам нельзя. Так папа говорил. Мы другие. Нас не любят.

Мы скоро уедем. Так надо.

Повисла пауза.

– Папа говорит, что на работе его обзывают евреем.

– Я никогда не назову тебя евреем! – горячо воскликнул я – Ты мой друг! Да? Да!

Мишка благодарно поднял на меня влажные глаза.

Неделю спустя мы с ним подрались на лестничной площадке. Уже и не помню из-за чего. Мишка больно ударил меня в живот кулаком.

– Еще хочешь?! – крикнул он.

Лицо его было искажено злостью.

Я заплакал. От боли, от обиды. Побежал вниз, но вдруг остановился и крикнул срывающимся голосом.

– Ты! Ты – еврей, понял? Вот ты кто. Еврей! Еврей! Еврей!

Скоро Гитлины действительно эмигрировали в Израиль. Об этом на лестнице говорили вполголоса. Уехал отец, мать и сын с дочерью. Бабушка категорически отказались уезжать: «Здесь наша Родина, здесь и умрем!»

Гитлиных осуждали в нашем дворе, но как-то без энтузиазма, скорее, жалели – мол, бежать из СССР можно только от большого горя, что тут еще скажешь?

Еврейский вопрос на Народной вообще носил, скорее, ко-

мический, чем трагический характер. Главный хулиган в нашем дворе – Борька Иноземцев – был еврей. У него мама работала в райкоме партии Невского района, папа был начальником цеха на Кировском заводе. Уже в первом классе Борька курил сигареты «Прима» и плевался дальше всех, во втором залез в сумочку классной руководительницы и всю добычу оставил в кондитерском отделе нашего магазина. Два дня весь двор объедался «Стартом», «Белочкой» и орехами в шоколаде. Борька купался в лучах славы. На третий день из окон его квартиры доносились истошные вопли вперемешку с матом. В этот же день он сбежал. Искали его сутки, нашли в какой-то хибаре возле свалки. Мать поседела в один день, отец притих. Борька вошел в народный эпос. Как некогда его предки-большевики, свой путь в жизни Борька избрал сразу, бесповоротно и следовал ему с негибаемым мужеством. Методы Остапа Бендера ему претили. Только кража! На худой конец грабеж. В 14 лет он получил первый срок. Вернулся ненадолго и пропал теперь уже на десять лет. В перестроечные годы он стал известным бандитом и ушел в лагеря по нашумевшему делу. Рассказывали, что в начале нулевых его видели на Народной. Он стоял возле своей парадной, смотрел по сторонам и – плакал. Я ничуть не удивляюсь этому. О Народной плакали многие мои знакомые, выжившие в 90-е годы – и бандиты, и бизнесмены, и поэты.

Главный пьяница моего призывного возраста тоже был еврей – Андрюха Гердт, чуть отставал от него Борька Драгин-

ский. Были среди нас и Гогиашвилли, и Наили, и Девлет-кильдеевы, и Вольманы – все простые советские пацаны, и все-таки еврейский вопрос стоял наособицу.

Как-то листали мы с пацанами оставленный на учительском столе по забывчивости классный журнал и наткнулись на страницу, где напротив каждой фамилии учеников 4-го «б» стояла прописью национальность. Тут были и грузины, и татары, и армянин... а напротив Беркович Катя и Анна (они всегда ходили вместе, темненькие, тихие, в платьицах ниже колен) стоял прочерк. Увидев прочерк, все сказали вслух и про себя: «Хмм, понятно». Некоторые хихикнули, а вообще-то всем было неловко. Словно мы подсмотрели в чьей-то медицинской карте дурную болезнь. Я искренне сострадал сестрам и при случае старался ободрить добрым словом или улыбкой. Они словно понимали, что я делаю это исключительно потому, что сочувствую, что они родились еврейками и были мне благодарны. Я до сих пор считаю, что этот чертов журнал был настоящим учебником антисемитизма.

Каким-то непонятным образом в нашей Богом забытой 268-й школе, из окон которой в иные дни можно было увидеть стадо лосей из ближайшего леса, учителей-евреев было не меньше половины. Отличались они не столько внешне-стью, сколько упрямой верой в свое высокое призвание учителя. Некоторые учили нас почти с религиозным остервенением.

Впрочем, об учителях можно и подробнее.

Глава 4. Учителя

Прежде всего хочу попросить прощения перед всеми учителями 268-й школы. От лица (хоть и не уполномочен) всех ее учеников.

Учить нас было трудно.

...Он вошел в класс немножко косолапой походкой, продавливая скрипучие половицы тяжелым телом, высокомерно выпятив мощную грудь, и поглядывая на всех свысока выпуклыми серыми глазами.

– Меня зовут Илья Семенович, – сказал он торжественно – Я ваш новый учитель пения.

Волчонок сразу дал ему кличку – «Грузчик».

Был Илья Семенович, он же Грузчик, лыс, могуч, степенен и обладал громоподобным баритоном. На первом же уроке в нашем классе он объявил, что пение станет отныне для всей школы профилирующим предметом, что музыка – это начало всех начал, что мы все еще запоем у него соловьями, и что мы еще будем вымаливать у него хорошую оценку в конце четверти. Нечто подобное пели у нас все новые учителя пения, поэтому мы с Китычем даже не расстроились.

Предыдущая учительница продержалась меньше полгода. Изводили ее зло, и она платила нам той же монетой. Это была сухая, высокая крашенная блондинка с лицом смертельно

уоставшей надзирательницы концлагеря Саласпилс. Когда-то строгие складки возле ее тонких губ сделались со временем жестокими, крючковатый нос заострился и зеленые глаза горели недобрым огнем даже в минуты полного покоя. Впрочем, такие минуты выпадали редко. Видно было, как ее начинало плющить, как только мы рассаживались по местам. Тридцать дебилов смотрели на нее невинно-глупыми глазами, как зеваки в зоопарке и ждали чего-то забавного. Надо было чем-то эти тридцать дебилов развлекать, а хотелось – по ее лицу было видно – надавать им нотами по башке.

Эльвира (не помню отчества) отчаянно ударяла тонкими, сильными пальцами по клавишам и прокуренным голосом затягивала песню. Класс нестройно подхватывал. В унылом хоре отчетливо и грубо пробивался жлобский бас Матильды, который вклинивался в музыкальный ряд, как булыжник, катящийся по жестяной крыше. Человеку с музыкальным слухом вытерпеть это было трудно. Эльвира страдала. Мы с Китычем предпочитали морской бой.

Вскоре эта мука закончилась. Эльвира ушла, как поговаривали, со скандалом. Ставку сделали на мужской характер.

Начал Грузчик действительно бурно. Двойки ставил, как гвозди забивал – на раз, с азартом и задором. Отличница-зубрила Светка Муратова, которая каждого учителя продала преданными глазами до дырок, первой вызвалась спеть «Нас утро встречает прохладой». Начала она с не той ноты, сбилась, закашлялась, начала опять и как-то сразу класс на-

полнился глумливой тишиной, в которой Светка дико выводила свои рулады, исполненные смертельной тоски и ужаса. Грузчик мрачно смотрел на Светку и она, наконец, подавилась на полуслове. Тогда запел Грузчик. И запел так, что в коридоре было слышно. Он всегда пел одну и ту же мелодию, когда выводил двойку в журнале и в дневнике – увертюру к опере «Кармен». Дневник он вернул пунцовой Светке царственным жестом.

Двойки посыпались, как яблоки осенью. «Кармен» стала самой популярной мелодией на четвертом этаже нашей школы, где находился кабинет пения.

– Ну-с, козлятушки-ребятушки, – победно спрашивал Грузчик, сложив руки за спиной – кто мне ответит, кто написал «Лебединое озеро?»

Тишина. Слышно только, как в задних рядах спорят Пиф с Матильдой: «Сам ты песня! Это опера, дурак!»

Светка Муратова ерзает, знает ответ, но боится руку поднять.

– Отвечать будет... Надворный!

Матильда поднимается тяжело, вздыхает.

– Эту оперу написал... – он мучительно вслушивается в подсказку – Иосиф Кобзон!

«Кармен»! Класс гогочет.

В учениках проснулся задор и упрямство. Теперь весь класс ревел во весь голос увертюру к опере «Кармен», когда Грузчик выводил в дневнике очередную двойку. Нашли

мы и новый способ мщения. Отныне, когда нас заставляли петь хором, мы лишь молча разевали рты. В полной тишине Грузчик дирижировал нами минуту-две, потом бессильно опускал руки и начинал отстреливать нерадивцев по одному. Втыкаясь взглядом в жертву, он подходил к ней вплотную и слышал жалкий писк. Рядом тоже вроде пели, но стоило ему отойти к роялю – класс безмолвствовал, исправно разевая рты. Даже Муратова молчала, как рыба, может быть, впервые в жизни поднявшись на высоту протеста.

– Громче! Громче! – надрывался Грузчик... в тишине.

Сломать такого сильного человека было не просто.

– Даже не сомневайтесь, – говорил Грузчик в минуты отчаянного вдохновения, – старые времена, когда к урокам пения относились наплевательски, уже не вернуться. Пение – такой же базовый предмет, как литература, как химия и физика. Без музыкального образования человек не может считать себя культурным человеком, понимаете вы это или нет, троглодиты?!

Возможно, именно в РОНО, уговаривая взяться за это гиблое дело, учителю пения и наплели все эти небылицы про великую роль музыки в воспитании подрастающего поколения; наверняка обещали чудачку всяческую поддержку. Но только она быстро иссякла. Дважды к нам наведывалась на урок завуч школы. Говорила не о высокой роли искусства, а о том, что нерадивцев скоро станут жестоко наказывать и что пионеры должны своим пением подавать пример всем. Двой-

ки, пусть и второго разряда, пятнали школу. Где-то наверху серьезно заругались. Директор школы, седая дама аскетической наружности, из тех, которые, пожав однажды руку Ленину, не моют ее до конца дней своих, наконец окоротила Грузчика, да так сильно, что он слег на больничный. Школа ликовала. Очередная попытка внедрить высокую культуру в массы пушечным ядром провалилась. Грузчик как-то сразу сник, потускнел. Отныне петь мы перестали. Вместо этого Илья Семенович водрузил на рояль старый проигрыватель и в начале урока ставил пластинку с классической музыкой. Знаменитый оркестр играл Рахманинова и Вивальди, а класс занимались всякой ерундой. Мы с Китычем резались в крестики-нолики.

Потом проигрыватель исчез, учитель пения садился за рояль и наигрывал грустные мелодии Шопена. Просто так. Чтоб убить время. Мы не мешали ему, терпеливо ждали звонка. Ходили слухи, что Грузчик доработает у нас до конца года, а потом уйдет, но уйти пришлось раньше.

Дело в том, что рояль в кабинете стоял в углу, далеко от двери. Это было очень удобно, потому что каждый, кто шел по своим делам коридором мимо кабинета пения разбежался и бил ногой в стену. Музыка стихала, разъяренный Грузчик выскакивал в коридор, но слышал лишь топот убегающих ног по лестнице.

– С-скоты, Боже мой, какие скоты – бормотал он, возвращаясь к роялю.

Класс злорадно хихикал. Грузик, спасаясь от безумных мыслей, продолжал играть. Снаружи подкрадывались шаги, и стена вздрагивала и осыпалась штукатуркой от нового, мощного удара. Если Грузчик упрямо, назло врагу, продолжал музицировать, удары один за другим продолжали сотрясать стену. Били и били, пока учитель, с ревом раненого и разъяренного тигра, не выскакивал вон. Однажды он даже бросился за обидчиком в погоню: мы слышали тяжелый топот его ног в коридоре и на лестнице, проклятья, но где было ему угнаться за пацанами. Наконец стена провалилась. Ее заделали фанерой, но ненадолго. Фанера проломилась после первого же удара ногой. Дыра так и осталась. Нет худа без добра: теперь, когда видно стало насквозь, бить стали осторожней и реже

Грузчик исчез, не попрощавшись. Мы ликовали. Но сейчас я вспоминаю бедолагу с искренней болью. Какую муку вынес человек! За что? Страшно представить себе, каким измученным он возвращался к себе домой вечерами. Класть голову на плаху каждый день за сто двадцать рублей в месяц... Врагу не пожелаешь. Что могла сказать ему в утешении жена? Что он подавал в молодости надежды? Ну, подавал. Легче стало? Наоборот – хуже.

Еще одним мучеником Просвещения был, несомненно, учитель ритмики по кличке Пидорас. Маленький, сухенький, изящный, ходил он пружинистой походкой, выворачивая ступни в белых ботинках, как настоящий танцор, и вы-

зывал отвращение у всех мальчишек класса. Вообще в 268-й школе чувствовалась какая-то солидарная, пролетарская неприязнь ко всему изящному, утонченному и высокому. Если наши родители еще имели к высокой культуре уважение вчерашнего крестьянина, который смиренно признает, что мордой не вышел понимать «городские забавы», то нам просто не нравилась слишком умная физиономия интеллигенции и особенно той ее части, которая отвечала за изящные искусства. В почете были воины и космонавты, боксеры и футболисты, шоферы и хулиганы. Танцевать полонез Огинского? Как этот старый, напомаженный пидорас в белом трико, извиваясь жопой? Извините. Ненависть и презрение были взаимными. Ритмик выработал в себе терпение мученика, который вынужден просвещать варваров с далеких окраин империи и не ждал от нас ничего хорошего. Самых отпетых, вроде меня и Китыча, он еще в начале урока ставил в штрафной круг, где мы должны были, надо полагать, стогать от стыда и унижения. Вместо этого мы с Китычем, очутившись за спиной учителя, строили рожи и кривлялись как могли, потешая класс.

Девчонки танцы любили, хотя и стеснялись в этом признаться. Надо было видеть, как краснели от удовольствия их щеки, как блестели глаза, когда кавалеры подавали им испачканные чернилами руки. Как бы галантно, как бы изящно – пусть! На многое можно закрыть глаза и многое додумать, когда только тень прекрасного прикасается к тебе в школь-

ной столовой, пахнувшей хлоркой.

Ритмик исчез так же бесславно, как и учитель пения, после того как его побили в школьном дворе хулиганы. Вызывали милицию. Опрашивали свидетелей. Побили бедолагу серьезно. Думаю, о нашей школе ритмик сохранил самые стойкие, волнующие воспоминания...

Об уроках рисования почти ничего не помню. Вела их тихая женщина преклонных лет. Она грустно заглядывала в наши работы и говорила.

– Неплохо, неплохо. Продолжай.

Неважно, что было нарисовано – натюрморт, который она водружала на столе, или танк с огромной звездой, или веселая рожица.

По крайней мере, ей хватало ума не вешать нам лапши на уши, что ее предмет станет в школе главным.

«Физру» за предмет вообще не считали. Как школьники, так и учителя. Спортом в разных секциях тогда занимались почти все мальчишки и наш физрук особо не докучал нам. Просто выбрасывал в зал из своей каптерки оранжевый мяч, и мы резались в баскетбол все 45 минут. Правда, зимой приходилось тащить с собой в школу лыжи, палки и теплые штаны. Рядом был лес с хорошей лыжней.

Главные предметы вели главные учителя. Хорошо помню учительницу по литературе и русскому языку. Звали ее Любовь Павловна. Седая, сухонькая дама в почтенных годах, всегда в одном и том же синем вязаном костюме, с медным

сухим лицом, в котором отражалась вся ее многострадальная неудавшаяся жизнь. Была она одинока, работу свою не любила, как, впрочем, и детей, которых называла «деградантами». Так и говорила будничным тоном:

– Встаньте деграданты!

Или:

– Для подонков еще раз повторяю...

Самое замечательное, что мы не обижались. Никому и в голову не приходилось жаловаться. Деграданты – так деграданты. Взрослым виднее. Тем более, что были среди нас и такие, что вполне заслуживали это название.

У Любови Павловны был свой оригинальный педагогический метод по литературе: мы конспектировали учебник. Метод был хорош тем, что не оставлял ученику никаких шансов развлечься. На ее уроках всегда было тихо, только перья поскрипывали, да страницы шуршали. Даже законченный лентяй всегда был при деле и при этом в голове его худо-бедно что-то откладывалось. Про Чацкого или про Пушкина. Но метод имел и свои изъяны. Все литературные персонажи, все сочинители, которых мы проходили под руководством Любови Павловны, оставляли в душах в лучшем случае стойкую неприязнь, в худшем – ненависть на всю жизнь. Я сам до сих пор (!) так и не оправился от отвращения к Чацкому и вообще к «Горю от ума». Потребовались годы излечения, чтоб я перестал воспринимать Пушкина, как главного революционера своего времени, ненавидев-

шего царский режим.

На несколько лет Чацкий стал главным дураком комиксов, которые мы с Китычем рисовали в тетрадках вплоть до восьмого, выпускного класса. Пушкин в комиксах был главным бесстыдником, вытворяющим дикие непотребства. Хороший итог. Любовь Павловна может гордиться.

Сочинения на дом мы с Китычем также привычно переписывали из учебника. Иногда, творчески подправив одно-два вводных предложения, чтоб запутать следы явного плагиата, иногда, если спешили во двор – один в один. Думаю, с теми же чувствами уныния и отвращения, с которыми были написаны сочинения, читала их и учительница.

«Тройбан» был нам обеспечен, «чего же боле?», как говаривал наш бесстыдник Пушкин.

Полной противоположностью унылой Любви Павловны была училка по географии. Кира Адамовна влетала в класс, как укротительница в клетку с тигрятами. Это была симпатичная крепкая баба с пышными бедрами, открытой грудью и звонким, повелительным голосом. Она никогда не унывала, казалось, работа забавляла ее. И мы забавляли ее, как смешные, но кусачие зверушки, которых надо было держать в узде. В руках ее всегда была указка, которую она то и дело пускала в дело. Нет, правда: она ею била, и весьма сильно, по спинам нерадивых и провинившихся, а иногда хлестала и по рукам. Била с азартом и удовольствием. Один раз Серега Иванов, получив по загривку, с ревом выскочил из класса.

– Дура! – крикнул он с порога.

Это сошло ему с рук, как, впрочем, и ей.

Повторяю, жаловаться на учителей просто не приходило нам в голову. Они составляли незыблемые устои мироздания. Кому придет в голову жаловаться на луну? Светит, но не греет, ну и что?

Англичанки, появившиеся в пятом классе, обладали особым шармом и статусом полу-иностранок, они имели ключик к волшебному миру, где обитали все наши любимые группы. В пятом классе английский любили все. Было невероятно интересно узнать, что стол – это тэйбл, ручка – пенсл, и, куда смешнее, кусочек мела – писовчок! Разумеется, «писовчок» надолго становился самым ходовым иностранным словом.

Пожалуй, наибольшей популярностью пользовались уроки физики и истории.

Физик, Михаил Евгеньевич Шендерович (фамилию он на первом же уроке жирно вывел мелом на доске и после этого обернулся к классу с таким видом, словно только что сделал что-то нехорошее, но необходимое), был бородатым, всклокоченным, горбоносым и носил огромные, в пластмассовой оправе, очки с толстыми линзами – типичный шестидесятник из мира альпинистов, бардов и поэтов. Когда-то он закончил «корабелку», но потом понял, что душа его лежит к учительству и поступил в педагогический институт. Не знаю, какой из него вышел бы инженер, но учитель он был от Бога.

Физикой он увлек всех сразу и на весь год. Я никогда не думал, что о скучных и серьезных вещах можно рассказывать так, словно это была интересная история с интригующим началом и неожиданным концом. Открытые от удивления рты часто не закрывались весь урок. Мертвая тишина сменялась восторженным гулом или смехом. У Михаила Евгеньевича была любимая забава – в конце урока он устраивал пятиминутку: «вопрос-ответ». Каждый ученик мог задать любой вопрос на тему «как устроен мир». Чем каверзнее был вопрос, тем лучше. Спрашивали и про температуру на Солнце, и про ядерную бомбу, и сколько звезд во Вселенной и почему замерзает вода... Я старался изо всех сил и однажды был удостоен награды.

– Миша, на этот вопрос я не могу ответить. Тайна смерти человека не предмет физики. Скорее химии, биологии... И учтите, ребята, в познании всегда существует предел: мы можем долго отвечать на вопрос «почему», но рано или поздно уткнемся в ответ – «не знаю». И так будет всегда. Мир в конечном итоге – непознаваем. Это...

И совсем тихо он добавил слово, которого явно опасался.
– Тайна...

Это слово – «тайна», для меня прозвучало тогда столь же волнующе, как спустя годы – Бог. Первый раз кто-то признал, что существует Тайна, которую не смог вскрыть даже всемогущий Ленин, что не все объясняется в мире унылыми, безжизненными словами, от которых хочется захлопнуть

учебник и открыть страницы какого-нибудь фантастического романа!

Редкий урок у нас обходился без демонстрации какого-нибудь опыта, и всякий раз создавалось впечатление, что физику результат интереснее, чем нам. Он суетился, раскладывая на столе пасьянс из приборов (помню даже туалетную бумагу!), азартно потирал руки, приговаривая: «Сейчас, сейчас посмотрим!», замирал на старте эксперимента и ликовал, когда опыт приводил к нужному результату. До сих пор не могу понять, разыгрывал ли физик спектакль или правда был немножечко «блаженный» – не важно. Важно, что за процессом наблюдали тридцать открытых глаз и ртов, а в головах этих тридцати нарождались новые нейронные связи, которые спасают человека от слабоумия и лени.

Я с первого же урока буквально влюбился и в предмет, и в учителя, да так, что и моя мама, слушая мои постоянные восторги, в него влюбилась. Даже Китыч со своей классовой враждебностью к учителям, к физику был благосклонен. Чтоб заслужить похвалу Михаила Евгеньевича, я готовился по учебнику к теме урока заранее, тянул руку по всякому поводу, съедая учителя влюбленными глазами. Любовь к физике я пронес до десятого класса. Теперь я прекрасно понимаю, какую фору перед всеми может получить в жизни мальчик или девочка, имея такого отца (и мать, как потом я убедился, познакоившись с семьей поближе). Это к вопросу, почему в высших учебных заведениях так много евреев.

Помимо физики Михал Евгеньевич обожал туризм и быстро сколотил в школе команду единомышленников. В нее вошел и я, и Китыч. После шестого класса в летние каникулы наш туристский отряд штурмовал Карпатские горы и объедал черешню в парках Закарпатья; у меня где-то до сих пор валяется книжица, которая удостоверяет, что в 1975 году я стал альпинистом какого-то низшего разряда.

Историю вела наша классная руководительница Валентина Сергеевна. Предмет любили все, пока мы изучали древний мир. Это было время бесконечных войн в школьных коридорах и рекреациях. Спартанцы бились с афинянами, македонская фаланга сокрушала легионы римлян, варвары метелили всех подряд. Мы с Китычем всегда были на стороне самых грубых, сильных и жестоких народов, презирали афинян с горячей искренностью, которую оценил бы и сам царь Леонид, в разговорах беспрестанно клялись то Зевсом, то Юпитером, то Одним, то всеми богами сразу и часто возвращались домой в разорванных рубашках и синяками по всему телу. После выхода на экраны фильма «300 спартанцев» со всех пищевых баков на лестничных площадках исчезли алюминиевые крышки – из них получались великолепные спартанские щиты, в мечи годилась любая палка. Великим несокрушимым Римом мы гордились так, словно это была наша прародина.

А что наша Родина?

Увы, интерес к ней блеснул ненадолго с приходом викин-

гов на Северную Русь. Дальше началась история, которую каждый порядочный человек должен стыдиться и которая закончилась только в 1917 году. Кому интересно играть в вечных терпил и лохов? Спасибо министерству образования, постарались.

Подводя итог, что могу сказать? Спасибо всем учителям! Не обижайтесь! Ведь мы были друг друга достойны, не так ли?

Глава 5. Параллельные миры

Следует признать, на Народной улице властвовал культ грубой силы. Всех известных хулиганов каждый пацан знал в лицо. Я до сих пор (!) помню их имена: Наиль, Воробей, Рыга, Сморода, Дима... Наиль был старше нас лет на пять и походил на обезьяну: вечно сутулый, с длинными руками, с грубым вытянутым, серым и уже старым, морщинистым лицом, на котором я никогда не видел улыбки. Говорил он мало, отрывисто и всегда по делу: «Дай спичку, дай стакан, заткнись, а в рыло?» Единственное удовольствие он получал, когда вызывал сильный испуг. Учителя ненавидели его и не могли дождаться, когда он покинет школу.

Курил он, кажется, с пеленок. Крепленое вино пил уже в четвертом классе стаканами. Как хищник в джунглях, ходил днем вокруг школы, высматривая добычу – в основном это были второклассники и дети постарше. Первоклассников домой сопровождали бабушки, да и денег с собой у них не было. Настигнув добычу, Наиль вперивал в нее свой знаменитый взгляд рассерженной гремучей змеи. Чаще всего взгляда было достаточно, чтоб добыча, хлюпая носом, расставалась с накопленной мелочью. «А ну-ка попрыгай», – негромко приказывал Наиль, и мальчик старательно прыгал. Горе было тому, у кого в потайном кармашке зазвенело. Сашку Назаро-

ва, у которого ключ звякнул, Наиль так стукнул в лицо, что Сашка выронил портфель, мешок с обувью, и как зомби, без звука, деревянными шагами направился через кусты в неизвестном направлении. Насилу отыскали вечером.

Друзей у Наиля не было, в товарищах ходил некий Рыга – уродливое существо без возраста, без ума и жалости, которому отдавали деньги без лишних слов, лишь не видеть этих мутных глаз, эту страшную прыщавую рожу неандертальца, Бог весть каким способом выскочившего в наш мир.

Сморода был повеселее, плутоватее. Он предлагал второклашкам сыграть в орлянку или в очко старой колодой, которую всегда носил с собой. Отказать было нельзя, выиграть невозможно. Да и опасно. Проигрывать надо было тоже уметь: весело, с задором! Сморода терпеть не мог, когда мальчик расставался с кровными с несчастным видом. Тогда он хмурился и тыкал несчастному в лицо грязным пальцем.

– Ты, сявка, знаешь, что такое карточный долг? Сестру продай, а долг отдай! Понял? Запомни, деньги – мусор!

Воробей и был воробей. Мелкий, шустрый, суетливый и наглый. Он залезал в чужой карман, как в свой, тут же пересчитывал на ладони выручку, опять залезал, пока мальчик стоял, подняв руки, но зато потом, с хорошего навару, мог и сигаретой угостить и анекдот рассказать.

Страшнее всех был Дима. Ходили слухи, что у Димы отец был известным бандитом и не вылезал из тюрем. Это был красивый мальчик с неприятно-надменным и всегда мрач-

ным лицом. Он был жесток. Малолетки его интересовали мало. Вместе со старшими дружками Дима грабил взрослых мужиков, когда они пьяненькие возвращались с полочки вечером домой. Когда он появлялся в обед возле школы, все вымирало вокруг. Мальчики жались в раздевалке, выглядывали в окна с опаской, смельчаки выскакивали вон и перебежками мчались к дому.

Стать другом этих «героев» мечтал каждый мальчишка. Пусть не другом. Пусть он на глазах у всех хотя бы пожет руку, хлопнет кулаком по плечу, скажет: «Привет!» Это был ярлык, который охранял от всяческих посягательств на ближайшее время и вызывал зависть врагов.

Знали ли взрослые о существовании этого ужасного параллельного мира, обещая нам захлеб на каждой праздничной линейке скорую победу коммунизма? Конечно, знали! Но что они могли поделать, если пьяные гопники избивали как-то вечером учителя физкультуры во внутреннем дворе школы? За то, что он вздумал сделать им замечание. Хромой с войны учитель труда, Рабинович Лев Давыдович, товарищ физрука, бегал потом по школьным коридорам с криком, что не боится поганую нечисть, которую «мы не добились в 45-м». А толку? Гопота продолжала осаждать цитадель просвещения, как голодные волки овчарню.

Оставалось только ждать коммунизма.

О коммунизме в конце шестидесятых на Народной еще говорили всерьез, но уже не верили в него. Так бывает. На

самом верху, полагаю, тоже поняли, что это «блудняк», но сообщить вниз не смели. «Пилите, Шура, пилите!» Народ безмолвствовал, потому что после всех ужасов, пережитых недавно, жизнь налаживалась и – слава Богу! С Марксом, с Лениным, с Брежневым, с чертом в ступе – лишь бы не было войны, лишь бы перестали морочить голову мировой революцией, лишь бы перестали звать в вечный бой!

Тем более, что жизнь и правда налаживалась, народ богател на глазах.

Первый холодильник в доме на зависть всему двору, телевизор с большим экраном, пылесос, электробритва! Пусть не коммунизм, но уже и не стиральная доска в ванной! Сливочное масло не надо летом подсаживать и хранить в холодной воде! Да, задницу еще подтирали газетной бумагой, но зато самые продвинутые уже носили плащи болонья и нейлоновые бадлоны, курили сигареты с фильтром и по субботам пили кофе с коньяком мелкими глоточками. В каждой уважающей себя семье находилось место для фикуса или герани. Фарфоровые слоники, несмотря на занудные насмешки записных борцов с пошлостью, победоносно заселяли стеклянные полки сервантов, по соседству гордо красовались хрустальные фужеры и салатницы вперемешку с микроскопическими бегемотиками, оленями и лисами, расписными чашками фарфорового завода имени Ломоносова и гранеными стопками. Страна обрастала молодым жирком.

В конце 60-х годов произошло еще одно событие, кото-

рое советские теоретики марксизма как-то проморгали – был побежден клоп! Не кулак, конечно, которого искоренили в 30-х, но тоже паразит еще тот: мучил пролетариат и сосал из него кровь! В середине 60-х вся наша лестница воняла дустом или еще какой-нибудь ядовитой дрянью. Иногда целые матрасы выбрасывались на помойку. Жильцы сдирали обои, вспарывали перины, переворачивали деревянные кровати и поливали отвратительных тварей смертельной химией: «Чтоб вы сдохли, гады!» «Гады» в панике переползали из квартиры в квартиру, но и там их настигала суровая рука возмездия. Наконец с кровососами было покончено. Покончено было и с гнидами, которых привозили из деревень городские мальчики и девочки после летних каникул. В ваннах появились душистые мыльца вместо страшных вонючих кусков, которые, как говорили (брр!), изготавливались из собачьего жира на мыловаренном заводике. Проезжая мимо него на трамвае по проспекту Обуховской Обороны, я всегда затыкал нос.

Словом, страна умывалась и даже училась делать макияж. Самые бдительные и зоркие марксисты находили в этом опасность, но не могли точно, по-научному, как они умели в других случаях, сформулировать свои опасения, а ведь глядели верно! Опасность подкрадывалась именно отсюда – сначала душистые мыльца, понимаешь, потом джаз, ну а дальше все знают...

Глава 6. Тимуровцы

Как утверждал Марк Твен, приходит пора, когда каждый мальчик хочет найти клад. Я добавлю: настоящий советский мальчик мечтал создать и возглавить собственный отряд. Я создал и возглавил в третьем классе тимуровский. Мама подарила мне на день рождения книжку «Тимур и его команда» – там про все было написано, ничего придумывать не пришлось. Будущие члены уже давно были готовы к подвигам и лишь ждали вожака. Нас было пятеро, и все мы готовы были стать заговорщиками против остального мира. Все жили в одном дворе, все учились в одном классе, все имели уже некоторую дворовую репутацию и клички: Микки – это я. Бобрик – это Вовка Бокарев, мой лучший друг и заместитель, кудрявый синеглазый херувимчик, любимчик учителей и родителей, к тому же отличник. Хомка – это Китыч, про него мне нечего добавить. Матильда – Коля Надворный, двоечник и балбес, каких свет не видел. Ну, и Серега Иванов, рыжий бестия, готовый к любым проделкам – кличка Тимка. Мы уже давно сбились в стаю, но занимались ерундой – резались в футбол, сражались в городки, играли в индейцев, разоряли помойки... Серьезного дела требовала душа. Тогда у меня и родилась идея создать тимуровский отряд. Чтоб все тайно, но чтоб все о нас заговорили. Чтоб боялись и восхи-

щались. Чтоб Родина потом гордилась

Первый съезд будущей организации прошел в подвале нашей пятиэтажки. Под тусклым светом, льющим из подвального оконца, под утробно-замогильные звуки канализационных труб, мы сочинили первый устав и задачи: помогать пенсионерам, собирать мусор во дворах и защищать зеленые насаждения от хулиганов. Хулиганов во дворе хватало.

– Будем бить? – предложил Кит, который на все смотрел с крестьянской, трезвой простотой.

– Почему сразу бить? Сначала воспитывать. – объяснял я.

– Ага – сказал Китыч и потупился.

– Можно вызвать их на совет отряда, – неуверенно предложил Бобрик.

– А можно пожаловаться родителям! – радостно сообщил глупый Матильда. – А они их ремнем! Раз! Раз!

– А они нам потом под глаз: раз! раз! – передразнил Тимка.

– Разберемся, – поспешно закрыл я вопрос. – Это все детали.

Мы смутно представляли себе свою деятельность. Да это было и не важно. Важно то, что мы сидели в подвале впятером и клялись, что никому не выдадим тайну. Тайна была страшная и выдать ее было трудно, потому что... она была тайной для нас самих. Ну и что? Зато как сжимались наши сердца, когда мы говорили: клянусь! Как упоительно было сознавать, что ты принадлежишь тайному братству! Что ты

не такой как все, а гораздо интересней!

И еще мне очень хотелось совершить подвиг. Зачем? Ну, чтоб похвалила классная руководительница. А может быть, даже Танька Соловьева, краснея, сунет на переменке записочку со словами: «Я тебя люблю». Ходили слухи, что такую получил Бобрик от Людки Петровой за просто так. Потому что красавчик. И наплевать Людке было, что Вовка у меня был лишь в адъютантах, что я командир. Да хоть маршал Советского Союза! Бобрика все девчонки любили. Особенно, когда он надевал белый бадлон вместо рубашки. К тому же он был добрый и всегда улыбался девчонкам, как будто они были ему ровня, а я на девчонок смотрел высокомерно и всегда был с ними мрачный и загадочный. Ну и кому на фиг нужна была моя мрачность? Я завидовал Вовке, ревновал, доказывал ему с жаром, что девчонки – дуры, ябеды и коварные обманщицы. Вовка, как и положено баловню судьбы, добродушно соглашался, чтоб меня не злить, но стоило Людке подойти к нему на перемене, как он распускал улыбку до ушей, а она краснела и щебетала, как... курица.

Вовку любили и учителя. Особенно классная руководительница. Она даже улыбалась всегда, когда вызывала его к доске. А меня она недолюбливала и побаивалась. В первом классе я засунул на уроке труда ножницы себе в рот. Валентина Александровна раскричалась: «Я же просила! Я же предупредила!» Откуда ей было знать, что я сделал это, чтоб привлечь к себе ее внимание? Класс нервно хихикал, я крас-

нел, а классная решила, что я хулиган.

Но по-настоящему я напугал ее, когда после уроков, в пустом классе встал перед ней по стойке смирно и признался, что являюсь командиром тимуровского отряда. «Какого еще отряда? – читалось в широко раскрытых, испуганных глазах молоденькой учительницы. – Кто разрешил? Зачем?!»

– Мы будем помогать бабушкам и деревьям, – торопливо перечислял я, словно оправдываясь, что влип в неприятную историю. – Мы уже начали строить скворечник и купили на свои деньги грабли.

Валентина Александровна стояла у дверей с сумками в руках. Она торопилась.

– Вот! – я протянул ей книгу Гайдара «Тимур и его команда». – Мы хотим как они. Организация! Мы будем помогать. Защищать. Бороться! У нас есть клятва и устав.

Услышав страшные слова: организация, устав, клятва, классная нахмурилась, и поставила сумки на пол.

– Кто вас надоумил? – спросила она растерянно.

– Гайдар! – с гордостью отрапортовал я. – Я эту книгу наизусть знаю!

Что могла сказать мне эта вчерашняя девочка из крестьянской семьи, которая бледнела и скукоживалась при виде директора школы?

– Почему не посоветовались? Ты же октябренок. У нас есть пионерская организация. Мы собираем металлолом, макулатуру. И это правильно. Хорошие дела надо делать. Но

только вместе! И клятву мы даем один раз в жизни. Когда вступаем в пионеры!

– Но мы же хотим, как тимуровцы!

– Это хорошо. Только зачем же спешить? Зачем сами? Скоро вы станете пионерами, а пионер – всем детям пример! А так получается, что вы вроде бы против пионеров.... Сами по себе. Так нельзя, Миша. Надо было посоветоваться со взрослыми.

Горько было это слушать.

К счастью, Валентина Александровна спешила куда-то. Подхватив сумки, она побежала к выходу, а я стоял со странным чувством стыда и обиды.

Несколько раз я пытался возобновить разговор, но учительница была явно не готова к интимному сближению на зыбкой идеологической почве. Она каменела лицом, всегда куда-то спешила, оглядывалась, терзала в руках платочек, хмурилась, говорила торопливо: «Потом, потом!» – и пряталась в учительской.

Когда выбирали командиров октябрятских звездочек, меня грубо прокатили. Я был безусловный лидер. Девочки и мальчишки проголосовали – «за», но Валентина Александровна была против. Я стоял красный от стыда перед классом, а учительница, расхаживая перед доской, решительно и беспощадно забивала гвозди в гроб моей репутации. В ход пошло все: и мои грязные ногти, и опоздания на уроки, и тройки по русскому языку и драки в рекреациях. Впору было ис-

ключать, а не выбирать. Выбрали Муратову. Я был потрясен. Пожалуй, это был первый смачный плевок реальности в мою чистую душу. Китыч переживал за меня больше всех.

– Муратова дура! – утешал он меня, когда мы возвращались домой – и ябеда.

– Почему она меня не любит, Кит?

– Кто, Муратова? Да она никого не любит. И задается много.

– Я про нашу Валентину... Стараешься, стараешься...

– Да черт с ней, – простодушно отвечал мой верный друг.

Прокатили меня спустя два года и на должность председателя пионерского отряда. И опять под прямым, грубым нажимом взрослых. За что? Я всерьез задумывался над этим и многие годы спустя. Пожалуй, в классе, а может быть и в школе, я был самым искренним и преданным пионером. Душа моя жаждала веры в самые высокие идеалы. Я зачитывался книжками про пионеров-героев Великой Отечественной – Леонида Голикова, Зину Портнову, Валентина Котика... Я готовил себя к подвигу. Больше всего я боялся не выдержать пыток. Поэтому, однажды на кухне раскалил до красна столовый нож и на глазах потрясенного Китыча прижал его к ладони. Боль была адской. Китыч едва увернулся от ножа, а я бросился в ванну и сунул ладонь под струю холодной воды. Болезненный рубец побаливал и не проходил месяц. Однажды я взбунтовался против самого Борьки Иноземцева, который во дворе стал глумиться над Матильдой: сунул ему

под нос ботинок и приказал Матильде зашнуровывать. Помню, что крикнул, как на эшафоте, когда Борька занес на меня руку: «Бей гад! Господ еще в 17-м отменили!» Борька растерялся. Он смотрел на меня, как на взбесившегося Мальчиша-Кибальчиша и не знал, что делать. Я готов был погибнуть за правое дело, и Борька это понял. Он слегка стукнул меня кулаком в грудь: «Молоток, что не зассал. Как эти...»

Теперь я понимаю, что взрослые меня недолюбливали как раз за то, что я верил слишком всерьез, слишком пылко, слишком искренне! Учительница побаивались меня, я со своей страстностью и честностью мог стать проблемой, или, в крайнем случае, укором. Наверное, я был пережитком, родимым пятном, только не капитализма, а, скорее, раннего социализма. Революционный энтузиазм в семидесятые годы уже догорал, главным образом на окраинах страны, где в девственной чистоте провинциальных нравов сохранились еще адепты марксовой «церкви». Время подвигов уходило в прошлое. Новое поколение коммунистов подвигам предпочитали лозунги, а зову сердца – инструкции райкома. Торжествовал принцип: «Не надо как лучше, надо как положено!» Правдоискательство становилось юродством, принципиальность – психической болезнью, вызывающей жалость и насмешки. Самодеятельный тимуровский отряд в классе нужен был нашей классной руководительнице, как чирей на жопе. В отчеты его не воткнешь, а если и воткнешь – так пожалеешь.

Вечная память мученикам Правды, терпилам Идеи, которым выпало испытание родиться в пошлом болоте застойных времен! Чем мужественнее и крепче они были, тем злее и беспощаднее ломала их жизнь через колено. Именно в эти, безусловно тучные по сравнению с недавним прошлым, годы в стране началось безудержное пьянство. И остановить его было невозможно. В пьянстве душа сбрасывала оковы.

Но это уже совсем другая история.

Сразу скажу, что из затеи с тимуровским отрядом ничего толком не вышло. Да, весной мы сколотили ящик, который должен был стать скворечником, но забыли пробить в нем отверстие для птиц. Пробовали расковырять дыру, но только измучились. Тем не менее мы повесили ящик на какую-то березу – не пропадать же добру! Один раз я помог какой-то бабушке перейти Народную улицу. Торжественно отчитался об этом на совете отряда. Мой поступок был даже задокументирован и попал в архив (даже не знаю, откуда взялось это бюрократическое рвение). Еще, в марте, я один убирал газоны от мусора и сухой травы, а потом мы с Китычем выкопали деревце в соседнем дворе и посадили в нашем. Деревце засохло. Все это было скучно и не похоже на подвиг.

Куда интереснее было выслеживать шпионов! Их было вокруг тьма! Некоторое представление о том, как они выглядят, каковы их повадки и намерения, давал телевизор и книжки. Выслеживали, как правило, вечерами. Выбрав подходящего мужчину представительной наружности, желатель-

но в плаще болонье и фетровой шляпе, мы гурьбой крались за ним, прячась в кустах и неслышно переговариваясь короткими фразами: «Товарищ капитан, он остановился» – «Вижу! Продолжать слежку!» – «Берем его по моему сигналу! Как только он передаст сверток!» – «Приготовились! Оружие к бою!» Если прохожий заходил в телефонную будку, мы посылали разведчика подслушать разговор. Разведчик подкрадывался к будке чуть ли не по-пластунски и притворялся, что не подслушивает, а просто присел рядом полюбоваться окрестностями, и для правдоподобия даже напевал песенку. А на самом деле он запоминал важный разговор.

– Ну? – спрашивал я разведчика, когда он возвращался через детскую площадку, пригибаясь, и оглядываясь во все стороны, как и положено разведчику.

– Товарищ майор! – звание росло по мере азарта. – Он спрашивал какого-то папашу!

– Папашу? – фильму «Дело пестрых» троекратное мальчишеское ура!

– Да, так и сказал, передайте папаше, что чемоданчик у меня, в надежном месте. Встречаемся, как и договорились, у черта! Пароль тот же: «В Париже идет дождь».

– Во сколько встреча? Не сказал?

– Кажется... сказал. В шесть.

– А когда?

– Сегодня.

– Сегодня я не могу. Тренировка. Может завтра?

– А завтра я не могу. Можно и сегодня, после тренировки. Они долго будут встречаться.

«У черта» – это понятно, это в подвале нашего дома. «Папаша» – ясный пень – кличка. А что в чемоданчике?? Взрывчатка? Бомба? Секретные документы? А может быть, яд? Ведь обдристалось на прошлой неделе полшколы, отдавав ленивых голубцов в столовой, а виновных не нашли!

Подвал свой мы любили, изучили его до последней трубы, но никогда не называли его подвалом. Только «У черта» – для конспирации. Шпионы любили назначать тут свои тайные встречи. Удобно! Никто не видит и не слышит. Темно, страшно... Шпионы любят такие местечки. А мы караулили шпионов, спрятавшись за трубами под квартирами с сомнительной репутацией. С пластмассовыми пистолетами и настоящими столовыми ножами. Засада – дело скучное. Минут через десять Кит доставал карты, и мы играли в подкидного дурака при свете фонарика или пускали по кругу сигарету, которую Тимка тырил у старшего брата.

Папаша надолго стал нашей культовой фигурой. Не могу не вспомнить в связи с этим и знаменитую операцию «Какашка». Уже не помню, кому именно пришло в голову, что шпиону нужно подложить какашку под дверь. Чтоб жизнь медом не казалась. Шпиона нашли быстро, проследили, где он проживает, а вот с какашкой начались проблемы.

Искали долго. Как всегда, когда не надо – они на каждом шагу, а когда да зарезу нужно – ни одной. Пришлось ждать,

когда Надька Силантьева выйдет вечером выгулять свою овчарку Найду. Найда долго бегала вокруг кустов, нюхала, чихала, отскакивал прочь, наконец примостилась, сгорбившись. Мы с Матильдой, Китом и Тимкой окружили ее, вперив глаза в собачью задницу. Надька была шокирована.

– Ну чего уставились, как дураки. Не стыдно?

Откуда было знать дуре, что мы выполняем государственное задание.

Найда вскочила и радостно бросилась нам на грудь. Надька уволокла ее за поводок, бормоча ругательства. Матильда осторожно завернул какашку в тетрадный лист и с вытянутой рукой пошел к парадной. Мы поднялись на третий этаж и тут произошел конфуз – распахнулась дверь и на лестничную площадку вышла тетка в домашнем халате. Матильда сунул сверток в карман.

– Вы чего тут делаете? – грозно спросила тетка.

– Ничего! – проблеял Матильда.

– А что прячешь в кармане?

Матильда постучал по карманам куртки.

– Ничего, тетенька, не прячу. Мы это... Костика ищем, одноклассника.

– Нет тут никакого Костика! А ну пошли отсюда! От вас воняет как от помойки!

Мы кубарем выкатились вон, ломанулись на пустырь и там рухнули на землю, сотрясаясь от смеха. Да что там, от рыданий! Я чуть не задохнулся, Китыч икал весь вечер. Ма-

тильда выворачивал карман чуть ли не со слезами: «Мамка убьет! Что я скажу?!» Тимка нашел какую-то ветошь – терли по очереди. Потом налили в карман воды из лужи...

Такое не забывается.

Однажды мы устроили засаду на матереого американского разведчика Джона, который должен был получить от предателя коробку с цианистым калием. Кажется, он должен был вылить яд в Неву, чтоб произошло массовое отравление. На кону стояли миллионы человеческих жизней! Не шутка! У меня за ремнем был туристический топорик, неприятно упирившийся в яички, остальные держали в руках огромные, кухонные тесаки, которые то и дело описывали в полумраке угрожающие параболы. Решено было живым Джона не брать. Цианистый калий и самим мог пригодиться. Я должен был нанести решающий удар топором по голове, а безжизненное тело мы собирались засунуть под трубы. Предатель тем временем, полагаю, должен был стоять, подняв руки. Мы так размечтались и раскудахтались, что не слышали скрип двери и шаги. Нас выследил водопроводчик дядя Петя. Он делал обход и наткнулся на скрючившегося за горячей трубой дозорного: Китыча, у которого в руках была тяжелая старомодная вилка чуть ли не XIX века. Встреча была обоюдно неожиданной. Дядя Петя выронил свой чемоданчик с инструментами, а Китыч, размахивая вилкой, бросился во тьму с душераздирающим криком. Слышно было, как он пару раз приложился башкой об трубы, тогда подвал оглашал-

ся стонами и матерной руганью. Дядя Петя тоже заругался и зашагал следом, что и спасло нас, полумертвых от ужаса, от позора и наказания.

Вечером, собравшись во дворе на скамейке, мы осмотрели шишки на голове Китыча и заслушали его доклад. Он был краток. Дядя Петя его не догнал. Да и не дядя Петя это был, а связник! А в чемоданчике у него и был цианистый калий. Эта простая дедукция потрясла нас всех.

– Как же я сразу не догадался, – пробормотал я.

– А я сразу понял! – похвастался Матильда. – выхватил нож, а он испугался и убежал! Микки, когда нам пистолеты выдадут? Ты обещал.

– В центре сказали, скоро.

– Жаль он меня не догнал, – возбудился Кит. – Я бы ему вилкой глаз – на!! Получи гад! За кровь и слезы наших... матерей! Мне матка таких... навесила за вилку. И рубаху я порвал.

– Что рубаха, Кит! – вдохновенно отвечал я. – Рубаху зашьем! Ты город спас! Цианистый калий – это знаешь... Помнишь, как Гитлер травился? Раз и готово! Не переживай, я тебя к награде представлю.

– Герой Советского Союза? – подсказал Тимка.

– Мне лучше Орден Красной Звезды, – попросил Кит – Он красивый. У бабки в коробке есть, вместе с медалями, от деда остался.

Назавтра я и впрямь приколот Орден Красной Звезды,

временно изъятый из коробки, Киту на рубаху прямо во дворе, и мы все отдали при этом пионерский салют. Весь вечер героя обступали восхищенные дворовые пацаны, щупали, дергали орден, спрашивали за что получил.

– За дело, – скромно отвечал герой.

В ту пору у многих дома хранились награды отцов и дедов в заветных коробках, и, соблазнившись славой, некоторые бросились по домам за наградами. Начался парад героев. Каждый выпячивал грудь с медалями, каждый вспоминал Сталинград и Берлин...

«Безобразие», – скажет кто-то. А мне кажется, что деды, увидев эту картину, обрадовались бы. Потому что это тоже был парад Победителей, четверть века спустя после Победы....

Признайтесь, многие из вас были способны на такие восхитительные детские глупости? А у меня было! Бе-бе-бе!

Надо признаться, что с самого начала наш отряд стало кренить куда-то не туда. Внешне все было пристойно. Как и вся страна, мы рапортовали на своих сходках о каких-то мифических успехах, еще больше любили порассуждать о высоких помыслах, но по-настоящему возгорались только, когда возникало какое-нибудь сомнительное дельце.

Начать хотя бы с того, что мы отлили себе из свинца кастеты и свинчатки. Идея пришла, когда мы собрались на моей кухне после уроков, чтоб сочинить клятву верности и подписаться под ней кровью. Клятва была образцово-канониче-

ская. Тут было и про страшную кару, если кто-то предаст, а именно: «Да будет проклят и он, и его сыновья, и внуки до седьмого колена», и про презрение товарищей, которые никогда не подадут «ему» руки...

– И плюнут ему в лицо! – вошел в раж Тимка.

– Записал, – пробормотал я, склонившись над листком и высунув язык от усердия.

– И плюнут ему на могилу! – с жаром подхватил Матильда.

– На какую могилу? Мы же еще маленькие? Еще неизвестно, кто на чью плюнет.

– А мы убьем предателя, вот и все. Смерть предателям! – не унимался Матильда. – Нельзя прощать!

– Хорошо, записал. И на могилу... плюнуть... Да вот что еще: беспрекословное подчинение старшим по званию. А то развели анархию. Пишу?

– Пиши, – вздохнули подчиненные.

Теперь требовалась кровь. Я долго искал иголку, а когда нашел, Тимка вдруг всполошился, заявив, что она отравлена микробами. Пришлось зажигать газ и калить иголку на огне. Она устрашающе покраснела, и мы сунули ее под воду из крана.

– А вода грязная! – не унимался Тимка. Мы внимательно посмотрели на него.

– Ладно, это я так. Зараза к заразе не пристает, как говорит мой брат.

Колол командир, то есть я. Все выдергивали руку и шипели, как змеи. Зашипел и я, когда, зажмурившись, ткнул себе в подушечку пальца иголку. После кровавой процедуры мы даже как-то зауважали себя. Все-таки недаром именно кровью скрепляется каждый тайный союз. Китыч так и этак разглядывал уколотый палец, любовался им, хвастался.

– Из меня больше всех вытекло! Смотрите, какая дырка!

Эта клятва до сих пор (!) хранится у меня в дневниках, и следы крови на листке, выдранным из блокнота, видны отчетливо. Они и теперь сохранили темно-красный цвет. Видимо, сам кровавый ритуал тогда и подтолкнул наши мысли в соответствующем направлении. Без оружия было никак.

«Плевательные» трубки, которые больно стреляли горохом, серьезным оружием назвать было трудно. Настоящих пистолетов у нас пока не было, хотя в планах значилось выезд в пригороды по местам боевой славы – там можно было откопать не только пистолет, но и целую гаубицу...

Ножи вспарывали карманы и проваливались в ботинки в неподходящий момент. Кастеты! Это было заманчиво. Китыч сказал, что кастетом можно убить человека, если как следует потренироваться. Это вдохновляло. Нужен был свинец, но мы нашли его на удивление легко, на следующий же день: на свалке, которая разделяла (и до сих пор разделяет!) улицу Народную и лес. Литейную мастерскую оборудовали опять же на моей кухне. Китыч изготовил из хлебного мякиша формочки и вот она – первая плавка! Хлебушек не под-

вел. Серебряная тяжелая, горячая жидкость наполнила лепнину. Мы заморожено молчали, глядя, как на наших глазах выковывается новое чудо-оружие.

– А с шипами? – благоговейно вымолвил Тимка.

– Можно и с шипами – отозвался Китыч. – Только это сложнее. Ничего. На первое время и так сойдет. Тут главное удар поставить. Если по темечку со всей силы ударить, то и без шипов – копыта откинёт.

«Копыта откинёт» – это, конечно, враг. Бабульки-бабульками, а какой же тимуровец без Мишки Квакина? Врагов явных не было, и мы их назначали. Во дворе бесцельно болтались десятки бездельников нашего возраста, было из кого выбирать. В плохиши мы назначили Сашку Пончика, Андрюху Рыжего и Серегу Сергеева. Сашка Пончик был веселый, пухлый (оттого и Пончик) крепыш, карликового роста, но невероятной силы. Он не раз доводил меня до слез своими анекдотами, сочинял небылицы на ходу и часто сам в них верил. Про Андрюху Гердта я уже упоминал. Наперекор своему младшему брату, который был зубрилой и гордостью мамы, Андрюха Рыжий маму расстраивал, кажется, еще в утробе, а когда появился на свет – сделался сплошной ходячей проблемой. Он умел только разрушать и портить. Любой порядок, любое благообразие вызывало в нем протест, и он не успокаивался до тех пор, пока не вносил в раздражающую его гармонию диссонанс и разложение. В нем был талант хулигана. Возможно, в 17-м году из него получился

бы не плохой комиссар революции, но в сытые, спокойные застойные годы он был обречен вести бессмысленное, вредное для всех существование. Сергеев был среди этой троицы самым безобидным; он до самой армии фанатично тащился от индейцев и носил в пшеничных кудрях голубиные перья, называя их ястребиными. Все трое были старше нас на целых три класса и уже курили. Вообще-то этого уже было достаточно, чтоб отлить кастеты и наточить ножи, но водился за ним грешок более тяжкий – они фарцевали.

В ту пору фарцовка процветала в центре Ленинграда, но Народная и тут отличилась: за приличные деньги у «спекулей» достать можно было все – джинсы, духи, пластинки, сигареты... У малышей в основном спрос был на жевательную резинку. Самой популярной жвачкой были финские мятные подушечки. Они шли по рублю за упаковку. Я сам покупал у Пончика несколько раз и жевал каждую подушечку по несколько дней, делясь на несколько минут только с Китычем, жевал до полного исчезновения аромата, а иногда и до полного разложения консистенции. Все-таки это было лучше, чем тискать зубами пробки от одеколона, которые нужно было сначала варить в ковшике три часа, чтоб размягчить и отбить невыносимый запах парфюма. Сашка Титов умудрились жевать даже смолу, которой было в избытке на асфальтовом заводике, неподалеку от свалки. До сих пор не понимаю, что необыкновенного и желанного мы находили в жвачке.

Учителя объявили ей бойкот! Как-то все младшие клас-

сы выстроили на линейке. Директор школы торжественно объявила нам страшную новость. Оказывается, проклятые буржуины выдумали новую пакость, чтобы извести советских мальчиков и девочек. В бессильной злобе они начали изготавливать специальные жвачки, начиненные смертельным ядом! И раздавали их бесплатно у нас в Ленинграде, на Невском проспекте, фарцовщикам. Уже несколько мальчиков погибли. Некоторых успели спасти. Каждый честный пионер должен рассказать взрослым, лучше всего своей классной руководительнице, про тех, кто торгует жвачкой и Родиной.

Вот это было сильно! Жевать не перестали, но удовольствия сильно поубавилось. Как-то раз, купив у Пончика за рубль на двоих пачку финских мятных подушечек, мы с Китычем измучили себя сомнениями.

– А вдруг? Вдруг именно эта отравлена?! – нагнетал я.

Китыч брал подушечку, мял ее пальцами, разглядывал, принюхивался.

– Не... Не она.

– С чего взял?

– Ты знаешь, чем пахнет цианистый калий? Помнишь, в книгах? Горьким миндалем. А эта – понюхай! И была бы дырочка от шприца. Видишь – нету!

– Ну давай тогда...

– А-а-а! Сам давай!

Наконец решили – пополам. На счет раз-два-три сунули

половинки в рот и стали жевать, пристально глядя друг другу в глаза. Минута, пять минут... смерть не наступала.

– Ты как?

– Нормально. Сердце только стучит в глотке, а ты?

– И я нормально. Давай еще по одной?

Проклятые буржуины! Ну, зачем были им ломать наш кайф?! Одно слово – капиталисты!

Но для меня главным было – вот он, подвиг Павлика Морозова! Да, Пончик мне друг, часто угощал меня конфетами, анекдоты рассказывал – обхохочешься, но я в первую очередь пионер и тимуровец. И пусть враги отомстят мне, пусть я погибну, но спасу жизни невинных! Умирать, конечно, не хотелось, но как хотелось увидеть заплаканную Валентину Александровну, когда вечером дома она находит в стопке ученических тетрадок мою мятую, с кляксами тетрадь с последним домашним заданием и машинально правит мои милые ошибки... и вдруг натывается на строки: «Я так люблю жизнь! Но прожить ее надо так, чтобы...» – ну и так далее. За такое многое можно отдать.

На собрании отряда я объявил, что завтра мы должны вломить всю шайку Пончика учителям. Ребята были потрясены.

– Могут побить! – наконец нерешительно вымолвил Китыч.

– Ну и что?! – с жаром возразил я.

Эту глупость тимуровцы оставили без внимания. Бобрик нахмурился.

– А кто будет говорить?

– Я!

Матильда обрадовался.

– Правильно! Ты – главный! Ты командир!

Матильда попал в отряд случайно, последним призывом.

В третьем классе классная поручила нам с Китом взять его на буксир. Матильда учился плохо абсолютно по всем предметам, включая физкультуру. Мы должны были помогать ему после школы делать домашние задания. Очень скоро мы поняли, что легче собаку научить мяукать, чем Матильду правилам грамматики, нашли у него в буфете старую колоду карт и чудесно проводили втроем время за игрой в дурака. Если честно, Матильда гораздо более походил на роль Квакина, чем тот же Сергеев, но... ведь свой же сукин сын, как говаривал старина Рейган про диктатора Самосу.

...Разоблачение осинового гнезда вредителей советского строя случилось на следующий день. Помню гробовую тишину в физкультурном зале, где выстроились младшие классы. Я – в белой пионерской рубашке. Рядом директор школы и классная руководительница. Срывающимся от жгучего волнения голосом я рассказываю о том, как Пончик, Гердт и Сергеев продают за деньги жвачку во дворе, которую выклянчивают у иностранцев на Невском проспекте, а деньги потом тратят на сигареты!

Пончик, Гердт и Сергеев стоят тут же, перед всеми, и не верят своим глазам и не верят своим ушам. Одноклассни-

ки открыли рот. Директор покрылась красными пятнами. Триумф выглядел как-то странно. Еще вчера мне казалось, что учителя вынесут меня из зала на руках под аплодисменты всей школы; сегодня я увидел, что причинил всем массу неудобств. Меньше всего это разоблачение нужно было именно директору. Заслуженная пенсионерка была уверена, что надежно держит в ежовых рукавицах всю школу, и вдруг – позор! Идеологическая диверсия! Скандал! Проверки и разборки! РОНО и райком, а то и выше! Как допустили? Как могли?! Куда смотрели! И все из-за этого поганца в белой рубашке, начитавшегося книжек, который теперь стоит, как памятник Павлику Морозову на пьедестале и ждет оваций!

Всю троицу исключили из школы на две недели. Невероятно, но именно это, кажется, и спасло меня от возмездия. Пончик ликовал. Две недели отдыха от ненавистной школы были достойной наградой. К тому же авторитет троицы среди падшей части улицы Народной вознесся на недостижимую высоту. Пострадали от власти как-никак. И даже получили срок. Пончик даже угостил меня бесплатно финской резиной и все допытывался, зачем я все это устроил? В самом деле – зачем?

Много лет спустя я читал про доносы, которые мои соотечественники в сталинское время писали друг на друга без всякого принуждения и часто даже без всякой выгоды. Это было что-то вроде жертвоприношения ненасытному в своей жестокости языческому божеству, знак верности и покорно-

сти его воле; это было сладострастное переживание раба, который любит своего насильника тем крепче, чем сильнее тот причиняет ему боль и ужас

Конечно, мой донос был публичен и требовал отваги и честности. Конечно, его можно легко назвать смелым поступком, и все же, и все же... Я хорошо помню, как в минуту, когда физкультурный зал наполнился звенящей тишиной и все взоры были прикованы к трем нарушителям, острое чувство, похожее на похоть, овладело мной. Сильное чувство. Нехорошее.

Никакой выгоды акт гражданского мужества не принес ни мне, ни моему отряду. Мы по-прежнему были изгоями, учителя по-прежнему нас побаивались и всячески отчуждали от серьезных дел.

В четвертом классе сменилась классная руководительница, новая, тоже Валентина, только Сергеевна, была умнее, образованнее и строже, к тому же коммунистка до мозга костей. К сожалению (а может быть и к счастью) тимуровский отряд к этому времени сдулся. Точнее окончательно выродилась сама его первоначальная идея. Бедные бабушки уже не торкали нашу совесть от слова совсем. Скорее мы воевали с ними за дворовые скамейки. Помогать ветеранам было скучно. Мы нашли всего лишь одного. Он хмуро открыл нам дверь, мы отдали, как и полагается, салют, спросили надо ли чего.

– А что можете? – спросил мужик недоверчиво.

– Можем сгонять в магазин, – из-за спины вякнул Матильда.

– За бутылкой что ль? – удивился мужик. – Это я и сам как-нибудь управлюсь. Двигайте отсюда, пацаны

На экраны вышел сериал «Семнадцать мгновений весны» и мгновенно наложил отпечаток на эстетику не только отечественного кинематографа, но и ребячьих игр. Тимуровский отряд мы переименовали. Теперь каждый из нас был членом ЛНЗП – «Ленинградский народный зеленый патруль». На каждого была составлена характеристика. Начиналась она так: «Истинный ленинградец. Характер нордический. К врагам природы беспощаден». Заканчивалась: «Не женат. Связей, порочащих его, нет. Детей нет». И подпись. Опять кровью.

Природе на Народной ничего не угрожало, но мы ее защищали. Опять же от Пончика и его команды. Они соорудили в зарослях пузыреплодника свой штаб, где играли в карты, курили и ругались матом. Мы решили, что пузыреплоднику грозит опасность и как-то поздним вечером разорили это разбойничье гнездо.

– Вы чего хотите? – искренне удивлялся Гердт – чего докопались? Вам что, места мало?

Чего мы хотели? Опять же, вопрос сложный. Отряд под новым названием тоже деградировал. Показательно, Тимка, отлученный за нарушение дисциплины и за предательство из отряда на два месяца, упрашивал меня принять его обратно

такими словами: «Микки, ну примите меня в свою банду!» От полной деградации наш отряд спасал лес. Просто так ходить в него было стыдно – как всегда, нужна была идея. Спа- сать лес от Пончика?

– Выроем яму на тропинке и сверху положим ветки и мох. – предложил на совете отряда Тимка. – Волчья яма на- зывается. Я читал в книжке.

– Вылезет, – неуверенно возражал Бобрик, – он же не волк. У него руки есть.

– А если кол врыть? Как на кол грохнется жопой – и руки не понадобятся! – защищал свой проект Тимка.

– У меня мамка в лес ходит, – тихо промолвил Макака – я, конечно, могу ее предупредить...

– Оставим дозорного. Будем меняться!

Но Тимку уже слушали только из вежливости. Яма, кол... Пончик, извивающийся от боли с колом в заднице – это было уж слишком. Даже если Пончик и не любил природу.

И тут меня осенило.

– Могилы!

Сгорбленные плечи распрямились. Я вскочил.

– Не поняли? Мы будем искать в лесу забытые могилы героев Великой Отечественной войны! Чтоб торжественно перезахоронить! У нас тут знаете какие бои шли? И танки! И артиллерия! Трупов полно!

Ребятам идея понравилась. Как всегда, только Китыч с его природной крестьянской трезвостью спросил: а как мы бу-

дем искать?

– Как, как! – воскликнул я с досады. – Не знаешь как?

– Не знаю, – чистосердечно признался Китыч.

– Увидишь!

В ближайшее воскресенье и приступили.

Дело было осенью, и мы забрались к черту на рога, дошли аж до «козлиного болота» – так назывались мягкие, зеленые мхи, которые были просто усеяны мелкими, круглыми кашками. Козлиными – решили мы, когда увидели в первый раз. Так и появилось название. Мхи пружинили под ногами, иногда чавкали. Тут всегда и всем становилось немножко грустно и немножко невмоготу. И птицы тут не пели, разве что вороны. Мелкие корявые сосенки украшали унылый пейзаж.

На меня снизошло вдохновение, выработанное годами командирской работы.

– Видите глубокую канаву? Спускаемся и смотрим. Земля с годами обсыпается. Вдруг выгянет кисть руки, или сапог, – тимуровцы вздрогнули и переглянулись. – Или череп. Там и будем копать.

– Чем? – спросил Китыч, ум которого оставался трезвым.

– Чем, чем! – воскликнул я с отчаяньем. – Экскаватором!

Ты найди сначала! Думаешь, тут черепа, как грибы растут?!

– Здесь линия обороны была. Вот тут наши стояли, а за канавой немцы, – вмешался Тимка. – Наши из пулеметов та-та-та!

– А как мы наших от немцев отличим? – неожиданно спросил Бобрик.

Вообще вопросы пошли конкретные, как и во всяком реальном деле.

Неожиданно блеснул умом Матильда.

– Рядом с головой каска должна быть. Наша со звездой, а фашистская со свастикой.

– наших сразу узнаем, – уверенно сказал Тимка. – По выражению лица. И автоматы у наших другие.

Черный ворон громко хрюкнул в сером небе, сообщая картине должный градус суровой, поэтической грусти: «Черный ворон, что ж ты вьешься...»

– Вперед! – скомандовал я.

Глубокая канава скрыла нас с головой. На дне плескалась черная торфяная жижа, по бокам торчали корни, которые лезли в лицо. Черепов было не видно. Китыч подергал за корни, копнул руками торф и песок – тщетно. Тимка пнул ногой корягу. Матильда тихо, словно себе, проговорил, что «тут могут быть и снаряды», и мы испуганно поджались, пытаясь выглянуть наружу. Бобрик первый вылез наружу, сказав, что «сверху видней». Китыч с радостью согласился. Он вскарабкался наверх и скоро я услышал его вопль:

– Нашел!!

Мы как птицы взлетели на бруствер. Сияющий Китыч держал в руках огромный боровик.

– Отставить развлечение! – крикнул я, сгорая от зависти. –

Мы не затем сюда пришли! Забыл?

– Я случайно, – сказал Китыч, прижимая гриб к груди, как ребенка, которого проклятый фашист хочет отнять. – Это же белый! Пригодится. Вдруг заблудимся?

Ребята молчали, но их сочувствие было явно на стороне Китыча.

– Ладно, черт с тобой, – махнул я рукой, – идем вдоль канавы и смотрим... Если попадется гриб – берем. Только учти, в нем может быть трупный яд.

– Да ладно? – недоверчиво протянул Китыч, – Времени-то сколько прошло. Уже все сгнило.

– А яд остался, – мстительно отвечал я, невольно любясь белым красавцем, который уже пошел по рукам с ахами и охами.

– Да и хрен с ним, – буркнул Кит фразу, которая тысячу раз спасала его в жизни от разных глупостей. – Батяка говорит – зараза к заразе не пристаает.

– Смотрим! Смотрим! – прикрикнул я.

Некоторое время мы еще добросовестно бросали взгляды на дно канавы, но потом сначала Матильда нашел подберезовик, а потом и Тимка красный, и тут дисциплина рухнула окончательно, потому что низы не хотели повиноваться, а верхи, то есть я, не только не могли, но и категорически не хотели повелевать. Собирали крепкие осенние боровики в куртки, завязав их узлом. То и дело кто-нибудь вопил на весь лес: «Нашел!» Остальные ревниво поворачивали го-

ловы. Наступала минута тишины. Надеялись, что гриб окажется червивым. «Чистый!» – звучал торжествующий приговор. «Ты шляпку-то посмотри?» – с надеждой спрашивал Китыч. «Не! Шляпка тоже чистая!». С удвоенным рвением мы рассыпались под деревьями. Сентябрьский холодный воздух, остро пахнувший увядающими осиновыми листьями и прогорклой торфяной сыростью, опьянял. В голове крутилась незамысловатая мелодия с глупыми словами: «Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Словно глупая свинья!» Встречался вдруг осыпавшийся и почерневший кустик черники на кочке с двумя-тремя сморщенными ягодами. Все собирались вокруг и благоговейно вкушали водянистые безвкусные ягоды, рассказывая друг другу, какие они сладкие и душистые. Потом Тимка обнаружил рябину и мы, как стая грачей, облепили бедное дерево, ободрав его дотла. День прояснился и березовые листочки, рассыпанные по земле, ярко заиграли желтизной. Счастливые, раскрасневшиеся, с блестящими глазами, мы повалились, наконец, под старой березой пересчитать добычу. Больше всех набрал Матильда. Он любовно поглаживал желтопузый моховик, снимая с его влажной кожи мелкие иголки и желтые листики, и что-то напевал себе под нос. Про трупный яд не вспоминал никто. Ну, ляпнул командир лишнее, ну и что? Сам командир, то есть я, испытывал некое томление совести от того, что священному долгу мы легко предпочли праздное, хотя и приятное занятие. Чтоб хоть как-то облегчить душу, я сказал, упав на спину и

глядя в прояснившееся голубое небо:

– Ладно. В следующий раз все тщательней проверим. Возьмем лопатки...

– И корзины надо взять, – с энтузиазмом откликнулся Китыч.

– А корзины-то тебе зачем?

– А как же. Куда ты будешь складывать... черепа, кости? В руках понесешь? И термос надо захватить. И пожрать.

– Далековато забрались, – недовольно произнес кто-то. – В следующий раз поближе будем искать. Тут бои везде были.

Мы замолчали. Я пытался представить себе, как под этой самой березой лежу с винтовкой лет тридцать назад, а сверху в атаку заходит с ревом вражеский самолет. Страшно!

– Матильда, – строго сказал я, выпрямившись. – Ты почему в сочинении написал, что хочешь стать шофером?

– А что? – спросил Матильда все еще не отрывая взгляд от своих сокровищ.

– Ну как что? Ты – тимуровец! Вот я буду шпионов ловить. Буду работать в КГБ. Бобрик капитаном станет, дальнего плаванья. Китыч танкистом. Тимка космонавтом. А ты – шофером.

– Так у меня одни тройки в четверти. Сам же знаешь... Куда мне в космонавты.

– Ну, в пожарники можно, – Тимка пришел на помощь. – У меня старший брат на одни двойки учился, а потом пожарником стал. На Севере сейчас работает. В тюрьме. Три

года осталось...

– Ладно, – согласился Матильда, – буду пожарником. Давайте костер жечь?

– А спички где?

– Зачем спички. Есть способ, – оживился Тимка, – собираем мох, потом кладем его на голову Матильде и – бац по голове поленом! У него искры из глаз посыплются, а тут мы с Китычем будем их раздувать...

Шутка была старая, но развеселила всех ужасно, в том числе и Матильду.

Вернулись домой уже в сумерки. Поздно вечером, на кухне, я записал в учетную тетрадь отряда, в графе «Планы»: «Поиск останков бойцов советской армии». И в графе «Выполнено/не выполнено» жирно вывел: «Выполнено». Чуть выше в графе «Планы» значилось: «Научить Матильду арифметике», а в графе «Выполнено/не выполнено»: «Тупой, как дерево». Тетрадка была худенькая, все подвиги отряда умещались на одной страничке, из них только один заслуживал уважения: «Помогли ветерану войны. Принесли из магазина пачку папирос». Этот подвиг я помнил хорошо. Всклопоченный дядька из второй парадной, высунулся из окна первого этажа и попросил нас с Тимкой сбегать в магазин за папиросами. Сам он не мог по причине сильного похмелья. В отделе мне не хотели продавать папиросы, пришлось на пару с Тимкой придумывать историю с отцом, который приболел и попросил меня сбегать в магазин. Пачка

«Беломора» жгла руки. На скамейке под кустами мы аккуратно взломали ее и вытащили одну папиросу. Тут нас и нашел Пончик, который «курить, пить и говорить начал одновременно». У него были собственные сигареты, и мы задымили по очереди с ожесточенными лицами отпетых хулиганов, пока Пончик не закричал: «Да вы же не в затыг! Так не считается!». Ну, я и попробовал «в затыг».

– Надо было притвориться! – выговаривал мне через полчаса Тимка, поддерживая за локоть – Ты как в кусты упал – Пончик и сдригнул, гад. А ты блевал, как мой батя в Новый год. На всю улицу слышно было!

Хмурый «ветеран» потряс пачкой у уха, ухмыльнулся.

– Отщипнули? Ни-ни-ни! Я не в обиде! Спасибо, хлопцы! Это, значит, вас в школе теперь так вот учат? Ну-ну!

Поиски останков солдат пришлось отложить. Пошли дожди, а когда они закончились, сошли и грибы.

Но лес был хорош в любое время года!

Зимой наш он наполнялся взрослыми лыжниками и детьми. Прокладывалась лыжня аж до ближайшей деревеньки Новосергеевки, которая стояла в верховьях речки Оккервиль. До деревеньки добирались только самые выносливые на хороших лыжах: молодые мужики в роскошных свитерах и брюках, заправленных в шерстяные гетры или носки. Они попеременно взмахивали деревянными лыжами, громко шлепали ими о лыжню, мощно толкались бамбуковыми палками и с криком: «Посторонись!» – исчезали вдали в об-

лаке снежной пыли, оставляя на обочинах недовольных дохляков, стариков и женщин. Я любил лыжи, хотя и не знал еще, что крепко свяжу с ними свою дальнейшую жизнь. Зимний лес очаровывал меня, особенно в сумерках, а если на небе была луна и высыпали звезды, то душа наполнялась каким-то тихим, смиренным восторгом и благодарностью Тому, Кто это все создал. В такие минуты легко было поверить и в добрых эльфов, и в Бабу Ягу, и в Деда Мороза и в коммунизм. Мой верный друг Китыч сопровождал меня в зимних прогулках. Разумеется, и для этих прогулок была продумана надежная идеологическая база: я, наверное, на всю жизнь был изувечен должностью командира тимуровского отряда, ничего не делал просто так! На этот раз мы изучали следы зверей нашего леса и заносили их рисунки в специальную тетрадь. Зачем? Черт его знает... Наверное, чтоб потом защищать от браконьеров. В тетрадке уже были (откуда?!) следы зайца, куницы, лисы, белки и кабана, потом появилась россомаха и косуля; не хватало волка и однажды мы отправились в лес с однозначным намерением добыть его следы.

Этот день я запомнил на всю жизнь. Особый день. В такие дни в детской душе рождается поэт или мыслитель. А если не рождается – беда! Бракованный вышел человек. Близким в тягость и себе в горе.

Ходили мы по заснеженным полям и перелескам долго. Устали. Уже давно перестали переговариваться и только пыхтели на весь лес сопливыми носами. Забрели в дебри.

Незаметно догорало лимонное зарево на западном небосклоне, темно-синее небо расчертили серебряные дорожки самолетов, крупные звезды замерцали, когда мы присели отдохнуть на толстое поваленное дерево, соскоблив с него ножом ледяную корку и постелив еловые ветки. Мороз усилился, воздух был неподвижен и пах хвоей.

– И все-таки мне кажется, что это был волк, – сказал я. – Окуда здесь взяться собаке? И скакал он в глубь леса, а не в город.

– Маленькие больно...

– Молодой. И глупый. Увидел, что не туда попал и – деру.

Китыч промолчал. У него в кармане был блокнот и карандаш. Он и срисовывал следы, которые мы потом дома пытались идентифицировать.

– Здесь зайцев полно. А где зайцы – там и волки.

– Не так: где елки – там и волки.

– Волки теперь на людей не нападают, – сказал я с притворной уверенностью.

– Да? – вежливо отозвался Китыч.

– Да. А ты думаешь, нападают? Чего молчишь? Кит?!

– Не нападают... Они старых едят и больных этих, лосей... И детенышей, – добавил он тихо.

Вечно он... со своей правдой.

Мы вглядывались в темно-фиолетовую муть, которая вкрадчиво подступала со всех сторон, и вдруг увидели, как из-за деревьев всплывает огромное оранжевое светило.

– Что это? – робко спросил Китыч.

Я молчал, открыв рот. Ленинград, Валентина Сергеевна, школьные линейки, пионерские клятвы, уроки, оценки, отодвинулись куда-то далеко и мгновенно обесценились. Вечность осязаемо, зримо смотрела нам в глаза жутким застывшим взглядом, и в этом взгляде не было сочувствия, не было жалости, но было только холодное равнодушие.

– Микки, – дрогнувшим голосом спросил мой верный товарищ – А бабушка говорит, что Бог есть. А вдруг есть?

В другое время и в другом месте я бы всыпал ему как следует за такие слова, но теперь молчал, раздавленный царственным величием звездной бездны. Больше того, я почувствовал, что слова друга уместны. О чем еще можно было говорить в такую минуту?

– Я на всякий случай прошу Его, чтоб бабушка не умира-
ла. Мы с ней в одной кровати спим, знаешь, как страшно?
Проснешься, а рядом она... мертвая.

+

Далекий позывной классной руководительницы Валенти-
ны Сергеевны откликнулся в моей душе:

– Мы все умрем. Это нормально.

Едва сказав это, я понял, что сморозил глупость. Ничего себе «нормально»! Самые обычные слова, имеющие смысл в школе, здесь, один на один с звездным небом, превращались в какую-то чепуху.

– Нормально, – пробормотал Китыч, – ничего себе нор-

мально. Я не хочу умирать. Зачем тогда родился? Страшно-то как.

– Страшно! – согласился я, и Валентина Сергеевна больше в разговор не встревала.

– А знаешь что? Я думаю, что мы не умрем!

– Как это?

– Да так. Не умрем и все. Состаримся, а врачи придут и скажут: «Ну, давайте укольчик сделаем и вы опять в детей превратитесь».

– А что, есть такой укольчик?

– Будет! – убежденно сказал Китыч. – Придумают! Кому хочется умирать? Нам еще на Луну надо слетать, на Венеру, а там знаешь как здорово? Читал Герберта Уэлса?

– Там же воздуха нет.

– Будет! – убежденно сказал Кит – Научимся добывать. Из руды. И в воде его до фига.

– Ракету надо делать. Самим. На карбиде. Помнишь, как хомьяка запускали в космос?

– Помню, – неохотно и после паузы откликнулся Китыч. – Мне потом так попало... Я родичей целый год упрашивал купить: или рыбок или хомьяка. Папка хомьяка купил. Такой умный был, как человек! Тимкой звали. Все понимал. Когда в ракету его запихивали, он меня за палец укусил. До крови.

– Карбида много положили. Так бывает. Ты что думаешь, Белка и Стрелка тоже не рисковали? Ради науки. А как иначе? Ведь нам потом самим лететь!

– Только я без скафандра не полечу!

– Ясное дело! Я и сам не полечу без скафандра. И еда нужна. В тубиках. А на Луне чего-нибудь найдем. Грибы какие-нибудь съедобные, фрукты... Главное долететь.

Мы задумались. Я вспомнил мученика науки рыжего хомячка Тимку, который жил у Китыча в трехлитровой банке. Мы тогда запустили свой новый секретный, космический проект – ракету на карбидном топливе. Откуда мы брали этот карбид, уже не помню. Кажется, на соседней стройке. Соединяясь с водой карбид выделял вонючую энергию вместе с газом. Примитивные ракеты представляли из себя простые жестяные банки, которые загружались этим топливом и взлетали в небо с оглушительным хлопком. Наша новая ракета была устроена сложнее: в ней был отсек для экипажа в виде такой же банки, но закрытой колпаком, чтоб экипаж не сбежал. Экипаж, то есть Тимку, мы загружали в капсулу с большим трудом. Тимка явно не горел желанием совершать великий подвиг и даже покусал Китыча, но в конце концов смирился и мы запустили двигатель. Космодром находился сразу за помойкой, там, где местные пацаны любили жечь костры из деревянных ящиков, которые они тырили на задворках продовольственных магазинов. Провожающих собралось тьма. Несмотря на секретность, уже многие знали про наши планы и выстроились полукольцом вокруг ракетной площадки. Честь главного конструктора выпала мне. Раздался оглушительный взрыв, и ракета из-под банки говя-

жий тушенки взмыла в небеса под восхищенные крики провожающих. Вернулась она скоро. Космонавт сдох от перегрузки. Его тушку мы похоронили на Алее Славы тут же у костра. Китыч даже всплакнул. Вечером он всплакнул уже сильно, когда отец учил его ремнем уму-разуму.

Следующая ракета была предназначена уже для нас. В космос должен был полететь сначала я и Бобрик. К сожалению, на стройке закончился карбид, и мы взяли паузу, а потом пришли новые дела и новые проекты и космическая программа забуксовала... Так бывает.

...Ночь между тем наступала. Черные деревья распрямились и раскинули корявые руки. Выпуклости снега заискрились серебряной крошкой, между ними темнели пролежни мрака. В тишине временами раздавалось кряхтение старого дерева и звонким скрипучим треском отвечало ему молодое. С неба доносился едва слышимый гул реактивного самолета, который уже должно быть летел над Балтийским морем.

Луна поднималась над землею, перекрашиваясь из оранжевого в серебряный цвет и наполняя лес своим волшебным морозным дыханием.

– Кто здесь? – спрашивал лес безмолвно. – Зачем пришли?

– Мне страшно – дрогнувшим голосом произнес Китыч.

– Эх, ты! – сказал я не очень уверенно. – Чего бояться? Наслушался бабкиных сказок про Бабу Ягу. И леших нет.

– А третли? Забыл? Камни, которые оживают ночью и охо-

тятся за одинокими путниками? Пончик рассказывал, что сам видел.

– Где?!

– Где-то тут, в кустах. Они с Рыжим за грибами ходили прошлой осенью. Ходят, ходят, а грибов нет! И вдруг, Пончик рассказывал, они поняли, что ходят по кругу. Они туда! Сюда! А вырваться из круга не могут. И вдруг темно сделалось! Пончик смотрит – стоит! Огромный такой, каменный, черный, и глаза горят. Пончик с Андрюхой Рыжим побежали и слышат – сзади кусты так и ломаются. Они как припустили! На второй космической скорости! На следующий день они с Андрюхой Рыжим пришли, и видят – следы! Знаешь, как лопатой ямки роют. Глубокие! Даже водой уже наполнились.

– Врет он все, твой Пончик. Слушай, сам посуди: третли ведь из камней превращаются в чудовищ?

– Ну?

– А где ты у нас в лесу видел большие камни? Сплошные мхи, да болотины.

Китыч задумался.

– А у Заячьей Горки?! Забыл? Там валун метра три шириной. Весь мхом порос, забыл?

Я вспомнил это местечко. Валун действительно был. Зеленый от мха.

– Ты думаешь, они и зимой оживают?

– А что им...

– Может они как медведи зимой в спячку впадают. Чего

им тут делать зимой? Никого нет.

Китыч промолчал.

– И я вот что еще подумал, Кит. А нафига каменюке еда? Он же камень! Лежи себе под снегом. Смотри на звезды. Ни холодно, ни жарко. Чего ходить-то?

– Скучно небось. Попробуй ты вот так лечь, хотя бы на два дня. Во-первых замерзнешь, а во-вторых, надоест на звезды-то смотреть. А если пасмурно? А так хоть какое-то развлечение.

– Да уж... развлечение... Они что же, глотают человек? У них рот есть?

– Ну, а как же! И рот, и глаза. Они же видят. Но Пончик вроде говорил, что они не едят человека, а просто разрывают его напополам.

– А потом?

– Что?

– Выбрасывают?

– Откуда я знаю? Может быть, прячут.

Мы замолчали, представляя как третль зарывает половинки человека в снег.

– Уж лучше леший, – вымолвил, наконец, Китыч, передрнув плечами.

– Хрен редьки не слаще.

– Не скажи. Бабка рассказывала: они только голову морочат, пугают человека. Чтоб он заблудился и замерз. Но не нападают. Силенок, наверное, маловато. А выглядят они зна-

ешь как?

– Откуда?

– Вот, корягу возьми. Или лучше старый пень, и глаза ему нарисуй – вот и будет леший.

– Топором ему по башке! Слушай, а если третль встретится с лешим? Кто победит?

– Конечно третль. Он же из камня. Он просто разорвет лешего, как картонку. Ты что? Третль... это серьезный... фрукт.

Луна внимательно рассматривала лес, поднимаясь выше и выше. Мы с Китычем сидели, посеребренные ее светом, как два нахохлившихся воробья и я подумал о том, что нас издалека видно.

– Ты как думаешь, Кит, третли хорошо видят? Или они по запаху ищут добычу?

– У Пончика спроси, – недовольно ответил Кит. – Откуда я знаю?

– Слушай, Кит, мы же пионеры! Нас он не тронет. Ученые доказали... Валентина Сергеевна говорила...

В этот момент в чаще отчетливо хрустнула ветка. Мы вздрогнули, схватившись за руки и задрожав.

– Слышал?

– Ветка хрустнула.

– А чего она... хрустнула? Кит? А вон там – видишь?

– Где?

– Вон, вон там! Это что? Темное такое! У елки!

Вновь треснула ветка и отчетливо послышался тяжелый шаг и какое-то глухое кряхтение.

– Глаза! Смотри – глаза! – вскричал Кит, указывая рукой в ночной мрак.

– Где глаза?!

– Вон! Красные! Видишь?! Он!!

– Вижу! Идет! К нам!

– Бежим!

Мы не бежали, мы летели по твердой лыжне, как бесплотные духи, наперегонки, повизгивая и хныкая от ужаса, задыхаясь, пока поредевший лес не накрыло мутно-оранжевое зарево города и стали отчетливо слышны трамвайные трели и гудение автобусов. Тогда только мы упали на колени в снег и оглянулись назад. Никого! Над лесом нависало черное звездное небо, серебряная луна сквозила сквозь макушки деревьев.

– Ты его видел? – отдышавшись, наконец вымолвил я.

– Видел, конечно. Только смутно, как в тумане! Метра три ростом, квадратный, а глаза такие тускло-красные и смотрит, смотрит... Видать, только проснулся, не очухался еще, а то бы мы не убежали. А ты что, не видел?

– Видел, но так... чуть-чуть. А когда мы побежали – слышу сзади такой топот тяжелый: тук, тук! А потом дерево как треснет! И такое, знаешь, ворчание. Низко так: у-у-у=у... Как будто недоволен. Ну, думаю – догонит. Как нажал!

– Да ты что? А я топота не слышал. Вообще не помню, как

бежали... Смотри, а блокнот не уронил! С волчьими следами.

– Со следами... Слушай, а ведь надо бы и его следы зарисовать?

– Обалдел? Да я лучше сдохну тут, под кустом!

Все-таки бес противоречия существует. И он очень силен!

Во мне проснулся командир тимуровского отряда. Гайдар позвал к подвигу. Валентина Сергеевна верила – я смогу!

Я нахмурился, поправил шапку, шагнул раз, шагнул два... Лес приблизился чуть-чуть, но сразу сделалось как будто тише, тьма надвинулась и в ней почувствовалось неуловимое перемещение каких-то недобрых сил, которые боялись света и которых пугал город с его огнями, шумом и машинами. Из мрака за мной следил чей-то взгляд, он ждал, он звал – ближе, еще ближе...

– Микки!!! – раздался сзади отчаянный крик друга. – Вернись! С ума сошел! Ты все равно ничего не разглядишь в темноте! Завтра днем сходим и зарисуем! Я не пойду сейчас все равно!

Я и сам бы не пошел, но Кит, как всегда, спас мою репутацию – я словно бы нехотя возвратился.

– Как будто тянет туда что-то, представляешь?

– Тянет! – передразнил Кит. – Так затянет, что не выберешься! Это же он зовет тебя! Он!! Черт! Как же я сразу не понял! Посмотри на луну!

– Ну и что? Луна...

– Полнолуние! Ты что, не знал? Бабушка говорила, что в полнолуние вся нечисть в лесу оживает. Особенно оборотни.

– Да ты что?

– Вот тебе и что! Как же я забыл! То-то чувствовал – что-то не то, что-то не то в лесу! Погляди, какая поганка!

Луна уже поднялась над лесом и покрывала все вокруг своим бесстрастным серебряным сиянием.

– Два-три дня лучше вообще не рыпаться! – строго внушал Кит. – Все равно ничего не выйдет. Бабушка рассказывала, что оборотни еще страшнее леших. Лешие пугают, а оборотни кровь пьют.

– Тьфу ты! Пошли отсюда.

– Пошли! – с радостью согласился Китыч.

До самого дома мы вспоминали пережитый ужас и, как полагается скальдам, создавали новую главу народного эпоса: наш третль обретал зримые черты. Он был трехметрового роста, серого цвета, бегал не быстро и неловко, и издавал неприятные звуки и говорил глухо, как из-под земли, на непонятном языке. Кит предположил даже, что на норвежском, поскольку третли родом из Норвегии, а к нам попали вместе с викингами тыщу лет назад.

Во дворе мы нашли Пончика, который изнывал от одиночества. Он угостил нас жевательной резинкой и похвастался пачкой «Ротманса», которая бесстыже пахла за границей. Мы рассказали Пончику про третля и он ничуть не удивился. Сам Пончик видел-перевидел всякого и мог с ходу сочинить

такое, что сказочник Андерсен отдыхает. Он только спросил, на двух лапах или на четырех передвигался третль. Тут мы с Китычем стали путаться в показаниях, но Пончик и здесь проявил мудрость:

– Да, ладно. Главное живы остались. Видать, еще не проснулся. В полночь ни за что бы не убежали. Он оленя может догнать, если голоден

– А чего ему в Норвегии не сидится?

– Зачем... Там людей мало осталось. Кушать-то хочется....

Пончик распечатал заграничную пачку с золотым тиснением, достал волшебную сигарету и с наслаждением закурил.

– Витька Яковлев по пятерке толкает, а есть еще ментоловые. Эти вообще полный кайф.

Здесь, во дворе, третль и вовсе сделался плюшевой игрушкой. Мы с Китычем затаились по разу и даже не закашлялись, как после нашего «Беломора». Дым был волшебный, мягкий, заграничный – от него веяло ароматом дорогих кафе и баров, которые мы видели в кино. Сразу хотелось развалиться в кресле, закинув нога за ногу, и заговорить в нос, с акцентом.

На следующий день мы занесли в тетрадь отряда рисунок новых следов из нашего леса, под которыми осторожно написали, что они похожи на волчьи. Про каменного гостя я рассказал бойцам отряда трезво, как полагается советскому

ученому – видели в темноте черную фигуру, похожа на гориллу с красными глазами. Все поверили легко, и я бы даже сказал легкомысленно – Матильда ковырял в носу, а Темка с Бобриком пихались и хихикали. А ведь речь шла, на минуточку, об открытии мирового значения! Постановили голосованием, что факт нужно проверить. Как? Это не обсуждали, а я и не настаивал.

Время подвигов подходило к концу. Отряд в полном составе собирался все реже, особенно после того, как Бобрик стал заниматься плаванием в бассейне «Спартак» у Троицкого Поля. Тимка все чаще проявлял малодушие и откровенно не подчинялся моим приказам. Матильда медленно и неуклонно скатывался в гопоту.

Под конец отряд, то есть его остатки, окончательно разложился, измельчал и занимался всякой ерундой. Идея выдохлась. Мир со своими соблазнами поглотил нас. Одно время на Народной была популярна такая забава. Называлась она у нас во дворе «Стучалка». Нужна была леска, на ее конце закреплялся кусочек смолы. К леске, сантиметрах в двадцати от кусочка смолы, крепился короткий поводок с гайкой на конце. Поздним вечером, когда двор погружался во тьму, кто-нибудь посмелее и повыше подкрадывался к окну на первом этаже и, растопив смолу горячей спичкой, приклеивал комочек к стеклу. Зрители ждали в кустах. Затем начинался концерт. Заводила натягивал леску и резко отпускал ее – гайка громко стучала по стеклу. Еще раз, и еще раз,

и еще! Окно распахивалось, хозяин (хозяйка) высовывались наружу. Никого! Но только затворялась окно – стук возобновлялся! Это уже не шутки! Свет в комнате то вспыхивал, то гас; фигуры хозяев мелькали в темноте, прилипали к окну, выглядывали осторожно из-за занавески, высматривая злоумышленника – тщетно! Леску в темноте разглядеть было невозможно, гайка свисала ниже подоконника. Можно себе представить чувства жильцов! Мужики, высунувшись наполовину в открытое окно, матерились, вертели башкой, ждали, когда застучит. Не стучало. Стоять у открытого окна было холодно. Но стоило его прикрыть... Мы просто угорали. Смеялись так, что на карачках расползались по газону в разные стороны. Матильда однажды даже описался.

Несколько раз хозяин выскакивал во двор и бегал под окнами, бормоча проклятья. В таких случаях леску сильно дергали и сворачивали ее в клубок. Можно было, конечно, догадаться, что стайка мальчишек на скамейке причастна к хулиганству, но доказать... «Что вы, дяденька, мы просто сидим, чирикаем, никого не видели...»

Эта игра была нашим собственным изобретением, и мы гордились ею. Были шалости и попроще. На углу дома привязывалась на уровне ног веревка, к которой крепилась дубина. Прохожий, сворачивая, упирался ногами в веревку, и дубина падала ему на плечо. Один раз пожилой дядька во время заметил веревку, и, склонившись, дернул ее на всякий случай. Дубина огрела его по затылку. Мы наблюдали за

этим из кустов. Я чуть не умер от смеха. Правда.

Наконец, кошелек. К нему привязывалась нитка, и он просто валялся на асфальте. Сергеев даже специально нарисовал трешку, чтоб торчала из кошелька для правдоподобия. Прохожие нагибались – кошелек уползал. Смешно было и прохожим и нам. Правда, однажды бабулька так увлеклась, что пошла за кошельком, не разгибаясь, пока не наткнулась на нас в кустах.

Короче, дело Мишки Квакина оказалось живучим и побеждало!

Вспоминая детство, отрочество, юность, хочу еще и еще раз признаться в любви к своему лесу. Лес спасал меня неоднократно! Без леса Народная была бы заурядной новостройкой 60-х годов.

Лес присутствовал в жизни нашей улицы так же естественно и ежедневно, как бывает где-нибудь в деревне. У нас на кухне, рядом с плитой, каждую осень стояло ведро с солеными сыроежками и груздями. На чердаке, издавая восхитительный резкий запах, томились в холщевых мешках сушеные подберезовики и белые. Черничное варенье хранилось в запечатанных трехлитровых банках. Все из нашего леса. Картошку, капусту, морковь, несмотря на дешевизну, приносили с колхозных полей. Сходить в лес для жителя нашего двора было столь же естественно, как сходить в кино жителю центра.

Где он заканчивался – никто не знал. Каждый пацан любил соврать, что забрался как-то раз с папой (дядей, старшим братом) в невероятную глушь, где сосны были до неба, а грибы какой-то фантастической величины. Поговаривали, что он упирался в самый Ледовитый океан.

После войны здешние места были полями, изрезанными окопами и траншеями; повсюду остались блиндажи и доты; немало было и безымянных могил. Потом началось великое сталинское озеленение страны и поля покрыли хвойные посадки. По краям сами собой выросли березовые рощицы и осиновые перелески. К 70-м годам молодой лес раскинулся на многие сотни гектаров от Народной улицы до Ладоги. Весной, там, где на заболоченной почве росли непроходимые кусты черемухи, ракиты, вербы, ивняка, собирались несметные тучи мелких пташек и вся округа буквально раскалывалась и захлебывалась от вычурных трелей, пиликания, чмокания, ухания, свиста, чириканья этой армии голодных и влюбленных, ликующих посланцев Господа Бога, прославляющих Его, кто как мог. «Мы живы! – радостно пищали они. – Нам очень хорошо! Спасибо тебе, Отец! Наши черемухи просто великолепны, мошки и червячки очень вкусные, а в чистом, синем небе так приятно летать!». А деревья трепетали и млели в нежных прикосновениях солнечного света, наполняя все вокруг своим волшебным ароматом.

За Народной, там, где сейчас находится Мурманский путепровод, в 70-е годы располагалась деревушка Сосновка. Ее

ошметки по обеим сторонам шоссе сохранились: древние деревянные избы закрылись высокими заборами и даже подают признаки жизни струйками дыма из печных труб.

В моем детстве деревушку надвое разделяла бетонка. За ней начиналась тропинка, которая пряталась в заболоченный кустарник. Позже, влюбившись в повесть «Собака Баскервилей», мы с Китом назовем это местечко Гримпенской трясиной. В мае тут наступал тихий ужас. Тропинка через каждые пятьдесят метров ныряла в глубокую лужу. Сапоги не спасали, и пацаны снимали их в особо глубоких местах. В этих лужах, помимо пиявок и лягух, водились тысячи мелких рыбок, которых ребяшня называла «кобздой». Казалось, эти мелкие, пронырливые существа состояли из одной головы и шипа на спине, который, впиваясь, причинял жгучую боль. Кит уверял, что «кобзду» не едят даже прожорливые чайки. Миллионы лягушек вокруг наполняли воздух тяжелыми сладострастными стенаниями и мелкие канавы вспучивались от склизкой лягушачьей икры. Чуть позже из нее вылуплялись полчища головастиков, которых мы ловили в стеклянные банки и ставили их дома на подоконники, чтоб наблюдать, как они превращаются в лягушек.

Где-то через километр лужи исчезали, лесная тропинка укреплялась. По обеим ее сторонам, расталкивая друг друга, разворачивались вверх и вширь сныть и крапива, лопухи и папоротники. В зеленом полумраке кустов из травы высывались ослепительно-желтые головки купавы, сообща

всем лесным жителям, что весна подходит к концу и пора заканчивать размножаться. Деревья мужали. Встречались толстые березы двадцати метров росту; сквозь частокол белых и серых стволов можно было увидеть могучие пагоды темно-зеленых елей, украшенных светло-салатными кисточками. Подлесок редел. Мягкий, изумрудный мох сменял буйные травы. На нем, словно причудливая инкрустация, лежали черные сосновые шишки. Город смолкал за спиной. Смолкали и ребячьи речи. Невольно приходили думы про злых волков и медведей. Однажды мы с Китычем встретили даже молодую красивую ведьму. Она гуляла с овчаркой и ей не понравилось, как дерзко мы на нее посмотрели. Через пять минут мы сидели с Китом на дереве, поджимая ноги – это когда овчарка пыталась до них допрыгнуть, а ведьма умирала от хохота.

– Называется, дай бабам власть, – сказал Китыч, когда ведьма ушла, а мы спустились на землю. – Так батя мой говорит.

Я про себя тогда подумал: можно и дать. Только без собаки.

Милый, родной мой лес. Его пощадил генеральный план развития города, он теперь вырос вполне и местами даже одряхлел. Я много повидал на своем веку видов – от полярного круга до экватора, от Ирландского моря до Японии и Калифорнии, но мой родной лес всегда оставался для меня самым красивым, самым заветным местом на земле.

Глава 7. Девчонки

Бесстыжие и нахальные девчонки сопровождали меня всю жизнь. Еще в детском садике я воевал с черноглазой и черноволосой бестией по имени Алла из-за ночного горшка – до слез, до драки. Горшок был как горшок, а вот однако же... Нянечки разнимали нас, родители вечером стыдили, поставив лицом к лицу, уговаривали не ссориться – тщетно. Нас заклинило. Горшки, насколько я помню, стояли в отдельном помещении, их было не меньше дюжины, но мы с Аллой умудрялись находить свой единственный и за обладание им бились насмерть. Похоже, это была моя первая любовь. Такая же бестолковая и горячая, как и все остальные. С девчонками у меня всегда было непросто.

Какие-то они были... дуры. Нет, правда. Ты с ними, как с равными, по-хорошему, по-честному, а они возьмут, да наядбедничают учительнице, или родителям, да еще с удовольствием! Вот это уже совсем не укладывалось в голове. Один раз мы даже чуть было не приняли в отряд двух девчонок из нашего класса. Они умело делали вид, что им нравится романтика подвалов и крыш, что они умеют хранить тайну и мечтают, как и мы, совершить подвиг... И вдруг обнаружилось, что они просто влюблены в Бобрика и ради него терпят всю эту дурацкую повинность! Прокололись предатель-

ницы чисто девчачьим образом – оставили в секретном шпионском тайнике записку. А в ней – телячьи нежности про какие-то там необыкновенные глаза и прочая мура, стыдно пересказывать. Представляю, что подумал бы шпион Джон, если б первый обнаружил записку! Что в КГБ решили над ним поиздеваться?! Вообще-то тайник обычно проверял Бобрик, но случайно Матильда первый засунул руку в норку, прокопанную в песке, тут все и вылезло... Бобрика я отчитал перед всем отрядом за моральную распущенность, за потерю бдительности, а девчонок мы с позором выгнали, только они тут же наплели взрослым, что мы бандиты и дураки, и бегаем по подвалам с ножами и бомбами, и хотим взорвать дом. После этого, на собрании отряда, мы приняли Постановление, что девочки являются низшей расой и не подлежат мобилизации в наши ряды.

Девчонки не особенно и жаждали быть мобилизованными. Они жили в своем мире и нам туда вход был запрещен.

Как-то раз я обнаружил дневник своей старшей сестры, которая училась в пятом классе.

...Толстая клеенчатая тетрадь с наклеенной переводной картинкой какой-то птицы, была неумело и наспех запрятана между учебников. Переводные картинки (кажется, в основном из ГДР) тогда были в моде; ими украшен был каждый второй портфель в школе. Больше всего было Гойко Митичей, но это у пацанов, у девчонок – смешные мульташные рожицы, красавицы, цветочки... Сразу видно было, что

дневник выполнен в некоем каноне. Засохшие цветы между страницами, рисунки прекрасных женских профилей под копирку, простодушно-сентиментальные стихи неизвестных авторов про несчастную любовь, которые кочевали из одной тетрадки в другую; мудрые изречения, вроде: «Мы в ответе за тех, кого приучили»; выпретенные исповеди безымянного сердца; тексты популярных дворовых песен – это был целый девчачий мир той поры, скрытый от школы и родителей, своеобразный интернет, который передавался из рук в руки. Там устанавливались некие эстетические и моральные нормы девчачьего мировоззрения, там хранились тайны, которые открывались по первому зову, там девичье сердце могло найти долгожданное понимание и отраду. Ничего подобного у пацанов не было. И слава Богу!

Я полистал тетрадь без всяких угрызений совести и отбросил ее с отвращением. Чуждый мир!

Тут надо оговориться, что сексуальное воспитание на Народной улице в те времена могло покалечить даже самую здоровую нравственно и психически натуру! Начнем с того, что в моей семье тема была под полным запретом. Как-то я спросил отца, который покойно лежал на диване с газетой, что такое любовь. Надо было его видеть.

– Зачем тебе? – спросил он испуганно.

– Так... все говорят.

Отец сел, беспомощно огляделся, отыскивая ногами тапочки на полу, сложил газету. Он был в полном смятении.

Интересно, что я предвидел нечто подобное и поэтому догадался не спрашивать его про то, откуда берутся дети. Слово любовь мы все слышали по сто раз на дню.

– Ну вот, предположим, есть у вас в классе девочка...

– Ну, есть...

– Ну, не знаю, как объяснить! – отец откинул газету и вскочил. – Когда вырастишь – сам поймешь!

– Пап, я хотел только...

– Нельзя. Потом, потом! Ты уроки уже выучил? Да? Что-то я не видел.

В школе господствовала официальная концепция, что дети появляются ниоткуда и непонятно как. Вообще, сам интерес к этой теме считался признаком опасной психической болезни. Особо любопытные могли получить клеймо неполноценных. И доказывай потом, что ты мечтаешь стать космонавтом!

Другое дело во дворе. Благодаря нашему незаменимому просветителю темных сторон бытия – Пончику, мы уже в первом классе рассматривали на скамейке цветные шведские порно-журналы. Откуда их брал Пончик, до сих пор не могу понять. Столпившись в круг, сопя и тихо переругиваясь, мы рассматривали очередную шведскую вагину широко раскрытыми глазами и в наших мозгах и душах медленно и неуклонно происходила некая химическая реакция преждевременного взросления с неизбежными в дальнейшими осложнениями. Дивный детский мир стремительно стано-

вился падшим. Это когда ты смотришь на строгую небожительницу Валентину Сергеевну, которая взволнованно рассказывает о подвигах мальчишек-партизан в годы Великой Отечественной войны, а сам представляешь, что она вытворяет ночью в постели с мужем. Бр-р-р...

После этих просмотров мы уже не верили в Деда Мороза и Снегурочку; вообще меньше стали верить миру взрослых.

Пацаны постарше придумали забаву. Голую блондинку во весь лист на шикарнейшей мелованной шведской бумаге они приклеили к фонарному столбу и, спрятавшись в кустах, наблюдали, как будут реагировать прохожие. Усталые после работы мужики, как правило, смотрели себе под ноги. Женщины останавливались, вздрагивали и торопливо удалялись, бормоча что-то под нос. Одна старуха содрала плакат и разорвала бранью.

– Охальники проклятые! Чтоб вы сдохли!

Мы угорали.

Как-то в воскресенье вечером я заметил, как из парадной, словно из парной, выскакивает раскрасневшаяся мелюзга, и рассыпается по ближайшим кустам.

– Хочешь посмотреть? – спросил Сергеев, оценивая меня строгим взглядом. – Только молчок! Не вздумай ляпнуть кому-нибудь!

Мы зашли. За дверью стояла Любка Петухова. Сергеев кивнул на меня головой.

– Покажи!

Любка задрала платье, стянула трусы и присела, раздвинув ноги. Я вывалился из парадной, давясь от хохота – настолько нелепой, смешной показалась мне ее пися. Сергеев был недоволен.

– Ну что ржешь, как дурак? Чего смешного?

– Смешная... как царапина.

– Какая на хрен царапина? Кончай ржать. И помалкивай.

– Я же обещал.

– Маленький еще. Ничего не понимаешь.

Пончик на бис рассказывал нам, как происходит процесс рождения. Это было что-то совсем невероятное. Я не верил. Никто не верил – привыкли, что Пончик врет по всякому поводу. Это выводило его из себя.

– Да я правду говорю!

– А как же он выходит наружу?

– Живот разрезают. Специальные доктора.

– Живот? Ножом?! Они же умрут!

– Их усыпляют сначала! Понял? Дают снотворное, а потом – чик ножом, и ребенок вываливается.

– Да ну тебя!

Но совсем уже невероятно выглядела история, как сделать так, чтоб ребенок появился в животе. Это было какое-то глумление над человеком. Девчонки затыкали уши. Мальчишки сидели красные, как раки и боялись смотреть друг другу в глаза.

Однажды, кажется, уже в первом классе, Пончик пригла-

сил меня к себе домой. На кровати сидела голая Любка. Она была насуплена.

– Сейчас я вас научу – сказал Пончик строго. – Любка, ложись на спину и раздвигай ноги. Да не бойся, дура!

– Да?! А если у меня ребенок заведется?!

– Не заведется! Мы же понарошку! Как в кино. Я же тебе все рассказал!

– А ты, – Пончик как заправский режиссер готовил сцену, – раздевайся и ложись на нее. Вот так.

Лежать было неудобно. Любка была костлявая и дышала мне в лицо смесью лука и жареных котлет.

– Ну чего застыли? Микки, двигайся, двигайся! Любка, шире раздвинь ноги!

Будущий командир тимуровского отряда, октябренок Мишка, пыхтел, подпрыгивая голой попой.

Любка вдруг заревела, застучала кулачками мне по спине. Мы вскочили, стали одеваться.

– Чего реवेशь, дура? – Пончик был недоволен.

– А чего он... мне больно! Я маме пожалуюсь!

– Маме пожалуюсь! – передразнил Пончик. – Да она тебя в унитазе утопит! Дура.

– А что я скажу, если ребенок появиться?! – взвизгнула Любка.

– Утопим его в пруду, как котенка, – равнодушно буркнул Пончик.

– Как... котенка? – в Любке заговорили материнские чув-

ства. – Ты что? Он же маленький.

Пончик страдальчески возвел очи к небу

– С тобой говорить... бесполезно. Баба она и есть баба.

Ну, а ты как, Микки? Понравилось?

– Ничего, – соврал я.

– Поначалу всем страшно. А потом привыкните.

«Ну, уж нет! Сам привыкай! – думал я, застегивая в коридоре пуговицы. – Дуракам закон не писан».

Мы с Любкой выскочили во двор и разбежались в разные стороны. Минут через тридцать я обнаружил ее на скамейке. Она грызла семечки и болтала ногами. Я присел рядом.

– Слышь, Любка, ты это...

– Чего тебе?

– Не вздумай болтать.

– Вот нарочно расскажу!

– Ты что?! Нельзя! Это же... преступление!

– Раньше надо было думать! Если будет ребенок – я молчать не стану, понятно?

И, вздохнув, добавила мрачно, перестав болтать ногами.

– Мама правильно говорит, все мужики кобели проклятые...

Любка, Любка... Она переехала со двора в третьем классе, кажется... Что с ней стало? Можно только гадать...

Телевизор, советская мораль, русская классическая литература дополняли сексуальное воспитание до полного, фантастического уродства. Долгий поцелуй на экране выворачивает

вал моего папу наизнанку, он скрывается на кухне и курил там свои вонючие папиросы «Север» по 14 копеек за пачку. В грандиозном и патриотическом фильме «Освобождение» простой солдат, взяв в плен власовца, называет его проституткой: я до сих пор помню, как вспыхивали мои уши от стыда, помню, что минут десять после этого мы с родителями не могли смотреть друг на друга. Мне остается только догадываться, какие трещины и рубцы появлялись в моей душе, когда ее погружали то в грязную лужу дворовой правды, то пытались отдраить наждаком советской педагогики и морали.

Анекдоты той поры поражают меня до сих пор своим беспредельным цинизмом. В дикой похабщине обнаруживался бунт не против ханжества, но против самого целомудрия. Стыд во дворе считался позором. Люди словно мстили кому-то за чудовищный обман в учебниках, в книгах, на партсобраниях и демонстрациях. Мстили, как макаки: задрав штаны и вихляя жопами.

Задолго до детских садистских стишков про «дедушку», который «гранату нашел и быстро к райкому пошел» и про «старушку, чью обугленную тушку нашли колхозники в кустах», мы распевали: «Напрасно старушка ждет сына домой, у сына сегодня получка, лежит он в канаве напротив пивной, а рядом наблевана кучка». Или из фильма «Весна на Заречной улице», помните? «По этой улице подростком гонял прохожих я ножом!» Кто сочинял – не знаю, но пели с восторгом, заливаясь щенячьим смехом...

Прошли годы, я поумнел, полюбил хорошую русскую литературу, мечтал о возвышенной любви, но подлый бес, нагадивший в душе еще в детстве, всегда был рядом. Он сломал во мне что-то важное, и уродливый рубец остался на всю жизнь. В самые светлые романтические минуты юности его глумливая харя вдруг появлялась из-за левого плеча и блудливо мигала глазами: «Чуйства! А ты посмотри, что у нее под юбкой, дуралей!» Этого же требовала и улица. То, что было под юбкой, категорически не вязалось с тем, что было в сердце, в наставлениях учителей и умных книжках. Однако выходило победителем. Я страдал. Я страдал, когда общался с отличницей Надькой в десятом классе. Она ведь не догадывалась, что я на самом деле от нее хотел. А если бы узнала – сдала бы меня в психушку. Не знала о моих мыслях и учительница географии, которая сидела на стуле во время урока, распахнув ноги. Люди и не подозревали, что среди них ходит урод. И хочется этому уроду такое, что и выговорить-то стыдно. Больно было смотреть в кино на нормальных парней, которые легко и беззаботно влюблялись в девчонок без всякой задней мысли о постыдных гадостях, которые им придется делать в постели после ЗАГСа. Потому что и не гадости это вовсе, когда такая большая любовь, и все у них, нормальных, выходит само собой: прилично, под одеялом, безболезненно и нежно. Так что наутро не стыдно и людям в глаза смотреть.

А ненормальным остается таиться и делать вид, что они

такие как все. Просто сильно занятые учебой. Или спортом. Много времени прошло прежде, чем мне удалось преодолеть эту болезнь. Спасибо мудрым и чутким, терпеливым женщинам, которые учили меня по слогам азбуке нормальной, человеческой любви.

Но хватит о сексе! Как будто других тем нет!

В детском мире все было отлично! Ел я все подряд и в большом количестве. Сильный организм переваривал любую, даже отравленную пестицидами пищу и исторгал ее вон, прибавляя каждый год по добрых пяти-семи сантиметров росту; душа ликовала и нетерпеливо, как щенок, повизгивала от предвкушения какого-то необыкновенного приключения впереди.

Нам был обещан коммунизм – чего же более? Мороженое «сахарные трубочки» за 15 копеек было самым сладким на свете, а советские хоккеисты и штангисты самыми сильными в мире! Мы были везде на планете и нас боялись и уважали. Богатых не было, бедняков тоже. Завидовали сильным, умным и красивым. За границей жили неудачники, которые ждали, когда мы сбросим с их плеч иго капиталистического рабства. Мы уже освободили Африку, помогали Южной Америке и странам Азии. Красота!

При этом я жил в 12-метровой комнате вместе с бабушкой и старшей сестрой, а напротив в 16-метровой комнате жили родители. Когда мама во втором классе купила хлебницу и водрузила ее на холодильник, я в полном восторге вскричал:

«Мама, мы все богатеем и богатеем!»

Правда была в том, что я и в самом деле чувствовал себя (а может быть и был!) самым богатым мальчиком на свете.

Глава 8. Мистика

Вообще, мистика, волшебство, чудеса в детстве присутствуют столь же естественно, как ветрянка и насморк. Взрослые смотрят на это снисходительно, насмешливо, а зря. Ребенок видит гораздо больше, чем может объяснить, а взрослые объясняют гораздо больше, чем видят и понимают. Очень хорошо помню кошмар, который преследовал меня целый месяц, когда мне было еще лет пять-шесть.

Спал я тогда в кровати с бабушкой. Весной, кажется, в апреле, я вдруг стал просыпаться очень рано, еще в сумерках, и начинал смотреть на черный, деревянный карниз, на котором висели занавески. Вдруг – не внезапно, но именно вдруг – на карнизе появлялись крупные, серые птицы с курицу величиной. Они сидели, нахохлившись, и только безмолвно поворачивали головы с клювами, словно оглядываясь. На карнизе их помещалось с десятков. Меня наполнял такой ужас, что я, как парализованный лежал неподвижно, и смотрел на них, не отрываясь. Зачем-то я был им нужен. Что-то они хотели до меня довести. Они звали меня. Куда? Продолжалось это не менее часа. Вставало солнце и курицы медленно (!) растворялись в воздухе, чтобы в следующую ночь прийти опять.

Я плакал, когда рассказывал это бабушке, я закатывал ис-

терики, когда родители не верили и смеялись. «Так не бывает!» – чудесный ответ взрослых на все, что они не способны понять! «Так не бывает» преследует ребенка до тех пор, пока он сам не научится себе не верить. Откуда взялись эти курицы? Почему они вызывали во мне парализующий ужас?

Через месяц они исчезли. И больше не появлялись.

Китыч сталкивался с чертовщиной чаще, иногда лоб в лоб. Например, ему приходилось видеть серого уродливого человека, который появлялся в комнате тоже утром, в сумерках, когда вся семья спала. Появившись из темного угла, он садился на кровать родителей и молчал. Описать его было трудно. Кит рассказывал, что роста он был с полметра, грязно-серый, словно резиновый, с крупной головой, на которой невозможно было разглядеть ни глаз, ни губ, ни носа, с длинными руками и короткими толстыми ножками. Какая-то недоделанная или бракованная кукла. «Он», – называл его Китыч. «Он» приходил всегда утром и ничего не предвещал, ничего не показывал. Но приходил именно к Китычу и ужас вызывал смертельный. Когда наступал рассвет, «Он» начинал дрожать и корчиться, как восковая фигурка в огне, а потом растворялся в воздухе. Однажды Китыч проснулся и увидел, что «Он» стоит совсем рядом и тянет к нему руки. «Господи, помилуй!» – возопил пионер Китыч, как столетиями вопили его предки в минуту ужаса. Проснулся и замычал отец, забормотала что-то матушка и призрак исчез. Потом «Он» пропал. Кит успел позабыть про него.

И вот, лет через двадцать пять, «Он» объявился вновь. Это было тяжкое запойное время конца перестройки. Китыч к этому времени уже жил в Веселом поселке, с мамой. Отца уже несколько лет не было в живых. Китычу не удалось стать космонавтом, как он мечтал в школьных сочинениях, он отслужил в армии танкистом, стал шофером. Пил страшно, как и вся страна. Я был холост, по-прежнему честолюбив и романтичен, работал в университете и приходил к нему пешком вечерами с Народной в гости чуть ли не каждый вечер. Такой был ритуал: мы пили крепкий чай на кухне, обсуждали партию и правительство, и я возвращался домой – пешком. Ради здоровья.

Однажды, отмахав свои привычные шесть километров, я обнаружил Китыча в прискорбном упадке по случаю глубокого запоя. Он лежал в своей комнате на кровати в позе павшего воина с неизвестной картины Верещагина и пялился на трюмо в углу комнаты. На трюмо стояла фигурка. Это была резиновая кукла серого цвета. Но до чего же нелепая! Формы напоминали человека, но ни глаз, ни ушей, ни носа не было – разве едва различимые выпуклости обозначали эти органы. Длинные руки, как у обезьяны, свисали, короткие ноги заканчивались плоскими ступнями. Вся она вызывало отвращение, даже гадливость.

– Откуда у тебя это? – спросил я, поставив куклу на место и инстинктивно вытирая ладони о штаны. – Вот урод!

– Нашел перед парадной. Лежала в луже. – ответил Китыч

– Дай, думаю, возьму. Как думаешь – это что?

– Даже не знаю. На пупса не похож, на обезьяну тоже. Брак какой-то заводской? Выбрось!

– Пусть стоит.

– Жуткий же!

– Как раз под мое настроение. Я такой же жуткий. Чем меня напугаешь? Сдохнуть хочется. А завтра на работу. Опять врача проходить...

На следующий день я пришел к нему, как и обычно, в районе семи. Киту было еще плохо, он по-прежнему лежал на своей кровати, но уже не в столь пафосно-трагической позе, как накануне.

– А знаешь, что со мной было? – спросил он после того, как мы выпили на кухне по стакану крепкого индийского чая под бормотание радио. – Ночью приходил «Он».

– Он? Кто он? Глюки что ли?

– Просыпаюсь ночью, поворачиваюсь, смотрю – сидит! Около трюмо, на стуле.

– Чертик зеленый?

– Нет. Серый. Невысокий. Где-то под полметра или чуть выше. Голый. А разобрать ничего не могу: вроде как человек, карлик, но глаз не видно, и ушей, и носа. В комнате темно, трудно рассмотреть. Ну, думаю, писец, приплыли, белая горячка! Страшно так стало. Молчу. Он тоже молчит. Только смотрю – шевелится, вроде как спускается со стула. У меня пот холодный – всю простынь промочил. И тут мать встала

в соседней комнате, свет включила. Он и пропал.

– Белочка! Однозначно. Говорил я тебе, завязывай...

– Да не в этом дело! Понятно, с перепою все это, но... как тебе сказать: так явственно, так реально я еще не видел. Что это, как думаешь?

Что я мог сказать? Галлюцинации? Ну и что, полегчало?

Нет худа без добра – напуганный Кит, к тому же накаченный моими страстными проповедями, не пил месяца два или три. В парке его зауважали, даже посадили на новенький зеленый «Ераз». Он поправился, пристрастился к мороженому и пирожным, которыми бесплатно затаривался на своей торговой точке и которые мы уминали теперь вместе вечером за чашкой чая.

Но пришел черный день и Китыч громко, с прогулами и драками, с разборками и вытрезвителем, покатился вниз, как камень, сминая все свои честно заработанные успехи и репутацию, как солому. Через месяц после великого Падения я застал Китыча в состоянии близком к отчаянному.

– Микки, спасай. Ночью не заснуть, а засну – просыпаюсь от удушья, весь мокрый. Мотор стучит как бешеный. Покуришь – вроде легче. А заснешь – опять! И знаешь, как будто давит что-то на грудную клетку. Я уже у матери валидол просил, а ведь таблетки с роду не пил. Принципиально! Ну, думаю, только бы не инфаркт! Водку совсем перестал пить, только винцо. Легонькое – портвейн. А сегодня ночью проснулся опять от удушья. Открыл глаза – а на груди си-

дит «Он»! Ну, тот самый, про которого я тебе рассказывал. И душит за горло. Маленький, вонючий, лица нет, ерзает у меня на груди, пыхтит, а силенок горло сжать видать не хватает. Веса в нем килограмм двадцать, я думаю... А жить-то хочется! Силы собрал и отпихиваю его. А в голове только – помилуй, Господи! И тут вспомнил, как бабушка учила в детстве: Коля, говорила, как случится беда – кричи: «Никола Угодник, помоги!» Потому что твой покровитель и защитник Никола Угодник. Ну, тут я и взмолился, честно признаюсь: «Николай Угодник, погибаю! Помоги мне!» Слышу – ослабла хватка... Я ворочаюсь, мычу, плачу слезами, на пол упал, вскочил – никого нет! Сердце где-то в глотке, вот-вот разорвется к чертовой матери! До утра сидел на кухне, курил. Засыпать теперь боюсь. Что делать, Мишка?

– Что делать? – решительно сказал я. – Убери своего урода с зеркала. Я тебе уже давно говорил – убери! Почему не убрал?

– Не знаю, – покачал головой Китыч, призадумавшись, – дай, думаю, постоит.

– Ты совсем дурак?! Постоит. Он-то постоит, а ты ляжешь. На Южном кладбище. Нашел с чем шутки шутить. Сдохнуть хочешь? И ведь не поленился же нагнуться! В грязь, в лужу! Сокровище нашел!

– Кстати, ты прав, – стал припоминать Китыч. – Темно было, дождь... Как я разглядел-то его? И зачем нагнулся? А как взял его в руку – так он к ладони и прилип. Утром

проснулся с бодуна, а он стоит чистенький перед зеркалом. Думал, может к удаче?

– Забирай его! И пошли.

Кит взял тряпку, осторожно завернул куклу и сунул ее в карман.

– погоди, дай посмотреть.

Кит развернул тряпку. Нет, ни заводского клейма, ни другого слова или знака – резина пористая, старая. Внезапно свет в комнате погас, лампа моргнула и опять загорелась тусклым светом, потрескивая.

– Понятно! – крикнул я. – Бежим!

Мы выскочили на улицу, под дождь.

– Не здесь! – остановил его я, когда Кит достал сверток. – Хочешь, чтобы он к тебе вернулся? Подальше отойдем.

Мы свернули за дом, остановились у помойки.

– Перекрестились! – скомандовал я, и мы неумело взмахнули руками. – Бросай!

Китыч как-то странно, словно прощение просил, посмотрел на куклу и швырнул ее в мусорный бак.

– Вот. Все. Может, сжечь надо было?

– Пусть хоть так, – сказал я, перекрестившись еще раз.

Кит, глянув на меня, тоже перекрестился, поежился.

На следующий день он сам позвонил мне по телефону.

– Майкл, ты представляешь, что было?

– Опять вернулся?!

– Нет, то есть да. То есть вернулся, но не он. Представля-

ешь, просыпаюсь утром, смотрю в кресле, напротив, сидит беленький такой седенький старичок. Смотрим друг на друга и молчим, а мне не страшно, только любопытно. А старичок ласково так смотрит, смотрит, смотрит... И вдруг мне пальцем так ласково погрозил, ничего не сказал и исчез. А?! Как тебе?

– Мне кажется хороший знак, Кит.

– Я знаешь, что подумал? Не Никола ли это? Мой покровитель, о котором бабка говорила? Как он выглядит, не в курсе? Помню, что беленький такой, седенький. А? Как думаешь?

– Думаю, тебе в церковь надо сходить. Ты крещеный?

– А то! Бабка крестила. Это ты у нас нехристь.

– Вот и дуй в церковь, есть наверняка и церковь Николая Угодника. Отблагодарить надо.

– Надо. Слушай, мне сейчас так хорошо! Давно уже такого не было.

Китыч, Китыч! В церковь он так и не ходил, все откладывал, откладывал, да и забыл. Пить не бросил. Но жуткий посланник тьмы – «Он» – больше не приходил. Больше того, даже в запойные дни прекратились жуткие видения. Хотя физические муки его по-прежнему терзали страшные.

А я, действительно, Кит прав, был нехристь. Мою старшую сестру крестили в деревне, разумеется бабушка – низкий поклон всем дремучим бабушкам России, с которыми не смогла совладать огромная и безжалостная армия обучен-

ных псов атеизма. Я родился в самом безбожном 1961 году, когда первый человек, взлетев на триста километров над Землею, смотрел-смотрел в иллюминатор, но так и не увидел Бога, о чем и рассказал землянам после приземления: «В космос летал, а Бога не видал!» – любили весело повторять пропагандисты, которые находили неизъяснимую сладость в том, что они нашли самый лучший способ существования белковых тел в стране победившего социализма.

Гагарин маму обаял. Мама верила ученым и благоговела перед ними. Я остался некрещеным. Весь пыл, вся неиссякаемая энергия моего горячего детского сердечка искали правды, справедливости и смысла. Моя вера взрослым, которые обманывали и себя и других, была беззаветна. Я был как тот доверчивый, прыгающий щенок, которому хозяева суют под нос несъедобную перченую дрянь и он, отфыркиваясь, чихая, кашляя, продолжает радостно скакать возле стола, потому что любит своих хозяев и верит, что вкусная косточка рано или поздно все равно упадет сверху. Так и я, подавившись очередной похабщиной, несправедливостью, жестокостью, отрыгивал отраву и оставался самым счастливым мальчиком на свете, потому что у меня был лес, были самые сильные и красивые родители на свете, был свой собственный тимуровский отряд и даже два адъютанта.

Поскольку речь зашла о мистике, расскажу еще вот что. Мы привыкли к тому, что мистика в нашей жизни подобна страшному клоуну с рогами и хвостом, которого хлебом не

корми – дай только кого-нибудь напугать поздним вечером. Но мистика случается в нашей жизни постоянно. Она смущает наше сердце, и мы выпихиваем ее вон, чтоб не мешала трезво и бодро шагать по жизни до самой могилы. Расскажу еще два эпизода из своей жизни. Я всегда любил музыку. У меня был великолепный музыкальный слух, благодаря которому меня брали вне конкурса в городскую музыкальную школу (на семейном совете я заявил, что это случится только через мой труп!), у меня был великолепный голос в детстве, который позволял мне быть солистом хора мальчиков Невского района. По воскресеньям нас наряжали в черные смокинги с блестящими отворотами, белые рубашки, на шею прикрепляли шелковые бабочки и мы пели на сцене ДК «Пролетарский завод» пионерские песни, песни про Родину и что-то еще заумное из классики хорового пения. Кроме этого, я слушал по телевизору советскую эстраду и был поклонником Муслима Магомаева и Рафаэля, а по праздникам слушал, как отец, подвыпивши, наяривал на баяне псковскую плясовую и народные частушки. То есть музыкальный опыт у меня был за пределами традиционным и консервативным и вполне меня устраивал. И вот как-то раз Пончик, (опять все тот же Пончик, чтоб его!) классе в четвертом пригласил меня к себе в гости, поскольку родители купили ему магнитофон. Похваставшись властью и наврава с три короба про невероятные способности своей техники, он вдруг предложил.

– Хочешь, поставлю тебе кое-что? Супергруппа! «Дю-папл»! Английская. Андрюха переписал вчера у кореша, а ему брат привез альбом – оттуда. – Пончик показал пальцем в потолок, но я понял откуда. Конечно же из благословенной Англии!

Пончик поставил бабину, нажал на кнопку, прислушался к шуршанию ленты и вдруг тишину прорезали звуки, похожие... да ни на что не похожие! Совсем! Ничего подобного даже отдаленно я не слышал! Все мои волосики на спине и на голове зашевелились от возбуждения. Кровь прилила к лицу.

– Стой! – крикнул я, когда увидел, что Пончик собирается перемотать

– погоди, тут еще круче! «Ролинг Стоунс».

– Не надо круче! Оставь!

В батарею забарабанили. Пончик сделал тише. Он был доволен.

Откуда в пионере советской страны, воспитанном в пуританском отечественном духе, эта мгновенная любовь к музыке, которая выросла, как буйный сорняк, совсем на другой почве, далеко-далеко, за горами и долами, за морями и за железным занавесом, и еще только начала сокрушать вековые твердыни музыкальной культуры стран полнощных? Вот вопрос, ответить на который в жанре критического материализма совсем не просто. Заразился не только я. Мгновенно заразились миллионы моих сверстников. Старшеклассники

не заразились, как будто умчались в будущее на других конях. Родители эту музыку ненавидели. Помню, как в мою комнату ворвался отец, когда я включил громко папловскую «Звезду автострады». Он был в натуральном бешенстве. В истерике. Ему невозможно было поверить, что подобную музыку можно было вообще слушать. «Выключи немедленно, слышишь?!» – орал он. Так же орали тысячи отцов в это время. Значит дело не в общей генетической памяти. Мне приходилось слышать, что рок-музыка вышла из народной традиции. Безусловно, не надо быть музыкальным гуру, чтоб уловить некую родственную связь между «скобарьской плясовой» и зажигательным рок-н-роллом, но хард-рок, если и вырос из прошлого, то из какого-то древнего языческого ритуала перед кровавым боем. И уж, конечно, трудно поверить, что новая музыкальная культура стала продуктом эволюции. Во-первых, она обрушилась на мир мгновенно и катастрофически, как цунами, во-вторых, нетрудно было разглядеть, что это была падшая демоническая культура, вернувшаяся из прошлого накануне заключительного Акта человеческой истории. Кто-то за кулисами явно наигрывал мелодию сатанинской мессы. Пришло время, когда миллионы ушей открылись, и миллионы сердец вздрогнули от предвкушения.

Как бы то ни было, «Дип Перпл», «Лед Зеппелин», «Юрай Хип», «Пинк Флойд» стали моими кумирами, спихнув с музыкальной полки мелкотравчатую шантрапу из премьер-лиги советской эстрады.

Могу дополнить свои размышления о мистике еще одним примером. В третьем классе я прочитал «Трех мушкетеров» и полюбил... англичан.

Странно, не так ли? Англичане в романе явно не блистали. Зато доблестные мушкетеры выглядели, как настоящие павлины. Их вражда с патриотом Франции Ришелье не укладывалась в моей детской голове. Четверо беспутных негодяев бессовестно жертвовали интересами собственной страны ради интересов весьма беспутной особы, неумеренно жрали, хвастались, пили, дрались на дуэли вместо того, чтоб воевать за свое Отечество – одним словом французы вызывали презрение. Об англичанах, повторяю, в полном соответствии с французской традицией – ничего хорошего, и вот поди ж ты... Торкнуло. Да так, что к университету я был законченным «англопатом» (по меткому выражению моей приятельницы – от слова патология). Это не вынуждало меня к подражательству, я не играл в джентльмена, не носил маску чопорности и снобизма, напротив, часто получал тумаки и шишки за свою простоту и открытость; я был равнодушен к английскому языку, я не заболел всеми этими зелеными лужайками и файф-о-клоками, но! Стоило в мире произойти серьезному событию, в котором затрагивались интересы Великобритании, как мое сердце тут же, без всякого понукания, становилось на сторону англичан. В Советском Союзе не было столь яростного патриота британского флота, как я, когда началась англо-аргентинская война за Фолкленды;

я был самым преданным болельщиком английской сборной по футболу на чемпионатах мира, которому выпала несчастная судьба видеть все ее поражения, я становился невыносимо упрямым и агрессивным, если в споре кто-то пытался унижить Англию или англичан. Красная лампочка внимания и тревоги в моей голове загоралась сразу при одном лишь упоминании этой страны. Китыч буквально бесился от всего этого и, напившись, орал: «Будь прокляты англичане – враги Ирландии!» Университетские друзья, снисходительно принимавшие мои чудачества, тем не менее закипали и всерьез злились, когда я доставал их своим англоцентризмом.

– Дурак твой Черчилль и Англии твоей не было бы уже в 41-м году, если бы не мы. Гитлер одним пальцем раздавил бы ее, если бы захотел.

– Почему же не захотел?!

– Дурак был.

Сразу скажу – выгоды я от своей «англопатии» не имел никакой. Более того, часто вынужден был скрывать свою болезненную и необъяснимую самому себе страсть. Иногда склонен был согласиться наедине с собой, что это род психического заболевания. Но не об этом сейчас речь. Откуда это?? Мои предки жили в Псковской области по крайней мере последние полтора ста лет. Загадка.

Еще, и на этом закончу.

В 90-е годы мне довелось быть народным заседателем сначала в районном, а потом и в городском суде. Опыт был но-

вый, волнующий. Трудно было поверить, сидя ступенькой выше прокурора и защитника, по правую руку от судьи, что я, грешный сын улицы Народной, могу запросто накатить подсудимому год-полтора тюремного срока просто потому, что он мне не понравился. Конечно, не каждому, и конечно в пределах конкретной статьи, и, конечно, это были всего лишь фантазии, и все-таки... И тут мне снится сон. Редкой силы. Надо признаться, сны вообще редко посещают меня, а если и посещают, то абсолютно абсурдного содержания. И вот сижу я во сне за решеткой в зале суда за драку. И судья выносит мне приговор – семь лет исправительной колонии строгого режима. За что?! Я защищался! Вся жизнь на-марку! Помню вагон с решетками, раздирающий душу девичий смех на станциях, хмурый конвойный с раскосыми глазами, который что-то передавал уркам, Котлас, Печоры, мамин свитерок, которому не долго оставалось висеть на моих плечах... Станный сон. Тяжкий.

Года два спустя я заседал уже в суде городском. Разница была помимо прочего и в том, что за городским судом было закреплено право выносить смертные приговоры. Судья достался мне со стажем, повидавший виды, тертый и битый, научившейся ничему не удивляться и ничему на слово не верить. Он помнил еще времена, когда судья присутствовал при исполнении смертного приговор. Эту практику ввели в лихие бериевские времена, когда судья приговаривал одного, а казнили другого. Якобы случайно, из-за разгиль-

дьяства. Поэтому тот, кто выносил приговор, имел возможность посмотреть в глаза своему подопечному за несколько минут перед тем, как пуля пробьет ему череп. Правда, подопечный в эти минуты не узнал бы и родную мать. Кажется, суровую эту практику отменили лишь в 61-м году. Мой судья был добрый человек, несчастный в семейной жизни. Женщин он недолюбливал, мужчин жалел, считая, что они гибнут из-за женщин. За три с лишним десятка лет за ним числился не один десяток приговоров, которые заканчивались словами: «К высшей мере наказания». При этом он был страстный грибник и рыболов. Как это совмещается в человеке – не знаю. Но многолетняя грусть в его серых, потухших глазах и благородно-неторопливая, рассудительная речь располагали к нему всякого. Он никогда не опускался до пафоса, говоря о своей работе (а я пытал его на эту тему часто), еще меньше был склонен к самоуничижению. Скорее напоминал того понурого ослика, который ходит по кругу, вращая колесо

В делах наших участвовал прокурор, бывший военный летчик, мужчина плотный, добродушный и веселый. Цель своей службы он видел так же ясно, как когда-то ясно видел цели для нанесения ракетно-бомбового удара своего штурмовика. Каждый день, после утреннего заседания, когда начинался перерыв, судья и прокурор посылали меня за водкой в магазин, что находился рядом с городским цирком. Я брал всегда две бутылки водки. Мы выпивали их из чайных

чашек в комнате судьи, предварительно выпроводив второго заседателя: учительницу русской литературы, которая задавалась целью отыскать среди нашего контингента второго Раскольников и вообще была молчаливым укором для нашей дружной троицы. Беседы были мирные. Меня интересовало, как летчик в полной темноте, в Сибири, мог найти нужный аэродром и правда ли, что смертные приговоры теперь, в век научно-технического прогресса исполняет специальная машина-автомат. Судья и прокурор чаще говорили про грибы и рыбалку и про каких-то отрицательных персонажей из своей епархии. Если на вторую половину дня заседаний больше не было или мы их не отменяли сами из-за скверного самочувствия, то меня посылали за добавкой. Тогда поздним вечером меня можно было видеть в коридорах суда в состоянии сильного опьянения – это я искал туалет. А если не находил его вовремя (сказал ведь, что буду правдив во что бы то ни стало!) то справлял нужду прямо в коридоре.

Судья полюбил меня за мой добродушный и веселый нрав и часто предлагал мне вынести приговор самостоятельно. Тетка-заседатель на заключительном этапе процесса отключалась от ответственности полностью, уходя в астральный мир Федора Михайловича Достоевского. Я всегда выбирал нижний предел дозволенного. Судья задумчиво смотрел на меня минуту-другую, словно проворачивая в голове тонны различных юридических комбинаций, и наконец разрешался приговором: «Добро! Будь по-твоему!»

За несколько месяцев я не припомню, чтоб в клетке перед судебским помостом сидел изверг рода человеческого. В основном это были понурые, смертельно усталые мужики, которые по второму или третьему разу зарабатывали себе на старость пять или десять лет адского существования. По их виду трудно было понять, имеют ли они хоть малейшее понятие о другой жизни, ради которой можно было бы и постараться не грешить. Приговор они выслушивали молча, молча и уходили с конвоем, оставляя в зале запах пота, табака и полной бессмысленности непутовой своей жизни.

К счастью, до «вышки» дело так и не дошло.

И вот как-то ночью мне приснился сон. Жуткий. Будто стою я перед судом в наручниках и слышу свой приговор: «Смертная казнь»! Ужас в том, что сон был сильнее яви! Такой безысходной тоски, такого отчаянья я не переживал в жизни ни до, ни после! Я рыдал в автозаке, я рыдал в камере смертников, я замирал в ужасе всякий раз, когда ночью с лязгом отворялась дверь камеры и входил надзиратель. Но сильнее всего была гнетущая сердце обреченность: помилования не будет. А что будет? Когда в камеру ночью вошли трое и прокурор зачитал отказ на мое прошение о помиловании... я проснулся. И понял, что в суд больше не пойду.

Петр Александрович принял мои объяснения достойно:

– Трудно стало, – на дворе был конец 1991 года. – Лет двадцать назад я шел на службу с гордо поднятой головой. А сейчас боишься признаться случайному попутчику, кем ра-

ботаешь. Старики уходят, а молодые... новой породы люди. Я их сам побаиваюсь.

Помянем добрым словом судью. К несчастью, вскоре он погиб. Рассказывали, что однажды, в пятницу, он забрал с собой дело, чтобы поработать в субботу дома (жил он за городом). Перед этим они хорошо посидели с прокурором (пятница!). Неподалеку от станции, в лесочке, бандиты напали на старика, избили его, и забрали портфель с документами. Очнувшись в больнице, судья выслушал и свой собственный, последний приговор – уволен со скандалом! Вынести всего этого он не мог и сердце его остановилось.

Глава 9. Хулиганы

Я отвечаю за свои слова, что в благословенные 70-е годы нарядный чистенький мальчик двенадцати – четырнадцати лет вряд ли смог бы пройти по Народной улице от Володарского моста и до «кольца», и не получить при этом по зубам. Просто так. Чтоб не выпендривался.

Хулиганство захлестнуло окраины.

Самыми беззащитными оказались мальчишки-подростки из благополучных семей с возвышенно-гуманитарными наклонностями. Они не курили, они не любили спорт, они добросовестно делали домашние задания и невинно дружили с девчонками. Их били везде. Понарошку и всерьез. На переменках пихали; в ходу были и жестокие шутки. Например, к мальчику-тихоне подходили двое оборотов и спрашивали, знает ли он свое будущее. «Нет», – отвечал тихоня. Тогда один из оборотов брал его за руку и начинал водить пальцем по линиям судьбы на ладони. «Тебя ждет дальняя дорога. В четверг будь осторожен на дорогах. В пятницу тебя ждет удача. Ой, погоди! Что это?! А сейчас тебя ждет страшный поджопник!» И в этот момент подельник с размаху изо всей силы отвешивал несчастному такой пендель, что он летел на пол с криком. Громовой хохот собирал тучи народу.

Другая шутка была еще злей. Простофилю ставили спи-

ной к стене. «Шутник» обхватывал затылок несчастного ладонями и сильно тянул на себя. Это называлось проверкой силы шейных мышц. «Ого, – говорил шутник, – да ты силен!» И отпускал хватку. Раздавался отвратительный звук, похожий на тот, когда сталкиваются два бильiardных шара. У бедняги вместе с искрами из глаз брызгали слезы. Бывало, когда шутка заканчивалась врачебным кабинетом.

Ну что тут скажешь – козлы!

Но мучили «хорошистов» не только в школе.

После уроков хулиганы встречали их во дворе и вытряхивали из карманов все подчистую. Об этом знали учителя, об этом знали родители. Для милиции это был пустяк. Что оставалось «хорошистам»? Некоторые запасались рублиш-ком, другие просто старались не болтаться по дворам.

Нельзя сказать, что советская власть не видела происходящего и опустила руки.

В стране развернулось настоящее соревнование за созревающие души. Государственная машина заработала на полных оборотах. По телевизору, по радио, каждый день с утра и до вечера хорошие мужчины и женщины убежденно и талантливо взывали к рабочей совести и долгу. Седые агитаторы заманивали подростков в мир знаний с виртуозным мастерством, которому позавидовал бы и опытный сутенер. Из каждого утюга доносилась классическая музыка. На высоких сталинских домах висели плакаты, которые назойливо напоминали, что счастье в труде, а коммунизм уж не за горами.

Хорошие книжки, между прочим, читали даже отпетые хулиганы...

Казалось бы, перед таким натиском морали неокрепшим душам не устоять. Рано или поздно подрастающее поколение просто обязано было подхватить знамя и утешить стариков новыми стахановскими подвигами и образцовым поведением. «Пионер – всем пример!» Прочитав главу из «Войны и Мира», советский школьник Вася должен был прослушать Девятую симфонию Бетховена и успеть перед сном навеситить приболевшего одноклассника, который на досуге пытается разгадать теорему Ферма. Но!

Вечерами, особенно по субботам и воскресеньям, из дворов раздавалось треньканье расстроенных гитар и дикие зазывания луженых глоток. Пели про кичманы, про нары, про зону, тундру и вертухаев. Про суку-судьбу. Про Зойку, которая дала кому-то четыре раза, а кому-то ни разу. Про «девушку в красном», которую упрасивали: «Дайте несчастным». Пели такую похабщину, что мамыши с треском закрывали окна и звонили в милицию.

Магнитофоны изрыгали вопли на английском языке. Я сам плотно подсел на «Дип Перпл» и «Лед Зеппелин», советские ВИА вызывали во мне рвотный рефлекс.

Сейчас многие спрашивают себя – почему? Почему коммунисты не воздвигли тогда свой волшебный град на холме, хотя уже были вбиты мощные сваи? Почему проиграли? Вопреки уверенности, вопреки жертвам и усилиям, вопреки

Учению, которое всесильно, потому что верно?

Не хватило энтузиазма? Не хватило грамотных пропагандистов из общества «Знание»? Не хватило карательных органов? Решимости вести непримиримый бой?

Были и пропагандисты, были и карательные органы... Была и бесконечная война. С этим словом мы вставали с этим словом и ложились. Война холодная и горячая, классовая и незримая, идеологическая и революционная, черт бы ее побрал! Воевали, как дышали. Как завещал Троцкий – постоянно.

Проклятый Запад был главным пугалом. Его непременно нужно было победить! Без этой победы кремлевским стариканом тошно было жить на свете. «Вот, обгоним Америку по молоку и мясу, – заливали они, – тогда и заживем!» По мне, так и черт с ней, с Америкой, я бы и без нее прожил.

Нельзя! Война!

Спрошу и я себя, спустя многие годы, поднявшись на метафизический уровень: а была ли война? Если и была, то не между светом и тьмой. Скорее это было соревнование между матерым старым, библейским драконом, который искушал еще Адама и Еву, и нахальным выродком, который народился в Германии всего лишь сто лет назад, сразу громко о себе заявил, всех перепугал и перессорил. Обещал до основания все разрушить и немало преуспел в этом с 1917 года. Дракон только посмеивался. Он знал, что наскоком ничего не получится. И пока на Востоке с песнями строили Вавилонскую

башню на развалинах старого мира, старый змий впрыскивал в Западную Европу, сладкую отраву безверия и гедонизма. Европа сомлела от удовольствия. Европа сдавалась на милость соблазнителя, который был гораздо привлекательнее пугала в черной нацистской форме или с красной звездой на лбу. Европа согласилась, что «живем один раз и надо брать от жизни все». Европа начала умирать, будучи во всем блеске своего благополучия. Тревожный аромат с привкусом раннего тления пробивался сквозь благоухание волшебных французских духов. Требовалось все больше и больше пудры, чтобы скрыть прыщи. Требовалось все больше голливудских сказок, чтоб убаюкать трусливые души. Требовалось все больше сладкого, чтоб заглушить горечь утраты смысла жизни. Дураки еще кичились Прогрессом, но мудрые и дальновидные понимали, что уже близилось время, когда усталая блудница ляжет на спину и раскинет ноги, приглашая каждого, кто обладает силой и наглостью, овладеть ею и убаюкать ее болезненную, старческую похоть.

А что же мы? Вавилонская башня оказалась не высока, к тому же она начала крениться почти сразу. Старый мир мы благополучно разрушили, новый особого энтузиазма не вызывал. Ну, запустили первый спутник в космос, ну, Гагарин, ну, БАМ... А где копченая колбаса?! Где сыры ста сортов?! Где жвачка?!

Страна героев и мечтателей выдохлась.

Утопия уступила разврату.

Наверху еще пели: «И юный Октябрь впереди!», а внизу на слуху был стишок: «Надоело в России, хочу в США, никто не работает там никогда!»

Что мог предложить советский агитпроп?

В лучшем случае хороший фильм «Вечный зов». В титрах к фильму я бы смело поставил эпиграф: «Бога нет, но вы держитесь!»

Древний Змий одержал победу над молодым драконом и для этого не понадобились пушки и новый Сталинград.

Так какой же приговор будем выносить 70-м? Каким судом будем судить?

Лично я судить не собираюсь. Придумывать какое-то сказочное прошлое тем более не собираюсь – обещал ведь: только правду! Да, мы, ребята 70-х, были первым непоротым поколением XX века. Старшее поколение замаливало свое тяжкое прошлое безудержной любовью к нам, которую мы принимали с тупым самодовольством избалованных эгоистов. Эта слепая любовь и сгубила нас. Слишком была безответной. Предвижу, что многие, услышав подобное, обидятся. Догадываюсь, что обидятся главным образом те, кому эта горькая правда колет глаза. Хорошие люди лишь горько вздохнут. А кто-то лишь пожмет плечами – о чем речь, мил человек? Расскажу лучше историю, которую мне поведал друг.

...В начале 90-х в маленькую псковскую деревеньку въехал грозный американский джип. Остановился возле поко-

сившейся избенки бабы Зины. Баба Зина уже давно жила одна. Когда-то у нее было большое хозяйство: по утрам крепкая еще хозяйка выгоняла в деревенское стадо рыжую корову вместе с дюжиной овец, в хлеву сыто хрюкал боров, во дворе шустро бегали куры, которых оберегал воинственный петух... Теперь в хозяйстве осталась лишь рябая курочка Дуся и неугомонная пегая собачка Тишка. Сын с невесткой бабы Зины померли от пьянства еще в 80-е, остался внук, в котором баба Зина души не чаяла. О чем бы не заходила у нее речь в беседе с соседями, заканчивалась она неизбежно Валериком, внуком.

– Женился, Валерик-то, на городской! Сын у них. Теперь жду в гости на лето. У нас чем не отдых? Юга ихние рази сравнятся? У нас и молочко парное, и сметанка, и мед натуральный...

Однако Валерик не приезжал. Дела одолели. И вот... явился. Как этот... «новый русский», про которых так много рассказывали. Машина у него – просто танк американский, плечи – не обхватишь. Приехал с другом. Тот помельче, темненький такой, не шибко разговорчивый, хмурый. Заехали по дороге в Белоруссию, почти случайно, с устатку... Баба Зина бросилась по соседям, у кого яичек выпросила, кто-то сала дал, огурчиков, сметаны... Сама-то она все больше на крупах сидела и не жаловалась. Как она преобразилась в этот вечер!

– Вот теперь и помирать можно! Валерочка приехал, вну-

чок мой! Все глазоньки проплакала, все ждала его, а он приехал, родная моя кровиночка!

Дядя Толя бутылку водки дал. Настоящей, из магазина. Стол богатый получился, как в прежние времена.

Внук с другом выпили, подобрали. Разговорились, но чудно так (потом она рассказывала)

– Ну, как ты тут, бабуль? Еще не устала жить?

– Да как же можно устать, жить то, сынок?

– Можно, бабуль, можно... А другой и хочет жить, а не может – загадочно изъяснялся внук.

– Болеет что ли?

– Ага, болезнь жадностью называется. Но мы ее с Костяном лечим. Да Костя?

– Лечим, – отвечает смурной Костя, – если не в запущенной форме.

Постель внуку и товарищу его баба Зина застелила чистой простынею, дотемна сидела на крыльце, чтоб не мешать.

А утром Валерка сходил с Костей на реку, искупался, и, глотнув наскоро чаю, завел свой чудо-танк с американским флагом. Соседи выползли полюбоваться на заморское диво. Баба Зина как водится заохала, запричитала, потом исчезла в избе... Вышла, прижимая тряпицу к груди, заплаканная.

– Сынок, вот возьми, тебе берегла на свадьбу, а теперь когда еще увидимся. Тут и старые еще, не знаю годятся ли, двести рублей и новые, с пенсии... бумажки-то мятые, не побрезгуй...

Тут хотелось бы всем нам увидеть, как Валерка дрогнул, расплакался и сунулся в свой джип за толстой пачкой американских долларов, но... Врать не буду – он смутился. Что-то в его чугунной голове и каменном сердце прозвучало. Он и сам похоже не понял, что именно. Какой-то забытый голос из далекого прошлого. Но мотор уже громко урчал, хмурый Костя сидел на переднем сиденье и нетерпеливо барабанил пальцами об торпеду. Валера взял бабку за плечи и слегка ее встряхнул.

– Спасибо, бабуль... ты это... не переживай, скоро заеду. С внуком! Ну – пока!

И не глядя на нас прыгнул в машину.

Баба Зина померла года через три, так и не дождавшись. Все вспоминала встречу, рассказывала подробно сотню раз... Курочка Дуся пережила хозяйку, а Тишка погиб в пасти лисы осенью, он любил прогуляться по окрестностям...

Такая вот любовь тоже бывает. Пожалуй, больше ничего об этом не скажу... Додумайте сами.

Глава 10. Горькая правда

В начале 70-х, поутру на скамейке возле торца дома 81 был обнаружен труп мужчины с ножом в сердце. Молва мгновенно разнесла новость: мужика зарезали урки, которые повадились играть в карты на особый интерес. Это когда на кону человеческая жизнь. Например – обыкновенная скамейка. Ее бандиты-картежники выбирают заранее. Кто первый сядет на нее, того проигравший в очко и должен зарезать. Иначе его самого зарежут. Кажется, в 70-е эти ужасы по всей стране пошли на спад.

Я хорошо помню эту скамейку, этот день. Осень. Пасмурно. Туман. На деревянной скамье лежит что-то крупное, выпуклое, страшное, покрытое белой простыней. То, что еще недавно было человеком. Рядом стоят милиционеры, тихо переговариваются. Толпа зевак метрах в двадцати тоже тихо переговаривается. Кажется, мертвый мужик на скамейке не местный. Все произошло ночью. Обнаружила дворничиха. Ее увели под руки домой милиционеры, а вскоре она уволилась. Скамейку потом убрали, поставили другую. Но все равно мы, пацаны, не любили это место, а на скамейку садился разве что не местный.

Рабочие с проспекта Обуховской Обороны жаловались – стало опасно возвращаться со второй смены домой. Особен-

но в день получки. Нападают стаей, сзади, сбивают с ног, бьют ногами, выворачивают карманы. Озорничают, как говорили прежде, шайки разбойников. Добавлю, разбойникам часто не было и шестнадцати лет. Некоторые днем ходили в школу.

Помню разговор пацанов лет четырнадцати на скамейке роскошным майским вечером:

– Мужик живучий, падла! Серега ему по кумполу, он кувырк, а за карман держится! Шамрай говорит: «Дайте, я ему топориком по затылку!»

Дети. Комсомольцы. Правда далеко не самые лучшие.

Помню, как напугали нас учительница, когда после уроков собрала класс и объявила, что на Народной появился маньяк. Страшное существо. Ходит по дворам и ищет мальчиков, чтобы их замучить до смерти. Невысокий, худощавый, белобрысый мужчина средних лет.

Увы, маньяки, тоже не поддавались идеологической дрессировке. Всесильное учение было бессильно перед биологической природой человека.

Как-то мы с Китычем от нечего делать попытались выстроить криминальную летопись только одной лестницы хрущевской пятиэтажки, на которой сами выросли и возмужали. Просто вспомнили судьбы жильцов. История страны в миниатюре. Эпос. Получилась довольно мрачная, но документально точная картина. Судите сами.

Первый этаж – Титов Сергей. Симпатичный парень, роди-

теля из тверских крестьян, работяги с Обуховской обороны. Был заслуженным хулиганом двора, имел приводы в милицию. Потом, как у всех: армия, батькин завод «Большевик». Парень был видный. Косая сажень в плечах. Пшеничные кудри. Белозубая улыбка. Слесарь пятого разряда. Женился на первой красавице двора Ольге, вскоре родилась дочка. Сереге завидовали. Он располнел. А потом что-то пошло не так. Ольга оказалась умна и честолюбива, поступила на заочное политехнического института. Тогда Серега вступил в партию, благо рабочих принимали охотно. В нем тоже проснулось честолюбие. Он даже упрашивал меня, тогда студента факультета журналистики, написать очерк: про то, как он, Серега, успешно выполняет план. Ольга стала начальницей. Серега стал перевыполнять план на заводе «Большевик» на 15 процентов и его назначили каким-то мелким партийным подпевалой в парткоме, а фотографию вывесили на Доске почета. Ольга стала ходить по театрам, Серега стал было ходить с ней вместе, но скоро выдохся. Понимал, что надо потерпеть, что жена уплывает от него, но – не мог себя заставить каждый раз надевать костюм, лакированные ботинки и галстук. Не мог видеть эти пухлые рожи в очках, со скукой изучающих перед спектаклем программку, этих полоумных на сцене, что орали по всякому поводу и заламывали руки, а потом эти долгие аплодисменты, когда клоуны на сцене сгибались в поклонах. Он признавался товарищам, когда выпивал, что в театре ему всегда хотелось набить кому-нибудь

рожу. За то, что ломаки, за вранье, за то, что не нюхали ни солдатского пороху, ни каленого железа, а смотрели на него свысока. Дрянные людишки. Хлюпики. Как по телевизору показывают.

Это было начало конца. Дальше – хуже. В Ольгу в ее НИИ влюбился начальник! Как раз из этих... хлюпиков в очках. Серега набил ему морду прямо у заводской проходной. Хлюпик заявлять не стал, но Ольга подала на развод. Серега начал пить, ходил мрачный, как демон. Грянула перестройка, и тут он забухал по-настоящему. Словно нарочно, у Ольги все складывалось отлично, дочка подросла и папу на дух не переносила. Злость копилась в его душе, и, наконец, он зарезал на кухне соседа по коммуналке, который сделал ему замечание из-за не выключенного света. Один только раз ударил сгоряча простым столовым ножом, который валялся на кухонном столе, и – прямо в сердце. Из тюрьмы Серега вышел через семь лет инвалидом, в самый разгар 90-х. Жить было не на что. Решил продать жилье. Взял задаток за свою комнату сразу у двух конкурирующих банд и ушел в запой. Бандиты сообразили, что их кинули, сговорились и зарезали Серегу где-то на пустыре, ночью.

Второй этаж. Две соседки – Галя и Люба, вроде бы сестры. У Гали было лилово-черничное лицо от политуры, у Любы – красное от давления, и железные зубы во весь широкий рот. Откуда их занесло на Народную – Бог весть. Не скандальные, прибитые жизнью, бездетные. Мужья, как и положено, за-

конченные алкоголики. Сгинули где-то в лагерях на счастье всем жильцам. Галя стеснялась своего лица и всегда ходила, склонив голову. С соседями не общалась. Люба, напротив, улыбалась по любому поводу своей железной пастью, и угощала ребят конфетами «Старт», если была при деньгах. Сестры сгорели заживо в строительной бытовке на стройке, после сильной пьянки. Взрослые говорили об этом шепотом, вздыхали. Жалко было непутевых, но добрых теток.

Третий этаж – тихая, интеллигентная семья алкоголиков, у сына – церебральный паралич. Четвертый этаж – шизофреничка. Дама строгая, с высшим образованием, муж – геолог. С соседями заносчива, с детьми криклива. Узнали, что она «ку-ку», когда она голая выскочила на лестницу, фотографируя спичечным коробком ошалевших жильцов. Попрытались, вызвали скорую. Больше я эту тетю не видел. Пятый этаж – тихая женщина-лимитчица. Выпрыгнула из окна после того, как сожитель, которого она возлюбила и берегла от всех напастей, оказался психом и набросился на нее с ножом.

Но самый яркий персонаж – дядя Толя. Дети с нашего дома хорошо помнили его. Возвращаясь домой в сильном подпитии, дядя Толя задорно пел народные частушки и отплясывал чечетку совсем как популярный герой из фильма «Неподдающиеся». Невысокого росточка, крепко сбитый, в неизменной кепке, с перебитым носом, шальными глазами, которые в подпитии легко становились бешеными, непутевый скандалист, одинокий, он никогда не унывал, любил

детей и всегда угощал нас конфетами. Любил только вот подраться. Не прощал обиды ни от кого и всегда бил первым. Мужики во дворе знали это и редко приглашали его на партию в домино, но он и на стороне находил приключения и частенько объявлялся во дворе с лиловым фонарем под глазом.

Как-то раз (я учился уже классе в четвертом) у нашей парадной стопились милиционеры с собакой. Жильцов они тихо, но требовательно просили подождать входить в дверь. На втором этаже были слышны истошные вопли. Дядя Толя (рассказывали) кричал из-за двери, что живым не сдастся. Потом (опять же рассказывали) милиционер ловко открыл дверь отмычкой и в квартиру впустили собаку. Раздались крики, выстрел, шум борьбы. Народ внизу ахнул. Я стоял в толпе и видел, как распахнулась дверь. Дядя Толя вышел в наручниках, с разбитыми губами, поддерживаемый с двух сторон хмурыми милиционерами. Он притормозил, оглядел нас, двор, и крикнул: «Прощай, Народная!».

Оказалось, что накануне дядю Толю оскорбили возле пивного ларька мужики, да еще и побили за строптивость. В сильном гневе дядя Толя прибежал домой, схватил свое охотничье ружье (он имел охотничий билет) и бросился к ларьку. Неподалеку были проложена по какой-то надобности траншея. Дядя Толя залег в ней, как заправский снайпер, и первым же выстрелом картечи пробил сердце молодому человеку в милицейской форме – это был сержант мили-

ции, простой псковский парень, недавно дембельнувшейся из армии. Вторым выстрелом был ранен случайный прохожий. Убедившись, что только что поставил жирную точку в своей непутевой жизни, дядя Толя заметался по дворам, но в конце концов все-таки прибежал домой. Собака легко взяла его след и привела опергруппу к убийце.

Дело было громкое. Дядю Толю приговорили к расстрелу. Об этом сообщала главная городская газета «Ленинградская правда». Во дворе еще долго спорили, как приводится приговор в исполнение. Почему-то никто не верил, что это делает человек. Пончик до хрипоты доказывал, что существует специальная лестница, по которой приговоренный идет-идет, пока не наступит на ступеньку с подвохом: тогда раздается очередь из автомата и труп скатывается в подземелье, где его опять же автомат и закапывает землей.

Итак, лестница. Пять этажей, пятнадцать квартир, по три на каждом: два убийства, самоубийство, два шизофреника и два ужасных несчастных случаев... Допускаю, что лестница выбивалась из среднего статистического ряда, пусть у остальных жильцов судьба была удачнее, и все же... Не Котлас, не Воркута, не Магадан. Ленинград, благословенные семидесятые годы, развитой социализм, бля...

Глава 11. Первая любовь

Чувствовали ли мы, жители, себя обделенными судьбой или несчастными в этом мире? Тысячу раз нет! Я и по сей день уверен, что у меня было самое чудесное детство на свете, самое лучшее на свете отрочество и самая счастливая юность!

Разве можно забыть, как волшебно пахла трава возле канализационных люков, где даже в самые сильные снегопады и суровые морозы таял снег, а коты со всей округи грели свои брюхи и лапы, съезжившись в пушистые комки меха с мерцающими желтыми глазами? Недовольные вороны ходили между ними, вызывая котов на дуэль, но, если мороз был силен, коты не поддавались на провокации и продолжали дремать – согнать их с нагретого места мог разве что дворник с метлой.

Тут, возле люков, мы с Китычем до боли в локтях сражались в ножички. Тут весной собирались пацаны со всего двора и начиналась самая веселая, самая увлекательная, самая шумная игра «в слона и мильтона». Рассказываю. В круг становились двое. Согнувшись пополам, они сцеплялись руками в единое целое. Это и был слон. Рядом стоял «мильтон». В его задачу входило отлавливать желающих прокатиться на слоне: желающими были все, что стояли за кругом и выжи-

дали удобный момент. Если какому-нибудь ловкачу удавалось вскочить на слона, избежав мильтоновских рук – сиди и наслаждайся сколько хочешь. Если мильтон успел тебя запятнать – подставляй свою спину.

На игру вместе с ротозеями собиралось десятки ребят, еще больше взрослых зрителей наблюдали за игрой из окон.

Едва мартовское солнце выжигало на газонах грязно-бурые узоры, а в ушах звенело от воробьиных криков, девчонки тащили откуда-то мелки и баночки от гуталина: началась игра в классики. Вообще-то пацаны считали эту игру девчачьей, но посмотрев минуту-другую, как воображалы гордятся своим мастерством, вступали в игру и двор тут же оглашался криками и спорами: «Черта! Котел! Ты уже был! Сам козел!» Девчонки терпели-терпели, но иногда забирали свою банку из-под гуталина и перебирались в другое место, и там рисовали новые классики, но мальчишки находили их и опять хотели вступить в игру. Девчонки высокомерно поднимали носы и злорадно отвечали.

– А чего вы к нам лезете? Играйте друг с другом!

– Чем?!

– Самим надо иметь!

И вечно же именно у них была и банка из-под гуталина, и мелки! И задавались же они! Прямо так и дал бы...

Но мстили им по-другому. Пацаны, сгрудившись в боевую ячейку, начинали глумиться над каждым неловким движением девчонок, смеялись над каждой ошибкой, пока их

не допускали в игру. Играли иногда до самой темноты, пока банку еще можно было разглядеть на асфальте.

Если классики надоедали или сил было мало – играли в «хали-хало». До сих пор не знаю, откуда взялось это дурацкое слово. Игра была простая. Человек пять сидят на скамейке. Перед ними стоит ведущий, стучит мячиком об асфальт и менторским голосом выговаривает: «Это такое существо: первая буква «к», последняя «у»» – «Живет в Африке?» – спрашивают со скамейки. – «Нет!» – «В СССР?» – «Нет!» – «Травоядное?» – «Ммм... да!»

– Кенгуру!

– Хали-хало! – кричит ведущий и бьет мячиком об землю. Отгадавший хватается мячик. Теперь ему надо попасть мячиком в кольцо рук, отбежавшего ведущего. Тогда он сам становится ведущим. Незаменимая игра, когда бегать надоело.

Еще был «штандр-штандр». Это когда все становятся в круг, а ведущий с мячиком кричит: «Штандр-штандр, Вася!» и подбрасывает мячик в небо. Все разбегаются, а Вася подхватывает мяч и кричит: «Стоп!» Игроки застывают со сведенными в кольцо руками. Васе надо попасть в любое кольцо. Он выбирал, что поближе. Если попал – игрок становится ведущим. Не попал – извини. Отныне и до конца игры быть тебе под именем «Отрыжка пьяного крокодила».

В апреле начинали рубиться в «картошку» на пустыре, если у кого-то в семье родители раскошеливались на волейбольный мяч. В «картошке» хорошо было влюбляться в ка-

кую-нибудь красивую девчонку, так, чтоб незаметно было. Девчонки старались быть с пацанами наравне, но все равно пищали, когда им попадало мячом, и даже кокетничали, хотя и пытались это скрыть.

Во время этой игры я и влюбился первый раз в жизни. Как умел.

Ее звали Люда.

Она приходила не каждый вечер, одна, и никто не знал откуда. Я глупел, когда ее видел и нес такую чушь, что Китыч смотрел на меня с изумлением. Не могу сказать, что она была красавицей. Обыкновенная девчонка лишь для меня была необыкновенной. Она принадлежала к другой породе. В ней отсутствовала та вульгарная простота и задиристость, которыми отличались наши дворовые девчонки и которые порой стирали всякие различия в полах до такой степени, что не было никакого желания выпендриваться друг перед другом. Наверное, у Люды были интеллигентные родители. Мама, скорей всего, красивая и умная, и дочке оставалось только подражать ей.

Она не задавалась (о, как мы, мальчишки, не любили девчонок за то, что они были воображалами и задаваками! Таких не грех было дергать за косички, и выбивать портфель из рук). У нее были чудесные доверчивые глаза – темные и блестящие. Она не стеснялась своей слабости и совсем не презирала нас, пацанов, даже откровенных дебилов. И еще в ней была та естественность, которая так любя мужским серд-

цам. Например, она могла запросто признаться, что хочет в туалет и поэтому покидает компанию на пять минут.

Туалетный этикет среди детей и подростков на Народной улице был едва ли не сложнее, чем королевский. Некоторым девочкам было легче взойти на костер, чем признаться, что ее мочевой пузырь полон. Виной тому были наши сельские родители. Вышедшие из вонючих нужников, как русская литература из гоголевской шинели, они жаждали в городе чистоты необыкновенной и небывалой. Именно родители прививали нам мысль, что туалет – это грязно не только в физиологическом смысле, но и в моральном, и в моральном даже больше. Видимо подсознательно они ожидали, что городские скоро научатся вообще обходиться без туалетов. Туалет напоминал им какую-то постыдную тайну. Какашка оскорбляла более нравственно, чем эстетически. Захотел какать – оскорбил ближнего своего.

Отсюда столь сложные ритуалы отправления естественной нужды. В советской литературе, как и в дворянской, эта тема игнорировалась вообще. Во дворе мальчики справляли нужду в подвалах, подъездах и кустах, а девочки... девочки не знаю! Кажется, они не писали вовсе!

Так вот, Людмила обладала простотой, которая наследуется только от очень воспитанных, умных и любящих родителей. Ей не было нужды притворяться и чужое притворство ее не пачкало, поскольку она обладала даром непуганой доверчивости.

К девчонкам в ту пору у меня было очень путанное, сложное отношение. В отряде мы тогда исповедовали культ мужского сурового героизма. Связь с девчонкой приравнивалась поначалу к предательству и малодушию. Вскоре, когда начался неизбежный процесс энтропии, ослабли и нравственные крепки – запрет с девчонок был снят. Тимка, как я и подозревал, в тайне всегда любил девчонок, и с радостью принял либеральные перемены. Красивого Бобрика девчонки любили, несмотря на мои запреты, гораздо больше, чем он их, и в его жизни ничего не поменялось. Матильду любила только его мать, и он был предан отряду и мне лично, как изгой, которому вернули доброе имя.

Китыч... Мой верный Китыч. Он любил девчонок, но, как Лермонтов Отчизну, какой-то странную любовью... Однажды Валентина Сергеевна усадила его за одну парту с аккуратной и дисциплинированной Светкой Муратовой. Для исправления Китычиных грубых нравов. Конечно, когда такой парубок и дивчина полдня сидят вместе – любви не миновать. Вот и Китыч уже на второй день стал прятать от меня взгляд, словно ему неловко было признаться в какой-то пакости. Валентина Сергеевна просияла. Это была ее очевидная личная победа. К сожалению, недолгая.

Как рассказывали потом очевидцы, все началось с невинного флирта. Сначала Светка шутливо пихнула Китыча коленкой под партой, потом он ее, они захихикали, потом она шлепнула его по спине ладошкой, а потом... Потом Китыч

размахнулся и кулаком хрястнул Светку по спине. «Хра!!» – выдохнула Светка, повалившись на парту, и медленно сползла на пол. Начался переполох. Светка побелела, как простыня. Китыч пошел пятнами. Сбегали за врачихой. Светке дали нашатыря.

Китыч сидел в углу убитый и только повторял: «Я нечаянно!»

Нас опять посадили вместе.

Люда была моей первой любовью. Но какой же нелепой любовь была! Мне все время хотелось сказать ей гадость. Вообще-то у нас во дворе это было нормально – девчонки тоже говорили нам гадости. Мы иногда даже дрались.

Но с Людой было как-то иначе. Хотелось обидеть ее, но так, чтобы она увидела, наконец, какой я необыкновенный парень, не то, что остальные дворовые придурки. Ломался я в ее присутствии действительно необыкновенно. Слово в простоте не мог вымолвить. Все нес в себе какую-то страшную тайну, которая мучила меня. Когда мы сидели вместе с ней в центре круга на корточках, я всегда поворачивался к ней спиной, а если мы касались нечаянно коленками, испуганно отстранялся, как будто она была заразной.

Наконец она заметила меня, то есть стала отличать в толпе. Как это происходит – трудно сказать. Вдруг посмотришь друг на друга и понятно станет, что она знает, что ты думаешь о ней и знает, что я знаю, что она думает обо мне, и та самая стрела Амура, о которой говорят поэты, так жар-

ко кольнет в сердце и поддых, что хочется срочно опорожнить кишечник. Тогда начинается эта молчаливая мучительная сладкая дуэль, когда говоришь кому-то другому обыкновенные слова, а предназначены они для нее, когда ты слышишь в общем гаме только ее голос и отвечаешь ему, хоть этого никто кроме нее не слышит.

Нас пихало и пихало друг к дружке, мы сопротивлялись и сопротивлялись, и, вот как-то (мы играли в «картошку» и сидели в штрафном круге) во время особенно беспощадного обстрела мячом я упал на спину, она повалилась на меня сверху и мы захохотали вместе со всеми от души!

В этот вечер я провожал Люду до ее парадной. Всю дорогу меня мучила мысль, что у меня нет расчески. Почему-то мне казалось, то я буду гораздо привлекательнее, если зачешу челку на бок. И все время хотелось быть каким-то необыкновенным! Хотелось хвастаться, что я – командир тимуровского отряда, что совсем скоро я стану контрразведчиком и получу Звезду Героя, что я вообще... недаром на свет родился.

Помню, мы забрели на задворки какого-то детского садика и остановились одновременно.

– Скоро лето, – вздохнула Люда.

Народная погружалась в мягкие апрельские сумерки. Из кустов раздавались завывания котов. Далеко на пустыре лаiali собаки. На Люде было лиловое пальтецо, и вся она была какая-то... светящаяся, так что и смотреть на нее было

больно.

– Ты, наверное, в пионерский лагерь поедешь? – спросила она.

– Еще чего!

Мы облокотились спинами об деревянную ограду детского садика и смотрели, как в окнах пятиэтажек зажигается свет.

– А кем ты хочешь стать?

Пришел мой звездный час! Я разволновался, стал путаться.

– Ты знаешь, это нельзя говорить, это тайна и мы поклялись... кровью.

Люда ахнула, и я покраснел от удовольствия.

– Кровью? Это же... больно? Да?

– Ерунда! Больно, конечно, но... надо! Мы с Китычем строим самолет. Из ватмана! Вот. Рассказать? Слушай! Все гениальное просто. Знаешь ведь, как сделать самолетик из бумаги? Сгибаешь лист пополам, потом загибаешь углы, ну, и так далее. Так вот мы сделаем такой же, только он будет очень большой и из плотной бумаги.

– Понимаю...

– Да ничего ты не понимаешь! Он будет огромный. Метра... три в длину! У нас за железной дорогой стоит вышка и мы хотим запустить его с этой вышки. Вместе с котом...

– С котом?!

– Ну, или с собакой. Как Белка или Стрелка. Он должен

парить. А если испытания пройдут успешно, то и человек может лететь. Был бы ветер.

Люда была поражена. Я впервые видел, как девчонка прибалдела не от девчачьих пустяков, но от серьезного пацанского дела. Без кокетства, без глупого сюсюканья.

– Думаешь, полетит?

– Ха! Думаешь! Мы с Китычем провели уже сто испытаний! Прямо из окна пятого этажа. У Кита отец художник на заводе, бумаги полно! Ты знаешь, один самолетик поднялся выше пятого этажа, улетел в соседний двор. А если увеличить площадь крыла? Конструкция-то одинаковая! Должен полететь!

Не без гордости вспоминая этот разговор, признаюсь себе, что предвосхитил идею будущих дельтапланов!

– Вот это да! – еще раз ахнула Люда. – А ведь правда... Только опасно как. А вдруг он взлетит... под облака?

– Опасно, – согласился я, испытывая извечное удовольствие мужчины, когда ему удастся напугать женщину своей очередной безрассудной затеей. – Но что делать? Надо. В отряде так решили.

– В отряде? – третий раз ахнула Люда. И опять без жеманства – вот что было здорово!

– Да... только это тоже тайна. Не хотел тебе говорить, но я... командир отряда.

Много раз в жизни потом мне удавалось возбудить в женщине этот трепетный огонек восхищения, любопытства,

ужаса, но тот первый опыт был самым волнующим и сильным. Мы не смотрели друг на друга, но я буквально чувствовал, как ее взгляд припекает мне затылок и плечи. Подняв голову, я увидел ее блестящие, широко раскрытые глаза. Они требовали ответа. Немедленно!

– Никому не расскажешь?

Она не ответила и только сильно затрясла головой.

– Самолетик, ракета – это, конечно, важно, но – ерунда. Понимаешь, кругом много еще осталось нечисти. Милиция, конечно, справляется, но не всегда. Нужна помощь. Мы боремся с хулиганами, с фарцовщиками. Выследили одного настоящего шпиона. По кличке «Папаша».

– Ты знаешь, я по телевизору видела – тоже Папаша! Извини, что перебила, ну?

– Он скрывается. Но ничего, от нас не уйдет. Мы уже знаем, в каком доме он живет, а однажды даже выследили его квартиру. Тимка предложил положить ему перед дверью собачью какашку, на коврик. А потом мы решили набить в замок спичек. Пончик научил. Теперь замок менять надо.

– Ничего себе! А зачем это?

Все-таки женщина остается женщиной!

– Ну, как зачем?! Сама посудит!

– А-а-а, ну да, конечно...

– Вот именно. Домой вернется, а дверь не открыть! А ему может быть на связь надо выходить. По рации. И вообще, чтоб знал, гад... Это, конечно, ерунда. Брать его надо. Вот

только оружия у нас маловато. Тимка говорит, что в лесу можно накопать. Мы уже пробовали, но не повезло. А пока вот только кастеты... вот.

Я достал из кармана свинцовый кастет, который с трудом налезал на мои пальцы и постучал им по деревянным перилам.

– Пробивает череп с одного удара.

– Дай посмотреть.

Люда осторожно, кончиками пальцев приподняла кастет, глядя на него как на опасного паука.

– Тяжелый! А ты уже его... пользовался?

– Было дело. Хулиган... хулиганил. Я один раз только и приложил ему... в челюсть. Сразу все понял. Знаешь, они ведь только с виду храбрецы, а против молодца и сам овца.

У Люды было чистое сердце. Она и сама не врала и другим верила легко. И смотрела она на меня так доверчиво в эти минуты, что я, наверное, бросился бы с кастетом наперевес на любого, кто посмел бы ее обидеть. Командир отряда – шутка ли?!

Мы гуляли с ней до темноты. Я рассказал ей буквально все, что нельзя было рассказывать, все тайны, про структуру, про клятвы, про подвал, про лес и ни разу не пожалел об этом, хотя Матильду мы однажды чуть не выперли из отряда за то, что он проговорился матери о каких-то пустяках. Мы мечтали. Люда собиралась после школы стать учительницей. Я – полковником КГБ. И опять Люда испуганно

ахала, словно уже завтра мне предстояло прыгать с парашютом в тыл врага, чтобы добыть секретные сведения. Ах, это женское аханье! Сколько мужиков сломали себе головы из-за этих испуганных «ах!»

«Ах!» – и пацан прыгает с козырька в сугроб.

«Ах!» – и залезет на самое высокое дерево.

А когда слезет, еще сделает вид, что залез просто так, что широко распахнутые от восхищения, голубые глазищи на веснушчатом лице здесь ни при чем!

А зачем девчонкам эта безрассудная пацанская смелость? Нужна! И хорошо, что нужна! Хотя бы в детстве. Как-то неуютно стало бы жить, если бы примерный, робкий мальчик Вася с пятибалльным аттестатом властвовал над женскими сердцами с юношеских лет.

– Ты пойми, – снисходительно объяснял я Людке, – я буду ловить врагов здесь! Шпионов то есть. Это разведчики – там, за границей. Ну, конечно, здесь тоже приходится и стрелять, и драться. Их знаешь, как учат? Шпионов? Джиу-джитсу – раз, дзюдо – два, карате – три! А стреляют они даже с закрытыми глазами. Но ничего... Наши тоже кое-что умеют, – тут я с усмешкой. – Получше, чем они! Ты знаешь, я сначала в милицию хотел. Но потом понял, что в КГБ лучше. Достоешь красную книжечку: «КГБ! Всем спокойно! Документы!»

– Здорово! – мечтательно говорила Людка. – А форма у вас есть? Ну, с погонями.

– Есть. Только мы ее... они ее не надевают. Она в шкафу

храниться. А то любой шпион сразу поймет... кто есть кто....
А пистолет всегда с собой. Мало ли что.

– Дашь мне пострелять?

– Ну ты даешь! Нельзя. Мне же потом отчитываться. Ты не расстраивайся, я тебя на полигон свожу и стреляй сколько хочешь!

Я как-то незаметно выпрямился, посуровел лицом – ведь у меня за плечами был целый рюкзак тайн. Хорошо быть Героем Советского Союза в одиннадцать лет! Особенно, когда гуляешь с красивой девчонкой, которая верит каждому твоему слову!

А вечер между тем густел. Из ярко освещенных окон лился желтый свет, распахивая мрак по кустам и парадным. Сырая земля была бесстыже голой и резко пахла перепревшими мокрыми листьями. Где-то в соседнем дворе играла гитара и несколько ломких голосов неуверенно подвывали ей что-то про Наташку, которая была слишком красивой. Дивны вечера на Народной в апреле в начале 70-х!

За углом дома мы столкнулись с матерью, которая вышла искать дочь.

– Люда, где тебя носит? Отец волнуется, я места себе не нахожу. Ты что, девочка моя?

– Мамуль, прости! Это Микки, мой друг!

Мама была красивой женщиной. Как и все красивые мамы, она была не злая.

– Микки, наверное, тоже ждут, волнуются. Правда, Мик-

ки? Какое интересное у тебя имя. А меня зовут Елена Валерьевна.

Она улыбалась, поглаживая Любу по затылку. Я вдруг понял, что несмотря на категорические запреты, был бы не против, если бы Люда рассказала ей про меня все!

Глава 12. Полет

Самолетик получился не таким, какой он вынашивался в моих мечтах – всего лишь метра полтора в длину, в ширину чуть меньше. На все про все ушло несколько кусков ватмана, которые мы склеили канцелярским клеем. Работали днем, у Китыча. Когда крылатая машина была готова и лежала на боку в комнате, мы с Китом присели на диван в молчании. Дело было слишком велико, чтобы суетиться. Шутка ли – Б-29 армии США покорно лежал у нас под ногами. Это вам не скворечник, в котором мы к тому же забыли пробить дыру.

– У Войтюка был кот, – задумчиво молвил Кит, поглаживая натруженные колени ладонями, – только большой очень – килограммов десять! Нашему не потянуть. У нашего какая грузоподъемность, как думаешь?

– Килограмма два, не больше. Котенка надо искать. Или... хомяка.

Кит помрачнел.

– Хомяк, Тишка мой, погиб смертью храбрых, забыл?

– Как можно, Кит? Всегда буду помнить. Что делать... космос он такой... требует жертв. Кстати, могилку надо навестить. Цветочек положить, то, се... Забыли.

– В подвале кошка родила, слышал? Рыжая такая, Маська? Правда давно уже. Дядя Петя-водопроводчик грозился

котят утопить...

– Глянуть надо!

Мы запахали самолетик под диван и спустились вниз. В подвале, как всегда, было влажно и сумрачно. Водопроводные трубы переговаривались друг с другом – то басом, то визгливым фальцетом, то хриплым клекотом. Иногда отчетливо было слышно над головой, как стучали каблуки по паркету. В окошки с улицы проникал рассеянный свет.

– Вон она! – Кит указал рукой в темноту, откуда блеснули два глаза. – Маська. Девчонки постельку ей принесли... Ага, всех уже разобрали... Нет, погоди, один остался. Беленький. Кис-кис-кис!

Маська метнулась во тьму и оттуда блеснули ее желтые глаза

– Спокойно! – повелительно молвил я. – Мы забираем твоего сынка, Маська, для научного эксперимента. Гордись!

– Мяу! – громко ответила Маська, и я понял, что она гордится.

Этим же вечером я позвонил в дверь Любы и вручил ей сумку.

– Посмотри. Можно он у тебя переночует? Завтра в полет! Летчик жалобно пищал в сумке. Люба вытащила его и прижала к губам.

– Маленький какой!

– Больше нельзя. Конструкция не выдержит. Ты родителям не говори только ничего, а то начнется... Скажи, что

просили приютить на одну ночь.

– А если он разобьется?!

– Сама понимаешь... Небо. Но мы все продумали.

– Все-все?

– Почти. Завтра утречком зайду. Тебя отпустят?

– Воскресенье же... отпустят. Как его зовут? Стрелка?

Нет, пусть будет Снежок!

Ранним утром по железной дороге торжественно шагали два главных конструктора, я и Китыч. Кит нес на голове самолетик, который взбрыкивал на ветру как норовистый, застоявшийся конь. За нами семенила Люба с сумкой, в которой истошно орал Снежок, чуя свою погибель. Вышка была неподалеку, возле пожарного пруда. С нее хорошо просматривались колхозные поля, которые засевались каждый год турнепсом, морковкой, а иногда и вкуснейшим горохом. Турнепс, кроме колхозников, никому был не нужен, а вот горох охранял летом конный сторож и ребятня боялась его нагайки пуще огня.

Утро было чудесное. Вдоль железной дороги, на насыпях, из-под шпал весело глядели желтые цветочки мать-и-мачехи. Бабочки выбрасывались из канав и кустов, как желтые фантики, и свежий ветерок подхватывал их и увлекал в голубое небо. Лето было совсем рядом, оно пряталось за лесом, из которого уже дуло теплым воздухом. Как всегда, лето выжидало, когда люди истомятся в ожидании, чтобы нагреть неожиданно.

На вышке мы с Китычем развернули самолетик, и он затрепетал бумажными крыльями. «Летчик-камикадзе№ в мешке затянул свою последнюю душераздирающую тягучую песнь.

– А где же кабина для пилота? – с ужасом спросила Люда.

– Он сядет здесь – я указал на середину – Вцепится когтями.

– Нет! – Люда прижала к груди мешок. – Он разобьется!

– Наука требует жертв!

– Вот сами и садитесь в свой самолетик! Живодеры!

Я взглянул на Китыча. Он хлюпнул носом и отвернулся. Люда смотрела на меня с нарастающим возмущением.

– Как не стыдно! Мучить котенка!

Снежок прислушался в мешке к разговору и мяукнул на сей раз так скорбно, так тихо, словно смирился с неизбежным и просил только, чтоб смерть его была не мучительной. Кит был явно не на моей стороне. К тому же он уже отдал научному прогрессу своего драгоценного хомяка и знал, что такое боль утраты. Люда готова была стоять насмерть.

– Ладно! Тогда положим просто груз!

Люда просияла. Кит спустился вниз за камнем, мы кое-как уместили его в центре самолетика и наконец волнующий миг настал.

– Внимание! – скомандовал я. – Продуть баки! Двигатели запустить! Готовность номер один! Ключ на старт! Как слышно меня, как слышно?

– Давай быстрее, ветер начинается, – отозвался Китыч, удерживая двумя руками самолетик. Всегда было трудно разбудить воображение этого парня.

– Начинаю отсчет. Десять, девять, восемь...

– Микки, быстрее, я отпускаю!

Камень выскользнул сразу. Самолет клюнул носом, но тут порыв ветра подхватил его, и он взмыл ввысь. Мы ахнули от восторга! И тут же ахнули от испуга: наш Б-29 вошел в штопор и воткнулся с брызгами носом в пожарный пруд

Испытание закончилось. Самолетик долго не тонул и трепетал на ветру, зацепившись за корягу. Мы с Китом отдали ему прощальный салют. Испытание было признано успешным.

Всю обратную дорогу Люда тихо разговаривала с котенком, а возле своей парадной категорически заявила.

– Все! Снежок больше в испытаниях не участвует. Он – мой.

Я не спорил. Вечером папаня Кита обнаружил пропажу ватмана и Киту пришлось объяснять, что бумага нужна была для классной стенгазеты по случаю приближающегося 1 Мая.

Снежку повезло. В семью его приняли с радостью, и он сразу распушился, округлился и обнаглел. Подвальное детство давало о себе знать. Мало того, что он тырил все, что плохо лежало, он еще и кусался и царапался, не зная меры, в полную силу. Меня он грыз особенно азартно, видимо пом-

нил, какую участь я ему готовил. Людка играла с ним только в рукавицах, а Елену Валерьевну белое отродье не трогал! Даже позволял себя гладить.

С отцом семейства я тоже познакомился как-то вечером. К моему изумлению, папа Люды – плотный, усталый мужик с грустными глазами – оказался милиционером, майором уголовного розыска. Об этом, как я убедился, распространяться не следовало. Папаня уже знал, что мы с ним в будущем почти коллеги, но, как всякий милиционер, недолюбливал комитетчиков и старался лишнего не болтать. Впрочем, однажды дал подержать свой пистолет, предварительно разрядив его, а Людка восхищенно смотрела на меня, а Елена Валерьевна улыбалась.

– Ну как? – спросил папаша. – Нравится?

Он еще спрашивал! Пистолет был прохладный, увесистый и таил в себе неведомую грозную силу, от которой заколотилось сердце. Хотелось навести его на кого-нибудь. Всего-то только навести, чтоб увидеть, как страшный Наиль превращается в трусливого суслика.

– А вот в живот целится не надо! – папа ловко изъясил у меня оружие и улыбнулся жене. – А ты боялась даже в руки взять!

– Ну его, – передернула плечами Елена Валерьевна. – Микк можно, он скоро будет разведчиком.

– Да не разведчиком, а контрразведчиком! – с досадой поправил я.

– А в разведчики что же, не хочешь? – спросил глава семейства.

– Не!

– А что так?

– А если поймают? пытки? А потом расстрел? Я сам хочу ловить.

– Хулиганов?

– Шпионов! Хулиганы мне не нравятся. У нас их на улице полно. Наиль, Рыга, Витька Яковлев... Видеть их не могу.

– Вот, – тихо проговорила супруга, – говорила тебе? Устами младенца...

– Микки поймает самого злого шпиона! Самого гадкого! Он застрелит его! – вмешалась Людка.

– Обязательно поймает! – согласился папа, вздохнув. – Лен, кушать хочу, как волк, причем тамбовский. Слыхала, небось, про такого?

– Вижу такого. Каждый день.

Я влюбился в людкиного отца сразу и пылко. Теперь я часто бывал в их семье и не раз оставался на ужин. Иногда Василий Павлович – так его звали – был расположен к беседе. Больше всего я пытал его, как не трудно догадаться, насчет геройских подвигов.

– А у вас есть награды, дядь Вась?

– А то...

– Орден?!

– Медаль. За безупречную службу.

– Вы преступника поймали?

– Вроде того.

– С ножом?! Один на один! А вы приемы знаете? Самбо?

– Учил когда-то...

Меня удивляло, что у него глаза всегда были при этом какие-то грустные. И о подвигах он говорил как-то неохотно... Ну, задержали, ну допросили и что?

А Елена Валерьевна вообще морщилась, если я пытал ее про мужнину работу. Люда по страшному секрету призналась, что родители даже ругались из-за работы папы. Я не мог в это поверить. Жить с героем и ругаться!

– Ты не подумай, мама очень любит папу! Только она переживает, боится.

– Чего бояться?! Он – раз-з-два! Приемчик, и все готово. Знаешь, как их учат? Это секрет. Разные секретные приемы. И стреляют они прямо в цель. Хоть с закрытыми глазами. Смотрела «Чингачгука»? Ну вот... и они так. Он на него с ножом, а он рукой вот так раз...

– Ой! Больно же! Отпусти!

– Это меня Пончик научил, я тоже кое-что знаю. Ну не хнычь, все в порядке. Я же шутейно...

Люда обиженно дула на запястье, я тоже дул. Поганец Снежок выскакивал откуда-то из-под дивана – хвостик столбом, спинка горой – и прыгал боком, готовясь к нападению. Мы шустро подбирали ноги и кричали тоже угрожающе.

– Вот только попробуй!

Снежок пробовал почти всегда и почти всегда удачно. Людка визжала, я дрыгал ногами и рычал. Царапался он больно. Изловчившись, я давал ему такой пендель, что он летел в коридор белым мячиком.

– Ты чего? – тут же меняла тональность Людка. – Ему же больно!

– А нам не больно? Пусть знает!

Людка шла за Снежком в коридор и через несколько минут оттуда доносился ее крик.

– Больно же, Снежок!! Ай! Пусти! Не смей!

Я не вмешивался, почесывая расцарапанные кисти. Людка появлялась задом, согнувшись и выставив перед собой руки.

– Не смей больше! Фу, Снежок! Фу!

Потом мы забирались на диван с ногами, а Снежок сидел внизу и хлестал по полу хвостом, дожидаясь, когда сверху свесится его добыча.

– Надо было отправить тебя на Луну, вот погоди! – угрожал я. – Зверюга подвальная.

Однажды так сидели мы с Людой долго, а потом глянули друг на друга и смутились. Людка зачем-то поправила платье, а я покраснел. Что-то надвигалось. Мы отпихивали какую-то страшную мысль, а она уже владела нами.

– Слушай, а ты целовалась когда-нибудь? – вдруг спросил я осипшим голосом.

Людка опустила голову.

– Нет. А ты?

– Да. И не один раз. Еще в детстве. Это просто.

– Н-не знаю... А зачем?

– Все делают это. Хочешь попробовать? Тебе понравится, вот увидишь!

– Хочу, – еле слышно вымолвила Людка, краснея еще сильнее, – только я не умею. И мама будет ругаться.

– Не будет! Она и сама наверняка целуется! И мы никому не расскажем. Давай?

– А мы с тобой поженимся?

– Конечно! И Снежок будет с нами.

Людка подняла голову и посмотрела на меня влюбленными глазами.

– И мама с папой!

– Что?

– Будут жить с нами.

– Ну... наверное. И мои родители тоже. Но мы будем отдельно. Как муж и жена. У нас все будет общее. Ты была на свадьбе?

– Да. Целых два раза!

– И я был. Видела, как они целуются?

– Видела... Ты что, прямой сейчас хочешь?

Я лишь облизнул пересохшие губы и кивнул.

– Ты никому не скажешь? Закрой глаза и не смотри на меня, ладно?

Я закрыл глаза. Что-то мокрое, теплое прижалось к моим

губам и сразу отпрянуло с испуганным восклицанием.

– Ой! Не смотри на меня!

Люда заплакала.

Я вытер губы и тронул ее за плечо.

– Ну ты чего, Люд? Все нормально. Никто не видел.

Людка вытерла глаза, шмыгнула носом.

– Так страшно. Что теперь будет? Мы же еще маленькие.

– Мы же вырастим, чего ты?

– И будем любить друг друга? Я тебя давно люблю, Микки и ты меня люби.

Перечитывая сейчас эти строки, поймал себя на том, что это напоминает мне историю про то, как Том Сойер впервые поцеловал Ребекку Тэтчер – ну и что с того? Я же не виноват, что мы с Томом похожи.

Елена Валерьевна узнала все про нашу любовь в этот же вечер. Люда сама ей и рассказала. И про то, что мы поженимся, и про поцелуй, и про то, как любим друг друга. К счастью, мама не сошла с ума от ужаса и даже особо не расстроилась. Спасло то, что она была красивой женщиной. Красивые женщины, они такие – их трудно выбить из седла. Чувствовалось, что Елена Валерьевна пережила не одно признание в любви, перевидала всяких мужчин и видела их насквозь. И меня она видела насквозь, поэтому и не перепугалась. Позвала нас с Людкой на кухню, налила чаю и сказала.

– Ну вот что, голубки. Я рада, что вы любите друг друга. Но со свадьбой придется повременить. И с поцелуями тоже.

И давайте-ка лучше об этом не будем рассказывать папе. Не будем его расстраивать. Микки, ведь ты разумный мальчик? Я не хочу, чтоб ты приходил в гости, когда меня или папы нет дома. Хорошо?

Я кивнул. Елена Валерьевна вздохнула, подперла ладонью подбородок и с удивлением и любовью разглядывала дочь. Потом сказала грустно и задумчиво.

– Люда, Людочка, Людовик... Ты подумай... Вся в меня пошла. Влюбчивая. Ой, влюбчивая... Не будет тебе покоя, Людовик...

До сих пор благодарен Елене Валерьевне за ее чистое сердце, за то, что избавила нас от тошнотворных нотаций тогда, от бабского «ой, что вы натворили, да что теперь будет!» Не внесла в наши души разлад, не напугала грозным возмездием.

Наши отношения с Людой выровнялись. Мы ни разу больше не целовались. Снежка кастрировали, но драться он не перестал.

Летом все разъехались по деревням, дачам и пионерским лагерям. Уехала и Люда. А потом вся их семья переехала куда-то в центр. В центр стремились многие. Особенно из интеллигентов. Так и ушла моя первая любовь.

Глава 13. Памяти друга

Сашка Коновалов многие годы был самым ярким попутчиком в моей жизни. Расскажу о нем до конца.

Юг в те годы не отпускал нас. Для советского человека каждый выезд на Черное море означал жирную галочку в биографии успешной жизни. Пяток галочек означало, что жизнь удалась. Десяток свидетельствовал – человек ворует, но раз до сих пор не посадили, значит не дурак. Если надо было деликатно, по-интеллигентски похвастаться, достаточно было начать разговор с того, что:

– В прошлом году в Ялте было дождливо. Удивительно. Сколько раз приезжал в сентябре, а такого не припомню. В Сочи потеплее...

И собеседник, который южнее Псковской области не бывал, сдувался.

Не удивительно, что через год, в сентябре, мы с Сашкой вновь упаковали рюкзаки и погрузились в «башмак» на Сортировочной станции. В карманах на двоих у нас было около сотни рублей. Цель на этот раз – Сочи.

Опыт пригодился. Мы избежали множество крупных и мелких оплошностей, которые в прошлом походе доставили нам кучу неприятностей, до Харькова добрались меньше,

чем за двое суток. А затем опять начинались мытарства, потому что дальнейший маршрут пришлось прокладывать заново. В результате мы забрались аж на Северный Кавказ, к Минеральным Водам. Вернулись. На какой-то кубанской станции сердобольная казачка, увидев наши исхудалые чумазые рожи, приняла нас за беженцев и накормила варениками с творогом. Силы иссякли и последнюю сотню километров от Лазаревской мы добирались на пассажирском поезде. Будучи совсем в непотребном виде, благоразумно не вылезали из тамбура. Две ночи в чертовом Сочи спали на берегу, днем не вылезали из моря. Щипали черный вязкий виноград с палисадников, заедали его лепешками. Смотрели на пальмы, как и все северяне с приторно-преувеличенным восторгом, облизывали пересохшие губы, засмотревшись на изумительные женские фигуры в крохотных купальниках на пляже, пугали почтенных тетушек, которые принимали нас за диких туземцев, спустившихся с гор. Назад в Ленинград возвращались все-таки обыкновенным пассажирским поездом – товарняки осточертели смертельно...

Уже будучи студентом на Черноморское побережье я зачастил. В том числе и с Сашкой. Одна поездка оставила неизгладимый след. В то лето мы отдыхали «как люди». Денег было рублей по двести на брата. Сняли комнату в Гаграх. Купались, загорали, ждали необыкновенных приключений, и они пришли. Как-то вечером познакомились с грузинами в кафе. Пили портвейн, хвастались и обнимались. Больше все-

го меня подкупило, что один из парней, Гиви, обожал «Дип Перпл». Мы дуэтом орали «Смо-о-ок он зе во-оте...» и хлопали от восторга носами. Как и положено, я приглашал Гиви в гости и обещал достать ему джинсы «Вранглер» за сто восемьдесят рублей (на Кавказе они шли за триста). Гиви на салфетке записал мой ленинградский адрес и заказал еще вина. Тогда я предложил ему целую партию американских штанов и обещал скидку. Сашка подключился и развил тему до крайности. Вырисовывался преступный сговор с целью крупного обогащения. На радостях, совершенно пьяные и довольные, мы пошли купаться, и уже в полной темноте нырнули в теплые волны. А когда вынырнули, я огляделся:

– Сашко, а где Гиви?..

Ни Гиви, ни его дружков не было. Не нашли мы на берегу ни своих джинсов (гордость наша!), ни денег, ни обуви, ни паспортов. Домой мы вернулись крадучись, в плавках и босиком. Утром отправились в милицию.

Гиви подвела жадность. Если бы пропали только деньги, мы не стали бы заморачиваться с Сашкой, но паспорта... это было уже серьезно. В отделении на железнодорожном вокзале толстый усатый капитан выслушал нас, набрал по телефону номер и откашлялся.

– Володя? Приезжай, дорогой, есть дело, которое можно распутать.

Я, честно говоря, сильно сомневался, что можно. Гиви я почти не помнил, место, где нас оставили без штанов, и

то вспомнили с трудом. Каково же было наше изумление с Сашкой, когда преступников нашли! Нашлись и паспорта. Вот только деньги и джинсы исчезли. Всю неделю мы как на работу ходили в милицию, помогали закрыть все уголовно-процессуальные вопросы. Запомнилась процедура опознания. В коридоре перед дверью, меня предупредили: «Гиви будет вторым от входа. Смотри, не перепутай!» Я вошел в кабинет и увидел четверо бугаев, которые сидели на стульях и мрачно смотрели в пол. Один нервничал.

– Вот этот! – ткнул я рукой, как и учили.

Гиви даже не шелохнулся.

Вторым шел Сашка. Его предупредили, что подозреваемого пересадят на крайнее место от окна. Сашка легко справился со своей задачей. Гиви попался.

Отпуск получился ни к черту, но история имела продолжение. В ноябре в Сухуми состоялся суд! Мы с Сашкой прилетели с наивной надеждой, что расходы на проживание и дорогу нам возместит государство. Поэтому тратились без оглядки. Говоря проще – пропили все! Гиви получил свои честно заработанные три года, милиция получила благодарность за отличную работу, а мы Сашкой, кроме морального удовлетворения, не получили ничего! В кошельке побрякивала только мелочь. Нужны были деньги. На третий день, ночью, мы с Сашкой наведались в колхозный сад за мандаринами. Рвали плоды торопливо, на ощупь, и набрали четыре полиэтиленовых мешка. Днем отправились на местный ры-

нок и с радостью убедились, что цитрусовыми никто не торгует! Расположились у входа, распахнули мешки. Решили не наглеть: три рубля за кило. Меня смутило, что покупатели испуганно обходили нас стороной.

– Слушай, – сказал я Сашке, – сходи-ка еще раз в ряды, глянь, может мы слишком сильно заряжаем?

И тут возник патруль. Милиционеры таращили на нас глаза.

– Вы кто?!

– Вот, мандаринчиками торгуем, – проблеял я, догадываясь, что мы с Сашкой влипли, – не желаете? Три рубля за кило.

– Сколько?!

– Вам задаром, – догадался Сашка. – Мешка хватит?

Через пять минут мы сидели в отделении. Сержант рассматривал наши билеты на самолет и паспорта.

– Вы понимаете, что наделали? – возмутился молодой постовой, – Только что посадили человека за воровство и сами воруете! Знаете, что за это полагается?! Знаете, что мандаринами вообще запрещено торговать?!

Мы с Сашкой захлюпали носами.

– Дяденьки милиционеры, мы ж не знали. Денег нет, кушать хочется, решили честно подзаработать...

– Честно? Да это же государственная собственность!

Спас судья, который встречал нас и провожал. Отмазал от органов, ссудил денег. Нам вернули даже мандарины. Ока-

зывается, даже местные сдавали весь свой урожай оптовиками: кажется, по 90 копеек за кило. Чудесные абхазские мандарины, которые я люблю до сих пор.

По решению суда нам с Сашкой полагалась компенсация. Через полгода пришел первый перевод на 90 рублей. Он же последний. То ли Гиви забил на работу на зоне, то ли освободился по УДО... Деньги мы с Сашкой пропили в ресторане гостиницы «Речная» вместе с двумя какими-то размазанными тетками с соседнего столика. Тетки визгливо хохотали, колыхали открытыми грудями, пускали сигаретный дым через оттопыренные губы в потолок и блядовали густо подведенными глазами. Руки у них были жесткие, рабочие, сквозь густой запах дешевых духов пробивался резкий аромат трудового пролетарского пота. Помню, как Сашка что-то свистел про золотые прииски и северное сияние, помню, как загадочно отмалчивался, когда рыжая Надя спрашивала, кем я работаю... Очнулся я в утренних сумерках в неудобной позе и с трудом спихнул с себя чью-то тяжелую голую ногу. Рядом, на подушке храпела рыжая голова, которая перестала храпеть и приподнялась, когда я пошевелился.

– Банка с водой на полу, сигареты на стуле, – просипела голова. – Дай и мне хлебнуть.

Я ошупью нашел банку. Теплая вода пахла водопроводом, но была очень кстати. Рыжая голова тоже прилипла к банке, шумно глотая. Потом мы закурили, и я спросил.

– Где я?

– В общаге, где же еще. . . .

– Понятно.

– Общага фабрики Ногина. Ты не бойсь, мы одни. Светка вчера срулила к подруге. Ты как?

– Восхитительно.

Рыжая хихикнула, чуть не подавившись дымом.

– Ты вчера был восхитительным. Все пытался на меня залезть. Еле спихнула. Ты и захрапел сразу же. . . . Хочешь капустки квашенной?

Ее шершавая ладонь медленно растирала мою грудь, потом медленно переместилась на живот и стала сползать еще ниже – только тогда я понял, что лежу без трусов.

– Ты как? Еще способен? Или не очнулся еще?

Внезапно ее опухшее лицо нависло надо мной. Резко ударило в нос перегаром.

– Ой! Что-то шевелиться. Не умер еще. Придется тебе отработать за ночлег, парень. Я голодная.

Сухие губы стали тыкаться в мои щеки, в шею, сначала осторожно, потом сильнее, нетерпеливей.

– Не лежи бревном, обними меня, крепче, еще. . . . съем тебя сейчас, мальчик мой, замучаю. . . .

Не мною замечено, что с похмелья просыпается особая похоть – грязная и ненасытная, и скоро я забыл и про запахи, и про неудобную постель, и про то, что дома сходят с ума от тревоги, и про то, что сегодня семинары в университете.

Таких приключений тогда хватало. Мои женщины были

далеки от идеала. Всегда старше меня. Одинокие. Пьющие. Иногородные. Простые. И отдавались они просто, без затей, без поэтической фальши, поскольку знали, что все это «просто так», от скуки или безденежья. Всех их отличало подлинное благородство. Они ничего не требовали, не просили, не придумывали и не усложняли. Брли, что дают, и не унижались. Мне тогда часто становилось страшно, и я прятался у них на груди, как маленький ребенок, просил, чтобы они сверху накрывали меня ладонью и так лежали мы, обнявшись, где-нибудь в общаге или ведомственной квартирке на продавленном диване, иногда очень долго, думая о своем, о горьком. Они чувствовали, что я – весь тут, у них в ладонях, и ничего мне больше не нужно и ничего я доказывать не намерен, и это возбуждало в них материнскую нежность. Я всегда был искренним с женщинами, мне и в голову не приходило, что их можно как-то использовать, и они прекрасно это чувствовали.

А Сашка женился между тем на девчонке, с которой познакомился на танцах в ДК Пролетарский завод. Знакомству предшествовала драка. Мне с самого начала не понравился толстый парень с наглым жирным лицом, который словно чувствовал мою неприязнь и напрашивался. Он танцевал, как бегемот, распугивая всех, и смотрел на меня с таким вызовом, что казалось вот-вот покажет язык. Несколько раз мы с ним стукнулись плечами, а потом я врезал ему в жирную щеку и усевшись верхом, стал остервенело дубасить по го-

лове обеими руками. Сашка защищал меня сверху. Нас растащили дружинники, отвели в туалет и там жестоко отметели. Кажется, толстомордый был их другом. Спасибо девочкам – они визжали так, что приехала милиция. Пиджак мой был разорван надвое, лицо разбито. Помню, как один юный дружинник все вертелся, пританцовывал вокруг моего скрюченного тела, которое пинали четыре ноги.

– Дайте, дайте, я его по яйцам! Дайте! – ныл он, чуть не плача.

Усатый старшина, растолкав всех по углам, крикнул страшным басом.

– А ну стоять, мать вашу! Петров, ты дождешься, что сам у меня загремишь на нары. Помощнички, блядь...

На улице Сашку встречала Алла, девочка из группы нашей поддержки. Она остановила такси. А через полгода они поженились.

Несколько лет Сашка довольно успешно играл в добропорядочного гражданина. Работал наладчиком телевизоров, Алла работала в торговле, потом устроилась на бензоколонку. У них подрастал сын Валерка. Встречались мы теперь редко. Разговаривать о вечном разучились. Меня выводила из себя роль, которую Сашка примерял, встречаясь со мной – роль называлась «жизнь удалась». У Сашки была машина «Жигули», дача под Ропшей, красивая жена, послушный сын, дубленка. У меня, как в песне Высоцкого: «Ни хера. Только толстая пыль на комодe». Одни амбиции и долги. Да

ужас, который прятался в будущем и показывал мне оттуда рожи. Слушать в бане, куда мы наведывались периодически, нескончаемый монолог про магнитофоны, дубленки, шапки из собак, джинсы и песцовые шкурки было невыносимо. Прожиклеры и муфты, прокладки и карданы тем более. Я страдал.

Это было время мелких жуликов, расторопных ловчил, ловких пройдох – людей небольшого ума, но смекалистых и ушлых. Санька как-то удачно влился в их ряды и преуспевал. Он не ожлобел, как Серега Петров, и не скурвился. Просто стал скучным и неинтересным. Он жил в своем загончике. Это была низшая лига теневого советского мира. Тут обитали рукастые слесари автомастерских, непьющие официанты ресторанов, водители заправщиков пивом, таксисты, мастера пошивочных дел, продавцы мясных отделов, моряки заграничавания... словом все, кто не дотягивал до 93 статьи УК по морально-этическим соображениям или из страха.

Они любили слова «бизнес», «деловой», «фирма», к одежде относились с религиозной серьезностью, поскольку она свидетельствовала о статусе, задирали нос, жевали резинку, нахальничали и верили, что именно так ведут себя американцы.

А потом американцы действительно пришли. И туземцам стало зябко.

В 90-е Сашка решил разбогатеть. Поступил в бизнес-школу вместе с супругой. Отучился два месяца. Вместо выпуск-

ного экзамена ему предложили осуществить первую сделку. Он должен был закупить вагон сарделек в пункте «А» и продать эти сардельки в пункте «Б». Навар покрывал расходы на обучение и жирный кусок сверху можно было вложить в развитие проекта. Сашка собрал всю свою наличность, которая скопилась у них с Аллой за годы ее успешной работы на бензоколонке, и сардельки купил. В пункт «Б» они так и не пришли. Потерялись. Зато к Сашке пришли четверо молодых людей с могучими плечами и в кожаных куртках. Точно таких же показывали по телевизору в сериалах про бандитов. Они забрали у Сашки ключи от новенькой девятки, роскошную норковую шубу жены, магнитофон, хрустальный сервиз, золотишко... Свернули с пола ковер из натуральной шерсти и даже выдрали из-под телевизора на кухне новенькую микроволновку. На прощание сказали, чтоб Сашка готовил квартиру к продаже.

Спасло чудо. Банда, которая и содержала бизнес-школу, развалилась. Большие деньги сгубили. Вожаки перессорились и перестреляли друг друга, а мелкота разбежалась.

Самое потрясающее – Сашка не остыл. Он требовал реванша и готов был продать квартиру и вложить деньги в торговые ларьки. Я буквально умолил его одуматься. Подумать о сынишке, да и о собственной шкуре.

Китыч, прознав про всю эту историю, прокомментировал кратко.

– Не хочешь срать – не мучай жопу.

Помолчав с минуту, он прокомментировал свой заумный комментарий.

– Какой из Сашки бизнесмен? Помнишь нашего Ундерова? Он еще в шестом классе давал списывать Короваеву за рубль. Юрка сам мне рассказывал. А сигареты «Мальборо» толкал за пятерку. Тут талант нужен. А Сашка что? Нюня!

Интересно о деньгах говорил мой приятель и заместитель в газете «Невское время» Боря Хайкин. Его часто подкалывали коллеги за то, что он мается не на своем месте – мол, в банке ему надо было работать, тем более что в начале 90-х он и начинал где-то в этой сфере. Как-то в курилке Боря объяснил этот вопрос коллегам.

– Что вы понимаете в деньгах, щеглы? Деньги надо любить! По-настоящему. Вот в нашем банке работал один мужик. Так вот, когда он однажды увидел зараз несколько миллионов долларов наличными, в пачках по десять тысяч, то упал в обморок! Натурально сомлел. Еле откачали. Вот это любовь! Только такие и добиваются успеха. Остальные плохо кончают. Куда мне! В свое время родитель сказал мне мудрые слова: «Боря, в России – самые красивые женщины в мире. Помни об этом, когда тебя будут соблазнять уехать». Помнил! Сейчас, правда, стал позабывать. Намедни Надька пригласила в гости. Я, как джентльмен, купил «Виагру», намыл шею, надел чистые трусы, а потом подумал: «А зачем я поеду к Надьке? Буду жрать эти вредные таблетки? Пыхтеть, как пацан? Чтоб рассказать потом про свои подвиги Ивано-

ву? Так я и так могу ему это рассказать!» Ну, и не поехал.

– А при чем тут деньги? – спросил кто-то.

– А при том! Вставать на них должен без «Виагры».

Сашке наконец и «Виагра» перестала помогать. Он вымучивал разные проекты, придумывал хитрые схемы, ловчил по-мелкому, страдал по-крупному и в конце концов стал пить запоями. Чтобы вынырнуть из запоя, стал принимать транквилизаторы, с которыми сдружился еще со времени гибели брата. А потом – опять пил.

Незадолго до его гибели я взял Сашку к себе на работу в «Вечерку» водителем. Появление его в редакции произвело фурор!

– Михаил Владимирович, мы его боимся, – жаловались молоденькие корреспондентки. – Он не маньяк? Ходит как зомби и желтый весь.

И это про Сашку, на которого еще лет пятнадцать назад заглядывались женщины, которому я завидовал на танцах, потому что, если объявляли «белый танец» и от толпы отделилась красивая девичья фигура и через танцпол направлялась к нам с Сашкой, я мог даже не сомневаться, к кому она протянет руки. Теперь он был и правда не просто жалок, но и жутковат. Ходил он и впрямь, как зомби, деревянной походкой, и при этом скалился, хотя, возможно, думал, что улыбается. Вероятно, от транквилизаторов движения его были заторможены. Как он умудрялся при этом водить машину – Бог весть. Но однажды я стал свидетелем, как во время движе-

ния он бросил руль и стал рыться в своем бардачке в поисках сигарет, напрочь позабыв про дорогу. Я схватил руль, заругался... Сашка виновато скалился – губы его не слушались, он теперь только скалился и лучше было на это не смотреть.

Я решил спасти Сашку. Вел душеспасительные беседы, подбрасывал денег. Потом мне пришла в голову блестящая идея. Как-то во время летнего рабочего дня мы загрузились с ним в нашу «четверку» и отправились по местам боевой славы – в Невский лесопарк, стало быть... Я был уверен, что воспоминания пробьют корку уныния в Сашкиной душе и он наполнится живительными соками, воспрянет духом!

В лесопарке было тихо, душно, безлюдно.

– А помнишь? А помнишь? А помнишь? – щебетал я, указывая рукой в наши достопримечательности, от которых у самого щипало в глазах. – Помнишь, как здесь ты закатил в лоб снежком Борьке Христианчику, так что он на задницу сел? А помнишь, как на великах в апреле тут рассекали? Батяка твой потом колесо у меня чинил. А лося видели вон там, помнишь?

Чудесная жизнь, подлинная, восхитительная, счастливая, воскресла в моей душе, и я поразился, когда глянул на своего друга. Он был мрачнее тучи. Он страдал!

Назад мы ехали молча. Я понимал, что моя затея не удалась, но не придавал этому значения. Ничего! Страдания иногда необходимы, они становятся толчком к перерождению в новую жизнь.

Увы, новая жизнь так и не случилась. Через неделю Сашку нашли в Неве. Экспертиза показала – самоубийство. После гибели брата Сашка боялся воды и часто признавался мне в этом.

Китыч, мой мудрый в своей простоте Китыч, узнав новость, лишь покачал головой.

– Я всегда говорил – «колеса» до добра не доведут. Лично я, кроме наших традиционных русских напитков, ничего не потребляю. Старый проверенный кайф! У нас в бригаде один деятель какие-то специальные грибы жрет. Ядовитые! Я говорю: «Андрюха, сдохнешь ведь! Давай лучше по стакану портвешка?» Улыбается... А Сашку ты напрасно отвез в лесопарк. Ему ведь почему плохо стало? Потому что ты напомнил ему, как было хорошо. Кем он был – и кем он стал. Особенно на твоём фоне. Это его и добило. Ведь ты помнишь, каким он был франтом? Каким крутым себя считал? Ну и... не выдержал.

Сашка, Сашка... Издалека посмотришь – человек, как человек. А ближе подойдешь, да взглядишься – Вселенная!

Глава 14. Антисоветские мысли

Почему наш самолетик назывался Б-29, а не МИГ-25? Хороший вопрос. Я бы адресовал его в отдел пропаганды ЦК КПСС. Только вряд ли там нашли бы правильный ответ. А жаль. Вопрос-то роковой. Ответ прозвучал в 1991-м, когда уже ничего нельзя было изменить.

Америка в то время для нас, пацанов с улицы Народной, была мифической страной чудес и приключений. Америку запрещали, Америку преследовали, Америку высмеивали и проклинали занудные взрослые дяди в телевизоре, а она манила и обольщала юнцов, как проститутка. Самым страшным оружием американцев в 70-е годы были, конечно, не ракеты «Трайидент-2» и не атомные субмарины и авианосцы. Жвачка! Можно было добросовестно выслушать сто политинформаций, доказывающих преимущества социалистического строя, а потом положить на язык пластик мятной жевательной резинки, и предательство идеалов совершалось мгновенно. Вообще, начиналась цепная реакция дурных помыслов и гадких мыслей. Иногда дурацких. Чтоб как в кино! Сразу хотелось, например, положить ноги в ботинках на стол. И чтоб в руке был стакан с виски и чтоб речь была тягучей, и чтоб взгляд был колючий, и походка ленивая, вразвалку.

Мелочь? Нифига! Положите ноги на стол, прищурьте глаза, отхлебните из стакана... да хотя бы лимонада «Буратино», и вы сразу почувствуете, что комсомолец опрокинулся, беспомощно барахтаясь лапками, а родился настоящий американский ковбой, которому выхватить кольт из кобуры так же легко, как пионеру отдать салют.

Наденьте «настоящие» американские джинсы и вам сразу захочется снять комсомольский значок. Врубите на полную «Слейд», и вас начнет тошнить от «Веселых ребят» и «Самоцветов».

С девчонками еще проще. Выложите рядом французские и советские женские трусы, и вы убедитесь, какой строй предпочитает прекрасный пол.

Но старые бизоны в Кремле, сбившись в стадо и выставив свои рога наружу, упорно мычали что-то про мировую революцию и социалистическое изобилие. Мычание было грозное, но вполне безобидное. Главное был не подходить слишком близко к стаду, ну и пусть себе мычат.

Именно тогда, в 70-х, а вовсе не в середине 80-х, пошел трещинами железобетонный идол социализма. Не диссиденты, не Солженицын, не культурная фронда сокрушили его фундамент, а обыкновенные красивые девчонки в коротких юбчонках, которые имели оружие против режима пострашнее атомной бомбы – красивые ноги и неистребимое желание нравиться и жить красиво! Ленин с бревном уже давно утешал лишь старых революционеров. Кружевной лиф-

чик наполнял сердце советской девушки ликованием, о котором мог только мечтать комсомольский активист, а лакированные чешские сапожки рождали подлинную уверенность в завтрашнем дне!

Пацаны на Народной бунтовали не против социализма, а против скучной жизни и тошнотворного морализаторства. В Америке все было иначе! В Америке каждый делал, что хотел. В Америке жили красиво! Стреляли друг в друга из «кольтов», скакали на диких лошадях, не работали и никого не боялись. Ездили на своих машинах и пили кока-колу. Я до сих пор не могу понять, почему эта треклятая кока-кола так манила нас тогда. И почему старые бизоны не догадались закупать ее миллионами литров. Наверное потому, что сами давно пили простоквашу.

Не могу понять, как гордость за необъятную страну, за ее великую культуру, за ее могучую Армию и Флот, совмещались у нас с отвратительным комплексом неполноценности, когда распоследний финский пьяница-лесоруб в ресторане казался эталоном хороших манер, а англичанин – посланником небес.

Социализмом мы гордиться не умели. Бесплатное образование и медицина, пятикопеечный общественный транспорт казались обыденными скучными вещами. А вот драная кроличья шапка на голове и двухпудовое зимнее пальто на плечах давили страшным моральным грузом, особенно когда согласишься на Невском на все эти разноцветные кур-

точки и шапочки заморских гостей.

Я потому и не верю в Царство Справедливости на земле – некому его возглавить. Старые бизоны в Кремле на излете великого социалистического строительства – это норма. Власть, как всякое вражье искушение, притягивает к себе верных и похожих так же неумолимо, как магнит железо. Потомки Каина легко справляются с идеалистами, занимая руководящие посты, поскольку игра ведется по их правилам и на кону их заветная добыча.

Если я и вынес из многих лет жизни в Стране Советов чего-то подлинно мудрое, так это вывод: в тюрьму или в сумасшедший дом, надо сажать (срочно!) всякого, кто придумал и готов осуществить «Проект идеального государства», в котором все будут равны и счастливы. В дурдом его! Вколоть в ягодицу самое сильное успокаивающее, привязать к кровати, чтоб не сбежал.

А как же тогда? А никак. Как говорила моя тетка, Царствие ей Небесное: «Живем не так, как хотим, а как можем». Иногда просто наощупь. «Методом тыка». Так прилаживает свою задницу человек, усаживаясь на стуле. Неудобно? А если вправо? Влево? Во! В самый раз! Вся наша жизнь – постоянный риск завалиться в пропасть или в болото. Идем-бредем порой на огонек, порой по звездам, порой на ощупь. Компас? Библия. Коран. Тора. Здравый смысл, наконец, из которого необходимо обязательно изъять любой «научный» «изм», как отраву. Необходимый инструментарий – извеч-

ные понятия и смыслы: справедливость, правда, сострадательность, честность. Критерий всегда один и тот же – плодимся или исчезаем. Великих дураков, которые придумали для миллионов, как им обустроить свои государства, надо снести с постаментов и обругать в учебниках, чтоб другим неповадно было. Чтоб не соблазнялись славой.

Но вернемся к 70-м. Где-то году в 75-м родители купили мне приемник «Меридиан – 202». В первый же вечер, крутя колесико настройки, я наткнулся откуда-то из глубокого космоса на позывные «Голоса Америки». Прислушался. Звук был хреновый, но каждое слово, как кувалда, раскурочивало мироздание. В тот вечер (я лежал, скрючившись на полу в ванной и прижимал антенну к батарее: так лучше было слышно) в моей душе случилась революция. Во-первых, я узнал, что по телевизору врут! Или умалчивают. Или приуменьшают. Это было невыносимо. До сих пор я телевизору верил, хотя часто про себя и вслух бунтовал против фальши и навязчивого пафоса, не соглашался с ведущими. Но чтоб так цинично лгать... Треснула главная подпорка – то самое доверие миру взрослых, о котором я уже говорил. Если врут телевизор, значит, вполне могут соврать и учителя. А если врут учителя – то не пора ли самому включать мозги?

Во-вторых, мне открылась новая, волнующая эстетика общения. Простые голоса, столь непохожие на монументальный баритон Левитана, простонародная речь, юмор. Но главное – музыка. Добро пожаловать в мир рок-н-ролла! До сих

пор я имел сведения об этом мире только от Пончика и, конечно, врал он, как хотел. Теперь вечерами я слушал концерт по заявкам слушателей из СССР. Больше всего заявок приходило на группу «Дюп Папл», «Дип Папл», «Дюп Пепл» – ведущие беззлобно потешались, зачитывая письма, над дремучестью радиослушателей, огорчались, что советские меломаны совсем не знают другие группы и направления, предлагали, например, вместо «Пеплов» или «Цеппелинов» послушать джаз-рок группу «Кровь, пот и слезы», или рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда». Советские слушатели еще не догадывались, что столкнулись с той же идеологической навязчивостью, от которой их тошнило в родной стране, упорно требовали «Паплов», «Назарет» и «Цеппелинов», полагая, что они там, за океаном, просто не понимают, как нам хочется чего-нибудь этакого...

В ту пору в СССР «этакое» был однозначно хард-рок. Черт его знает, то ли бесконечная революция выковала в наших душах твердость, которую могла пробить только тяжелая артиллерия Риччи Блэкмора или Пейджа, то ли сама Мировая Душа требовала перед Армагеддоном чего-нибудь покрепче, но сладкоголосые Битлы мое поколение уже не торкали. «Мрачнее, – требовал советский слушатель, – еще мрачнее! Агрессивнее!»

Бедные девчонки, невольно вовлеченные в этот модный, музыкальный водоворот, с трудом дождались благословенных времен, когда в мир пришла диско-музыка и можно бы-

ло с огромным облегчением сменить пластинку. Моя сестра с мстительным удовольствием призналась тогда, что ненавидела всех этих Блэкморов, Плантов до глубины души, а слушала, чтоб не отстать от моды. Теперь в одной комнате она слушала «Баккара», а я в другой затыкал уши.

...И все-таки в хард-роке было что-то настоящее. И теперь это признаю, иногда с робостью, иногда виновато. Помню, как учительница обществоведения в старших классах, любительница поговорить с учениками «на равных», с грустной снисходительностью пыталась меня вразумить

– Пойми, Миша, мода пройдет – и музыка эта пройдет. Кто ее вспомнит через лет десять, двадцать? Ну, похулиганили ребята с длинными волосами, покричали... Останется настоящая музыка, останутся Магомаев, Лещенко, Хиль... Ты и сам будешь их слушать...

Черта с два! И слушал и слушаю до сих пор «Дип Перпл», «Пинк Флойд», «Юрай Хип», «Лед Зепеллин», «Слэйд». Почему? Да гляньте! Вы когда-нибудь видели, чтобы девушка плакала под диско-музыку? Видели, чтоб пацаны плакали под рэп или хип-хоп, черт бы их побрал? Когда-нибудь рождались в их головах под эту музыку героические поэмы, захватывающие картины подвигов, истории невероятной любви; приходили ошеломляющие откровения, когда хочется начать жизнь заново? Ярко?

Нет. И сама эта музыка рождает лишь пошлость или вялый нигилизм.

Я уже давно заметил, что сразу отличи в толпе человека, который заболел на всю жизнь Риччи Блекмором или Робертом Плантом и с особым удовольствием пожму ему руку. Нас не надо спрашивать любим ли мы Киркорова или Макаревича, и смотрим ли «Комеди Клуб», читаем ли Маринину и любим ли сентиментальные сериалы – мы и спрашивать друг друга не будем, потому что ответ очевиден. Мы одной крови. Пусть он будет беден – я богат, он умен – я глуп, он едва закончил школу, а у меня красный диплом университета и все-таки какой-то ген-мутант, спрятавшийся при зачатии, будет у нас общий. И этот ген, как маячок, будет подавать сигналы всю жизнь своим собратьям, которые принимают сигнал и радостно отвечают: «Да! Блэкмор и сейчас живее всех живых, а несогласные проваливайте ко всем чертям!»

Сколько раз я плакал под «Цыганку» в исполнении Ковердейла, сколько раз возрождался к жизни после жутких пьянок под могучий и властный «Дым над водой», сколько раз садился за письменный стол, умытый чистым ливнем «Июльского утра», со жгучим желанием написать рассказ о чистой, трагической любви! Они ни разу не предали меня, мои кумиры, ни разу не отвернулись, когда мне было плохо. Они утешали, они подбадривали меня, когда я сгибался от страха, терял веру в свои силы, они разжигали в моей душе священный пожар протеста, когда коммунисты сжимали горло своей проклятой костлявой рукой и пытались поставить на колени перед их отвратительными идолами. Как эти ребята

за Ла Маншем сумели найти ключик к моему сердцу на долгие-долгие годы? Откуда взялась эта родственная, загадочная связь между англичанами и русским, которая не нуждается в переводе и которая неподвластна распрям наших стран, неподвластна энтропии?

«Не сотвори себе кумира». Каюсь, не смог. Врать Богу бессмысленно. Грешен. Сотворил. Меня можно назвать болваном, неучем, жлобом и я усмехнусь в ответ. Но назовите Блэкмора второсортным гитаристом, и я всерьез захочу ударить вас палкой по голове. Глупо, конечно. Какое-то ребячество. Пережиток. Оправдывает только то, что моя любовь всегда была бескорытна. Я в том смысле, что никогда не пытался поднять свою самооценку за счет своих кумиров, чем, например, грешат поклонники «Пинк Флойд» (ах, средним умам это не понять, а я вот такой продвинутый и тонкий – слушаю!).

Вот что я иногда думаю. Сотворив человека со свободной волей (а какая радость родителю владеть роботами?), Бог прекрасно понимал, что человека ждет. Падший мир – не санаторий. Сплошные искушения.

Куда не ступи – везде капкан. Белым и пушистым просто не выжить. Тут нужна особая сила духа. И счет к человеку предъявляется особый. Если судить по справедливости – наказать придется всех. Если судить по Закону, то расплодятся лицемеры и осторожные подлецы, которые, как опытные жулики, знают, как словчить и выйти сухими из воды. Богу

это надо? Он поклоны не считает. Для него каждое чистое сердечко, исполненное правды – радость и утешение. Украл? Выпил? В тюрьму! Но товарищей не выдал, взял вину на себя. Следователь, конечно, злится, подельники забыли, кому обязаны свободой, а Бог не забыл. Тягучей, северной ночью, в камере штрафного изолятора, зрит он в сердце разбойника и видит, что там происходит чудо, ради которого Он и затеял весь этот Мир: затеплилась робко в полярной ночи, как светлячок, святость. Навернулась в глазах первая слеза покаяния. Проснулась Богоподобная душа и враг отпрянул с шипением, а светлые ангелы возликовали. Пусть за ворота тюрьмы выйдет не праведник. Но уже зрячий. И... очень красивый человек!

Не за примерное поведение и не за хорошие оценки в школе любит нас Бог. А за то, что ты не выдал учителю товарища, с которым вместе нашкодил. За ту ватрушку, которой поделился с другом после уроков, будучи сам голоден.

Бог скорее благодарно улыбнется миллионеру, когда тот, отдавшись искреннему, сердечному порыву жалости, положил в кружку нищей старушке копеечку, чем ему же, когда тот, удовлетворяя тщеславие, пожертвовал детскому дому миллион.

Не за победу в номинации «Оскар», не за генеральские звезды на погонах, и даже не за правильные слова и поступки, а за добрые помыслы любит нас Бог. За храбрость, с которой мы защищали товарища, за нежную любовь к жене,

которая не угасла с годами, но возросла в скорбях и испытаниях, за слезу восторга и благодарности Создателю, которая окрыляла душу при виде прекрасного пейзажа. Я скажу, быть может, крамольную вещь – Бог любит нас за то, за что мы и сами друг друга любим. И поэтому я всегда верил, что Бог с восхищением смотрит на смельчака, который рискуя жизнью, лезет на Эверест, на безумца, который идет по канату на высоте небоскреба без страховки. Дурь? Но она наполняет нас благородной гордостью. Потому что мы любим смелых. Ибо смелые напоминают нам, что в жизни есть смысл, который рабская мораль объяснить не в силах, который свидетельствует нам о бессмертии так же неотвратимо, как и суровая аскеза монаха. Безрассудная храбрость разрывает причинно-следственные цепи материализма, которыми поработан плотский человек, и являет высший смысл бытия столь же убедительно, как чудесное исцеление смертельно больного или обращение закоренелого язычника. Когда скалолаз из последних сил покоряет вершину, не имея за это никакой земной награды, не имея даже восхищенных зрителей, во Вселенной происходит Чудо, и ангелы радуются ему на небесах точно так же, как они радуются и ликуют, когда бедняк вопреки законам плоти возвращает найденный кошелек владельцу или разбойник с каменным сердцем вдруг падает со слезами на колени перед иконой. Не сомневайтесь, Бог любит смелых. И воин, который в яростном бою потерял жизнь, но не дрогнул – любим Богом, и будет вознагражден,

а трус, спрятавшийся за спину товарища – будет осужден Им. И бретер, спасающий честь дамы вызовом на дуэль, будет принят на небесах с большим снисхождением, чем джентльмен, спрятавший свое малодушие под сенью закона и общественной морали.

Вот и в музыке, на мой взгляд, важно прежде всего чистое сердце. Грубые звуки могут ранить душу, но могут и разбудить. Взывая к битве, подлинная музыка не взывает к жестокости. Вскипающая, как волна, ярость может быть благородной, а подвиг – бескорыстным. В хард-роке много пришлых, циников и корыстных шоуменов, шутов и клоунов, дьяволопоклонников и дегенератов, которые умеют только пугать, только кривляться, только эпатировать, но в сути своей эта музыка рождена из чистой волны сурового прибой Северного моря, из воинственного звучания воловьих рогов викингов, призывающих к битве, из рыдающей грусти моряков, вглядывающихся в серую муть Атлантического океана, из древнего, отчаянного вопля человека к Небесам: «Батько, где ты?! Слышишь ли меня?!» И Бог отвечает: «Слышу!»

Я знаю многих, кто стоял крепко в хард-роке и кто стал верующим, но не видел ни одного, кто вышел из диско-музыки и стал просто интересным человеком.

Когда десяток пластмассовых Барби на телеэкране очередной раз в кожаных трусах и лифчиках, с глазами, в которых даже похоть кажется пластмассовой, исполняют погребальный ритуал человеческому Разуму, я чувствую некое

чувство нежности и родства даже к Оззи Осборну. Бунтует человек. Плохо ему. Вы заметили, что, когда сильному человеку плохо, он вызывает симпатию? Значит жив, бродяга. Мучается. А успешные мертвецы на вопрос: «Как дела?» – даже перед тем, как пустить себе пулю в висок, ответят с фальшивой улыбкой: «Файн!»

...Теплыми весенними вечерами Пончик распахивал окна своей комнаты, выдвигал на подоконник магнитофон и во дворе начинался музыкальный вечер, сводивший с ума взрослую аудиторию – на «бис» «Шокинг Блю» исполняли «Шизгару», иногда по десять раз подряд. Любимы всеми пацанами были и хулиганистые «Слейд», и заводные «Статус Кво», и «Свит». С тех пор как в эфире похотливо зазвучали позывные «Голоса Америки» и «Би-би-си», в музыкальных комментаторах не было недостатка. Малышня, разинув рты, слушала истории про то, как рок-звезды пьют, скандалят, дерутся, блюют прямо на сцене и при этом огребают огромные деньги – все это каким-то непостижимым образом свидетельствовало о невероятном развитии западной культуры. Нам оставалось только завидовать. А еще издеваться над советской эстрадой, которая на современном музыкальном олимпе выглядела убогой деревенской дурочкой.

На той самой скамейке во дворе, где пацаны слушали «Битлз» и «Перпл» и мечтали сесть в новенький «форд-мустанг» и прокатиться по неведанному Бродвею, и родился могильщик социалистической родины. Повзрослев, эти са-

мы пацаны, превратившись в мужчин, осуществили-таки свою мечту: сломали и разорили собственное государство, накопили загранпаспортов и ринулись за бугор. Увы, счастья не было и там. Пиво немецкое было, колбаса была, а мечта угасла... Аминь.

Глава 15. Отрочество

Я очень хорошо помню, когда детство покинуло меня. Убежало, оставив после себя лишь горький запах догорающих костров на пустыре за помойкой и эхо воплей индейцев, собирающихся на бой с бледнолицыми из соседнего дома. Шестой класс был позади. В конце мая нам выдали дневники с годовыми оценками, и я уныло поплелся домой, колотя раздолбанный портфель коленкой. В портфеле лежал дневник с постылыми тройками.

Пора было трезво посмотреть на себя. Я был троечник. Во дворе я, конечно, имел авторитет, но в школе был изгоем. Я был командиром тимуровского отряда, но в школе меня опасались назначить даже командиром пионерского звена. Я был чужой среди своих. Свои знали что-то, что я никак не хотел понять. Что не надо слишком серьезно стараться. Что верить надо так, чтоб начальство было довольно. Что правда бывает полезная, бесполезная и опасная.

Учителя меня недолюбливали. Я был правдолюб. Я спорил. Я отстаивал. Я обличал. Такая хроническая ходячая проблема. Кому это понравится? Правдолюб может учинить историю, которая дойдет до районных властей. Вечно он недоволен миропорядком. Короче, я верил так, как уже давно не надо было верить. Как наивный дурак. Что получал я

за это? Тумаки и шишки.

Очень хорошо помню этот день.

Вечером, сидя с Китычем под нашей любимой черемухой, которую мы звали «Мечта», я так и сказал.

– Надо приспособливаться. Начинаем новую жизнь.

Китыч еще не понял, насколько это серьезно, и продолжал играть с божьей коровкой, которая ползала у него на ладони.

– Хватит! Не хотите по-честному? Ну и не надо! Теперь я знаю как нужно. Спорим, в следующем году у меня будут одни четверки и пятерки? Займусь учебой. И спортом займусь. Всерьез.

– А как же отряд?

– Отряд распустим.

– Да ты что?! А как же клятва?

Клятва – это было серьезно. Я помолчал.

– Об этом потом подумаем. Характеристики на членов ЛНЗП, клятву, планы пока спрячем. Мы честно выполнили свой долг, Кит! Пусть теперь другие... попробуют. Любите подхалимаж? Пожалуйста! Любите примерных мальчиков? Получите! И врать научимся, как миленькие. Да, Кит?

– А чего тут учиться? – Кит расстался с божьей коровкой и вздохнул. – Я и так вру, как сивый мерин. Сам же помнишь, как в моем дневнике страницы выдирали с двойками, а Тимка потом пятерки рисовал... Батя тогда по комнате бегал, ремень искал, запороть меня хотел, а я убежал на лестницу, помнишь?

Еще бы не помнить! Батя с ремнем выскочил на лестницу в одних трусах, а Китыч кубарем катился вниз и визжал, как поросенок.

– Да я не про то, – с досадой сказал я, – вечно ты со своими двойками. Это нормально. Это жизнь. Старая вобла сама виновата, присралось ей, чтоб ты этот монолог Чацкого выучил, а ты ни в какую!

– Я, как первый «банан» получил за эту муть, – ну, думаю, и ладно, проехали. Зато учить не буду. А она на следующем уроке опять – к доске! «Выучил? – Нет!» Опять двойка. Ну, теперь-то, думаю, успокоилась кочерга – нет! Через день: «Никитин к доске! Читай монолог!» Какой монолог на фиг, если я уже два «банана» за него схватил?! А она еще мне одну двойку! Ну, не сволочь?! Три двойки за один монолог! Чтоб он сдох, этот урод Чацкий! Ненавижу его. Ходит-ходит, гундосит... все недовольный чем-то. Пидорас. А мы должны учить все это. Но все равно я победил, Микки, слышь? Ведь монолог я так и не выучил! И не буду. Я теперь Грибоедова вообще терпеть не могу.

– А надо было выучить, Кит. В этом все и дело! Я понял, что к чему. Вам монолог? Пожалуйста! Вам субботник? А как же! Политинформацию? Да сколько угодно! А с хулиганами пусть милиция борется. Как вспомню, как мы Пончика вломили... вот ослы!

– Он не в обиде. Я с ним разговаривал. Он только не врубается – зачем?

– Я же говорю – ослы. Теперь все будет по-новому. Я уже прикинул распорядок дня: спорт, учеба, отдых – все по минутам!

– Жалко отряд, – вздохнул мой верный Личардо. – А третлей помнишь? А как искали оружие на козлином болоте? А самолетик?

Как можно было это забыть? У меня даже горло перехватило.

Подул ветерок, залепетали листочки над головами, посыпались засохшие цветки за шиворот. Народная млела в жарких объятиях солнца. Мимо прошел Володька Войтюк с трехлитровым бидоном кваса. Остановившись, он снял крышку и хлебнул. И видимо не в первый раз, потому что на вздувшемся пузе у него уже расцвело оранжевое пятно.

– Ты на окрошку-то хоть оставь, варнак ты этакий! – из окна закричала старуха Василиса, которую побаивался весь двор. – Тебя сколько ждать можно, поганец! Вот погоди, matka задаст тебе сейчас! Опять побежишь к бочке!

– Сама побежишь, – негромко отвечал Войтюк, вытирая губы – раскудахталась.

– У тебя сколько? – Китыч выгреб из кармана три копейки.

Я бросил в ладонь пятак.

– На одну кружку хватит, – уныло пробормотал Кит – Да еще очередь, наверное, огромная.

– Все, Кит! Хватит! Клянусь! С этого же дня начинаю но-

вую жизнь! Давай вместе? Завтра утром на пробежку! А потом я английский учить буду. Десять слов в день. Прикинь – за год 3650 слов! А человеку и нужно-то от силы сотня-другая. И тебе хватит киснуть. Не всю же жизнь нам в этом дворе сидеть!

Так красиво и романтично и началось мое отрочество. Я не вру, с этого самого дня. Через четыре года так же неожиданно и сразу началась моя юность, которой отведено было два с половиной года.

...Отрочество не самая лучшая пора, если честно. Жизнь вдруг открывает потайную дверь и в лицо тянет промозглой сыростью; детских грез уже маловато, чтоб заретушировать изъяны неприглядной реальности. Ты вдруг замечаешь однажды утром, что твои ботинки давно просятся на помойку, а у мамы на лице появились морщины. Что отец сутулится и уже который год ходит в допотопном пальто с оттопыренными карманами, курит отвратительные дешевые папиросы и моется в ванной только по субботам. Глядя в зеркало, ты видишь в нем уродливого худого мальчика с нелепой челкой, с безобразным прыщиком на лбу, которому так хочется скорчить рожу, показать язык, дать хорошего пинка под зад, чтоб больше не маячил перед глазами! Но этот мальчик из зеркала всегда с тобой. Ты помнишь его в самые неподходящие минуты. Особенно когда к тебе подходит красивая девчонка и, с трудом сдерживая отвращение, заводит разговор. Кост-

лявый мальчик краснеет, извивается, как червяк на крючке, прячет глаза, говорит глупости, а девочка фыркает в ответ и уходит, чтоб рассказать подругам, какие же все-таки мальчишки козлы.

Появляются неприятные запахи. Пахнет помойное ведро на кухне, воняет помойка, тянет гнилью из подвала... Убогость быта вдруг начинает оскорблять взгляд. Хочется немедленно выбросить продавленный диван, а за ним и кухонный стол в придачу, который мерзко скрипит от малейшего прикосновения. Собственная одежда вызывает отвращение.

Все не так. А как?

Именно в отрочестве у меня появился тот самый Он, которому я хотел подражать и который следил за мной и беспощадно критиковал. Он был похож на шерифа из американского фильма «Золото Маккены». Суровый, сильный и решительный. Он незримо присутствовал со мной и верховодил. Иногда, гуляя по дворам в одиночестве, я забывал про то, что я – тот самый костлявый мальчик Микки из 7-го «б» с прыщиком на лбу, и становился заносчивым и жестоким ковбоем, которого все боятся. Тем горше было пробуждение в постыдную реальность.

Появляются мысли, от которых закипает мозг. Одним поздним осенним вечером, глядя в звездное небо, ты вдруг спрашиваешь себя: «А зачем я хожу в школу и учу уроки, если на кладбище никто не интересуется аттестатом зрело-

сти?» Этот простой вопрос бьет наповал. Трудно поверить, что он никому не приходит в голову. Этот вопрос ты задаешь себе, Китычу, классной руководительнице, как последнему авторитету в цепочке миропознания, и получаешь ответ, что вопрос дурацкий и лучше его не задавать. Как не задавать, если он лезет в голову?! Если ночью ты ощупываешь свою руку, пальцы и задаешь себе вопрос – где я? В этой руке? В голове? В сердце? В кишках? И кто заставляет меня сжимать вот сейчас пальцы? Голова? Но ей-то что за дело до моих пальцев? Кто отдает приказы голове? Кто заставляет меня терпеть? Кто заставляет меня вот сейчас встать и пойти на кухню и выглянуть в окно? Куда летит бабочка, как выбирает она себе маршрут? Вот она проснулась рано утром в капустном листе и думает: «А полечу-ка я сегодня в огород дяди Паши, там много вкусных листьев!» Только чем она думает? У нее голова не больше булавочной головки. А у меня голова большая и мысли все лезут и лезут. А что такое мысль? Учителя говорят, что это свойство наших тел, что мысль не взвесить не измерить. Ее и нет вовсе! Ага, нет. Бывает придет такая мысль, что всю ночь будешь ворочаться. Или придет мысль убить человека, и ведь – убьешь! Откуда она сволочь только взялась? Неужели из докторской колбасы, которую съел накануне? Тогда почему бы из докторской колбасы не возникнуть хорошей мысли, которая развеселит и утешит, и после которой ты легко сядешь за уроки, а потом с песнями побежишь в проклятую школу... прошу про-

щения – в любимую школу! А смерть? Что это? Ну перестал насос качать кровь и все сдохло?! А куда подевалась чертова мысль? А зачем вообще нужно тело человеку, если вся его жизнь заключена в мыслях? Только колбасу переводить...

Не могу сказать, что все мои товарищи мучались так же, как и я. Кит вообще не замечал убогости быта. Напротив, у него жизнь налаживалась. После смерти бабки, в комнате, где ютилась вся его семья, стало просторней и он спал уже не на полу, а в разобранном кресле. На обед матушка готовила ему две вкусные котлетки, которые заботливо поливала свиным жиром, а на ужин жарила макароны по-флотски. Блистательный Ален Делон в белом костюме из французского фильма был для Китыча такой же абстракцией, как и Чингачук из фильма про индейцев, да и сама Франция была абстракцией. Реальной была только улица Народная. Пудовое зимнее пальто его согревало, а большего от него и не требовалось. Набитый битком автобус не оскорблял его чувство приватности, поскольку у него оторваться его не было и быть не могло.

Другое дело – я!

Посмотрев в кинотеатре французский фильм про тамошних богачей и удачливых преступников, я чувствовал себя несчастным и оскорбленным весь оставшийся день. Советская реальность с ее кроличьими шапками, черными пальто, отлитыми из бронебойной стали, пудовыми «говнодавами» фабрики «Скорород», хриплыми кашлями и матами в

переполненных автобусах, серыми угрюмыми лицами, си-
вушным перегаром, заплеванными остановками – все это
оскорбляло и унижало до полного отчаянья. Хотелось взор-
вать этот убогий мир, стать гангстером, миллионером, кос-
монавтом – кем угодно, только не Микки из 7-го «б»!

Но во мне самом произошли кардинальные перемены. Я
помнил про свое обещание начать новую жизнь. Я действи-
тельно перестроился. Помогло то, что весь наш класс пере-
селся в новую 513-ю школу (268-я стала интернатом) и мы
все как бы начинали с чистого листа. В новой школе мож-
но было выбирать любую роль. Я выбрал роль примерного
ученика, который свято верит в незыблемую правильность
взрослого мира и не выпендривается. Учителям роль понра-
вилась. На уроке я смотрел на них влюбленными глазами, а
после урока обязательно подходил и задавал вопросы, кото-
рые свидетельствовали о моем искреннем интересе к пред-
мету. Китыча передергивало от всего этого.

– Ну ты и сволочь, – бурчал он, когда я, прочитав у дос-
ки срывающимся от волнения голосом клятву молодогвар-
дейцев из «Молодой гвардии» Фадеева, красный от похвалы
возвращался за парту. – А чего заикался-то? Не мог проще
сказать?

– А что? Училке понравилось. Это я как бы от избытка
чувств.

Сам Китыч бубнил у доски текст клятвы без всякого вы-
ражения и хмуро выслушивал упреки учительницы.

– А чего? Я же выучил. Я же не артист, – отвечал он, не замечая, что учительница натурально страдает, глядя на его физиономию.

Учительницу литературы и русского языка в новой школе звали Вячеслава Болеславовна. Она была полькой, русскую литературу боготворила, а тех, кто был к литературе равнодушен, открыто и по-польски горячо презирала. Не было урока, после которого я не подходил бы к ней с вопросом «Вячеслава Болеславовна, а что значит слово «перманентный?»», «А что такое рефлексия?» Вячеслава Болеславовна не догадывалась, что я подлизываюсь, она радовалась, что в классе нашелся чудесный мальчик, сердце которого вопреки всему открыто к познанию. Объясняла с увлечением и даже благодарностью. А я кивал, кивал головой, пожирая ее преданными глазами, жертвуя переменной, Китом, иногда обедом... С литературой было легко – я любил ее. Разумеется, не «Молодую гвардию», из которой смог осилить лишь несколько страниц, не «Разгром» Фадеева, и не революционные стихи, которые воспринимал с тем же фаталистическим равнодушием, что и кумачевые плакаты с призывами на домах. Я обожал Марка Твена и знал «Приключения Тома Сойера» почти наизусть, читал запоем, даже по ночам, под одеялом, с фонариком Жюль Верна и Дюма, Конан Дойля и Герберта Уэллса, рано прочитал «Тихий Дон» Михаила Шолохова и сразу горячо влюбился в отважных казаков, как в свое время в спартанцев, а потом и в викингов.

Труднее было с учительницей алгебры и геометрии по прозвищу Турок. Это была флегматичная особа с пухлыми щечками, похожая на хомяка. Дополнительное сходство придавала ее привычка грызть сухой горох во время урока, который она машинально доставала из боковых карманчиков своей кофты и закинув в рот, с хрустом раскалывала крепкими мелкими зубками. Мои вопросы после урока она слушала неприязненно, потому что я пожирал ее свободное время. Объяснения давала неохотно и куцо, но с меня и этого было довольно.

Учительница истории, напротив, отвечала с азартом, поскольку я высказывал недоверие некоторым важным фактам европейской истории, и мы препирались с ней порой до звонка.

Китыч никак не мог понять, на фига мне все это было нужно.

– Не надоело? – спрашивал он, видя мое красное, потное лицо после изматывающего спора с физичкой. – Нива новый фокус показывал, я тебя ждал-ждал...

– Ты видел, как Софья к нам изменилась? Видел, что стала улыбаться?

– Ну, видел, – неуверенно отвечал Кит.

– Думаешь, просто так?

– Не знаю, Микки.

– Я, как последний мудака, корчусь на сковородке, а ты спасибо не скажешь!

Галина Ивановна, учительница химии, наш новый классный руководитель была доброй. Обычно это слово разбавляют множеством уточнений и дополнений, словно боятся, чтоб не вышло слишком сладко, но я обойдусь одним словом. Это была простая добрая русская женщина, которая утешила, омыла от уныния, ободрила на своем веку множество мальчишеских и девчоночьих сердец и сердечек. Она видела нас насквозь, но никогда не подавала виду. Мы были для нее теми, какими хотели казаться, но при этом она была единственная, с кем мне не хотелось ломаться. Зачем ломаться с добрым человеком? Все равно любит! Морализаторство ей было чуждо. Она лишь давала совет, поправляла острые выпирающие углы – всегда с сочувствием, всегда доброжелательно, не обидно.

Сколько себя помню в 268-й школе, я всегда старался заслужить похвалу. Валентина Сергеевна умела разжигать мальчишеское самолюбие, ранив его, порой жестоко. Ей больше подошла бы роль тренера, который натаскивает спортсмена на решающий бой. Галина Ивановна на бой не звала и похоть соперничества не разжигала, а врачевала душевную боль по-матерински нежно и мудро. Я заметил, что даже отпетые хулиганы, вроде Пифа и Константинова, слушались Галину Ивановну без всякого принуждения. Она не повышала голос, не приказывала, но слушаться ее было легко, а обижать зазорно. Я уверен, именно Галина Ивановна спасла многих из нас (мальчишек особенно) от преждевре-

менного и неизбежного (увы!) падения.

Для меня не стоит вопрос, какая педагогика лучше – я просто сменил жесткое колючее ложе на теплую и мягкую постель и хорошенько выспался. Спасибо Вам, Галина Ивановна!

В седьмом классе количество космонавтов, летчиков и капитанов дальнего плавания резко сократилось. Мальчишки-плохиши и троечники теперь разумно выбирали свою судьбу. Конечно – 90-е ПТУ! Потому что рядом, две остановки от дома. На кого там учат? А хрен его знает! Учат на кого-то! К этому времени моя уверенность в том, что я стану майором КГБ пошатнулась. И виной тому стала новая цель – я решил, что стану Олимпийским чемпионом! По лыжам.

Глава 16. Кризис

Спорт буквально спас меня – от улицы, которая год от года становилась взрослее, а значит опаснее и грязнее.

Птенцы улицы Народной подросли. Драки стали жестокими. Милицейские патрули усилились курсантами военных училищ, а потом и моряками Балтийского флота. Выглядело внушительно, как после революции в 17-м году.

Собираясь в магазин, хлипкие подростки предусмотрительно прятали бумажные деньги в носки, а в карманах носили мелочь, которой можно было в случае чего откупиться от гопников. В ту пору мелкий разбой за преступление вообще не считался. Ну дали в репу, ну отняли рубль, так не болтайся вечером по дворам! Возле школ после занятий, особенно накануне праздников, выстраивались разбойничьи кордоны. Первый блокировал парадный выход и собирал сливки с богатеньких и кротких, второй, как правило, находился за углом школы и добирал, что осталось, третий вытряхивал из карманов бедняков семечки и спички...

Менялись игры, менялись нравы. Жестокость неумолимо становилась добродетелью в пацанской среде, хотя и вызывала еще отвращение. Осенью, на ноябрьские праздники, зарезали ученика восьмого класса, которого я часто видел на школьном крыльце с сигаретой. Ударили ножом в горло.

Хоронили пацана под музыку и рыдания и вопли родных и родственников. К школе процессию не пустили. Убийцу нашли. Пьяный пэтэушник куражился во хмелю, финку времен войны стащил у деда, вообразил себя крутым десантником. Порезали в пьяной драке еще двух бедолаг, правда не сильно. Рассказывали об этом вечерами, в компаниях с чувством гордости за родную улицу.

Жлобство становилось национальной проблемой. Первые навыки грубого поведения мальчик из простой семьи получал во дворе. Во дворе же рождались и утверждались жесткие пацанские понятия: нельзя хныкать, нельзя проявлять нежные чувства, нельзя деликатничать, нельзя умничать, нельзя обнаруживать возвышенные мысли, категорически нельзя «стучать» (страшное преступление!), нельзя ни под каким предлогом становиться на сторону взрослых, учителей и ментов, нельзя смотреть балет по телевизору и – не дай Бог – слушать классическую музыку, нельзя любить девочку романтической любовью, нельзя быть добрым, нельзя быть жадным, врать можно только взрослым, ругаться матом обязательно, набить кому-нибудь морду желательно...

Таким образом, получив необходимые представления о настоящей жизни, мальчик из простой семьи поступал в ПТУ. Тут старшие товарищи довершали образование. Мальчик быстро учился пить любимый всей страной портвейн, курить, грубить и нарушать порядок. В армии командиры выбивали из пацана остатки сентиментальной чепухи и жа-

лости, и на гражданку возвращался законченный жлоб, готовый завершить свое образование в колонии общего режима по специальности «206 статья, часть два» (злостное хулиганство). Перевоспитать жлоба государству было не под силу. Получалось только у верной жены, которая рожала после свадьбы двух детей и была физически способна спустить с лестницы загулявших дружков супруга.

Впрочем, я слегка отвлекся.

В апреле «залетела» Ленка Везушко. Симпатичная девчонка польских кровей, отличница, радость учителей и гордость родителей, учудила по полной программе... Я помнил ее с третьего класса, однажды в школьном походе мы даже подружились, ну, то есть я помог ей выбраться из глубокой канавы, а потом весь вечер чувствовал себя героем. Ленка могла запросто взять мальчика под руку на перемене и при этом без всякой задней мысли: как будто это было в порядке вещей в нашем диком королевстве! В ней была то ли врожденная, то ли воспитанная родителями непринужденность, которая делала ее почти иностранкой в девчачьей среде, где принято было манерничать, задаваться, оскорбляться и злословить.

И вот... Сначала она пришла в школу с синяком под глазом. Потом все заметили серьезную перемену в ее настроении. Ленка или молчала подавлено или агрессивно отвечала на пустяшный вопрос. Однажды на уроке английского (мы сидели за одной партой) Везушко склонилась ко мне и спро-

сила, могу ли я набить морду одному очень подлому человеку. Я вытаращился на нее.

– Кому?

– Сашке Назаренко. Он просто сволочь!

Сашка Назар! Весельчак и балагур с русым «казачьим» чубом. Симпатяга, с которым я много раз играл в футбол! И ему – в морду?!

– Ты что? За что в морду-то?

– За дело.

Тут ее нога в капроновых колготках коснулась моего колена, и я услышал возле своего уха ее дыхание.

– Я все сделаю, если ты мне поможешь! Понимаешь меня?

Холодная капля, как шустрое насекомое, щекотно побегала по позвоночнику. Во рту пересохло.

– Не могу. Сашка мой друг. Не могу.

– Я прошу тебя! Не можешь?!

Дыхание прекратилось, и я почувствовал, как пылает мое ухо и немеет щека под ее пристальным взглядом.

– Но за что, Лен?

– Он подлец! Он сделал мне больно! Я ненавижу его!

– Нет, нет, он мой друг! – бормотал я, пока англичанка строго не прикрикнула:

– Стоп токинг! В чем дело, Лена? Миша?

Рыцарь из меня получился никудышный. В глазах Ленки я упал ниже плинтуса. Да я и сам старался не попадаться ей на глаза.

Зато родители Ленки зачастили к Галине Ивановне с испуганными и подавленными лицами. Класс шушукался и гадал, что случилось. Впервые прозвучало пугающее и волнующее слово «аборт». Потом Ленка пропала на неделю. Появилась притихшая, похудевшая, бледная и неприятно повзрослевшая. Одноклассники враз сделались для нее неинтересными. Мы были детьми, а она несла в себе какую-то взрослую тайну, от одной лишь мысли о которой у меня начиналась гормональная буря.

Лишь много времени спустя я узнал, что отличница Ленка потеряла девственность где-то на крыше, после стакана портвейна, в компании с самыми законченными гопниками нашей школы – Зарубой, Доцентом и Макакой. Случка была добровольной, что не помешало гопникам навесить Ленке фонарь под глазом. Сашка Назаренко был ее другом и на крыше присутствовал. Он только смотрел! А когда Ленка, придя в себя, просила его отомстить, сказал что-то вроде: «Сучка не захочет – кобель не вскочит!»

В седьмом классе произошел резкий раскол между теми, кто рано повзрослел и теми, кто оставались детьми. У нас в восьмом классе появились две новеньких – Оля и Оксана. Подруги. Откуда вынырнули – Бог весть. Обе красивые. Одна, Оля, рыжая, шустрая, с бесстыжими глазами, другая, Оксана, высокая блондинка с надменным, спокойным лицом. Вроде бы подруги. Во всяком случае их связывало что-то. Что? Нам лучше было не знать. Обе были лет на двадцать

старше нас с Китычем и мы с ним не смели с ними даже заговаривать. Да и о чем, Господи? О том, как собирались запустить в космос беззащитного хомячка? О тимуровском отряде? Оксану после школы встречал взрослый мужик в бежевом плаще, который вылезал из «Жигулей». Я думаю, он знал, чем развлечь даму. Оля была попроще, веселей, смотрела своими синими глазами смело, как бы подбадривая: «Ну же, смелее, парень! Не бойся!». Однако боялись все. И не только мальчишки. Девчонки тоже сгрудились в стадо и новеньких к себе не допускали. Боялись. Пример Ленки Везушко был на глазах.

Среди пацанов взрослыми хотели стать все. Для этого необходимо было начать курить, не морщась пить портвейн из граненого стакана, не слушаться учителей и набить кому-нибудь морду. Но был и другой способ накинуть себе десяток лет сверху и сразу воссесть на Олимпе: потерять девственность.

Трахнуть девчонку – это вам не кот чихнул. Можно было прослыть драчуном, выпивохой, хулиганом, но это все еще были медали «За отвагу», в лучшем случае «Орден Славы», но главную награду, которая затмевала все и давала бесчисленные привилегии во дворовом сообществе – «Орден Победы» – можно было получить только, если были бесспорные доказательства, что половой акт действительно был и закончился успешно.

«Орден Победы» в восьмом классе у нас имел только Пиф

и Сашка Назаренко. Хотя претендентов было гораздо больше, но ввали они неумело.

Зато драчили все. Хотя это являлось страшной тайной. Тут медицина, как говорится, бессильна. Онанизм в 70-е годы считался тяжелой болезнью. «Больных» сразу было видно. У подростков в разговорах «об этом» в глазах появлялся стыд и испорченность. Словно парень пукнул в толпе и не признается. Седые профессора, начисто забыв грешки своей собственной юности, запугивали в медицинских брошюрах подростков пагубными последствиями онанизма. Последствия рисовались ужасные, вплоть до импотенции и слабоумия. Остается только гадать, сколько импотентов воспитали эти учителя. Но даже обладая сильной психикой ужасно было сознавать, что ты – полный урод. Пакостник, который втерся в общество приличных людей. На людях ты космонавт и танкист, а под одеялом гадкий извращенец, который только что вождедел к... нет, об этом лучше не вспоминать.

Трудней всего в этом возрасте приходится отрокам с чистыми помыслами, романтикам и мечтателям с развитым воображением, идеалистам и правдолюбцам. С одной стороны им ярко светит Великое Солнце русской литературы, которая каким-то чудесным образом сохранила целомудрие до конца XX века, с другой стороны жарко дышит адский пламень повседневной реальности. Обман грозит и с той, и с другой стороны. Стоит уверовать в тургеневских девушек, как замызганная б...ь с соседнего двора тут же разрушит

весь волшебный миропорядок и увлечет в отчаянье. Стоит уверовать в то, что замызганная б...ь и есть та Женщина, которой поэты во все времена посвящали свои лучшие стихи, как захочется купить веревку с мылом и покончить с этим абсурдом навсегда.

Чаще всего, конечно, приспособлялись. Старались принять нужную форму, чтоб не раздавили.

Нетрудно догадаться, что на Народной процветал культ силы и в сексуальной сфере. Трахаться надо было так, чтобы женщина просила пощады. Чтоб дым шел! Типичная сцена тех дней. Компания подростков сидит на скамейке, мимо проходит молодая женщина. Пьяненький Чирика, худенький, невысокого росточка (воробей!), кричит ей во след.

– Хочешь, я тебя трахну?

– А ты умеешь? – оборачивается та.

Смелая.

– Давай попробуем. Драить буду так, что дым пойдет!

Все были незыблемо уверены, что женщина только и мечтает, чтоб из нее дым шел от трения половых органов. Иначе – слабак.

И еще, все были уверены, что настоящая женщина любит силу и грубость. Пашка, признанный знаток, как раз кавалер «Ордена Победы», рассказывал в компании за бутылкой портвейна:

– Я говорю – ложись. Она – не буду! Ну, я так слегка ей по челюсти кулаком – бац! Не сильно. Ну, ты знаешь как надо.

Она сразу на спину. Я говорю, ты что, спать пришла? Снимай трусы!

Разумеется «она» после этой нежной прелюдии кричала от восторга: «Еще! Еще!», и потом вешалась Пашке на шею.

В каждой истории герой хвастался не только своей неистощимой силой, но и полным бездушием: о любви ни слова! Любовь для слабаков!

Я не верил во все эти фантастические истории, но страдал сильно. Страдал, потому что хотел любить. Потому что хотел уметь, как Пашка. Потому что не знал, как это можно совместить. До самых взрослых дней во мне сидел этот выпестованный Народной улицей глупый самодовольный самец, который требовал грубого, циничного, неутомимого секса в то время, как душа робко просила нежности.

«Чтоб дым шел!» – рывкал самец, когда она любовно стелила постель.

«Милый, погоди, не так сразу. Больно же, дурак!»

...Сколько позорных фиаско случилось, когда самец спотыкался или просто складывал крылья. И это после того, как было потрачено столько убедительных слов и незаурядных усилий, чтоб самец продемонстрировал в очередной раз свою великолепную мощь!

Вообще, сколько мужиков, напитавшись еще в отрочестве этой мужской шовинистической отравой, страдают потом всю жизнь вместе со своими несчастными женами, которые в толк не могут взять, отчего благоверный бесится, от-

чего разлюбил вдруг? Ведь был неутомим! Был, да сплыл! А заурядным быть не хочется.

Я благодарен Богу за то, что в эти годы Он спас меня от Народной улицы. Он подарил мне спорт.

Глава 17. Спорт

Свой спорт я выбирал долго и драматично. Был и футболистом, и боксером, и борцом, и пловцом. Сил и терпения хватало на полгода.

Футболистом я оказался никудышным. В секцию бокса мы записались вместе с Темкой. Тренер «Романыч», крепкий, невысокого роста, с глубоким шрамом на щеке, принял нас из рук моей мамы, как безродных щенков, из которых обещал вырасти бойцовых собак. «Не переживайте! Не обидим. Возмужают, научатся. Будете гордиться!» Самые счастливые денечки. Гордились мы ужасно. И недолго. В школе тут же растрезвонили, что записались в бокс и ходили, задевая плечами первоклашек. Несколько раз я перехватывал внимательные взгляды девчонок, словно они вдрут разглядели во мне что-то новое и интересное. После таких взглядов хотелось хулигански засунуть руки в карманы и плевать сквозь передние зубы...

Спесь слетела быстро. Начались тренировки. В первом же спарринге, в котором мы отрабатывали боковой удар в голову, мальчишка с лошадиным лицом и толстой задницей надавал мне в ухо таких тумачков, что слезы выступили сами собой. Больно! Ответить тем же у меня не получалось – «лошадиная морда» занимался боксом уже не первую неде-

лю и умело выставлял защиту и уклонялся. Потом наступала опять его очередь бить, и он дубасил меня с наслаждением. Из носа у меня пошла кровь. Тренер отвел меня к умывальникам. Там я и просидел до конца тренировки, ожесточенно сжимая зубами капу. Темке повезло больше: ему достался робкий мальчик, который бил понарошку с испуганным лицом и благодарный Темка тоже бил понарошку. Зато через месяц нам с Темкой пришлось выйти друг против друга на первый настоящий бой. На ринге. Мы кружились друг напротив друга, неумело размахивая руками. Темка опять бился понарошку и надеялся, что я тоже не буду зверствовать. Зря. Мальчишки за канатами подбадривали. Тренер кричал что-то вроде: «Веселее ребята!» В какой-то момент Темка открылся совсем и я сильно и мощно провел прямой правой. Раздался неприятный тупой звук. Сквозь перчатку и эластичный бинт я почувствовал твердость Темкиной скулы и увидел, как откинулась его голова. Он пошел задом заплетающимися ногами и упал на задницу.

– Темка! – испугано крикнул я и склонился над товарищем.

Темка бессмысленно хлопал глазами, из которых текли слезы.

– Нокаут! – кто-то отчетливо и громко сказал из-за канатов.

Тренер отодвинул меня, присел на корточки. В руках его был нашатырь.

Темка молчал всю дорогу домой. Ребята в секции считали, что я хитрый и расчетливый боец, умею усыпить бдительность мнимой пассивностью. Мальчишка с лошадиным лицом стал осторожнее, и теперь я тоже иногда попадал ему в ухо, отработывая боковой правой. В раздевалке я чувствовал себя чужим: ребята казались мне грубыми, напрашиваться в дружбу к ним не хотелось. А под Новый год начались настоящие соревнования. Их итоги шли в зачет учетной карточки спортсмена. Все как у взрослых: взвешивание, рефери в белом, зрители. Даже секундант – он же тренер Романыч.

Мой противник, в будущем чемпион Ленинграда, мастер спорта Леха Беляев, легко отдубасил меня, как отбивную, заодно отбив всякое желания продолжать боксерскую карьеру. Темка принял это решение двумя месяцами раньше и обрадовался, узнав, что я тоже дембельнулся.

– Ну их. Здоровее будем.

В сентябре 1975 года мы с мамой приехали в Невский лесопарк, где располагалась лыжная детско-юношеская спортивная школа, и я сразу понял, что нашел свой дом!

Школа находилась на берегу большого пруда с искусственной запрудой неподалеку от излучины Невы. Вокруг на много километров расстилался лес. Настоящий дремучий лес неподалеку от Ленинграда! В нем жили лоси и кабаны, рыси и куницы, зайцы и белки! Начинался он роскошным парком еще чуть ли не екатерининских времен, с ухоженными круглыми английскими лужайками, могучими дубами и

светлыми чистыми березовыми рошицами. Аккуратные дорожки из песка и гравия были укутаны густыми кустарниками пузыреплодника с гроздьями сухих соцветий и колючим шиповником. Тихая речка (разумеется, Черная!) покоилась в заболоченных, поросших осокой берегах, то пропадая в густом подлеске черемухи и ракиты, то вытянувшись во всей красе на добрый километр в топкой низине, вдоль высокого холма. Через речку перекинуты были горбатые мостки, с которых рыбаки удили рыбу.

За пределами парка лес дичал. Сосны и ели стояли угрюмо и не располагали к сентиментальности. Если в центральном парке хотелось обнять дуб, чтоб напитаться его доброй и животворящей силой или повалиться спиной в шелковистую траву, то на окраинах деревья неприветливо распахивали свои колючие объятия. Чужаков тут не любили. Под кронами огромных елей всегда было сумрачно и сыро. Мягкий зеленый мох скрадывал шаги, пружинил, чтобы вдруг предательски провалиться до колена, выдавив наружу черную жижу. Невидимая паутина застревала в ресницах, а в волосах на голове «лосиные вши» упрямо прокладывали путь сквозь волосы. Редкий дятел барабанил в тишине, издавая время от времени резкие монотонные неприятные звуки. Тишина давила. На душу ложилась та особая сосредоточенная мудрая грусть, которая не покидает человека на краю света, когда он совсем один и не перед кем изображать из себя невесть что.

Вот в эту сказку я, школьник ленинградской средней шко-

лы, и окунулся. Шесть раз в неделю. Пять – вечерами, воскресенье – утром. Суббота – выходной.

Первую тренировку я запомню на всю жизнь. Тренер Николай Михайлович Яковлев (Никола, будущий заслуженный РСФСР) построил наш отряд на плацу перед одноэтажной лыжной базой, представил новенького, то есть меня, и дал задание: шесть километров бегом по известному маршруту, в любом темпе, а потом – футбол.

Мы стартовали дружно, но я вскоре вырвался вперед, успев заметить удивленные лица товарищей. Вскоре я понял, почему они удивлялись. Где-то метров через пятьсот я дышал, как загнанная лошадь, и меня начали настигать опытные бегуны. Они весело оглядывались, некоторые махали рукой. Через километр я совсем сдулся и перешел на шаг. Меня нагоняли аутсайдеры и сочувственно показывали дорогу. Наконец догнал последний – рыжий пацан в мокрой футболке и драных рейтузах. Поравнявшись, он тоже перешел на шаг.

– Новенький? – весело спросил он. – Я тоже. Видал, как рванули? Как бешеные лоси. А мы с тобой не торопимся. Помаленьку. Пусть дураки бегают. Правда?

Эта солидарность двух неудачников больно задела меня.

– А ты зачем тогда сюда записался? – с неожиданной злостью спросил я.

– Да просто так, скучно дома. А ты зачем?

– Чтоб стать Олимпийским чемпионом!

– Че... чего? Олимпийским? Чемпионом? Ой, не могу! Чемпион!

– Не можешь – сходи в туалет. – угрожающе сказал я – Да, чемпионом. И буду чемпионом, а ты пошел в жопу!

Через минуту мы катались с ним в траве, «сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей», скуля и повизгивая, а через месяц стали друзьями.

Сергея Петров жил неподалеку от Народной в Веселом поселке. В спорт он пришел действительно от скуки, но вскоре я пропитал его насквозь ядом честолюбия, и он поднялся в своих мечтах на уровень чемпиона Ленинграда. Выше я и не тащил, самому было места мало на Олимпийском пьедестале.

Смех смехом, но из нашей спортивной школы и впрямь вышли чемпионка мира по лыжным гонкам и чемпион Олимпийских игр по биатлону. Увы, это были не мы с Сергеем. Ну и пусть. Как говорил Джек Николсон в «Полете над гнездом кукушки»: «Мы по крайней мере попытались»...

Я до сих пор фанат лыжного спорта. Если бы мне пришлось открыть свою фирму и набирать в команду спортсменов – я бы набрал лыжников. Выносливые. Сильные. Терпеливые. Мудрые. Расчетливые. Уживчивые.

Трудно понять, характер ли влечет человека в лыжный спорт или сам спорт делает из человека лыжника. Но неоднократно убеждался, если мужчина лыжником стал, то успешное будущее ему обеспечено. Разумеется, если не попа-

дет под замес обстоятельств непреодолимой силы. Выносливость лыжника фантастична. Всегда один на один с собой, без погоняла в лице тренера, без воплей болельщиков, он сам выбирает предел возможного и невозможного на трассе. Беспощадная борьба с самим собой начинается со старта и заканчивается только на финише.

...Смертельная усталость накатывает еще в середине пути. Есть проверенный способ придать устойчивость своему существованию – выбрать какой-нибудь ориентир на трассе и дать себе слово, что свалишься после него в сугроб и наконец-то спокойно умрешь, потому что терпеть больше невозможно, потому что насос в груди вот-вот разорвется к чертовой матери и кровь брызнет из ушей и носа, потому что бок кто-то воткнул кинжал и проворачивает его, потому что глаза слипаются ото льда, икры сводит судорога, а воздуха хватает на полсекунды... Но вот ориентир позади, а гонка продолжается и невозможно объяснить, откуда взялись силы продолжить ее и почему не наступила неминуемая и такая желанная смерть, а руки толкают и толкают палки, а ноги не подгибаются, лыжня по-прежнему бежит навстречу, какие-то фигуры машут тебе руками, а вот, слава Тебе Боже, долгожданный спуск, можно присесть и выдохнуть из легких углекислоту, а впереди новый, крутой подъем и новая цель, после которой точно уже можно умереть со спокойной совестью, и так до самого финиша, где ты стоишь раком на снегу и блюешь желчью и плачешь, когда кто-то набрасывает свер-

ху на плечи куртку и сует под нос чашку с горячем чаем... И все это только затем, чтобы потом перед строем на лыжной базе получить из рук тренера желтую картонку с надписью: «Иванов Михаил, первое место в эстафете... первенства Ленинграда...» Картонка до сих пор хранится у меня в архиве. Не отдам ее никому! Спортсмены меня поймут...

Лыжный спорт любит индивидуалистов.

Наконец, в лыжном спорте спрятано еще одно сокровище. Боксер, гимнаст, штангист или борец на всю жизнь запомнят специфический запах атлетического зала, запах пота и кожаных матрасов, металла, мазей и притирок; лыжник всю жизнь помнит волшебный запах подтаявшего в марте снега и густой аромат свежей весенней хвои. Гимнасту и боксеру светит яркая лампа на потолке, лыжнику – солнце или месяц с звездами. Боксер слышит властные и короткие, как удар бича, приказания тренера, барабанную дробь ударов перчатками по висящим грушам, звон падающей на пол штанги, топот ног, лыжник – завывание ветра в верхушках сосен, уха-нье совы, хрюканье ворона или полную тишину. Боксер добывает славу в бою под бодрящие крики друзей и болельщиков, лыжник, падая на колени после финишной черты, слышит только бешеный стук собственного сердца, да иногда с благодарностью чувствует, как кто-то пытается помочь ему подняться на ноги.

Я еще больше полюбил лес, тот самый, что подростком начинался за Народной улицей, а здесь, в Невском лесопар-

ке, был статен и могуч. Теперь я бывал в нем каждый день, точнее, каждый вечер, и каждое утро ждал с ним встречи.

Тренировки начинались в 17.00. В три с копейками мы садились с Китычем у него в квартире за уроки, а в четыре я уже мчался к автобусной остановке с рюкзаком, в котором был термос, бутерброды и сменка. На 120-м я добирался до Уткиной Заводи, за которой город кончался, а загородный 476-й без остановок мчался к лесопарку мимо коровника, мимо Новосаратовки, мимо полей, садов и огородов.

Зимой мы просто наматывали шестикилометровые круги – один, другой, третий, бывало и четвертый, а иногда, в воскресенье, и пятый. На базу вваливались шумно, в сумерках или полной темноте, с белой от инея грудью и плечами, пунцовыми щеками и возбужденно сияющими глазами. С топом стряхивали с себя снег, крепили лыжи – каждый в свою ячейку. Кто-то видел зайца, кто-то видел сову, кто-то придумывал историю, что видел бегущего волка. Лоси встречались часто и никого не удивляли. В раздевалки мы доставали свои термосы с бутербродами и жадно их поглощали. Смех, вопли не прекращались ни на минуту. Блаженные вечера!

Встречая рассвет за партой в обыкновенной ленинградской школе, я никак не мог поверить, что вечером буду в лесу напряженно всматриваться во мрак и пугаться мелькнувшей тени, непонятного шороха, потому что это могла быть рысь, которая подкрадывалась к своей жертве, а жертвой мог быть и я!

Иногда наш тренер Никола менял маршруты и тогда мы забирались вглубь леса на десяток километров. Однажды, глубоким январским вечером, выбившись из сил, я остановился в такой глуши, что невольно оробел. Мороз к ночи быстро крепчал и быстро осушил вспотевшее лицо. Разбитая порядком лыжня едва просматривалась метров на пять в обе стороны. На небе, сквозь темные верхушки сосен, сверкали несколько звездочек, да бледный месяц сквозил иногда сквозь тонкое, прозрачное облако, похожее на изморось на прозрачном стекле небосвода. Тишина была такая, что хотелось сглотнуть. Я обрадовался, когда услышал за собой скрип лыжных палок. Серега Петров шел размашистым попеременным ходом. Увидев меня, он тоже обрадовался.

– И ты здесь? А я уже думал – все! Заблудился! Слушай, давай поворачивать оглобли. Мы уже десятку отмахали. Там, в лощине, я вообще на ощупь катил. Никола сбрендил совсем. Тут и лыжни-то нет никакой.

Мы замолчали, опираясь на палки и оглядываясь. Чем больше мы молчали, тем сильнее в сердце вкрадывался страх. В такую минуту на ум приходят только глубокие мысли.

– Серый, а что ты будешь делать, если инопланетяне сейчас приземлятся прямо здесь, в лесу?

– Попрошу их довести нас до базы.

– А если им человек нужен? Для опытов?

– Пусть Николу возьмут. Он их припадет так, что не рады

будут, что прилетели. Он в последнее время очумел совсем. Ну что, назад что ли?

– Нет, Никола говорил, что до источника и обратно. А до источника еще километра полтора!

– Да кто увидит?!

– Я! Я увижу!

– Так я не скажу ему!

– Мне на Николу наплевать. Мне это нужно! И тебе! Забыл, как мы поклялись, что станем чемпионами? Ты что, предатель?!

– Погоди...

– Я стану чемпионом! Снег буду жрать, а стану!

– Снег-то зачем? – искренне удивился Серега. – Я же не против!

– Да пойми ты! – с болью вскричал я давно выстраданное. – Мы или букашками проживем свою жизнь, или героями! Я не хочу букашкой! Я буду тренироваться до смерти, но чемпионом стану. И ты будешь! Мы с тобой обещали. Ты что, хочешь до старости жить в своем вонючем Веселом поселке? А мир? А слава? На меня посмотри! Это я тебе говорю – мы победим! У нас будет все! Или ничего...

До Сереги вдруг дошло.

– Согласен! – вскричал он с воодушевлением. – Это я так... пошутил. Погнажи?

– За мной!

Мы ринулись во тьму, как в атаку. Источник мы проско-

чили и откатали лишних километров пять. На пустую базу вернулись последними, с трудом передвигая ногами. Никола встретил нас с радостью и руганью.

– Хотел уже в милицию звонить! Куда вас занесло, охломоны? Время – восемь часов! Обабдели совсем?!

«Охломоны» сохраняли поистине олимпийское спокойствие. Как и положено чемпионам.

В пустом автобусе мы сидели с Серегой на любимом заднем сидении. Кроме нас в салоне была только нахохлившаяся кондукторша. Мы молчали. Иногда Серега вдруг оборачивался ко мне и как будто заново разглядывал. С удивлением, признательностью и нежностью. Мимо проплывали смутно белеющие поля, над которыми низко нависало черно-смуглое небо. Между нами в этот вечер возникло какое-то родство – неожиданное и глубокое. Я был взволнован. На планете Земля среди пяти миллиардов человек, двое вдруг встали спина к спине против всех остальных – шутка ли? Два будущих чемпиона. А с виду и не скажешь!

В нашей группе 60—63 года рождения неудачников не было. Фанатично занимались все, и все верили в свою избранность. Никола обладал главным тренерским талантом – он умел разбудить самолюбие даже в ленивых душах. Придурки, которые приходили в школу любопытства ради, быстро отсеивались

Нашими кумирами в ту пору были Веденин и Мьянтюранта; мы замирали от восторга, когда тренер показывал нам

первые пластиковые лыжи «Ярвинен», а о «Фишере», которые стоили 400 рублей, так просто и мечтать боялись. На тренировках пользовались «гробами», а на соревнованиях – деревяшками «Карелия», правда с титановыми палками по девяти рублей за пару.

Сколько себя помню, я всегда мечтал по максимуму. Если спортсмен – то олимпийский чемпион, если писатель – то Нобелевский лауреат, если разведчик – то Штирлиц! Мои друзья обязаны были быть такими же.

Как-то в спортивно-трудовом лагере под Волгоградом, вечером, нажравшись недозрелых ворованных арбузов с колхозных бахчей, мы сидели с Серегой на пригорке под чахлым дубом и созерцали далекий, освещенный прожекторами, силуэт «Родины-матери» за Волгой. Два счастливых хлопца, у которых было все, и которые хотели еще больше, и верили, что так и будет!

– Ты знаешь, – сказал Серега, – я решил: буду поступать в «Макаровку». Стану подводником.

– Адмиралом, – поправил его я. – И Героем Советского Союза.

– Согласен, – радостно ухмыльнулся Серега. – Куплю себе «Волгу». Давай поклянемся, что никогда не бросим друг друга?

К экстриму мы были склонны оба.

Вернувшись в Ленинград из лагеря, мы уже на второй день отправились в путешествие на велосипедах по Псковской об-

ласти. На минуточку, мальчикам по 13 лет, маршрут – 400 километров по киевскому шоссе в одну сторону. Моя мама и в свои 86 лет вздрагивала, когда я напоминал об этом.

Предприятие и в самом деле было дерзкое. За Гатчиной ветер дул ровно и исключительно в лицо. Я ехал первым. Серега рассказывал потом, что ехал я, как пьяный, – зигзагами. За нами покорно выстраивалась колонна машин, потому что обгонять было опасно. Выбрав удобный момент, когда меня кидало к обочине, две-три машины резко газовали и, посылая проклятья двум чокнутым велосипедистам, мчались вперед, остальные ждали... В деревне наше появление произвело фурор. Тетка Аля, для которой поездка в Ленинград была сродни путешествию на край света, никак не могла поверить, что два мальчика приехали к ней на велосипеде (велосипеды, правда, были спортивные, «старт-шоссе»). На обратном пути Серега уговорил меня (я не очень-то и сопротивлялся) вернуться из Пскова в Ленинград на поезде.

Вообще поездка получилась – на всю жизнь!

Но спорт одарил меня не только этой дружбой.

Боря Христианчик попал к нам уже на исходе восьмого класса. Пухленький и ухоженный, как домашний хомяк, он сразу вызвал насмешки. Прежде всего потому, что совсем не ругался матом. Это было немыслимо! Ругались все, даже тренер, когда думал, что его не слышат. Сначала решили, что Боря выпендривается. Потом выяснилось, что, если и выпендривается, то очень уж упрямо. Началось прямо-таки

соревнование, кто первый спихнет Борю на путь греха. Его высмеивали, его задирали, его провоцировали, просили даже сделать исключение один на один с обещанием оставить грехопадение в тайне. Ни фиги! Боря улыбался (улыбка была добрая, с ямочками) и говорил.

– Я дал слово – не ругаться.

– Кому?!

– Себе.

Во-вторых, Боря в будущем хотел стать генеральным секретарем ЦК КПСС. На полном серьезе. Тут надо признаться, что даже я со своим непомерным честолюбием, стушевался.

– Да как станешь-то? – допытывался я у него дома на улице Седова. – Я и сам хочу, но как?!

– Да ничего сложного! – объяснял Борис спокойно. – Сначала стану инструктором райкома, потом горкома, потом обкома, а потом ЦК. Тут главное настойчивость. Цель. Ну, и ум в придачу. Хочешь – вместе будем карьеру делать? Помогать друг другу будем!

От такой перспективы даже дух захватывало! В спорте Боря звезд с неба не хватал. На соревнованиях был в лучшем случае третьим или четвертым. Если шансов не было совсем, Боря объяснял поражение очень просто.

– И тут я вспомнил, что у меня ужасно болит бок!

Над ним смеялись. Он не обижался. Я немножко жалел его, он завораживал меня своими незаурядными целями.

Мы с ним поддерживали отношения еще долго.

Между прочим, по части мата Боря «развязал» только в армии, куда попал после школы. Подробности неизвестны. Сам Боря как-то оговорился, что самые страшные люди на земле – это белорусы. Оказывается, у него командир отделения был белорус. Обнаружив, что во вверенном ему отделении оказался солдат, который не хочет ругаться матом, сержант, выросший в белорусской деревне, осатанел. Видимо, началось принуждение, по сравнению с которым наше, в спортшколе, было невинной просьбой пойти на уступки.

Когда я впервые услышал, как Боря выругался, меня настигла боль утраты, словно в мое детство и отрочество кто-то смачно плюнул. Но амбиции прежние у него остались. Боря по-прежнему хотел стать главным. Правда, теперь – президентом России.

– Ничего сложного. Политика только на первый взгляд кажется сложной! Поможешь?

Ну, кто бы отказался! Каюсь, даже присматривал про себя должность советника. А потом произошла катастрофа. На предприятии, где Христианчик работал инженером, произошла авария. Взорвался какой-то бак с едким химическим составом. Борис стоял рядом. Его едва успели отвезти в больницу. Много дней он был без сознания. Кислота чуть не сожгла его череп. Но он уцелел. И что самое поразительное – не растерял свой оптимизм. Правда теперь он не метил в президенты, но главным инженером на крупном заводе стал.

Люблю таких людей. Их честное и благородное тщеславие

наивно и вызывает скорее насмешки, чем неприязнь, их оптимизм зашкаливает, но в стране, где людям привычно после бурного революционного подъема погружаться в апатию и уныние, это скорее достоинство, чем недостаток. В нашем климате такие люди на вес золота.

Был и еще один мальчик, с которым меня связывала пусть и недолго, самая нежная дружба. Его привела в ДЮСШ за руку красивая черноволосая мама в элегантном пальто. Она о чем-то долго говорила с тренером, который смотрел на нее замаслившимися глазами, и, наконец, оставила свое чадо с нежной грустью, как хозяйка оставляет ненадолго обожаемого щенка в заботливых руках. Максим (так его звали) почему-то сразу прилип ко мне, как тот щенок, которого погладили и накормили. Я всегда питал к новеньким и отверженным любопытство и сочувствие. Мы сблизились. Он чем-то напоминал мне Мишку Гитлина из детства. Такой же по-еврейски неумный в привязанности и влюбленности, которые приводили меня иногда в замешательство и смущение. Он и был влюблен. Его восхищали мои победы, мое новое, красивое пальто, мои шутки, моя сила и храбрость. Он пытался угнаться за мной на тренировках, сопровождал домой, приглашал в гости. Он так много и горячо рассказывал обо мне своей маме, что и она в меня влюбилась. Я был талисман, оберег для ее сына, мальчик из чуждой среды, наделенный смелой и благородной душой.

Сначала это радовало меня, но потом начало тяготить.

В спортивной школе Максима прозвали «дракончик». Был такой персонаж из мультика – дракончик, который любил сладкое и повторял: «Мне, мне, все мне!», за что и был, кажется, наказан. Максим и правда был внешне чем-то неуловимо похож на мультяшного дракончика. Но главное, он был натурально, до карикатурности, скуп. Расстаться с гривенником было для него проблемой. Потерять рубль – трагедией. А за червонец, пожалуй, он мог бы продать Родину. В спортивно-трудовом лагере под Волгоградом нам выдавали каждое воскресенье по два рубля за работу на полях. Разумеется, свои увольнительные мы проводили в городе-герое. Дракончик еще с утра привязывался ко мне, и я вынужден был таскать его за собой. Мороженое я покупал на двоих за свои деньги, пирожки – тоже. Однажды я не вытерпел и спросил его напрямик: почему он сам не хочет купить себе что-нибудь, ведь денег нам дают поровну! Ответ его меня обескуражил. «Понимаешь, – доверительно поведал мне Дракончик, – если я разменяю свой рубль, то рубля уже не будет. Будет девяносто копеек. А вдруг я их тоже истрочу?»

Что тут скажешь?

Не удивительно, что в отряде над ним стали насмехаться. Серега Петров его открыто презирал. Нравы в отряде вообще очень быстро огрубели. Стояла страшная жара. Вечерами мы делали набеги на колхозные сады и объедались яблоками, вишнями и абрикосами, ночью ожесточенно бились на подушках и подсовывали друг другу под одеяла живых пчел,

огромных летучих жуков и ос, чтоб насладиться воплем пострадавшего, утром едва успевали добежать до деревянного туалета, а бывало и не успевали и вываливали из брюха вчерашние яблоки прямо на тропинку. Животами не маялся только я и Серега (сказался опыт деревенских каникул), остальные слегли. Теперь каждое утро у входа в столовую тренеры нам выдавали по стакану марганцовки.

Сами тренеры спасались коньяком и водкой. Спасались так усердно, что к вечеру в лагере наступала полная анархия.

Начались ссоры и драки.

Мелкие грызлись каждый день, ругались в палатах до полуночи дискантами, гадили друг другу, как могли, и жаловались начальству. А потом я стал свидетелем безобразной сцены. Серега Петров где-то нарвал мелких сладких груш. Целое ведро, которое поставил возле кровати и неспеша ел, громко нахваливая. Дракончик стоял рядом и вымаливал хоть одну. Петров не давал. В конце концов, наскучив слушать просьбы и мольбы, он поставил условие: Дракончик встает на колени и твякает десять раз, за что и получает одну грушу. Дракончик протявкали и получил плод, который тут же смачно скушал. Потом проблеял десять раз и получил еще одну грушу. Потом Серега сел ему на спину и Дракончик заржал по-лошадиному, за что получил сразу две груши. Зрителя потешались, я сгорал от стыда.

Наша дружба с Максимом заканчивалась. Я стал стесняться его. Он это заметил, но не обиделся, а пытался прими-

риться. Это было еще ужасней.

– Зачем ты унижался? Ты что сам не мог нарвать этих проклятых груш?

– Я не могу. Честно. Не могу залезть в чужой сад. Страшно. А груши такие сладкие.

– Да ведь он же унижал тебя!

– Да пусть. Он глупый. Не обращай внимания.

Ничего себе «не обращай». Меня выворачивало наизнанку. Серега Петров в своем жлобском самодовольстве возмущал меня не меньше, но по пацанским понятиям мне нечего было ему предъявить. Дракончика он искренне презирал и не мог понять, что нас может связывать. «Он же за рупь удавится! – кричал Серега возмущенно. – Что ты с ним ходишь?»

Что я мог ответить? Что с Максимом я разговаривал на языке, который был недоступен Сереге?

И все-таки я выбрал Серегу.

Уже в Ленинграде, осенью, после тренировки, Дракончик грустно встретил меня в раздевалке. Мы были одни.

– Ты стесняешься меня? – спросил он.

– Ты что, сбрендил? – с жаром воскликнул я.

– Стесняешься.

Я боялся взглянуть ему в глаза. В них была и боль, и грусть, и какая-то недетская усталость. В руках он вертел пластмассовую кружку от термоса.

– А помнишь, как мы с тобой на великах на Ладогу ездим?

ли? В мае, помнишь?

– Помню, – буркнул я.

– Мы тогда поклялись, что будем друзьями.

– Мы и сейчас друзья.

– Я больше не приду на тренировки, – вдруг сказал он. – И мама сказала, что она согласна. Учиться буду. Мне поступать надо. Ты приходи в гости.

С возрастом я понял, что Бог дает нам в попутчики разных людей с умыслом, и поэтому внимательно вглядываюсь в каждое новое лицо. Какое послание человек принес мне, чем я могу быть ему полезен? Все попутчики, с которыми я прожил часть своей жизни – мои родственники. Я благодарен им и хочу извиниться перед теми, кого обидел вольно и неволью.

Максима вспоминаю с нежностью и грустью. Где ты, Дракончик? Надеюсь, все у тебя хорошо.

Вообще в спорте отношения выстраиваются в соответствии с табелью о рангах. Чемпионы тянутся к чемпионам, середняки к середнякам, а внизу копошатся остальные. Наши признанные чемпионы Юрка Орехов и Валерий Корявкин и приезжали из города на тренировки особняком и уезжали в гордом одиночестве. Даже если в 476-м автобус на остановке набивалось десять орущих, хохочущих, пихающихся наших, чемпион садился у окна и помалкивал всю дорогу. Мы все им прощали. Они были недосыгаемы. Вообще, спортивный талант – это тайна. Можно изводить себя

до полного изнеможения тренировками и едва взобраться на уровень первого разряда, а другой тренируется играючи, с удовольствием и, глядишь, уже мастер!

Каждую зиму Юрка и Валера становились чемпионами Ленинграда, и Никола в них души не чаял. Лучшие лыжи – для чемпионов, первые гэдээровские лыжероллеры – тоже для них! Тренировались мы на равных, но побеждали всегда они. Валерия скоро взяли в спортивный интернат, а Орехов Юрка остался с нами до конца, то есть до конца десятого класса, потому что не хотел связывать свою жизнь только со спортом.

Для меня Юрка был небожителем, но дружить с ним я бы не смог и не хотел. Слишком много на нем было позолоты, слишком уверенно он чувствовал себя на пьедестале. И не пробьешься к сердцу. А дружить без полной отдачи и искренности я не мог. Мне нужна была неременная клятва верности, скрепленная кровью, неременный Орден Дружбы на грудь после совместных героических испытаний. Пафоса во мне всегда было много. Женская часть моей натуры всегда требовала верности и доказательств любви. Я был ревнив в дружбе и порой жесток. Может быть, меня отчасти оправдывает то, что я сам отдавался дружбе полностью и берег ее до полного истощения ресурсов. У нас в тимуровском отряде существовал ритуал, который не раз спасал нас от полного распада. Если возникала ссора, ритуал требовал, чтобы обидчик слегка дернул за ухо противника, а тот в свою

очередь сделал тоже самое с ним. Ссора в этот миг прекращалась и враги обнимались. Я бесчисленное количество раз дергал за уши Китыча и Темку и, хотя примирение не всегда было полным и искренним, узы товарищества не рвались и раны заживали быстрее. Но это к слову.

Чемпионом Олимпийских игр из нас стал и не Юрка и не Валера, а Димка Васильев, белобрысый, смешливый пацан из «городка» – самого криминогенного микрорайона в окрестностях Народной. В отличие от меня и Сереги, Димка не мечтал стать олимпийским чемпионом, он им просто стал. Как? Ну не знаю я! Правда! Мы с ним дрались один раз. Я парень сильный, говорю это абсолютно спокойно и уверенно. На турнике в то время я подтягивался 49 раз, двухпудовую гирию выжимал раз двадцать и левой, и правой. Так вот, Димка меня поборол. Так сжал в железных объятиях, что я ничего не мог сделать, и обмяк, признавая поражение. Мы выпили с ним потом по чашке чая, что называется на брудершафт, я стал что-то сочинять про болезнь... Он пихнул меня в бок.

– Ладно врать! Меня еще никто не мог побороть. И старший брат мой такой же.

Талант. Я, похоже, зарыл свой. Мне бы плаваньем заниматься. На первенстве спортивного лагеря, среди представителей 12 видов спорта, я, играючи, без всякой подготовки, занял первое место на дистанции 50 и сто метров. Тренер по вольной борьбе, оглядев мое тело, сказал тогда.

– Иванов, ты не своим спортом занимаешься. Тебе надо было в плавание идти. Seriously!

Ни на минуту не сожалею, что выбрал лыжи!

Спорт одарил меня друзьями, которых не забудешь никогда. Игорь Калачев. Мы с ним смеялись до колик из-за всякой ерунды, Сашка Коновалов – и тоже помню: смех, смех, смех....

Вообще, смеялись мы тогда, как ненормальные, вызывая недовольство взрослых. Без всякого повода. От избытка сил. Это был какой-то затянувшийся праздник жизни без похмелья. Физически я к 15 годам окреп необыкновенно. В летнем спортивном лагере на Карельском перешейке о лыжниках вообще ходили легенды. В лагере спортивное мастерство ковали спортсмены 12 видов спорта. Нас, лыжников, считали фанатиками и психами. Ступенью ниже стояли штангисты, тренер которых ставил наш отряд в пример. Амбициозны были и борцы. А главными раздолбаями считались – футболисты. На зарядку мы бежали три километра до озера и там купались в любую погоду. Назад возвращались тоже бегом. После завтрака была первая тренировка, после тихого часа – вторая. Вечером мы успевали заниматься с железом, а в любую свободную минуту я подтягивался на турнике. Иногда до пятисот раз за день!

При росте 184 сантиметра я весил 74 килограмма. Мое тело ликовало. Ум сделался прост. Цели жизни сфокусировались в километры, килограммы, минуты и секунды. Летом

после девятого класса я открыл обязательный к прочтению по школьной программе роман «Преступление и наказание» Достоевского и через тридцать страниц с грохотом шваркнул книгу об пол.

– Не могу! – проревел я с яростью. – Ну, урод, мать-перемать... Аж, башка закипела.

– Ты чего? – оторвался от Шерлока Холмса Серега Петров.

– Ты читал?! Ну, тягомотина. Ну, тоска!

– Это про то, как мужик бабку зарубил? Топором?

– Да если бы зарубил! Все веселей! А то ходит и ходит тоскливый дятел! Я жду, когда, думаю, начнется. А он все ходит и ходит, думает.

– Ну, так убил он ее? Ты дошел до этого места? – сочувственно спрашивал Серега.

– Нет! Терпения не хватило. Убил и черт с ней. Клянусь, больше никогда не прочитаю, ни страницы! И тебе не советую.

Через три года я прочитал все тридцать томов Полного собрания сочинений Федора Михайловича Достоевского, и он на многие годы сделался моим главным писателем в русской литературе.

Глава 18. Конформизм

Мой радикальный конформизм приносил свои драгоценные плоды. Учителя, наконец, полюбили меня. Я стал комсомольцем. Вместе с Китычем. Принимали в Невском райкоме. Предупредили, что вопросы могут быть каверзные. Международную обстановку я знал хорошо, благо давно уже был в классе политинформатором. Устав изучил внимательно. Отвечал бойко, взволнованно, звонко, как и полагается будущему комсомольцу. Но каверзный вопрос меня все же настиг.

– Сколько стоит устав комсомола? Книжечка, которую вы вертите в руках? – строго спросила седая тетенька, сидевшая за столом с красной скатертью рядом с молодой, конопатой девкой.

«Старая кочерга, – подумал я уныло, – а я было подумал, что ты уже спишь»

– Ну, так сколько? – теперь уже требовательно спрашивала девка.

– Копеек пять. Не больше, – пробормотал я. – Книжка-то тонкая...

– Устав комсомола – бесценен! – торжественно резюмировала старая большевичка. – Запомните это навсегда!

– Да, да, я знаю, только забыл, – торопливо закивал я го-

ловой – Конечно бесценен! Это же... наше все!

Китыча спрашивали меньше, видно было, что парень простой, может и ляпнуть что-нибудь невпопад.

Мы вышли с ним из райкома вместе.

– А про устав нас классная предупреждала, – сказал Китыч, – ты просто забыл. Пять копеек! За пять копеек, значит, и комсомол продашь? Ай-яй-яй!

– А эта, конопатая, тебя о чем спрашивала?

– Кем я хочу стать.

– Ну, и?

– Танкистом.

– А она?

– Зауважала. Танкистов все уважают. Теперь взносы будем платить. Две копейки в месяц.

С комсомолом у Китыча сложились непростые отношения. Начать с того, что две копейки на заводе обернулись для Китыча в три рубля. И это бы стерпел Кит, но его стали песочить после каждого залета в милицию еще и на комсомольском собрании цеха. Так было положено. Китыч возмущался.

– Вы чего? С меня и так уже прогрессивку сняли, летний отпуск накрылся, чего вам-то от меня надо?!

– Мы можем помочь. Ходатайствовать в профком, начальнику цеха.

– Ага, можете. Ни фига вы не можете!

Самое смешное – в армии Китыч действительно был тан-

кистом. И каким! Экипаж его танка занял первое место по Дальневосточному военному округу! Если в часть приезжало начальство и надо было произвести соответствующее впечатление, мобилизовали роту Кита. Стрелял его экипаж без промаха, действовал слаженно, как швейцарские часы. Свой интернациональный долг он отдал сполна. Однажды чуть не отправился на тот свет. От плохой еды, непривычного климата покрылся чирьями. Дальше – больше: началось заражение крови. Врачи советовали молиться. Едва выкарабкался. Один раз чуть не угодил под трибунал. Это, когда молоденький «лейтеха» дал ему за нерасторопность пинка, а попал прямо в чирей. В следующее мгновение лейтенант лежал на земле, а над ним склонилось страшное, озверелое лицо танкиста.

– Еще раз тронешь – убью!

«Боль была адская! – потом объяснял мне Кит. – Я чуть не взорвался».

Поскольку дело было в походе, для Кита вырыли яму и опустили туда на веревке. Такая была в полевых условиях гауптвахта. Еду тоже опускали на веревке.

– Самая большая ошибка Родины, Никитин, – сказал потом командир батальона перед строем, – что тебя взяли в армию.

Это, конечно, он шутил. Армия как раз стояла и стоит на Китычах.

После службы Кит разорвал и выбросил свой комсомоль-

ский билет в унитаз. В военном билете, который после армейской службы выглядел, как после битвы на Курской дуге, он подтер надпись о членстве в рядах комсомола, добавил грязи, размазал; подумывал даже о капле крови. «Мастрячи-ли» документ мы вместе, у Кита на кухне.

– Как думаешь, – спросил он, задумчиво вертя билет в грязных пальцах. – Добавить крови?

– Ты еще дырку добавь. От пули. Скажешь в кадрах, в миллиметре от сердца прошла. Но ты еще успел крикнуть: «Всех не перебьете, гады! Передайте Михалычу, что бутылку 33-го портвейна я закопал...» И тут сознание тебя покинуло. Но враг оживил твою измученную тушку, и тебя долго пытали, чтоб ты рассказал, куда закопал бутылку.

– Кстати, – оживился Китыч, – я так и не нашел вчера пузырь розового, который, точно помню, где-то припрятал. Все обыскал. Ведь не булавка! Где-то лежит, зараза... 19 градусов, три процента сахара. Мой любимый размер...

...Короче, решили, что кровь – это перебор. Наутро следующего дня Кит пришел устраиваться в отдел кадров на завод.

– Комсомолец? – спросили там.

– Нет!

В отделе кадров были ушлые ребята.

– Покажи военный билет.

Долго вертели, советовались, хмыкали, наконец, сказали.

– Ладно, мы тебя примем.

– Не надо.

– Ты что, против? Принципиально? М-м-м?

– Нет. Не против. Не хочу.

– Почему?

– Не хочу! – просто и доходчиво отвечал Китыч за шесть лет до профессора Преображенского.

– Ты не любишь комсомольцев?

– Люблю.

– Тогда почему?

– Не хочу!

От него отстали, пообещав присмотреться.

Зато теперь, каждый раз, когда в цехе объявляли комсомольский субботник, Китыч, вытирая ладони грязной ветошью, подходил к какому-нибудь безусому комсомольцу, и спрашивал с приторным сочувствием.

– Что, завтра на субботник?

– Да вот... надо, – отвечал вчерашний пэтэушник грустно.

– Надо, надо. Ведь ты же комсомолец! И что, бесплатно?

– Так ведь субботник же.

– Да, да, субботник. А я вот тоже выйду. За двойную оплату.

– Это почему же?

– А я не комсомолец, – говорил Китыч, уже не скрывая радости. – Комсомольцы работают бесплатно, а я – за деньги. Усек?

– Усек, – угрюмо отвечал молодой.

– Каждому свое, – продолжал куражиться Китыч, – зато ты имеешь право ходить на комсомольские собрания после смены. А меня не пустят.

– А на фига тебе это собрание?

– А как же?! А узнать про политику партии? Про космические корабли, которые бороздят просторы Вселенной? Ты что?! Комсомольское собрание – это, братишка, первое дело, без собрания мы по деревьям начнем прыгать. Как макаки.

– Так вступай.

– В комсомол? – Китыч скорбно вздыхал. – Не могу брат. «Капитал» Маркса так и не осилил. И портвешок люблю, грешным делом. Но мы, старики, верим в вас, молодых.

Кто научил Кита этому цинизму? Никто. Жизнь сама научила.

Но тогда, в седьмом классе, мы взволнованно вглядывались в маленькую книжечку с вклеенной фотографией и чувствовали, что вот это уже серьезно, что это не красная тряпка, обмотанная вокруг шеи, что мы приобщаемся к этим гулким коридорам в величественном здании райкома, к этим загадочным кабинетам с непременными портретами вождей, где вершились дела государственной важности, к этим подтянутым молодым людям в серых костюмах, которые с озабоченными серьезными лицами снуют из кабинета в кабинет, не замечая случайных посетителей, но кивая только своим, посвященным в тайну власти.

Власть уже тогда кольнула меня. Больно. Я вспоминал ко-

нопатую девку за кумачевым столом и пытался понять, как смогла она проникнуть в эту таинственную цитадель, как умудрилась занять место за столом, которое позволяло ей задавать всякие дурацкие вопросы таким олухам, как я. Из чего они сделаны, эти конопатые? В чем их сила?

С Китычем на подобные темы говорить было бесполезно. Он смотрел на свой дальнейший жизненный путь доверчиво и просто – куда кривая выведет. Лишь бы не учить монолога Чацкого или отрывок Толстого «После бала». Власть он считал привилегией избранных, загадочной, враждебной силой за кремлевским забором, и чурался ее, как его предки крестьяне чурались сначала управляющих-немцев, назначенных из Лондона помещиком, а потом уполномоченных райкомов и губкомов, от которых, кроме неприятностей, можно было ждать только крупные беды.

Так на Народной думали многие. И не только подростки, но и их родители. Советская власть была от Бога. Ее не выбирали, она сама спустилась откуда-то сверху семьдесят лет назад в блеске салютов и дыме пороха, в окружении дивных героев на горячих конях, в кожанках, с саблями. Спустилась, чтобы поведать людям истину и втолкнуть необразованных дураков в счастье. Ее ругали, ее не любили, ее высмеивали, но к ней бежали при первой опасности, и она могла по-отечески надрать уши, но и помочь могла, могла защитить. Но, главное, она была нетленной и в сути своей безгрешной, потому что не от мира сего. Да, в каких-то мелочах она допус-

кала ошибки, иногда досадные и болезненные, но они искупались могучим разумом и волей того, кто лежал в волшебном гробу в центре Москвы и отдавал тайные приказы прямо в Политбюро. Мы знали, что он живее всех живых и что он все видит. В минуту отчаянья старые большевики вспоминали его, и он утешал их новыми чистками, новыми расстрелами и новыми статьями уголовного кодекса.

Отныне я носил на груди значок с его ликом не с ребячьей, беззаботной радостью, как когда-то значок октябренка, а с привкусом взрослой суровости и беспощадности бойца за правое дело.

Такие, как я, вообще были падки до суровости и военной формы. Простое не выстраданное счастье казалось нам незавершенным и неполноценным. Без значительности дело становилось пустым. Распустив тимуровский отряд, я чувствовал себя первое время никчемным. Двор без шпионов и предателей был праздным, лес без призраков войны скучным. Только спорт смог вернуть необходимую цель и самоуважение.

Глава 19. Опять девчонки

К исходу восьмого класса я мог с уверенностью рапортовать – задача успешной социализации во враждебной среде выполнена! Штирлиц вошел в доверие. Комсомольский значок на груди и короткая стрижка удостоверяли его благонадежность. Связей, порочащих его, он не имел, с товарищами по классу и учителями поддерживал ровные, товарищеские отношения. Отличный спортсмен! Чемпион школы и Невского района по лыжам. От троек в четверти избавился, неоднократно награжден благодарностью классной руководительницы за блестящие проведения политинформаций.

С правдоискательством было покончено! С бунтарскими настроениями тоже. Примерный мальчик Микки, кажется, теперь мог сказать уверенно – жизнь удалась!

Оставался один пунктик, который отравлял жизнь – девчонки.

Я, конечно, не претендую на роль редкого уroda, если признаюсь, что мне нравились странные девчонки. До сих пор (!) я завидую парням, которые в правильном возрасте (18 лет!), в правильной обстановке (например, летом, на даче), правильным образом (нежно, трепетно, ласково, умопомрачительно и безболезненно) трахнули правильную, невинную девушку и вскоре стали ее примерным супругом. Со-

всем уж правильные особи впервые трахнули свою супругу после ЗАГСА и свадебного застолья в теплой чистой постели с нежными словами «люблю до гроба».

Увы, это не про меня. Во-первых, трахаться я хотел уже... ну очень рано. Во-вторых, невинные и правильные девушки меня почему-то не привлекали. Отличница Маринка Богданова, вполне себе симпатичная дивчина, привлекала мою грешную плоть не больше, чем школьная уборщица Люба. Зато Ленка Везушко после известного сексуального скандала прочно прописалась в моих порочных фантазиях. Меня напрочь убивала простая, в сущности, мысль, что вот я, примерный советский школьник, который чистит по утрам зубы и принимает душ, который сморкается в носовой платок и стесняется рыгнуть за столом, который взволнованно рассказывает перед классом как унижают негров в Америке, возьмет и снимет с девочки трусы. Стыдуга-то какая! Фу!

А ведь очень хотелось!

Ну, не с отличницы, конечно. Отличницы раздевались после свадебного застолья сами, аккуратно складывали платье на спинку стула, осторожно ложились на спину, раздвигали ноги, закрывали глаза и протягивали руки к молодому мужу, который нежно накрывал собой тело супруги. Отличницы в школе вообще мало интересовали мальчишек с норовым самцов. Отличницы были предназначены в будущем для отличников, а пока набирались знаний, чтоб передать их своим детям. «Оторвы» в коротких юбках и с глазами, в которые

боялся заглядывать сам директор школы, в восьмом классе казались мне ведьмами. Я краснел и опускал голову, едва их завидев.

А любовь? Любовь ушла. Далеко и надолго. По крайней мере, я не помню ее ни в девятом классе, ни в десятом. Мой университетский друг, Андрей, так же бесплодно проскочивший этот возраст, как-то на полном серьезе сказал, что вся жизнь человека зависит от того, любил ли он в 16 лет или не любил. Любил? Значит, нормальный, и жизнь будет нормальной, без особых падений и взлетов. Не любил? Будешь догонять свою любовь всю жизнь. И хорошо, если Господь наградит, наконец, достойной, любящей женщиной, которая вернет тебе растоптанный в юности аленький цветочек и избавит тебя от злых чар колдуньи-судьбы.

Уже много лет спустя я спрашивал Китыча, от которого женщины шарахались всю жизнь, как от огня, пока он не нашел свою половину уже в 50 плюс, любил ли он в шестнадцать. Китыч задумался.

– В шестнадцать? Это, значит, в «путяге», на втором курсе? В колхозе, помню, заступился за девчонку перед местными архаровцами. Даже на нож пошел против одного уroda. Вырубил его. А она смотрела...

– Ну?!

– Что ну? Я был типа герой в ее глазах.

– И?

– Ничего. Мы с Коляном запьянствовали тогда, а потом в

город вернулись...

Жизнь Китыча, правда, можно назвать одним сплошным, затяжным падением; догнать свою любовь ему и в голову не приходило. А вот я, пожалуй, в теорию Андрея вписываюсь. Любовь свою после десятого класса я искал лет пятнадцать, правда и наградил меня Господь щедро, слава Ему!

Но это уже совсем другая история.

С женщинами не только у меня, но и у всех моих друзей (а их пятеро!) было не просто. Догадываюсь – потому они и мои друзья. Других не чаял и благодарю за них Бога. И все-таки, люди МОЕГО круга всегда были малость того... ненормальны. То ли я к ним тянулся, то ли они ко мне. С нормальными мне было скучно.

Нормальные пацаны, школьные, спортивные, дворовые товарищи, однажды влюблялись и однажды объявляли о своей свадьбе. «Ты слышал? Витька Колесов жениться на Таньке Силантьевой! Уже и заяву в ЗАГС подали. Говорят, Танька залетела. То-то ходит – рожа довольная. Наверное, теперь отсрочку дадут от армии».

Витька, разомлевший от счастья, от июльской жары, на скамейке дает интервью желающим.

– Свадьба в «Чайке». Папаша ансамбль пригласил. Обещает мотоцикл купить.

– Витька, да ведь хомут! Не боишься?

Витка довольно хрюкает. Видно, что хомут ему в пору и не жмет совсем. И говорит уже как взрослый.

– Пора. У нас приплод уже намечается. Да и 19 уже.

А вот мой друг Андрей, студент университета, на ту же тему, в том же возрасте, после двух кружек пива в Петрополе:

– Нам нельзя жениться. Наша невеста – литература. Желанная, прекрасная девственница, которая ждет, когда мы грубо возьмем ее талантом и силой. А пока мы только дрочим. Спорим, мечтаем, пытаемся что-то изобразить... А сами боимся. Страшно. А вдруг не получится?

– А вдруг не получится?

– Получиться! Трахнем ее так, что за океаном слышно будет, как она кончает.

Не знаю, как за океаном, но в СССР литература была де-юре строгих правил и охотно давала только членам партии, которые умело соблазняли ее фантазиями в стиле социалистического реализма. И кончала она только с благословения писательской организации. Мы и в этой среде были чужими.

В какое-то время мысль о том, чтобы утратить эту гнетущую девственность, становится для многих навязчивой. Тут есть два пути. Или утратить. Или соврать. Врать приходилось главным образом тем нервным и самолюбивым юношам, которые уже давно и мучительно доказывали всем, что они круче вареного яйца. Нам (ой, проговорился!) вообще приходится не сладко.

В юношеском сексе, как и в спорте, побеждают здоровые натуры, лишённые рефлексии и стыда, ума и воображения. Они мало читают, и, соответственно, им не приходится пре-

одолевать длинный и тернистый путь от признания пушкинской Татьяны Лариной до влагалища Ирки Петуховой, которая, лежа на спине и не выпуская изо рта сигарету, рассказывает Ваське последние школьные сплетни.

Несколько раз я расспрашивал Славку Петрова, который потерял девственность еще в седьмом классе, как это было и как надо.

– Было? На сеновале. Ну... сначала ты ее целуешь... Везде.

– Как это везде?

– Ну да. Губы, лицо, грудь, живот, ноги, попу....

– Попу?!

– Да. А что? Им нравится. Некоторые балдеют, если их целуют там... ну ты понял. Я не пробовал, не знаю... А потом залезаешь на нее, и... Первый раз я чуть не обосрался. Тыкаю, тыкаю и – никак! Не лезет! Аж, пот холодный прошиб. А она тогда взяла рукой и сама направила. Она опытная была, лет на десять меня старше. Разведенка. Деревенская. Любила это дело.

У Славки была взрослая любовница. Во дворе ему было скучно, и я его прекрасно понимаю.

Все мои надежды я возлагал на русскую деревню.

Глава 20. Деревня

Про русскую деревню в Советском Союзе было написано много прекрасных строк. В 70-е годы любить деревню было модно. Дескать, устал от города – езжай в глубинку. Там – чистые родники, чистые нравы, чистые продукты. Там – правда. Там – начало и конец всего. Так сказать, альфа и омега.

Поколение родителей ностальгически вздыхало, вспоминая, как горько пахла русская печь морозным зимним утром, как свежо и ароматно дышала апрельская пашня, вспаханная гусеничным трактором, как весело потрескивала под ногами протоптанная к колодцу льдистая тропинка, как на выжженных солнцем рыжих проталинах робко мерцал первый цветочек мать-и-мачехи, как приходил, наконец, по весне первый, долгожданный, по-настоящему теплый день, когда старики вылезали из зимних нор своих и мостились на завалинках вместе с первыми сонными мухами.

У моей мамы глаза затуманивались, когда она вспоминала, как бездонный звездный небосвод накрывал призрачно-белые поля, когда она с подругой Алей (ставшей потом моей теткой, между прочим) ночью возвращалась домой с танцев из соседней деревни.

– Красота – необыкновенная! Далеко видно вокруг. Тихо! Наст под ногами скрипит, пар изо рта. Страшно бы-

ло. А вдруг волки? Их после войны много развелось. Смотрим-смотрим вокруг, не мелькнет ли где тень. Мы с Алькой для храбрости иногда по стакану самогонки выпивали перед танцами. Тогда весело. Бывало, идем, держимся друг за дружку, шатаемся, а то и упадем от хохота. Хохотали мы тогда с Алькой по любому поводу, как ненормальные. Дед очень не любил это, ругался.

Это была одна правда о деревне. Иногда, в минуту грусти, вспоминала мама и другую.

– Бывало, соберемся в избе, что почище, девки, парни, музыку заводим, но не танцуем. Парни молчат, смотрят друг на дружку волком. Потом девчонки как по команде – брысь из дома. А парни свет выключат и ну, биться!

Как бились? Опять же слово моей маме.

– Красивый был парень, лихой. Я таких любила. Волосы пепельные, глаза – голубые! Никого не боялся! Я за него замуж хотела выйти. И вот как-то махновские сговорились, выманили его из клуба во двор и забили до смерти. 17 ножевых ран потом милиционеры насчитали. Он в Острове умирал. Тяжело. Так и не выдал никого. Дрались почти всегда. Кольями. Солдаты к нам приходили из части. С ними дрались. Я гуляла с одним. С Волги. С собой звал, а потом пропал. Ему колом голову проббили.

Эти бессмысленные жестокие драки в сельских культурных центрах я и сам помню хорошо в семидесятых. Деревня собиралась на танцы, как на бой. Готовились. Совали в кар-

ман, кто свинчатку, а кто и ножик. Танцевали местные мало, неуклюже, неохотно; в основном зажигали городские щеголи, особенно студенты, приехавшие к родственникам на каникулы. Девчонки в нарядных платьях жались у стен с плакатами, а пацаны в темных углах злобно пялились на этот праздник жизни и разжигали в груди пожар мести. Мстили не только городским, чтоб много о себе не думали, мстили и деревенским. Якобы за то, что кто-то у кого-то девку увел. На самом деле за жизнь свою беспросветную, глупую, скучную... Словно и не показывали им, дремучим варварам, накануне фильм, как нужно жить и веселиться в стране советской честному труженику. Словно и не читали им, лешим, в клубе лекцию о вреде пьянства... Словно и не боролись сообща за высокую культуру быта!

Советская власть вообще любила бороться. И за права негров в Америке, и за высокие удои на Тамбовщине. Только вот за себя, родимую, не смогла, когда в 91-м бесславно закончились ее дни.

С православными праздниками в Острове власть боролась оригинально. Накануне Пасхи, вечером, особо ретивых забирали в кутузку. Официально – за распитие спиртных напитков. Выпускали, когда крестный ход заканчивался и религиозный дурман якобы выветривался из хмельных голов. Любопытно, сколько атеистов таким образом воспитали районные власти? Если, конечно, смысл подобных мер заключался в этом... Пытаюсь представить себе эту картину. Про-

трезвевшего Ваську выпускают из кутузки поздней ночью. С трудом дождавшись утра, он бежит в районную библиотеку и умоляет дать ему почитать Маркса или Ленина. Прочитав полглавы, он откладывает книгу и гневно смотрит в потолок: «Так вот в чем дело! Тебя нет, а я-то, бабкой одурманенный, верил. Эх...»

Впрочем, и «верующие» часто не понимали толком, во что верят.

В деревнях престольные праздники отмечали с былым размахом, но при этом никто толком не мог разъяснить, о чем, собственно, шла речь: «Храл? – отвечала на мои настырные вопросы бабка, – так ведь это праздник! В нашей деревне его спокон веку отмечают. Значит, так надо. А почему я знаю, почему так называется? Тебе зачем?» На Троицу садились в телеги и ехали на кладбище. Пили за умерших, как за живых, и так усердно, что многие отсыпались прямо на могилах. Возвращались же с березовыми вениками и с пучками белых цветочков – бессмертником – которые, опять же по старой и мудреной традиции, засовывали в избах куда попало. Считалось, что, если цветочки не завянут вскоре – быть счастьем и здоровьем в доме! Волшебный край, воспетый Пушкиным! Уже с полсотни лет прошло, как страна бодро и с песнями шагала в будущее путем Прогресса, а на Псковщине, в полях, во ржи, до сих пор обитали русалки и поздней ночью, в полнолуние, лучше было туда не соваться – защекочат до смерти! (Никак не мог взять в толк, как

они передвигаются в траве со своими рыбьими хвостами!) В лесах, несмотря на усердные труды пропагандистов из общества «Знание», так и не перевелись лешие и кикиморы, в прудах мирно кимарили, дожидаясь рыбаков, водяные, а убив змею, человек скидывал с плеч сорок грехов без всяких индульгенций, покаяния, строгих постов и молитв.

При этом на 1 мая и 7 ноября колхозники собирались за обильным столом, чтобы выпить за мировую революцию и дедушку Ленина! Что происходит с мозгами человека, когда он утром идет на воскресную службу в церковь, а потом садиться за стол с родней и пьет за победу богоборческой власти? Правильно, мозги отказываются работать. Человек продолжает есть, пить, спать, работать, но перестает думать. Пусть в Москве думают. Им виднее.

Русская деревня после Хрущева была похожа на неоднократно и жестоко изнасилованную бабу, которую, наконец-то, оставили в покое, и она медленно приходила в себя. Былая красота так и не вернется к ней. Потухли глаза, в которых навсегда застыл испуг, иссякла сила, питавшая государство веками, угасла вера, указывающая цель и смысл.

В 60-е государство убедилось, что взять уже нечего, и надо спасать. В 70-е в псковскую деревню хлынули деньги.

Вспоминается в связи с этим картина: в стойбище чукчей с большой земли привезли спирт. Начался долгожданный праздник, который, по словам Гоголя, потерял конец свой.

Колхозники жадно обогащались. В каждом дворе в 70-е стоял мотоцикл, в зажиточных семьях на парадном месте, чтоб от зависти сдохли соседи, сиял новенькой краской автомобиль, который хозяин каждое утро заботливо протира- ла мокрой тряпочкой. Хозяйки ревниво отслеживали, у ко- го какой холодильник или стиральная машина появились в доме, чтоб купить лучше. Дороже! Хороший тракторист в ту пору на посевной получал по 600 рублей в месяц, а мог догнать и до 1200. Доярки получали по триста. Городские по-прежнему пытались задирать нос, но получалось неубе- дительно. Теперь деревенский, сев за руль «Волги», задирал ноги на руль и насмешливо посматривал на городского с книжкой. Ну да, с такой зарплатой только книжки и читать.

Советский кинематограф, обращаясь к деревне, стано- вился похож на сентиментального московского интеллигент- та, который хнычет в кинокамеру о своих выстраданных необыкновенных чувствах к простому человеку. Писате- ли-деревенщики пытались разбавить этот приторный сироп правдой-маткой, но находили сочувствие только у правдо- любцев. Партийные товарищи «деревенщиков» недолюбли- вали. Считали, что они того, перегибают.

В каком-то смысле мне повезло. В раннем детстве я видел деревню, которая мало отличалась от деревни времен Ивана Грозного. В Дылдино, куда меня привозили летом, жили мои двоюродные дедушка с бабушкой по маминой линии. Поко- сившийся пятистенок был построен хозяином после войны.

Из двадцатого века в нем были только газеты «Псковская правда», которыми были оклеены стены. Лампочка Ильича отсутствовала, поскольку не было электричества. Соответственно, отсутствовало радио и телевизор. Поздними летними вечерами избу освещала керосиновая лампа. Еду готовили на улице, где каждую весну клали небольшую печку с плитой. В июне, в специальной выгородке в летней половине дома, жили цыплята. Они пищали с утра до вечера и устраивали желтую кучу-малу, когда бабушка сыпала им в загончик зерно. Серая кошка Мурка нервно следила за цыплятами с полатей. Неделю назад ее хищный инстинкт столкнулся с костлявым кулаком дедушки Пали и Мурка смирилась с тем, что так и не отведаст этих чудесных желтеньких вкусняшек. Могучая русская печь в зимней половине пугала меня своим черным зевом, в котором, если я правильно помню, когда-то Баба-яга, костяная нога пыталась зажарить Иванушку. В темных углах мерцали позолотой образа. Лики святых были суровы, но бабушка сказала, что они хранят нас от нечистой силы. Нечистой силы было полно и в доме, и в саду, и в полях. В крохотную баню с закопченными оконцами и грудой черных камней внутри я вообще боялся зайти. Там пахло лешим, который приходил в баню ночевать и двигал камнями, когда был не в духе.

Бабушка знала все на свете и охотно делилась со мной своими знаниями. Оказывается, гадюки были не самыми страшными змеями, страшнее были медянки, от укуса которых че-

ловек умирал мгновенно. Медянки могли прыгать, а могли, как молнии, перемещаться в траве. Гадюку можно было рубить лопатой на части, но куски змеи до самого захода солнца продолжили извиваться, а голова готова была нанести смертельный укус! Лебеди, собравшись в стаю, действительно могли унести ребенка, как в сказке, а в Иванов день можно было найти клад!

Наша соседка бабка Тоня в начале семидесятых считала, что Россией правит царь, а тетка Нюра, когда ей добавили пенсии аж на десять рублей, ходила по деревне пьяненькая и кричала: «Спасибо, Пушкину!» Почему Пушкину? Потому что внук бывал в Пушкинских горах и много раз делился с бабушкой своими впечатлениями.

Рассказываю об этом без розовых соплей, просто хочу, чтоб было понятно – в двадцати верстах от будущего Евросоюза, в Псковской области так жили. Не тужили, верно, но в этом заслуги власти не было никакой.

Мой дед, отдавший колхозу все свои годы и силы, и глубоко на пенсии не мог накосить своей корове сена без обязательной колхозной барщины – сначала три тонны сена в колхозные закрома! Конечно, это было сносно по сравнению со сталинскими временами, когда сено своей животине приходилось косить ночью, тайно, в лесу, и таскать его потом на загривках к себе домой. Было! Было! Откуда тут взяться хваленной протестантской трудовой этике, спрашивается? Труд для дедушки Пали и ему подобных был прежде всего

тяжкой повинностью, ниспосланной Богом за грехи. Благо грехов было вдоволь. Труд был не только принудительным, но и нравственно нечистым: нечестным, непонятным, неблагодарным! Пятилетки, ударники, планы, проценты, битвы за урожай – все это были слова и понятия абсолютно чуждые крестьянскому уму. Любить свою землю по-советски было так же нелепо, как и любить женщину, которую тебе дали напрокат. Кажется, и об этом в свое время мечтали горячие большевистские головы?

Ничто так не свидетельствует об оскудении любви, как исчезающая красота. На моих глазах стали исчезать возле домов палисадники – баловство. Исчезали декоративные кусты – пользы никакой, значит баловство. Исчезли чудесные маки на грядках, засохли флоксы, вырубали за ненужностью крестьянскую розу, волшебный запах которой еще недавно пьянил всю округу. Вырубали почти зло. Пусть городские у себя любят, а по сельской местности и так сойдет.

А городские любовались между тем пошлыми пейзажами новостроек.

Деревня всегда оставалась для меня загадкой, клубком диких противоречий. Правда, я скорее был готов романтизировать и героизировать любую деревенскую дурь, чем высмеивать и обличать. Дерутся? Славные будут воины. Пьют? Широка русская натура. Не читают? Чище будут мозги. Я увлекался тогда Толстым и жаждал найти в колхозниках правду, которую уже давно утерjali городские.

Увы, поиски были мучительными. Пили колхозники не просто сильно, а буквально пагубно. Тракторист мог запросто зарулить в кусты, и, не выключая двигателя (чтоб топливо расходовалось) пропьянствовать весь день с другом или местной блядью, а вечером вернуться на базу с рапортом, что вкалывал весь день на далеких полях, да еще и завяз в говне в придачу. Дешевый портвейн в сельмаге расходился, как горячие пирожки, и вдоль дорог, возле пашни, на берегу реки можно было за день собрать мешок стеклотары. Пили насмерть. В прямом смысле. Смерть от опоя была гораздо привычней, чем от старости. Старики еще держались приличий, а молодые куражились, как могли. Пассионарии убегали в город. Это был уже третий исход в XX веке, не считая страшной убыли во время гражданской и Второй мировой войны, после него в деревнях остались или самые стойкие и упертые, или никчемные. В 80-е и 90-е из Островского района, о котором идет речь, дезертировали остатки некогда сильного, воинственного и красивого народа.

Коммунизм, будь он проклят, победил. В семидесятые годы популярной была шутка «несунов»: «Все вокруг колхозное – все вокруг мое». Деревенские старики еще помнили, как за кражу горсточки зерна из колхозного амбара можно было угодить за решетку. В семидесятые воровали мешками, без страха и упрёка с чьей бы то ни было стороны. Упрекать было просто некому. Да и незачем. Мешком меньше, мешком больше. На моих глазах мой двоюродный брат Юр-

ка, шофер, вылил в канаву четыре сорокалитровых бидона молока, которые по ошибке забыл опорожнить на приемном пункте – не возвращаться же! Примета плохая. Я помогал ему стаскивать эти тяжелые бидоны из кузова совхозного ЗИЛа. Помню, как белые ручьи жирного парного молока потекли по грязной канаве, пугая лягушек и пиявок. 160 литров! Шутка ли? Шведский фермер просто забил бы нас с Юркой насмерть оглоблей. А мы – ничего. Выпили еще по стакану 33-го и поехали по полям, горлая песни. Хорошо! Воля-вольная!

На колхозном току зерно текло золотой рекой, но в разные стороны и хорошо, если государству оставалась хотя бы честная половина. Зато боровы у колхозников в хлевах к Новому году набирали по 200 килограммов, а куры несли крупные яйца каждый день. Опять же вспоминаю Гоголя, «Старосветских помещиков»: как не обворовывали колхозную землю все кому не лень, она продолжала родить дары земные в таком изобилии, что хватало всем и еще оставалось государству.

Глава 21. Сестры

В деревню к родственникам я приезжал каждое лето недели на две. Перед спортивным лагерем, иногда и после него, пугая местных своим странным, «нетрадиционным» поведением.

Во-первых, я бегал по утрам!

Конечно, аборигены уже кое-что слышали о джоккинге, но видеть не приходилось. Их впечатление легко понять. Человек в деревне может бежать от волка, или от пьяного соседа, который размахивает колом, на худой конец к остановке, завидя подъезжающий автобус. Но чтоб вот так, просто так, без необходимости...

Во-вторых, после пробежки я поднимал до седьмого пота какую-то железяку, которую отыскал в сарае.

Дядя Коля, сосед, старый фронтовик, бравший Кенигсберг, увидев меня за этим занятием, остановился как вкопанный. Я докончил упражнение и бросил увесистый шкворень на землю.

– Здорово, дядь Коль!

– Здорово! Мишаня, слушай, если тебе силу терять некуда – нанимайся ко мне, погреб хочу отрыть.

– Подумаю, дядь Коль. Упражнения вот надо закончить. Для рук.

– А ты что ж, в грузчики собрался? Зачем тебе?

– Пригодится. В морду кому-нибудь дать.

– В армию тебе пора. В армии тебе найдут упражнения. И для рук, и для ног. И для головы.

Это он еще не видел, как я гребу на лодке по реке. Как катер! Рыбаки провожали меня круглыми глазами и открытыми ртами. Не понимали, что это отличное упражнение для мышц спины!

В-третьих, я читал книжки, как городской очкарик. У Ленки, сестры двоюродной, их был не много, и я читал все подряд: географию для 7 класса, сказки Джани Родари, «Повесть о настоящем человеке»...

В общем, репутация у меня была изрядно подмочена, когда я приехал в деревню после девятого класса с одной лишь целью – найти девчонку и... тут уж как получится.

Юрка, двоюродный брат, служил в армии, неподалеку. Тянул солдатскую ляжку в знаменитой Псковской воздушно-десантной дивизии. Тетка окружила меня материнской заботой.

– С Ленинграда девок нынче наехало – ужаси! Да и наши подросли. Смотри, не нагуляй тут лиха с дурасти! Тут есть такие беды...

Я слушал с замиранием сердца.

В деревне мальчики и девочки после 14 лет все влюблялись. Так было положено еще с древних времен. Особенно летом, когда из города на отдых приезжали девочки. Неко-

которые приезжали с пеленок каждый год и были уже в деревнях как бы свои, другие приезжали неожиданно, уже почти взрослые, с созревшими грудями, которые с трудом влезали в купальники, с голыми, загорелыми ногами, которые сводили с ума не только мальчишек, но и злобных старух, и городской спесью, которую с азартом пытались сбить самые продвинутые среди деревенских пацанов кобели.

Мне до кобелей, конечно, было еще далековато (у нас были такие мастера по этой части, что их мучительную смерть на костре с радостью посмотрели бы многие ленинградские мамы). Мысленно я был согласен на самый простенький роман, но только чтобы без стихов и вздохов. Чтобы, наконец, пощупать, что у них там под лифчиком, а если повезет, то можно залезть и в трусы! «А от мыслей эйнтих, – как поет Юрий Лоза в своей бессмертной песне «Деревня Клюевка», – что-й-то подымается». Только именно в штанах, а не в душе, как в оригинале. Еще в поезде я присматривал в памяти подходящую кандидатуру. Приезжала на каникулы в деревню такая рыженькая толстомытая Надя с грудью пятого размера еще чуть ли не в пятом классе. В детстве она была забиякой и мне пару раз доставалось от ее крепких кулаков, когда я пытался изобразить из себя местного авторитета. Но после восьмого класса в ней что-то случилось и прошлым летом она смотрела на меня задумчиво, словно что-то ждала. Возможно ждала, когда я начну приставать?

Инна? Тоже из райцентра, темненькая, худенькая, гиб-

кая, язвительная. Из простой семьи работяг, но не простая. С нами всегда держалась наособицу, словно давала понять, что предназначена для другой жизни и скоро уедет в какую-то сказочную страну, где ее ждет не дождется прекрасный принц. В компании я тайком всегда любовался ею: на реке, на пляже, и она словно знала об этом. Насмешливо поднимала глаза и спрашивала насмешливо.

– А питерский-то наш все молчит и думает. О чем думаешь, студент?

Нет, Инна была мне не по зубам. Меньше всего мне хотелось сцепиться с воображалой.

Но кто из нас выбирает судьбу? Девушка Лена с редкой для здешних мест внешностью дочери Кавказа, но банальной фамилией Петрова, сразила меня своим едким остроумием на берегу реки Великая утром ясного дня.

Я только что закончил пробежку и – молодой и сильный – скинул с себя все и бросился в прохладную воду. А когда всплыл – увидел двух девчонок, которые размахивали над головами полотенцами. Крупная собака, размахивая хвостом, бежала за ними. Девочки сразу разглядели мои трусы на траве рядом с футболкой и захихикали, как дуры.

«Как дуры» видимо было написано на моем лице, потому что старшая, черноволосая Лена, нахмурилась и воткнула руки в боки.

– Это наше место! А ну выходи!

Младшая спряталась у нее за спиной. Собака села рядом

и зевнула.

– С какой стати? – я не то хотел сказать, получилось как-то жалко, но трудно найти достойный ответ, будучи без трусов.

– Выходи. Мы привыкли купаться без купальников. Тоже мне, Тарзан без трусов!

– А ты дура! – наконец сбросил я маску.

– Сам дурак! Натусь, глянь, наш Тарзан без трусов, еще и хамит. Давай бросим его трусы в крапиву? А Рекс схватит его за ляжку.

– Эй-эй-эй! Хорошо шутить! Вы что?!

– А мы и не шутим. Не люблю хамов. Проси прощения, а то собаку на тебя натравлю.

Рекс – овчарка немецкой внешности – внимательно слушал, поводя ушами, и, кажется, догадывался, что ему сейчас предстоит выход на арену.

– Прошу...

– Громче!

– Прошу прощения! Все?!

– Нет! Скажи, что ты гадкий мальчик.

Во мне возопила Народная улица.

– Да ты что, сука, обалдела?!

– Ого! Натусь, ты слышала? Нет, ты слышала?!

Рекс встрепенулся и зарычал. Холодная вода обвивала мои чресла, руки я держал поднятыми, как немец под Сталинградом. Надо было кончать с этой унижительной комедией во что бы то ни стало.

– Простите, простите, простите! Пожалуйста. Мне холодно. Отвернитесь, я выхожу!

Девчонки пожали плечами и отвернулись. На берегу меня затрясло, то ли от холода, то ли от волнения. Натягивая на мокрые ноги свои белые, спортивные трусы, я споткнулся и упал. Ленка тут же обернулась.

– Бедный. Продрог совсем. Сам виноват, не надо было ругаться. Рекс, фу! Не бойся, он просто обнюхивает тебя. Ты откуда такой симпатичный? Из Ленинграда? А мы из Пскова с Наташей. Скобские.

Так состоялось наше знакомство.

Ленка была старше меня на два года, но в эти два года умчалось так много, что я был рядом с ней просто мальчишкой. Свою резкую южную внешность она унаследовала от матери – курдки, а фамилию от отца – полковника советской армии. Была какая-то красивая история в прошлом, как лейтенант Петров отбил в Закавказье у какого-то местного «Абдуллы» черноокою «Гюльчатай», как молодые скрывались от кровожадных родственников за крепостными стенами воинской части... теперь уже и не припомню подробности. Вообще-то, курды действительно редко скрещиваются с чужаками, Петров, судя по всему, был парень не промах, «Гюльчатай» тоже, иначе не рискнула бы пойти против родни, в результате на свет появилась Ленка. Красавицей с обложки «Вога» ее трудно было назвать, но запоминалась она сразу и надолго. Черные глаза, черные брови, черные волосы, круп-

ный нос с горбинкой – восточная воительница с неукротимым характером, своенравная и надменная наследница нравов самого древнего народа человечества (так утверждают сами курды). «Натусик», сестра, вобрала в себя славянские черты, она была светла и сероглаза, курноса, доверчива и смешлива, во всем слушалась старшую, но в том, как она упрямо поджимала губы, когда выслушивала упреки, проглядывалась непокорность грубой силе. Мы были с ней одногодки.

Рекс, немецкая овчарка, был в нашей компании самый благоразумный и дисциплинированный пес, который любил Наташу, но признавал главенство Лены и ко мне относился в зависимости от ее расположения.

Жили сестры в соседней деревне на берегу реки в старом доме, который достался отцу по наследству. Отдыхали на Псковщине впервые, скучали и обрадовались мне, как забавной игрушке, которая могла скрасить скуку.

Моя тетка недолюбливала сестер и побаивалась Ленку, которую называла цыганкой и «ведьмячкой». Мне она говорила на полном серьезе.

– Ты с ней в лес не ходи. Заведет куда-нибудь, да и бросит дурака в болоте. Видел, какие у нее глазищи?

Видел. Когда тебе 16 лет, то ты и сам не против, чтобы красивая ведьма утащила тебя в болото, но Ленка и правда вызывала во мне робость. В ней была какая-то необузданная властность, которая требовала узды. Как и всякая женщина,

она томилась на свободе. Она словно ждала, что появиться, наконец, смелый и сильный джигит, который усмирит ее дикий норв, покорит своей воле и введет ее, покорную, в свое стойло.

А тут я. Совсем не джигит. Мальчик, который скорее ждет, когда его самого отведут в стойло, чем будет лезть на рожон или, что еще страшней, под юбку. Правда, будущий Олимпийский чемпион. Отличник (почти). Говорят, что даже симпатичный.

Что взять с такого? Несколько дней Ленка приглядывалась ко мне, задирала и шпыняла, притворялась равнодушной и холодной, злой и сентиментальной, пока не поняла, все в пустую и даже хуже – я потянулся к младшей, поскольку нуждался в сочувствии и ласке.

Мы встречались на маленьком пляже, а потом шли в дом и там пили чай, играли в карты или в монополию, иногда с дедушкой Палей, соседом, иногда с его внуком, Васей – мальчиком робким, с белой, как одуванчик головой.

Наташа смеялась, дрыгала под столом ногами, пытаясь достать мои, показывала мне язык, вообще кривлялась, а Ленка смотрела на сестру удивленно, хмурилась и раздраженно обращалась ко мне.

– Ну, ты долго еще будешь думать? Философ. Ходи давай.

– Да пусть думает! – вступалась Наташка.

– Ой, а ты помолчи! Нашлась заступница.

Я торопливо ходил. Однажды я играл босиком и наши с

Наташкой ноги столкнулись под столом, и не разбежались в разные стороны, но сначала застыли в сладком ужасе, а потом стали осторожно тереться друг об дружку – все настойчивей, сильнее, все бесстыдней... Над столом наши лица не смели смотреть друг на друга и были бледны и сосредоточены, а под столом ноги яростно совокуплялись и остановить их было невозможно!

После игры, прощаясь на крыльце, я старался заглянуть в Наташкины глаза, чтобы понять, насколько глубоко мы пали – может быть это была детская игра и ничего больше? Но тогда зачем она так старательно, так испуганно прячет взгляд, почему краснеет? Почему у меня дрожат колени, и я боюсь смотреть в глаза старшей сестре, которая уже о чем-то догадывается? Но о чем? Разве наши с Наташкой ноги под столом говорили о любви? Разве любовь – это когда ты сгораешь от страшной тайны и хочешь гореть в ней вечно?

Поздним вечером, лежа на сеновале, я прямо физически ощущал прикосновение Наташкиных ног – теплых, преодолевающих робость силой мощного, древнего желания, которое сильнее страха, сильнее стыда, сильнее любого осуждения.

Днем мы с Наташкой прятали свои чувства, как шпионы, лишь в редкие секунды, за спиной сестры, обменивались молчаливыми острыми жадными признаниями, что ждем с нетерпением, когда сядем за карточный стол и продолжим свою изнурительную сладкую любовную игру.

Но всему приходит конец. Однажды, на четвертый день, кажется, мы играли втроем, в молчании, слушая рассеянно по радио сводки с полей.

Я кидал карты невпопад, Наташка тоже, Ленка, наконец, возмутилась.

– Да вы что, белены объелись? Вы играете или...

Тут она нагнулась под стол и все увидела. Моя нога уже увязла между ног Наташки. От неожиданности та сжала свои и мы так и застыли. Ленка бросила карты на стол и откинулась на спинку стула.

– Та-а-ак... – протянула она задумчиво – а я смотрю, как будто чокнутые сидят... Понятно... Поздравляю. Первая любовь, да?

Внезапно Наташка вскочила и бросилась вон. Я тоже встал.

– Я пойду, пожалуй.

До самого вечера я тягал свою железяку во дворе, пока тетка не крикнула с крыльца.

– Ты хоть передохни! Надорвешься же, сумасшедший!

Нечего было и думать о сне. Я сбегал на реку и искупался. Усталость не пришла. Наоборот, как пожар, разгоралось волнение. Битый час я болтался вокруг деревни, а потом, отключив усилием воли мысли, бросился к сестрам в дом.

Казалось, они готовы были к моему визиту. Наташка с красными глазами сидела на кровати, старшая сестра у окна с журналом в руках. Я молчал. Они тоже. Радио в углу буб-

нило что-то про Пушкина.

– Наташ, тебя можно на минутку? – спросил я охрипшим голосом.

Сестры переглянулись, Лена едва заметно кивнула.

Мы вышли на крыльцо, молча спустились в речную долину, которая уже наполнялась вечерней прохладой. Перистые облака тумана висели над высохшим болотцем с порыжевшей осокой, где-то вдали крикали утки.

– Миша, я завтра уезжаю – вдруг произнесла Наташка и шмыгнула носом. – Лена остается еще на неделю. У нас тут такое было... Лена говорит, что нам рано... Что мы глупости наделаем. А нам поступать надо.

– Да что случилось-то? Вы чего выдумываете?! Ничего и не было! Подумаешь – ерунда какая!

– Ерунда? – Наташка остановилась с широко распахнутыми глазами.

– Ну, я хотел сказать... это же несерьезно... Так, поиграли...

Наташа развернулась и быстро пошла вверх по тропинке. Я уныло зашагал вслед за ней. На крыльце я остановился. Из избы доносились взволнованные голоса, потом плач. Я сбегал с крыльца и пошел в надвигающихся сумерках куда глаза глядят... Ходил до утренней зори, по жнивью, по высокой и мокрой траве, продирался сквозь лен и горох, мимо темнеющих кустов, спотыкаясь о кротовьи норы. Уже на рассвете прокрался к сеновалу и проспал как убитый на перине до

самого обеда.

– Загулял, мальцисечка мой, девки спать не дают – говорила тетка, накладывая мне оладьев со сметаной. – Я и не слышала, как пришел.

«Да, загулял – думал я, вспоминая, как выбирался из мокрых канав – еще тот гуляка».

– Ты помнишь, что я тебе говорила про эту... ведьмачку? К ней не ходи!

К ней и пошел вечером. Не смог устоять. Иначе сгорел бы от разных мыслей.

Ленка была одна. Она сидела на кровати у горящего торшера, в синем коротком сарафане, поджав ноги, с книжкой, и отложила ее, когда я ввалился.

– А, герой-любовник пришел? Ромео? А Джульетта, увы, укатила на автобусе в Псков. Извини, но передать тебе ничего не велела. Записку тоже не оставила. Но могу тебя обрадовать – была грустна. Все-таки завладел ты ее сердцем, шельмец! С кем же мы теперь в карты играть будем? Может дедушку Палю позвать? Будешь ему яйца ножкой массировать, а то у него от старости они скоро отвалятся.

Я сел на стул, не отвечая.

– Ты чего, как не родной на стуле притулился? Садись ко мне, не бойся. Я не злая.

– Да я и не боюсь. Так...

– Сядь ко мне, я сказала! И дверь закрой!

Я невольно вскочил, навесил крючок на дверь. Сердце ко-

лотилось, как после стометровки. «Ну, вот и все!» – подумал как-то отрешенно, не понимая толком, что – все?

Кровать заскрипела, Ленка подвинулась, бросила книжку на пол.

– Не бойся, не укушу. Про Наталью забудь, Миша. Она еще дурочка совсем, но с норовом, как и я. Это у нас наследственное. Мама, когда замуж выходила, рассорилась со всей родней. Натусик придумала себе, что полюбит один раз и на всю жизнь. А вдруг это ты? Тогда и тебе трендец, и ей самой кранты, извини за мой французский. Вы же голуби еще совсем. У тебя было по серьезному с кем-нибудь?

И тут я крупно соврал. Сам не зная почему.

– Было.

– Ну-у? – протянула Лена и обхватила меня сзади рукой за талию, – значит ты уже взрослый совсем? А по виду и не скажешь. Значит у тебя есть кто-то? И ты ее любишь?

– Она меня не любит, – продолжал врать я.

– Значит, ты плохо старался. А я тоже уже не девочка, Миша. Нашелся добрый человек на первом курсе, просветил. Голову мне заморочил про любовь-морковь, а сам сбежал... Теперь в армии служит. Ничего, как видишь, пережила. Но ты не такой, правда? Теленок ты еще совсем. Соврал, что уже не мальчик? Признавайся...

Ее мягкая теплая ладонь залезла под рубашку и стала медленно продвигаться по спине. Голос стал глуше.

– Ты мне нравишься. Ты симпатичный. Стройный, как ки-

парис, а кожа нежная, как у девушки... А глаза у тебя – серые, а на солнце – голубые. Тебя девушки будут любить. Обожаю голубые глаза. У отца тоже голубые. А я в мать. Моя мама папу очень любит. Знаешь, в нашем народе все верные жены, до гроба.

Ладонь ее по-крабьи забралась на мою грудь и пальцы крепко сжали сосок. Я невольно дернулся.

– Тс-с-с! Это всего лишь массаж. Тебе ведь приятно? Да? Он тоже любил, когда я гладила его по спинке. Мурлыкал от удовольствия. А я хотела напоить его и отрезать ему яйца. Вот такая любовь была, Миша. Не боишься меня? Не бойся, дурачок, я не съем тебя, мы только поиграем...

Голос ее дрогнул и она шумно сглотнула

– Встань на колени! На пол!

– Лена, у меня живот... кажется, аппендицит. Болит очень.

– Делай, что я скажу. Не бойся, миленький, я тебя не трону, мы просто поиграем, да? Хочешь поиграть со мной?

Я сполз на пол. Лена задрала сарафан, из-под которого вывалились груди с коричневыми сосками и, обхватив меня за затылок, прижала лицо к себе.

– Соси! Нежно. Язычком двигай. Вот так...

Я прилежно, с причмокиванием, сосал солоноватый сосок, обливаясь холодным потом. Больше всего меня поражало, что в такой интимно-бесстыжий момент по радио мужской голос продолжал бесстрастно вещать что-то про удои

и центнеры с гектара. В некоторые мгновения мне казалось, что голос вот-вот откашляется и строго скажет: «Михаил, вы чем там занимаетесь? С ума сошли? Я для кого все это рассказываю? Прекратите немедленно!»

Еще смешней было слышать в тишине собственное чмокание и представлять, как я выгляжу на коленях со стороны. Как теленок в тренировочных штанах.

Когда Лена приподняла бедра и стала стаскивать с себя трусы, я застонал и схватился за живот, который в это мгновение, действительно, громко урчал и пучился.

– Ты что? Правда болит?

Ленка склонилась надо мной.

– Может, съел что-нибудь? Э-э-э, да ты еще девственник. Боишься? Прости, я так сразу, накинулась... Ничего, мы сейчас поправим.

Она спрыгнула с кровати, натянула трусы, поправила сарафан, и подошла к буфету.

– Самый лучший способ против нервяка – стопка самогонки.

Я вскочил, дрожащими руками заправил рубаху. Лицо горело, как после солнечного ожога.

– Потом, Лена, извини, больно... Правда!

Она поставила полную стопку на подоконник и уставилась на меня удивленно.

– Да ты что? Куда собрался? Сядь. Не дергайся. Да не бойся, я не буду к тебе приставать. Я что, больная?

Сколько лет прошло, а я буду помнить эту минуту! В наступивших сумерках лицо Ленки сделалось матовым и зловещим. Я сгорал от стыда и был жалок, жалок! Молчание было долгим и мучительным. . . Внезапно за окном громко гавкнул Рекс и загремел цепью. Мы вздрогнули. Я вскочил. Ленка подошла к окну, склонилась. Вдали послышался треск мопеда и пропал. Рекс прорычал еще какую-то угрозу и убрался в будку.

А Лена внезапно сдулась. Плечи ее безвольно опустились, она обессилено опустилась на стул. Я вновь сел на кровать. Мой живот пел на все лады какую-то бесовскую серенаду. А радио все бубнило и бубнило про удои и урожаи, про обязательства и встречные планы, да под обоями скреблись и шуршали мыши.

– Ладно, проехали, – Лена встряхнула головой, – сама не знаю, что на меня нашло. Тошно.

– Ты его любишь? До сих пор?

– Ненавижу. И никогда не прощу. Но если бы сейчас он позвал меня – помчалась бы без оглядки.

Сказать мне на это было нечего. Лена подняла стопку с самогоном, пристально поглядела на нее и выпила мелкими глотками. Выдохнула с шумом.

– Да ты не ломай себе голову, я и сама не понимаю, что плету. Все нормально. Все прошло. Теленок ты еще совсем. Думаешь, у вас с Натальей серьезно?

Я пожал плечами. Какое там серьезно! С Ленкой было бы

гораздо серьезнее. Но – поезд ушел, как говорится. Ленка была из тех, кто дважды не предлагает. Безумие может быть красивым, фарс – никогда.

– Я решила, завтра уеду. Хотела сразу, с Натальей, но из-за тебя осталась. Думала – обидела мальчика. Надо объясниться.

Меня вдруг пот прошиб от волнения. Я кашлянул. Мы встретились глазами, и Лена, нахмурившись, отрицательно покачала головой.

– Нет, нет, Миша, не будем... Не вышло и слава Богу. Я рада. Мне это не нужно, а тебе... Потренироваться? Найдешь кого-нибудь еще, какие твои годы. А из меня тренер хреновый. Сам видишь.

Так и закончилась эта история. Хорошо закончилась. Вроде бы и без результата, но память осталась на всю жизнь и с каждым годом эта память почему-то становится все светлее и светлее.

А девственность потом я потерял совсем не романтично. И вспомнить то нечего. Был праздник. Девка была бывалая, грубая, пьяная. И я был пьяный. Случка произошла бестолково и быстро: на полу. Из-под дивана тянуло кошачьей мочой. За окном тархтел мопед. К тому же – вишенка на торте – она наградила меня трихомонадой.

Такая вот любовь, блин. Как там у моего любимого Трофима в песне? «Почему-то в любви, что приходит в пятнадцать, очень мало кому повезло»

Глава 22. Юность

Сергея Петров изменился кардинально за один месяц.

В мае, собираясь в деревню, я прощался с веселым пацаном, который мог заразительно смеяться над собственной неловкостью и от чистого сердца выложить последнюю мелочь на общее дело, который верил, что где-то там, за горизонтом, его ждут необыкновенные приключения и волшебные дары, а в июле, в спортивном лагере, встретил ошетилившегося скунса, который убеждал всех, что «все – говно, кроме мочи». Кто-то сильно постарался, чтоб убедить его в этом, но поразительно, как легко он принял новый взгляд на мир! Словно ядовитую субстанцию закачали в абсолютно пустую емкость. Удивился не только я, все в группе, кто знал его не первый год, были в недоумении. Сергей дерзил тренеру, ленился и филонил на тренировках. Третировал слабых и хорохорился перед сильными. Он становился агрессивным, когда мы поздним вечером в кроватях по традиции устраивали в палатке диспуты на мировоззренческие темы, и кто-то пытался убедить его, что не все в мире покупается за деньги и не все продается.

– Ну что нельзя купить за деньги? Ну что? Ну, скажи мне? – кричал он, приподнявшись на локте в постели.

Юрка Орехов, будучи нашим чемпионом и лидером, пы-

тался сразить его убойным аргументом.

– Любовь!

– Что?! Любовь?! Да я за сто рублей куплю себе самую красивую девку! Вот и вся любовь.

– А дружба?

– А что дружба?! За тысячу рублей любой продаст, ну за две или три. У каждого своя цена.

От таких слов у меня муторно становилось на душе. Я за-тыкал уши. Наедине Серега внушал мне.

– Чемпионом все равно не станешь. Поздно. Никола за свою работу деньги получает, а мы здоровье только теряем. Помнишь, как на диспансеризации доктора полгруппы отсе-яли: диагноз – перетренированность. И что сказал Никола? Никола сказал – плевать на докторов. Не обращайтесь внима-ние. Нагрузки только возросли. Ему главное результат хоро-ший показать, а там хоть трава не расти.

Особенно выматывали разговоры про женщин. Такое бы-ло впечатление, что они мучили, обижали его все эти годы и вот, наконец, он раскусил их и освободился от ига.

– Нет, нет, нет, я честная женщина! А сама... Помнишь, я рассказывал тебе про Вальку в деревне? Рыженькая, с вес-нушками? За летчика хотела замуж выйти. Так вот, Пека вес-ной за червонец ее оприходовал, а мне просто так дала, в Пекиной машине. На сиденье. А потом еще просила: «Сере-женька, я тебе все сделаю, что захочешь! Только никому не говори».

Так, откуда-то с черного входа, пришла к Сереге юность. Врать не буду, единомышленников и подпевал у него набралось в отряде человек пять.

И пятеро же остались верны заветам чистой юности. Мы расслоились произвольно, отделились, как масло и вода. И по жизни шли, по всей видимости, тоже параллельно. Иногда я думаю, что так повелось еще со времен Каина и Авеля. В человеческом роде, независимо от расы, национальности, исторической эпохи, экономического или культурного прогресса, от начала существуют два вида. Один вид – это потомки Каина. Они повсюду, мы привыкли видеть их наглые, самодовольные лица. Каинист злоречив. Он легко поверит в плохое, в хорошее не поверит даже тогда, когда оно очевидно. Хорошее ставит его в тупик, потому что «все говно, кроме мочи».

Благородство – ключевое слово, которое разделяет род Авеля и род Каина непреодолимой пропастью.

Каинист не верит в благородство. Благородный человек раздражает его, потому как рушит его цельное крепкое мировоззрение. Поэтому он будет неутомимо разоблачать любой бескорыстный помысел, честный поступок, романтический порыв, выискивая в них подлую низкую подоплеку. Для него нет ничего слаще горького разочарование идеалиста, с ужасом и содроганием столкнувшегося с черной изнанкой жизни. «А что я тебе говорил?! Все говно в этом мире, кроме мочи!». Лютая зависть сопровождает каиниста всю жизнь.

Она не утоляется ни богатством, ни славой, ни признанием. В похвалах он услышит зависть, в помощи и поддержке – корысть или злой умысел, в признании – раболепство и лицемерие. Каинист изначально груб и остается грубым даже, когда получает блестящее воспитание. Груба его холодная натура, которая не подвластна теплым лучам сочувствия, милосердия и сострадания. Он гордится своей хладнокровностью. Своей безжалостностью. Своим «честным» взглядом на вещи. Выбирая между уважением и страхом в отношениях с людьми, он всегда выбирает страх, как самое надежное средство завоевать авторитет. При наличии соответствующих способностей, каинист прекрасно чувствует себя в бизнесе и политике и преуспевает до тех пор, пока не натолкнется на хищника большего размера и свирепости. При отсутствии способностей каинист превращается в мелкого грызуна, главная цель которого оставлять свои какашки повсюду и наблюдать из угла, как их убирают хорошие люди.

Каинист не обязательно атеист, хотя от истинной веры далек. Он не то чтобы не верит в загробный мир, но, скорее, верит, что и потусторонний, если он есть, устроен так же, как и этот, падший. То есть все продается и все покупается. И если вас не пускают в рай, значит, вы вовремя не предложили взятку. Например, не пожертвовали достаточно денег на строительство церкви.

Каинист не верит в грех, не верит в такие слова, как искупление или жертва. Звуки высших сфер недоступна его уху

и сердцу. Он не сентиментален. Соловьиные трели, скорее, будут мешать ему спать, нежели пробуждать сладкие грезы. Чужое счастье его ранит, даже если оно ничем ему не угрожает – это просто свойство его природы: счастье инородно, непонятно, это то, чего у него нет и не было, значит надо его загасить. Чужое несчастье, напротив, утешает каиниста, он видит, что «все говно, кроме мочи».

Больше всего на свете каинист ненавидит вопрос «зачем ты живешь?» Лучше не задавать его. Лучше спросите его, где он отдыхал прошлым летом или сколько комнат в его загородном доме. Разумеется, если это богатый каинист. Бедный разозлится. Не трудно догадаться, что каинист легко уверует в теорию эволюции и не потому, что она безупречно убедительна, а потому что обезьяна близка каинисту по духу. Человек, который всю жизнь доказывает себе и остальным, что «все говно, кроме мочи», находит в обезьяне верного союзника. Обезьяна глумится над человеком, когда подражает ему, что приводит низкую душу в восторг! Свои собственные проделки теперь выглядят невинными, преступления подлежат оправданию, подлость получает права законности.

Отличить каиниста несложно. Если после общения с ним вам тяжело на сердце (словно из лужи грязной попил, по словам друга) – это верный знак. Других знаков не ищите, лучше идите своей дорогой, благо она широка и потомков Авеля на ней найдется не мало. По плодам найдете их.

Мы еще внешне оставались товарищами с Серегой, но в то лето оттолкнулись друг от друга, и стремнина жизни увлекла каждого своим путем. Редкие наши встречи в дальнейшем всегда сопровождались дикой пьянкой и непотребством. У Сереги появились новые друзья, которые молчали даже в сильном опьянении; в их лицах читался опыт, который меня отпугивал. Сам Серега за несколько лет покрупнел, как и все спортсмены, закончившие тренировки, и ожесточился. Его серьезно били несколько раз за жульнические фокусы возле «Альбатроса», он даже лежал в больнице. Зато ездил на «шестерке» темно-синего цвета, одевался в самую модную «фирму», что не мешало ему по случаю раздеть пьяненького, заснувшего на скамейке возле его парадной: «Одни ботинки – сороковник! Не пропадать же добру».

А потом случилась Великая Капиталистическая Перестройка и мы потеряли друг друга надолго.

Встретились в девяностые, жарким летним днем. В ту пору я был главным редактором объединенной редакции газет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и «Петербург-Экспресс», и сидел на третьем этаже на улице Декабристов, дом 35.

Дверь распахнулась и в кабинет ввалился плотный высокий мужик в шортах и спортивной майке. Весь вид его свидетельствовал о несокрушимой мощи и достатке. Он напоминал спортсмена на дистанции, который остановился на минутку лишь затем, чтобы черкануть автограф для фанатов и

бежать дальше.

Тем не менее мы обнялись.

– Ну? Ты? Здесь? Вижу! – отрывисто бросал бывший Серега, ныне Сергей Петрович, владелец какого-то прибыльно-го бизнеса, красавицы жены и загородного дома в Бернгардовке.

– Здесь, – растерянно сказал я.

Серега, виноват Сергей Петрович, обвел кабинет взглядом, и я понял, что он не впечатлен.

– Все пишешь?

– Да нет, скорее редактирую, – отвечал я, с удивлением замечая, что начинаю жалко оправдываться.

– Ну, это одно и то же. Ты же всегда хотел стать этим... писателем. Знаешь, почему у евреев носы большие?

– Нет, а почему?

– Потому что нюх на деньги развит! Ха-ха!

– Ну, а ты как? – попытался настроиться я на сентиментальный, ностальгический лад. – А помнишь...

– Анекдот знаешь? Новый русский в ресторане упал мордой в тарелку с красной икрой, поднимает голову и говорит: «Жизнь удалась!»

– Да, о времена, о нравы... А помнишь...

– Ты у меня дома был? В Бернгардовке? Приезжай, крокодила покажу. Валька был, помнишь его? Без работы сидит, дятел. Фотограф. Мы тут с ним маленько поураганили. Денька три. Слушай, я сейчас на Крестовский еду. Поехали

со мной?

– Зачем? Я же на работе!

– Посмотришь, как я в теннис играю. У меня ракетка в машине. Видел мою тачку? Посмотри.

Я выглянул в окно. Машина в представлении не нуждалась. Огромный джип распирает пространство с наглостью, сопоставимой с его владельцем.

– Видал? Четыреста «лошадок»! Поехали!

– Да зачем, Господи?!

Этот вопрос как-то не приходил Сергею Петровичу в голову.

– Посмотришь, как я играю.

– А потом?

– Поедешь домой. Или прогуляешься, откуда я знаю!

– Мне работать надо!

– Мы тут взяли одну на работу, адвоката, зарплата – пятьсот долларов, прикинь?

Убедившись, что я не сражен суммой, Серега задумался, что бы еще сказать.

– Николу нашего помнишь? – спросил он и его голос чуть потеплел.

– Помню, конечно.

– Был у него недавно, в лесопарк ездил. Поураганили с ним маленько. Он теперь совсем переехал на базу из города, прикинь?

– А помнишь...

– А чего в городе делать? Я вон тоже за город подался. Индивидуальный проект! Архитектор из «Мухи», все дела!

– Ты «Макаровку»-то закончил?

– С дуба упал? Чтоб потом в этом железном гробу, под водой... Я себя не на помойке нашел.

– А я вот, помнишь, в КГБ хотел работать...

– Комитетчикам мы платим. Без этого никак. Дорого нам обходятся, суки!

– Как твоя деревня?

– Какая деревня?

– Ну... твоя? На Псковщине? Пека у тебя там был еще какой-то?

– Пека? Ехал Пека через реку! А? Видишь, я тоже сочи-ню! Ну, ладно братан. Не хочешь – как хочешь. Я поехал. У меня партнер по теннису – полковник, прикинь? Не любит, когда опаздывают.

Он ушел. Так же стремительно, как и появился, оставив в кабинете резкий запах одеколona.

Я сидел минут пять в кресле и не мог понять, что это было. Ощущение униженности, которую невозможно было стереть, как прилипшую к заднице жвачку, преследовало меня до вечера.

Заглянула Анька, корреспондентка.

– Миша, а кто это был?

– Мой друг. Бывший. По спорту.

– Я так и поняла, что спортсмен. Наглый... Меня за город

приглашал. В какую-то Бер...бернгардовку.

Мы встречались с Серегой еще несколько раз, когда карикатурная спесь, как первый загар, сошла с него после первых неудач и житейских бед, но, конечно, ни о каком сближении не могло уже быть и речи. Товарища его по бизнесу, с которым они клялись на крови быть вместе до гроба, убили; жена ушла, не вытерпев запредельного жлобства. Я узнал, между прочим, что из мореходки он ушел сам, с третьего курса.

Откуда это взялось? Не знаю. Когда, почему? Но так тоже бывает. Кто-то вынул прежнюю, нежную и романтическую, душу и засунул в тело новую – пещерного человека, дорвавшегося до мясной лавки. Но того, прежнего, Серегу я помню, и буду любить всегда. Хороший был пацан. Смелый. Предприимчивый. Смеялся очень заразительно.

Зато в то лето в спортивном лагере я сблизился с Коноваловым Сашкой – маленьким смешливым чернявым паренком, который учился к тому же в одном со мной классе. Сашка имел бесценный талант – он умел слушать и любил думать. А меня просто распирало в то время от мыслей. Они обрушились на меня в десятом классе, как лавина.

Главное открытие заключалось в том, что нас всех безжалостно обманывают. Мир устроен не так. Как? Об этом мы и вели жаркие споры с Коновалычем. Вернее, я вещал, а Коновалыч слушал. У меня тогда возникла идея, захватившая меня целиком. Суть ее в следующем. Земля – живое существо, солнечная система – тоже. Но и Солнечная систе-

ма всего лишь клетка более сложного организма – Галактики. Но и Галактика всего лишь живая клетка Метагалактики. А та в свою очередь... и так далее. Словом – Космос – живое существо с исполинской мощью интеллекта и непостижимо-важными задачами, звезды и галактики его нейроны, а мы, люди, – молекулы нейронов. Эта была моя первая попытка пробиться к Богу через ядовитый ил марксистско-ленинского мировоззрения, которое чем дальше, тем сильнее угнетало меня своей абсолютной бессмысленностью.

Отлично помню, как поздним вечером в апреле, отложив велосипеды, мы сидели с Сашкой в поле и, открыв рот, смотрели в темно-синее небо.

– А там, там, – я тыкал рукой вверх, – таких, как мы, миллиарды. Кто знает, может быть, мы торчим в середине чьей-то башки, которая сейчас думает, думает... О чем? Вот вопрос.

– Я думаю, он задает себе такой же вопрос: «Кто я? Зачем я?»

– Значит над ним есть кто-то еще и он знает ответ.

Над городом медленно угасал закат, в темнеющих полях жалобно вопили чибисы, вдали на кромке горизонта мерцали печальные огоньки какой-то деревеньки. В лесу, за спиной, иволга пела один и тот же фрагмент своей весенней сюиты. Одурающе пахло сырой пашней и талой водой. А мы с Сашкой постигали загадки мироздания и это было так восхитительно, что школьные уроки по сравнению с этим каза-

лись кладбищем мыслей.

Кстати, об уроках. Я поведал свои мысли учительнице обществоведения, но она охладила мой пыл.

– Ничего нового, Иванов. Дуализм. Марксизм уже давно доказал его несостоятельность.

Доказал! Тяжкое слово. В ту пору я все еще сохранял веру взрослым, тем более Марксу. Раз доказал – куда мне, умнику с улицы Народной. То же самое касалось теории эволюции. Ее истинность учительница биологии Ида Марковна доказывала на уроке с такой страстной настойчивостью, словно эта теория была не только с научной, но и с нравственной точки зрения безупречна. Усомниться в том, что гомо сапиенс произошел от обезьяны, которая миллион лет изображала, как ей достать орех с дерева, и вдруг заговорила человеческим языком, значило признаться в собственном скудоумии или, что еще хуже и опаснее, мракобесии. На экранах часто показывали обезьян, которые совершенно по-человечески пользовались предметами быта и даже курили! За кадром как бы вставал вопрос: «Ну, и каких вам еще доказательств нужно?! Хвоста нет? Был хвост, да отвалился за ненадобностью. А копчик остался. Пощупай и уверуй!» И я верил. За учительницей стоял сонм ученых с мировыми именами. «Не сомневайся, Миша, – говорили они, – Дарвин прав». Антилопа тысячу лет тянула шею к высоким кронам кустов и деревьев, и шея, наконец, выросла, получился жираф. Ящерица махала-махала перепончатыми лапами и, на-

конец, взлетела в небо! «Ура, лечу, лечу!» (Что-то подобное произошло в мультике про то, как у слоненка появился хобот. Помните? Крокодил тянул-тянул слоненка за нос и вытянул хобот!) Обезьяна встала на задние лапы и поняла, что так дальше видно, да и в футбол поиграть можно.

Как можно было в это поверить? Как можно поверить в то, что на безжизненной планете из камня и жидкой грязи запузырилась вдруг и расцвела Жизнь, которая породила Пушкина, Ньютона и Эйнштейна? Так ведь и сейчас верят. Верят несмотря на то, что сами же ученые доказали, что самопроизвольное возникновение жизни – полный абсурд. Даже простая клетка – непостижимо сложно устроенный организм. Поверить в то, что она появилась сама по себе, столь же нелепо, как и поверить, что сам по себе появился автомобиль «Москвич». Миллиард лет назад вдруг подул ветер, сверкнула молния, пошел сильный дождь, и – вот он! «Москвич-412»! Последняя модель!

Почему так?

Человек не способен долго лицезреть тайну. Ему непременно нужно ее разгадать. Пусть самым нелепым образом. «Человек произошел от медведя!» – говорит якут. «Годится!» – радуются в чуме! «Вселенная родилась из яйца страуса», – говорит африканец. «А почему бы и нет?» – отвечает племя. «Обезьяна махала-махала палкой и вдруг поняла, что ее лучше заточить с одного конца, а после этого наелась, выпрямилась и заговорила», – говорят ученые. «Пусть будет

так!» – отвечает пассивное большинство, которому без разницы, от обезьяны или от гималайского тушканчика произошел человек.

Ученым нужен ответ. Иначе, придется сказать роковые слова: «Не знаю!» Ах, не знаешь?! Ну и вали из института, торгуй мороженым, найдется кто-нибудь поумней и посмелей тебя!

Оставался вопрос смерти. Вопрос отчаянно взывал к Богу, поэтому коммунисты опять же обращались за помощью к своим надежным союзникам – обезьянам. Дело в том, объясняли они, что обезьянам в пору их неумолимого созревания в человеков-разумных было страшно в лесу. То молния блеснет, то ветка треснет, то гром грянет. То сон приснится. Надо было срочно придумать что-то, чтобы вытеснить страхи вглубь подсознания. Позвали самую умную обезьяну, которая еще прошлым летом научилась чистить апельсины костяным ножом, и на совете старых обезьян она молвила.

– Не иначе Бог гремит на небе.

– А кто это? – спросили старые обезьяны.

– А это такая большая-пребольшая и очень сильная обезьяна. Надо бы ее задобрить.

– Как? – обезьяны насторожились.

– Надо заколоть молоденькую, самую красивую обезьянку. Бог слезет с неба и заберет ее. А нас будет охранять.

Ну, вот как-то так.

Непонятно, правда, с какого перепугу обезьянам стало

страшно в их родном лесу, не из города же они в него приехали, но это детали. «Вот так родился Бог», – объясняли умники с учеными степенями. Поразительно, что при этом никто не содрогнулся от собственной человеческой ущербности, никто не возопил: «Но позвольте! Пусть обезьяны ничего не смыслят в электричестве, но современный образованный человек смыслит гораздо больше, да и живет не в диком лесу, а в уютной квартире – почему же он-то верит?!» «Потому что отсталый, – объясняла мне учительница обществоведения, когда я приставал к ней на переменах с философскими вопросами. – Современный человек уже давно не верит, потому что вооружен передовым учением Маркса».

«У нас во дворе никто не читал Маркса, – уныло думал я, – но при этом никто не верит. Видимо причина все-таки в другом». Много позже, в университете, я много раз задавал себе вопрос, почему атеисты с такой болезненной страстью пытаются обратить верующих в свою религию, в которой место Бога занимают самые немислимые персонажи – человек, природа, раса, деньги, прогресс, наука, светлое будущее. На мой взгляд, настоящий атеист должен выглядеть так: это усталый и разочарованный мужчина средних лет, интеллигент с высшим образованием. Он преуспел в карьере, но не рад этому, его много раз в жизни обманывали, часто обижали, он верил в идеалы, но безжалостная реальность их разрушила. Он грустный, потому что понимает всю бессмысленность каких-либо усилий. Человек оскорбляет его – сво-

ей глупостью, агрессивной ограниченностью, тупой злой философией. На верующих людей атеист смотрит либо с сочувствием, либо... и тут я, пожалуй, приблизился к истине – либо с завистью.

Мне вспоминается один поучительный урок из моей жизни. Мне было 28 лет, когда я решил окончательно и бесповоротно бросить курить. Это было позднее советское время, 1989 год, и курил я тогда не «Мальборо» или «Ротманс», а ядреный и вонючий «Беломор». Пачку или полторы в день. Вся братва во дворе, когда узнала о моем решении, буквально взбесилась. Никто не выразил мне сочувствия и поддержки, напротив, никто не верил, что у меня получится, и всяк старался меня в этом уверить. Надо мной смеялись, мне предлагали пари, насколько меня хватит. Мне чуть ли не в рот совали сигарету после стакана портвейна: «На-ка, закуси!», замучили рассказами о том, как кто-то не пил, не курил, бегал по утрам, а умер от простуды в тридцать лет!

Это были мои товарищи! Некоторые из них, случалось, дрались за меня и готовы были поделиться со мной последним рублем! И вот, поди ж ты: «Здоровеньким захотел быть? Не выйдет!» Недаром говорят: «На миру и смерть красна». Погибать легче в компании, это точно. Видеть, как твой товарищ, пусть на карачках, но выползает из вонючего борделя на свежий воздух, к своей семье – невыносимо для тех, кто сам на это не способен. Или семьи не имеет. Нечто подобное происходит и атеистом. Верующий человек вызывает

в нем злону. Это слишком гадкое чувство и атеист пытается обелить и облагородить его пышными фразами об «оковах», которые должен сбросить свободный человек, о свинцовом иге, которое сгибает покорных, но взывает на бунт непокорных и гордых, о религиозном дурмане и «опиуме для народа». А на самом деле атеиста гложет боль. Ему невыносимо видеть, как сверстник склоняется перед иконой. И причина тут вовсе не в том, что в сердце безбожника восстают идеалы французского Просвещения или современного трансгуманизма, причина в зависти. В той самой зависти чумазого оборванца, который видит чистенького мальчика во дворе и сразу хочет набить ему морду. Чтоб: «Нечего тут! Чистюля, тоже мне». Это зависть развратной девки, которая перепробовала тысячу мужиков и вдруг увидела невесту в белом подвенечном платье, с сияющими от счастья глазами, и возненавидела ее, потому что сама уже давно променяла счастье на свою жизнь, которую в минуту просветления сама же называет непутевой.

Кстати, в утешение всем, кто страдает от нападков. Курильщики преследовали меня своими насмешками год. А потом зауважали. И даже ставили друг другу в пример.

Меня мучил и другой вопрос, который я не смел задать учительнице обществоведения, потому что был комсоргом класса и подающим надежды, всеобщим любимцем. Ну, хорошо, из праха мы родились, в прах уйдем, предположим, я — просто кусок теплого дерьма, которой вдруг обнаружил, что

ему необходимо что-то жрать и пить, иначе в прах уйдешь до срока, но тогда с какой стати я должен помогать ближнему??? Разумнее позаботиться о себе, а ближнего, если он слаб, ограбить и растоптать, чтоб не плодил себе подобных (аплодисменты дедушки Дарвина и дядюшки Гитлера). Глядишь, и с моей помощью, методом естественного отбора, со временем из булькающей биомассы вырастет особь нового вида необычной формы. Фантасты имеют о ней некое устойчивое представление: особь с большой лысой головой, застывшим от умственного перенапряжения безбровым и бесстрастным лицом и механическим голосом. И вся в блестящей фольге. И с антенной на макушке. Как в фильмах про инопланетян! И как начнет этот лысый думать – так лампочки вокруг перегорают и розетки искрятся, а придумает такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Так ведь нет! От меня требуется, чтоб я терпел все невзгоды и лишения, а если понадобится, то и отдать жизнь, ради того, чтобы в будущем лысый в фольге и с антенной на голове жил припеваючи. Жрал от пуза, пил и думал: «Куда бы еще полететь? Может быть к Альфа-Центавре? Говорят, там пиво бархатное лучше». «Не мы увидим это! – с какой-то извращенной торжественностью любили повторять марксистские мазохисты, – и не мечтайте! Работайте, работайте! Кто там отстаёт?»

Мы с Китычем даже поразмышляли по этому поводу на нашей любимой скамейке под черемухой. Он выслушал меня

с сочувствием и молвил.

– Чтоб не обидно было – купи бутылку и выпей. Все равно ничего лучше в этой жизни никто не придумал.

Глава 23. Сашка и Китыч

Особенно сблизились мы с Сашкой в десятом классе. Летом у него случилась трагедия. В июле к нам в спортивный лагерь приехал Сашкин отец и вместе с ним старший сын Валера – красивый парень, недавно вернувшийся из армии. Приехали, чтоб проведать Сашку и отдохнуть на берегу озера. Там и произошла беда. Во время подводной охоты с гарпуном Валера нырнул в глубину, а вынырнул с белым лицом, выпученными глазами и тут же пошел ко дну. Сашка в кровь раздавил свои губы, делая искусственное дыхание брату. Тщетно. В лагерь привезли тело, завернутое в брезент. Отец был страшно спокоен, двигался заторможено, как зомби, и все время тихо повторял: «Спасибо ребята, спасибо». В мертвом молчании ребята погрузили труп в кузов грузовика. Отец поблагодарил нас, залез в кузов и «газон» с ревом повез страшный груз в Ленинград. Сашка из кабины так и не вылез, ему вкололи лошадиную дозу успокоительного, и он сидел, тупо глядя себе в ноги.

Отходил он больше года. А когда вернулся в норму, потерял былую беспечную смешливость. Смех его стал грустным, а в глаза то и дело возвращался ужас того рокового дня, когда он увидел всплывающее из темной глубины белое лицо брата. Умолявшего о помощи?

Это была уже не первая моя близкая встреча со смертью. В пятом классе в больнице умерла моя бабушка, еще раньше, в четвертом, во двор въехала машина с гробом, в котором лежал наш ровесник Петька Харитонов. Все окна распахнулись, десятки голов высунулись, но мало кто вышел. Тетки плакали. Дети жались друг к другу. То, что вчера было всем знакомым шепелявым Петькой с выбитым передним зубом, стало не Петькой, а какой-то ужасной, желтой куклой с закрытыми глазами и вдавленными щеками. И за тысячу рублей я не смог бы подойти к гробу.

Явление смерти в детстве ужасно, но полностью непонятно, как леший в темном лесу. В юности вдруг впервые понимаешь, что все это каким-то боком касается и тебя.

В советское время (говорим про 70-е годы) к смерти относились, как к постыдному родимому пятну капитализма – да, существует еще, но советские ученые непременно что-то придумают и она либо исчезнет, либо сделается не страшной, не тягостной. Без крестов и могил. Без гробов. Без отпевания и душераздирающего плача. Человек, выполнив свои земные обязанности, просто заснет в кровати с благодарной улыбкой на устах, покрытый переходящим красным знаменем родного завода, и дела его и память о нем будут жить в сердцах близких товарищей вечно. Сильных же мира сего уже сейчас отправляли в последний путь с таким пафосом, что впору было завидовать, а не плакать.

Сашкино горе сблизило нас. На некоторое время Китыч

стал для меня соратником по чреву, а Коновалыч – по духу. Это трудно объяснить, но человек, переживший сильное страдание, трагедию, всегда становился для меня интересен. Словно он заглянул за ширму реальности и увидел то, что в повседневной жизни мы не видим и не хотим видеть. Что – вот она, смерть, совсем рядом. Сашка даже ее пощупал, даже попытался отогнать, чуть не сломав грудную клетку брату, когда делал яростный массаж сердца. Она сидит за плечами, когда мы выходим на улицу, прыгаем в воду, кушаем шашлык, когда смешно пытаемся ее игнорировать в разговорах, когда трижды плюем через левое плечо, когда отворачиваемся от кладбища. Когда бежим от нее, как сумасшедшие, задыхаясь и не оглядываясь, а на финише она встречает нас глумливым оскалом и распахивает объятья. Я слышал, что мадам Шанель, умирая, так крепко сжимала краешек своего любимого платья, что санитары с трудом могли разжать ее пальцы. Какой убийственный приговор человеку, который цепляется, как клещ, в земную жизнь, полагая, что в ней можно обрести смысл или иллюзорное подобие бессмертия. Какое глумление над несчастной и убогой душой, которую всю жизнь держали в черном теле, наряженным в блестящие наряды!

Вспоминается в связи с этим еще один эпизод из моей жизни. В середине 90-х, когда только зарождалась бульварная журналистика, моя газета проводила опрос среди известных людей Петербурга: «Где бы вы хотели быть похоронен-

ными?» Отвечали в основном с юмором, но один упитанный бородатый тележурналист впал в истерику: «Что за вопросы?! Я никогда не умру! Понятно вам?!» Слава Богу, он до сих пор жив, но я не об этом. Отгоняя самый главный для себя вопрос, человек пытается превратиться в безмозглое животное, но, увы, остается при этом человеком! Только с глубоким неврозом, который пытается излечить беспрестанной болтовней о творческих планах, угрожающей миру экологической катастрофе, перенаселении, однополых браках, демократических ценностях и о том, как он счастлив, получив заветную роль в кино!

Сашка, повторяю, излечился от этой слепоты тогда, на озере, навсегда. Стал ли он от этого счастливее? Нет. Стал полноценнее – это точно. Стал человеком, который осознает трагичность, но не безысходность земного бытия, который способен глубоко переживать счастливые дары судьбы. А какое блаженство были наши вечерние разговоры где-нибудь в полях или в лесу, когда мы задавали вечные вопросы не столько себе, сколько самому Господу Богу и Он отвечал нам волнующим ароматом талой воды в канавах, мерцающим блеском звезд в лесном озере, жалобным криком чибисов, невидимых в чернильных сумерках полей... Разве это острое переживание бытия, это восторженное ликование молодой души можно сравнить с триумфом, когда победитель выходит на сцену, чтоб получить награду? В первом случае вами любуются сам Бог, распахнувший для вас свои богат-

ства, во втором на вас завистливо смотрят разряженные и пьяные коллеги, которым вы только что утерли нос, размахивая над головой хрустальной статуэткой.

С Китычем хорошо было лежать на зеленой травке под нашей любимой черемухой и вспоминать, как мы выпили с ним на двоих в Новый год четыре бутылки вина, а потом во дворе подрались с какими-то залетными пацанами и обратили их в бегство (а потом блевали этим портвейном полночи, но это к слову). Иногда я в шутку называл Китыча своим Санчо Пансой, но теперь вижу в нем скорее гоголевского Остапа, не ко времени родившегося. Натура абсолютно бесхитростная, верная, доверчивая до глупости, сильная во время ратных подвигов и бессильная в мирное время, когда власть берут ловкие проходимцы и подлецы. Это про Китыча, когда Гоголь, живописуя бурсу, рассказывал, как провинившийся Остап покорно ложился под розги, в то время как Андрий, главный затейщик проказ, ловко их избегал (увы, про себя, окаянного, говорю). Настоящий богатырь, играючи владевший двухпудовой гирей, выносливый и неприхотливый в походе, бесстрашный в драке, он в мирную минуту тут же падал на диван и поднять его с него могла только хорошая выпивка. Сам он любил повторять (опять же по Гоголю, которого любил), что это «козацкая лень». Усвоив в детстве и отрочестве незатейливые правила жизни, Китыч неукоснительно следовал им всю жизнь. Мама научила его, что нельзя показывать на человека пальцем и вот однажды, уже во взрослом

возрасте, мы чуть не подрались, когда я, увлекшись в споре, стал тыкать на него пальцем. Мама же успела привить ему уважение к хлебу – никогда в жизни он не выбросил в ведро недоеденный кусок. К сожалению, это почти все, что успела мама. Отечественные предания, мудрые народные традиции, красивые обычаи, незыблемые нравственные законы, освященные Церковью, все, что простая душа принимает на веру, все, что оберегает и морально скрепляет человека всю жизнь – все прошло мимо Китыча.

Беда в том, что такие натуры, как у Китыча, вырубаются в детстве и отрочестве исключительно топором, в молодости уже поздно! Мягкую нежную натуру можно отшлифовать даже в зрелом возрасте высоким искусством, музыкой, литературой. Китычей в зрелом возрасте можно отодрать только наждаком, но с кровью и непредсказуемым результатом.

Что привила Китычу советская власть? По-настоящему, на всю жизнь, только безответственность. Когда грянул капитализм и стало «каждый за себя», выяснилось, что Кит, а вместе с ним и миллионы подобных, «за себя» не могут. Им нужен был профком, чтоб получить хорошего пинка под зад, строгий участковый милиционер, чтобы нагонял страху. Им нужен был коллектив, в котором они в советские годы научились топить всякую инициативу и ответственность за свою судьбу. В коллективе рождалась та жидкая, расхлябанная, трусливая и инфантильная субстанция, которая должна была цементировать советское государство, но которая рас-

теклась вонючей лужей при первом же ударе грома.

Мать Китыча жизнь свою бедовую (включая немецкий плен, когда она, будучи десятилетней девочкой, батрачила на немецкого помещика в Латвии) принимала с бесшабашным смирением и умела заразительно смеяться до последних дней своих, когда была уже смертельно больна. Она принимала на веру абсолютно все, что обещала власть – коммунизм, так коммунизм, перестройка, так перестройка, Царствие Небесное, так Царствие Небесное, – радовалась каждому дню, быть может потому, что прекрасно помнила, как горек был батрацкий хлеб у немецкого бауэра. На Пасху она красила яйца и ехала на кладбище помянуть усопших родных, на ноябрьские праздники вместе с родней пила водку за Ленина и Сталина. При этом и о Пасхе, и о революции имела приблизительно одинаковое представление.

Отец, недоучившийся художник, пьяница и матерщинник, находил отраду в глумлении над всем, что увидели его глаза. Он рисовал едкие карикатуры на своих соседей, на меня, на Китыча – кто подвернется. В мирное время, когда он не пил по несколько недель, в нем просыпался проповедник, исповедующий заповеди европейского гуманизма, в запоях он становился буйном и тогда вся лестница слышала яростный рев и матерную ругань, и соседи весело сообщали друг другу, что «Ванюша развязал». Иногда Ванюша допивался до чертиков. Однажды я видел, как тетя Катя с истошным криком сбегала вниз по лестнице. За ней с ножом ковылял

пьяный супруг. Увидев, что жертва уходит, он метнул, как заправский спецназовец, столовый нож в спину жене, но промахнулся и зарычал от ярости. Другой раз я видел, как тетька Катя гналась с колотушкой за мужем до самого первого этажа. Накануне она хвасталась всем, что справила супругу новой зимнее пальто. Недолго Ванюша красовался в нем перед завистливыми собутыльниками. Как-то вечером он не вернулся с работы домой. На следующий день вернулся, но в драной фуфайке. Остальное я уже рассказал.

Школа? Школа восемь лет подряд твердила, что все мы вышли из говна в 1917 году, так что нечего кряхтеть и задаваться.

Так получился Китыч. Таких было много. Подвид гомо советикуса – гомо раздолбай. Беспомощные мечтатели, ленивые гедонисты, праздные и грешные обличители неправды, беспомощные моралисты, наивные терпилы... И горькие пьяницы.

В 1991-м, когда началось Великое оледенение, они были обречены.

Глава 24. Школа

С Сашкой в десятом классе мы вели исключительно философские беседы. Особенно проникновенными и глубокими они становились в лесу, до или после тренировок.

Мы как будто заново вылуплялись с Сашкой из яйца. Переосмыслялось все! Мы словно прозрели всемирный заговор и разоблачали его с неистовой силой, как рабы, вырвавшиеся на свободу и получившие доступ к секретным документам. Один за другим рушились и капитулировали розовые замки, воздвигнутые наспех советской властью – коммунизм пал первым и почти без боя. Просто рухнул сам, под тяжестью собственного вранья. Леонид Брежнев и члены Политбюро вышли из руин с поднятыми руками. На них жалко было тратить патроны. Они были просто «старыми козлами», выжившими из ума, и ничего больше. Ленина мы пока не трогали (страшновато было), но революцию не пощадили, и большевиков тоже. Мы приходили в восторг и трепет, открывая для себя истины, от которых нашу учительницу обществоведения хватил бы кондрашка. Революция – это зло, кровь, разруха и ужас. Сталин – жестокий восточный деспот. Советские выборы – позорная черная комедия. Партийные съезды – фарс. Америка – благословенная страна. «Дип Перпл» – лучшая группа в мире, а Эдуард Хиль – мудило

гороховое! И вопросы. Почему Запад живет лучше, чем мы? Почему запрещают рок-музыку? Почему закрыты границы? Почему, почему, почему...

Мне казалось тогда, что я призван открыть людям глаза. Тем более, что моя будущая профессия обязывала.

Все дело в том, что осенью произошла еще одна революция в моей душе: я решил стать писателем. Окончательно и бесповоротно.

...Все произошло неожиданно. Как-то вечером я отложил в сторону сборник северных рассказов Джека Лондона, открыл толстую тетрадь и вывел:

«– Хэл?

Молчание.

– Ты меня слышишь, Хэл?»

Так начинался мой первый в жизни рассказ. Про Хэла и его друга Пола. Они попали в беду на Юконе. Палатка сгорела, собаки убежали, спички отсырели, голодные полярные волки окружили со всех сторон. К тому же мороз под пятьдесят! Что делать? Ситуация была настолько захватывающей, что я не заметил, как за работой пришло утро. Тридцать страниц текста! И каких! Даже бумага бугрилась, как будто схваченная огнем!! Славная была охота! Пять волков погибли под пулями. Одного пришлось зарубить топором. Хэлу матерая волчица прокусила кисть. Одноглазый матерый вожак стаи пал последним, защищая тело волчицы – Хэл пронзил его ножом. Костер разожгли порохом из патрона – по-

следней спичкой! Хэл на всю жизнь запомнил ее голубенький тающий огонек. Спасло тонкое колечко березовой коры, принесенное к дровам случайным ветром. Но самое главное – на выстрелы прибежали старатели из соседнего леса. Ура!

Я тупо смотрел воспаленными глазами на распухшую тетрадь и не мог поверить, что недавно зарядил последний патрон в свой «Смит и Вессон», чтоб пустить себе пулю в лоб, потому что ситуация казалась безвыходной. Голова кружилась. Я сотворил чудо!

Самое близкое вдохновению слово – счастье! Счастье всегда неожиданно и своевольно распахивает окна и двери и врывается в душу весенним ветром, выметая вон застоявшиеся мысли и образы, увлекая мысль к Богу, а Он, как известно, сочувствует творчеству, поскольку сам Творец. Кто испытал это чувство – навсегда раб его. Кто потерял – несчастнейший из смертных. Эта ночь стала роковой. Еще вечером я был седовласым майором КГБ, а утром стал седовласым Писателем. Навсегда. Еще накануне я изучал правила приема на юридический факультет ЛГУ, а теперь искал учебное заведение, где учат волшебному мастерству писательства. Ближайшее и единственное было в Москве, но в Ленинграде был факультет журналистики, и я сделал свой выбор в его пользу.

О писательской стезе я знал немногим больше, чем об органах контрразведки. Мой прототип, майор КГБ, представлялся мне усталым мужчиной, который задумчиво глядит из окна своего кабинета в Большом доме на залитый дождем

Литейный проспект. Уже ночь. В Большом доме в гулких коридорах пусто, лишь на вахте дежурит молоденький постовой. А майор все стоит, смотрит на осенний дождь и думает, думает о последней перехваченной шифровке, рассеяно вертя в пальцах сигарету и не решаясь закурить, потому что дал слово жене бросить. «Брать или подождать с арестом?» Сцена эта завораживала меня несколько лет. Но вот пришла другая. На завалинке, сгорбившись, в рыжей фуфайке, сидит седовласый писатель, который только что закончил свой роман-эпопею, равную по силе «Тихому Дону». Еще никто не знает об этом. Еще соседка Нюра запросто обращается к нему на «ты» с бабскими пустяками. Ну и хорошо! Еще придет время, когда наступит усталость от бесконечных интервью, поздравлений, застолий, а теперь он может всласть пообщаться с простыми людьми, которых так любил всю жизнь и которых ему будет так не хватать в столичной кутерьме.

Тоже неплохо?

Но майорские погоны еще нужно было заслужить, а писательский наркотик уже торкнул.

Мне, к тому же, повезло, наконец, в десятом классе с учительницей литературы. Это к вопросу о роли Учителя в человеческой судьбе.

Майя Михайловна, полная седая дама лет за пятьдесят, с лицом озорной девчонки, в круглых огромных очках, за которыми восторженно хлопали серые глаза, буквально ворвалась в наш класс со звонком. Бросив сумку на учительский

стол, она села верхом на пустовавшую первую парту и весело оглядела нас.

– Ну что, мои дорогие троглодиты, будем знакомиться. Я хочу, чтобы каждый встал, назвал себя и сказал, какой писатель у него любимый. А я сделаю выводы, просекаете, о чем я? Начали!

Мы заулыбались. Началось соревнование в остроумии. Кто-то назвал «Колобка», кто-то «Трех поросят». Девчонки, наоборот, щеголяли знанием поэтов Серебряного века и европейцев, типа Ремарка. Я честно назвал Шолохова и Джек Лондона.

– «Тихий Дон» и «Мартин Иден», – уточнил я. – И «Морской волк».

– А кто тебе больше по душе – Хэмфри Ван Вейден или Волк Ларсен? – спросила Майя (практически сразу мы все стали ее так называть).

– Волк Ларсен! – сорвавшимся от волнения голосом ответил я.

Впервые за три года я изменил своему выстрадавшему конформизму. Опять пошел в атаку на реальность. Но врать Майе было невозможно! Она не просто верила каждому слову, она ценила это слово, она играла с ним, как проголодавшийся человек, который подбрасывает горячую печеную картошку в ладошках, предвкушая ее чудесный вкус и аромат. Вступая в спор, она словно ожидала и хотела, чтоб ее переубедили! Извольте, вам слово! Ах, не можете?! Пред-

ставляете, что чувствует мужчина, когда женщина, распахнув ноги, спрашивает в гневе: «Не можешь?!»

– Волк Ларсе-е-ен! – протянула она не то с удивлением, не то с восхищением. – Сильная личность. Красавец! Силач! И даже умница. Интересный выбор. Обязательно поговорим с тобой о нем.

В Майю влюбились все. Плохие оценки она не ставила, хорошими не разбрасывалась. В учебник, похоже, не заглядывала, в методички, уверен, тоже. Поговаривали, что ее привела директор школы, они были подругами. На уроке Майя, если не сидела верхом на парте, то бегала по рядам, жестикулируя руками. Вместе с девчачьим лицом она унаследовала и тонкий девчачий голос.

– В Печорина невозможно не влюбиться! Он – демон! Искуситель! Кстати! Печориных полно и в наши дни. Представьте, моя подруга влюбилась в Печорина в институте. И он был из деревни, можете себе представить? А она из интеллигентной ленинградской семьи. Зачитывалась Пастернаком, не вылезала из Эрмитажа... А он на лекцию мог прийти в кирзовых сапогах и тельняшке. Но врать не буду – красавец! Умен. Смел. Честолюбив! Честолюбие и было причиной его бесконечных любовных упражнений. А ну-ка, девочки, давайте внимательно посмотрим на наших мальчиков: есть ли среди них Печорин? Ау! Печорин, где вы?

Некоторые взоры, в том числе и приятные, обратились ко мне, другие к Мишке Красильникову. Рыстов высокомерно

сложил на груди руки. Мальчишки вообще заволновались.

– Оленька, ты хочешь что-то сказать?

– Майя Михайловна, по-моему, мальчишки все не против поиграть в Печорина. Ходят, задрав нос... а сами из себя ничего не представляют.

– Ого! – забурлили мальчишки.

– А сами-то!

– Воображали!

– Можно подумать сама – княжна Мери!

– Аристократка!

Оля с торжеством и презрением смотрела на этот бунт.

– Я может быть и не аристократка, а вот ты Сиваков – дремучий лапоть!

– А я в Печорины и не хочу! Он урод!

– Я вот одного не понимаю, – задумчиво молвила Майя, – а зачем Печорину, мужчине вообще, нужны женщины? Много женщин?

– Ну-у-у, – загудел класс, – кто ж его знает...

– Бабник!

– Похоть!

– Кобель! (ха-ха-ха!)

– А, по-моему, – это опять все та же Оля, – у него были комплексы, Майя Михайловна. Его обижали в детстве, вот он и мстил. Но признаться в этом не мог. Поэтому и придумывал романтические образы...

Эта Ольга мне здорово нравилась, если честно. Красивая

была, но уж больно дерзкая. Я бы ее соблазнил, если б был Печориным. Только вряд ли, думаю, после этого я бы ее бросил.

Моя любовь к Волку Ларсену в то время была несколько невротичной и какой-то женской. Меня восхищала его сила, смелость и даже грубость, но я хотел, чтобы со мной он был нежен и добр. Мне хотелось спасти его теплом своей дружбы, распахнуть его сердце врачующему свету своим благородством и бескорыстной любовью. Я хотел, чтобы он уважал и восхищался мной. Для этого я совершал в своих фантазиях подвиги. Для этого спасал его самого от смерти и врагов. Об этом трудно было рассказать Майе, но она, кажется, и так поняла меня, когда – как и обещала – осталась со мной поле урока, чтобы поговорить.

– Мишаня, я тебя ни в чем не буду переубеждать. Ты еще встретишь Волка Ларсена в своей жизни. Встретишь и ужаснешься. В настоящей жизни они не столь привлекательны, как у Джека Лондона. И не столь умны. Знаешь, давным-давно один английский судья вынес смертный приговор знаменитому пирату, а в заключение сказал: «Я знал, сэр, что вы большой злодей, но я не знал, что вы еще и большой дурак».

Я запомнил и еще одну мудрость, которую заложила мне в голову Майя Михайловна в том разговоре: «Миша, избегай делать гадости! Гадость, как вредная еда. Иногда вкусно. Иногда очень хочется что-нибудь соленького, перченого. Но вредная еда накапливается в организме и с возрастом

убивает его. Так и гадости, накапливаются в душе и отравляют жизнь, убивая счастье!»

Господь послал Вас, Майя Михайловна! В самое нужное время! Вы были настоящим Учителем! Равви! Теперь я понимаю, почему Оксфорд и Кембридж дерут большие деньги за обучение. Их преподаватели стоят дорого. Иначе и быть не должно. Хороший учитель стоит гораздо больше, чем самый дорогой автомобиль!

Глава 25. Выпускной

Я до сих пор считаю, что в жизни каждого человека главным транспортным узлом, из которого выходит вся его дальнейшая судьба, является учебное заведение после школы. Не только профессия и карьера, но и друзья, семья, образ жизни и мыслей – все, все, все! – определяет вуз техникум или ПТУ. Это самый главный, самый ответственный выбор в жизни.

Я выбрал факультет журналистики ЛГУ. В июне прошли выпускные экзамены в школе. Готовился я к ним в полном соответствии с новой Программой Жизни, которую принял после шестого класса. Перед каждым экзаменом я вручал учительнице разрисованный лист бумаги, на нем красивым почерком были выведены мои стихи. Признание в любви. К учительнице. К предмету. К школе. Иногда к советской стране. Сейчас мне трудно в это поверить, стыдно представить, но – было, было! Стихи были чудовищно сентиментальные, пафосные, масляно-лживые, я сочинял их по утрам, на свежую голову и вручал каждой учительнице за день до экзамена, чтоб ее успело пронять за ночь. Не знаю, сработал ли метод или просто я хорошо подготовился, но все экзамены я сдавал на отлично. Я был любим. Выходил к доске и меня встречали улыбками: «Давай, Мишаня! Мы тебя любим!» Я

улыбался в ответ: «Знаю, что любите. И я вас люблю! Только вот волнуюсь немного!» Пять баллов!

Эх, Мишаня, Мишанюшка...

На выпускном вечере я здорово надрался с Коноваловым. Сначала мы вмазали по два стакана портвейна в детском садике. Остальное поместилось в резиновую литровую грелку, которую я пронес в школу сквозь бдительные кордоны учителей и родителей под ремнем на животе, а потом спрятал на четвертом этаже под батареей.

Девчонок наших было не узнать! Каждая вторая была Наташей Ростовой на первом бале – огромные счастливо сияющие глаза, алые от возбуждения щеки, волнующая грация принцесс... Некрасивых не было. Но самой блистательной, конечно, была Ольга. Мне понадобилось еще дважды подняться на четвертый этаж и порядочно отхлебнуть из грелки пропахшего резиной вермута, чтоб набраться смелости и пригласить ее на танец. Ольга торжествовала, но недолго. Меня «штормило», я больно наступил ей на красивую туфельку и нес в ухо такую непотребную чушь, что она, вдруг, отпихнула меня от груди и возмущенно сказала.

– Ты спятил?! Что ты мелишь?

Кажется, я предлагал ей уединиться в туалете. Причем в женском. «Тебе будет приятно!»

– Я спятил. От твоей красоты, – промямлил я, тиская ее за талию.

– Как тебе не стыдно? Прекрати меня лапать. Директриса

смотрит! Ты же пример должен подавать, комсорг!

– Я буду! Потом... Сегодня можно!

– Мишка, зачем ты так напился?

Зачем? Кто смог бы ответить? Напились не менее половины класса. Не только туалет, но и пол на втором этаже был заблеван. Гуляла Народная улица. В полном соответствии с традицией и воспитанием. И никакая сила не была способна остановить этот праздник юности и романтических надежд.

После торжественных речей, аплодисментов, танцев, двух пустяковых драк из-за ревности, в сумерках гуляли по набережной Невы. Девчонки шли впереди и нестройно затягивали песни. Пацаны плелись следом. За нами плелся милицкий патруль, как бы конвоируя нас во взрослую жизнь. Время от времени мимо бесшумно проплывала огромная баржа, с которой доносились приветствия матросов. Девчонки махали руками в ответ. Меня страшно мучала жажда. Еще не угасла в пьяной голове мысль, что я должен сегодня же охмурить Ольгу или на худой конец Надьку, или Любку, если не будет других вариантов, но сил уже не было. Девчонки вообще были недовольны нами, мальчишками. Мы облажались. Они ждали от нас чего-то необычного, волшебного в этот вечер, а мы... мы просто не умели иначе.

Забегая вперед на несколько десятилетий, могу сказать, что мужчины моего поколения вообще облажались. Из нашего класса я могу насчитать не меньше пяти-семи алкоголиков. После школы какое-то время спустя, выпускники лю-

били собираться, чтоб помянуть былое, но вскоре я перестал ходить на эти встречи – девчонки ушли в свои семьи с головой, им были не интересны все эти ахи и вздохи, а пацаны с каждым годом теряли интерес к жизни с пугающей быстротой и навевали тоску.

Мы были поколением мальчиков, которые не умели быть взрослыми. Не хотели. Вечные Петьки, Сашки, Кольки и в 30, и в 40 лет... Когда-то веселые, когда-то отзывчивые, когда-то смешные... Теперь тусклые и серые, потерявшие напрочь любопытство ко всему, что выходило за границы первой необходимости, ленивые, унылые, угнетенные бездельем и бессмысленностью... а главное, инфантильные порой до карикатуры, до полной беспомощности. Я не говорю про послевоенное поколение, не говорю про шестидесятников, но даже поколение на пять лет моложе нашего было разительно другим! Более крепким, самостоятельным, взрослым.

Мы – птенцы Брежнева – хорошо умели только разевать клюв и недовольно галдели, если корма не хватало, но лететь все равно ленились. Я думаю, советская страна загнулась бы гораздо раньше, если б не женщины. Они, как и всегда, спасали. Тащили на своих плечах домой пьяных до бесчувствия мужей, слали им посылки в тюрьмы, вкалывали на вредных производствах, растили детей, копили на черный день, подбадривали, умоляли, вдохновляли, и прощали, прощали, прощали... Низкий поклон вам, Нюры и Ларисы, Дуни и Алены. В провинциальной глуши, в столичной круго-

верти вы сохранили семейный очаг, веруя в ту высшую силу и мудрость, которые и открываются только верным и смиренным.

Почему так? Можно ли безоглядно обвинять мужиков, не сообразуясь с обстоятельствами времени? Нет. Сто раз нет!

Сейчас модно стало скулить по прошлому, восхищаясь тем, что там-де была полная уверенность в завтрашнем дне. Была? Была! Но это была уверенность, от которой хотелось напиться и забыться. Нынешнему молодому человеку трудно объяснить, какая смертельная тоска накатывает на сердце, когда ты знаешь наперед свою жизнь вплоть до мельчайших подробностей. Убогую жизнь, из которой невозможно сбежать или спрятаться! С гарантированной зарплатой, которая позволяет тебе кушать в неделю килограмм колбасы, покупать зимнее пальто один раз в три года и ездить в Сочи хотя бы один раз в жизни. Не хочешь работать? В тюрьму! Не согласен жить, как все? Заставим! Навалимся, забодаем, прижмем! Это рай для человека, который снимает с себя полную ответственность за свои поступки, который пугается собственных мыслей, который тупо и покорно шагает день за днем к своей гарантированной пенсии и уже облюбовал себе любимую скамеечку возле парадной. А что делать мужчине, в жилах которого течет кровь викинга? Что делать юноше, который захотел увидеть весь мир? Низвергнуть с пьедестала ненавистное учение Маркса? Купить себе роллс-ройс? Подарить своей жене кольцо с бриллиантом? Издать

свой эротический роман? Поселиться в двухэтажном доме на берегу озера? Что?! Правильно – напиться и жаловаться на судьбу. Так оно и случилось. Пили и жаловались. На кухнях, в подворотнях, в кабаках. На какое-то время женщина взяла руль в свои руки. Без радости (дурам-феминисткам на заметку). Так после войны она брала в свои руки борону или плуг – тяжело, но куда денешься?

Из нашего класса немногие «вышли в люди». Сыто устроились двое – один стал официантом в «Ласточке», другой в «Баку». На встречи одноклассников они приезжали на «Жигулях», разумеется в новеньких, американских джинсах и кроссовках «Адидас», говорили скупно и снисходительно, всегда куда-то спешили, поглядывая на дорогие часы, так чтоб всем было видно, что дорогие. Им было с нами скучно и «понарошку», напоказ, и на самом деле. Мы барахтались, как дети возле своей песочницы, а они занимались делом. «А помнишь? А помнишь? А помнишь?!» – приставал Родик к Истомину (бар «Баку», на минуточку!), который брезгливо снимал его руку со своего колена, прикрытого дорогой американской материей.

– Да не помню я ничего! – наконец раздраженно отвечал Истомин. – Я и тебя не помню, мудило ты гороховое! Как тебя зовут?

«Гороховое мудило» широко открывал рот от изумления, потом до него доходило.

– Шутишь? Хе-хе! А помнишь, как я тебе контрольную

решал...

– Помню, как ты у меня «Мальборо» клянчил. Слышал, ты женился? Настрогал уже кого-нибудь?

– Девочка Наташа.

– Во-во, плоды нищету. Да убери ты свою руку потную с колена! От тебя разит одеколоном, как от помойки. «Тройной» небось? Лучше бы выпил.

На Истомина из угла, с тоской поглядывает Петрова, за которой он бегал когда-то. Безуспешно, потому что был троечником и невеждой, а Петрова отличницей. К тому же она с детства была вся в искусстве. Теперь Петрова замужем за руководителем молодежного студенческого театра Чапыгиным. Поговаривают, что он бьет ее и живет на деньги ее родителей. Похоже, что Истомин ради Петровой и приезжает на эти встречи. Он прекрасно замечает ее глаза, исполненные раскаянья и муки и наслаждается торжеством. Несколько раз они выходят вместе покурить, возвращаясь каждый садится на свое место, но у Петровой все ниже опускаются плечи, а у Истомина все выше задирается выбритый подбородок, приспущенный английским одеколоном.

Здравствуй, взрослая жизнь, черт бы тебя побрал!

Глава 26. Товарняки и Коновалов

На первый экзамен в университете – сочинение – я опоздал, к тому же пришел без ручки. Высокий лысый дядька в черном строгом костюме и лицом, словно сделанным из пожелтевшей слоновой кости (Автономыч, как его уважительно называли, замдекана), сделал мне выговор, но ручку отыскал и нашел мне место. Я выбрал тему «Почему я решил стать журналистом?»

Готовился я к экзаменам своеобразно. Мы с Коноваловым Сашкой сразу после школьных выпускных отправились в путешествие в Крым – на товарных поездах. С собой я забрал учебник по русскому языку.

Родителям сказали, что идем в поход по Ленинградской области вместе с учителем физики.

Некоторый опыт перемещения на товарниках у нас с Сашкой уже был. Главное тут найти подходящий вагон типа «башмак» (открытый сверху, но с бортами), желательно с грузом, не представляющим ценности (чтоб охрана не проверяла). Но для начала нужно найти правильный состав. Первая попытка добраться до Москвы от станции «Сортировочная» была неудачна. Сверившись с картой, мы через полсотни километров поняли, что едем на север. Пришлось возвращаться на электричке. На этот раз мы, отыскав состав

«под парами», подошли к машинисту и спросили: «Куда путь держите? Не в Москву ли?» «В Москву», – ответил молодой машинист, улыбаясь. Кажется, он все понял.

На подмосковную сортировочную мы прибыли рано утром. Ночью я стоял на каком-то деревянном ящике, смотрел на пробегающие в сумерках поля и перелески, и в моей душе вместе с ритмичным грохотом и лязгом колес счастливым набатом звучал Гимн новой необыкновенной жизни! Она уже началась!

Путешествие было ошеломляющим! До Крыма мы добились четыре дня. От Москвы до Тулы, от Тулы до Орла, от Орла до Курска... После Москвы, до которой мы докатились почти без остановок, каждые двести километров на сортировочных приходилось менять состав, иначе можно было застрять на станции надолго. Мы быстро набирались опыта. За минуту собирали рюкзаки, выпрыгивали из вагона, находили сформированный состав, который уже стоял «под парами» на старте, дожидаясь сигнала светофора, уточняли у машиниста в окошке маршрут (все машинисты улыбались почему-то), бежали вдоль вагонов в поисках подходящего, запрыгивали с вещами и деловито раскладывали утварь – спальные мешки, еду, керосиновый «Шмель». Хорошо, если подфартило и в вагоне были удобные деревянные ящики или доски, но иногда приходилось спать и на трубах крупного калибра, скатываясь с них ночью, то в одну, то в другую сторону. Случалось и сидеть, зажатыми между ящиков, и стоять на швел-

лере или других железяках, обмазанных солидолом. Всякое было...

На случай задержания органами правопорядка у нас с Сашкой была запасена легенда – сами мы не местные, из Ленинграда, путешествуем, отстали от поезда, деньги потеряли (украли), добираемся домой на перекладных, вот наши комсомольские билеты и так далее. Мол, не откажемся и от денежной помощи, «только и сами справимся». Забегая вперед, признаюсь, что под Курском нас-таки заметили с железнодорожного моста и сняли с поезда: легенда сработала, хотя вышла некоторая неувязочка с направлением движения. Никто не захотел тратить на нас время и деньги, мы чисто-сердечно каялись и хныкали, и хмурый железнодорожник в привокзальной пристройке, постращав для виду, отпустил нас на все четыре стороны.

Больше всего мы проторчали в Харькове. Сначала никак не могли найти сортировочную, потом нужное направление. Сашка сломался. «Больше не могу. Возвращаемся». Я и сам был на подходе. Спали мы последнее время не больше четырех часов в сутки, ели тульские пряники, закусывая их килькой в томате, пили, что придется. Но отступить перед последним решительным броском я не мог.

Закипающий кризис загасили вермутом. Пили на вокзале, закусывали жареными пирожками с капустой. Там же к нам прилипла веселая девчонка в коротенькой юбчонке по имени Наташа. Она была готова ехать с нами не только в Крым, но

и на Камчатку. Выпив вина, она стала заигрывать с Сашкой, разбудив в моем сердце ревность. Однако убедившись, что вино выпито, денег в обрез, а мы не проявляем инициативы, Натуська пропала, слава Богу!

Наконец, повезло и надолго. Нужный поезд нашли, к тому же в вагоне были сухие теплые доски. Жизнь налаживалась. Юг приближался. В Курске вишня была еще зеленая, в Славянске черешня вдоль пути была розовая, в Мелитополе она покраснела. Вокруг раскинулась рыжая степь и солнце палило в упор, как из лазерной пушки. Я обгорел, но был доволен – на лице были явные доказательства, что до «югов» мы-таки добрались. Где-то под Таганрогом слева распахнулась морская гладь и мы восторженно прокричали: «Ура!» Потом, во время долгой остановки, в вагон заглянул молоденький машинист и предупредил нас, чтоб мы не высовывались: «Сейчас поедem через мост. Там провода низко висят, под высоким напряжением, не вздумайте высовываться – схлопочете две тысячи вольт. Останется лишь пепла горсточка».

Спасибо тебе, добрый человек! Непременно высунулись бы, еще и сплясали бы на высоких кладках досок – интересно же! Замечательный случай, когда вроде бы незаметно, буднично, прозаически ангел-спаситель спустился с небес и спас нам с Сашкой жизнь! А поблагодарили мы его за это лишь много лет спустя, когда вспоминали за рюмкой вина былое, размышляли о фатализме, о превратностях судьбы и вдруг ясно осознали, что должны были давно покоиться в мо-

гиле, если бы тогда молодой машинист не посмотрел в нашу сторону в нужный момент или поленился вылезти из кабины, чтоб предупредить нас о смертельной опасности.

От Симферополя до Севастополя товарники не ходили, поэтому теплым крымским вечером мы пересели на электричку. Уже в полной темноте я разглядел проплывающие мимо пирамидальные фигуры кипарисов и вдали — черные контуры гор.

В Севастополе мы сели в первый попавшийся пустой троллейбус. К нам подошла молодая пара — матрос и красивая улыбчивая девушка. Спросили откуда мы и куда. А потом предложили у себя переночевать.

Такой вот был волшебный вечер. Такой была награда за терпение и верность идее. Несколько дней мы жили у молодой пары в маленьком, частном домике. Утром уходили на весь день на городской пляж, вечером болтались по городу. До сих пор не могу понять, что бы мы делали с Сашкой, если б не эта счастливая встреча. Денег у нас было в обрез, ни о какой гостинице не могло идти и речи. Спасибо!

Вернулись в Ленинград мы, обученные и опытные, вдвое быстрее. От Москвы до Ленинграда ехали почти в пустом «башмаке», перед которым оказался вагон с углем. На Сортировочной в Ленинграде я заметил, что прохожие на нас смотрят с удивлением. Возле своего дома увидел отца с мусорным ведром. Когда я приблизился, то понял, что родитель не узнает родного сына.

– Папа!

– Миша, ты?! Что с тобой?

В ванной, посмотрев в зеркало, я понял в чем дело. На меня смотрел испуганный негр. Серо-голубые глаза растерянно моргали. Минут десять черная вода вместе с мыльной пеной стекала с меня под душем, прежде чем из негра я превратился в метиса – южный загар слез недели через две, вместе с лохмотьями кожи. ...

Глава 27. Экзамены в ЛГУ

Благодаря незабываемому путешествию на товарных поездах в Крым с Коноваловым Сашкой я даже не успел как следует отволноваться перед вступительными экзаменами в университет. За сочинение я получил две пятерки, по русскому «хорошо». Самый трудный экзамен предстоял по английскому. Как всегда, я опоздал и передо мной дожидались своей очереди только девушка с бледным измученным лицом и курчавый парень в круглых очках, который отплясывал ботинками нервную чечетку. Я приуныл, когда, взяв билет, услышал, как бойко лопочет по-английски перед экзаменатором курчавый абитуриент. Мне бы так. И вдвойне приуныл, когда увидел, что экзаменаторша недовольна ответом.

– Кто ставил вам произношение? – спросила она курчавого.

Тот смущенно и тихо отвечал, зачем-то оглядываясь.

– Понятно, – задумчиво молвила дама, – в целом неплохо, но...

Курчавый вышел расстроенный.

Мне достался мужчина со скучающим лицом. Заглянув мельком в мой билет, он попросил рассказать меня о своей семье. Это было хорошее начало. Я начал бодро перечислять: «Ай хэв э маве, ай хэв э фаве», сочиняя себе на ходу

многочисленную родню, чтоб текста было побольше. Рассказал, когда и где родился, и про то, что я спортсмен и комсомолец, и что у меня много друзей, и что я хочу стать журналистом, и... «Ол райт!» – перебил меня мужчина и что-то чиркнул в экзаменационном листе. Я вышел на деревянных ногах из аудитории, посмотрел в лист и покрылся испариной – «Хорошо»! Это было невероятно... хорошо. На меня испуганно и сочувственно смотрели какие-то лица. Видимо, я выглядел, как человек, только что раздавленный ужасным известием. Я вдруг впервые ясно осознал, что заветная мечта становится реальной, и это открытие ошеломило и напугало меня.

Я прошагал весь Невский, как сомнамбула и прямо из метро отправился в библиотеку. Оставалась экзамен по истории. Последний бой. Я шел на него, как Александр Матросов на амбразуру пулемета – победа или смерть! Перед аудиторией опять встретил строгого лысого дядьку, который пожертвовал мне свою авторучку, он кивнул мне, как знакомому.

– Имейте в виду, Иванов, опаздывать на лекции недопустимо!

Господи! Он уже про лекции! Да я хоть на час раньше буду приходить, если нужно, только пустите меня, мальчика с улицы Народной, к себе, в вашу песочницу! В этот ваш волшебный замок, где готовят будущих профессоров, журналистов, писателей! В эту вашу касту избранных! Я заслужу ва-

шу любовь! Я оправдаю ваши надежды!

Свой ответ на экзаменационные вопросы я почти прокричал, захлебываясь от рвения, и готов был сплясать, если б попросили. Приговор: «Пять баллов»!

Йес!!! Оф кос!

Много лет спустя, я слышал, что экзамены в ту пору были не вполне справедливы. Например, отсеивали лиц с еврейскими фамилиями, благосклонны были к Ивановым, Петровым, Сидоровым... Не знаю. Скорей всего так и было. Евреи в конце семидесятых бежали с корабля, который еще не тонул, но в котором все каюты для пассажиров были исключительно третьего класса, а второй и первый полагался только иностранным подданным. Так не лучше ли стать иностранцем?

Власть мстила в ответ, как могла.

Я никогда в жизни, даже в отчаянии, не примерял для себя жизнь на чужбине, но могу себе представить чувства вполне реального Рабиновича (тесть рассказывал), когда некая и разумеется «специальная» садоводческая комиссия намеряла в его дачном строении лишние метры и постановила отрезать угол дома, который нагло выпирал за нормативы. Рабинович вооружился бензопилой «Дружба» и стал резать по живому, чувствуя, как гаснет его привязанность к родной земле. И таки уехал. Может быть напрасно. Но разве в этом дело? Глупостями, за которыми не было никакого практического смысла, была напичкана вся повседневная жизнь. Журнали-

сты пытались вылечить систему язвительным словом. С таким же успехом можно было попытаться воскресить труп после неудачной операции причитаниями родственников.

Национальный вопрос в СССР безусловно принимался в расчет, когда речь шла об образовании. Негласные правила были сложны и далеко не всем доступны. На факультете журналистики, знаю, предпочтение отдавалось тем, кто отслужил в армии, кто имел опыт работы в средствах массовой информации, за кого ходатайствовали партийные или комсомольские органы. Два-три человека, как и положено, были рекомендованы другими, не менее важными органами. Соблюдались строгие квоты на так называемых «целевиков». Это были студенты из братских, в основном, южных республик, которые поступали в вуз у себя дома, но заканчивали свое обучения в столицах. Некоторые из них с трудом говорили по-русски. В нашей группе числились три армянина – Рафик, Рудик и Артур – которые безмолвно сидели на семинарах и надменно молчали, если преподаватель имел глупость у них что-то спросить. Процентом двадцать на нашем курсе составляли иностранцы из дружественных стран и стран социалистического содружества. Немало было и рабфаковцев – как правило, это были рабочие из провинции, которые вознамерились стать журналистами. Бывших десятиклассников-ленинградцев было меньшинство.

Впрочем, об этом ли я думал, когда вышел на площадь перед истфаком и полной грудью вдохнул теплый августов-

ский воздух? Нет, конечно.

Я думал о Нобелевской премии, которую получу за гениальный роман, о светло-бежевой «Волге», которую куплю на гонорар и на которой поеду отдыхать в свой загородный дом на берегу озера, о красавице жене, о странах и континентах, которые непременно увижу!

Интересно я отпраздновал свое поступление в университет. Несмотря на протесты матери, я достал с чердака палатку, загрузил в рюкзак свежую телячью печенку, две бутылки портвейна и мы с Китычем отправились ночевать в лес. Душа требовала свободы! До полуночи мы жгли костер, выпивали и яростно спорили о будущем, которое обещало какие-то необыкновенные дары!

– Через год закончу роман, – хвастался я. – Хочешь – посвящу тебе? Войдешь в историю?

– Хочу.

– Ты будешь великим ювелиром! – говорил я горячо другу (Кит заканчивал с моей подачи одиннадцатое художественное училище по специальности «ювелир»). – Согласен? Ну?!

– Согласен. Мы пока с латунию работаем, на конвейере... хочешь, крест православный тебе смастерю? С изумрудами и сапфирами? У меня целая коробка их?

– Хочу!

Два дурака сидят у костра и врут, врут, захлебываясь от избытка щенячьих сил, от жгучего предчувствия необыкновенной радости. Они хотят счастья! Бог смотрит на них и

думает: «Дать? Не дать?» Дашь – обнаглеют совсем, не дашь – жалко. Глупые, доверчивые, идут по наклонной дорожке... Хвастунишки. Но – не злые. Пожалуй, дам.

Волшебная ночь! Необыкновенная ночь. Именно такой и должна быть первая ночь студента ЛГУ.

Глава 28. Универ

Помнится, директор десятилетки, которая прочла мою характеристику из 513-й восьмилетней школы, весело покачала головой.

– Ну, прямо хоть в космос посылай! В любимчиках ходил? Ничего, мы тебя выведем на чистую воду!

В приемной комиссии факультета, ознакомившись с моей характеристикой (497-я школа, десятилетка), мне сказали приблизительно следующее.

– У вас мама в этой школе случайно не работает? Нет? Такое чувство словно мама писала про любимое дитя.

Работала моя Программа жизни, которую я принял в седьмом классе. Всем нравится. Конечно, иногда, как в случае со стихами «любимым учителям» к экзаменам, я переслащивал, но все равно срабатывало! Лесть она и в Африке лесть! Я был уверен, что сработает и в университете.

У меня была белозубая, как говорят американцы, «на сто долларов» улыбка, простой, добрый и веселый нрав, я был высокий, симпатичный, спортивный... ну, что вам еще, хороняки, надо?

Не сработало. Я шагнул во взрослый мир и сразу почувствовал его холодок на спине. Таких вот белозубых хитрожопых льстецов тут раскусывали на раз. Тут все было всерьез.

На Народной и в школе мы относились к идеологии и к комсомольской работе, как к дурацкой, но вынужденной обязанности. Это были забавы взрослых, в которых мы участвовали с веселой иронией и смехом, как актеры школьной самодеятельности в «серьезном» спектакле. О Брежневe мы говорили только с улыбкой, о коммунизме с комической торжественностью, на субботник приходили, как на дискотеку.

В университете я увидел «настоящих» комсомольцев и заробел. Некоторые были даже слишком настоящими. Не забыть мне Гену из Тамбова, который опоздал родиться лет так на пятьдесят. Сухопарый, горбоносый, смуглый, стремительный и порывистый, он выглядел так, словно вывалился из троцкистского плаката двадцатых годов и сразу ринулся в атаку. Мы познакомились случайно, в первые же дни, когда я искал на курсе товарищей или друзей, как повезет. Шли с ним вместе к метро Василеостровская дворами после занятий.

– А у тебя есть кумиры? – спросил он вдруг.

Я чуть было не брякнул, что тащусь от Риччи Блэкмора и Яна Гилана, но он перебил меня.

– Мой кумир – Че Гевара!

– А кто это? – растерянно спросил я.

Он остановился и вперил в меня недоуменный взгляд.

– Что-что? Ты не знаешь Че Гевару? Товарища Че?! Ты шутишь! Откуда ты свалился, товарищ? С Луны что ли?

Я включил свое привычное белозубое обаяние.

– Деревенское детство, деревянные игрушки! Житие мое!

– Товарищ Че! Герой Кубы! Герой всей Латинской Америки! Лучший друг Фиделя Кастро! Да его весь мир знает! Ну, стыдуха... Ладно, я тебе дам книжку почитать... Только будь с ней осторожен!

– Да, да, да, – бормотал я, с ужасом думая о том, что было бы, проговорись я про Блэкмора и Гилана.

Не могу не вспомнить и другой разговор, в связи с этим, с барышней по фамилии Гаген, которая олицетворяла на курсе продвинутую ленинградскую интеллигенцию. Как-то в коридоре мы заговорили с ней о музыке и она, восторженно закатив глаза, призналась, что без ума от Окуджавы.

– А кто это? – невинно спросил я и тут же отпрянул от ее убийственного взгляда.

– В смысле? Погоди-погоди... Ты что же, хочешь сказать, что не знаешь, кто такой Окуджава? Никогда не слышал о нем?

– Ну, – развел я руками, – слышать -то слышал, так кое-что... Но видеть не пришлось.

– Иванов, ты правда из Ленинграда? Не из Усть-Ужопинска, нет? Ты как сюда попал, милый?

Она еще минут пять изгалялась надо мной и я был близок к тому, чтобы отодрать ее за волосы. Только привычка потакать каждой сволочи спасла меня, но весь день после этого разговора я сгорал от гнева, который загасился только после

третей кружки пива в «Петрополе».

И Гена из Тамбова, и Таня Гаген жили иллюзиями, но Гена был, конечно, несчастней. Звезда Гагенских иллюзий только разгоралась. Ленинградская интеллигенция, понукаемая окриками власти, находила утешение в своей избранности, верила, что «оковы падут» и пела, сжав кулачки: «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке». Звезда Гены угасала. Никто не хотел по доброй воле петь «Интернационал». Никто не хотел жертвовать своей карьерой, своим благополучием. Гена страдал.

Иногда в нем вспыхивал революционный дух и тогда он мучил комсомольский актив курса пламенной критикой, призывал проснуться от спячки и совершать героические дела. На субботнике я видел, как Гена страдает от того, что мы, студенты, вяло передаем друг другу кирпичи. «Веселей, веселей, ребята! – кричал он, вырывая кирпич из чьих-то рук и швыряя его в лицо следующему. – Не ленись! Вечером отдохнем!»

Мы переглядывались. Гена играл в Корчагина, который шутками и прибаутками пытался поднять дух уставших комсомольцев на узкоколейке. Играл бездарно, хотя и искренне. Хотелось дать ему по шее или налить стакан спирта.

В стройотряде он метался по бараку с воплями: «Аврал! Все на улицу! Пришла машина с цементом!» Пришла, как по заказу, поздним вечером. А значит перед Геной открывалось широкое поле героизма.

Гену никто не критиковал, никто не спорил, с ним никто не боролся. Гену просто плющили плитой равнодушия. Он задыхался от всеобщей глухоты. Он рубил саблей воздух. Он взывал к задницам, потому что лица отворачивались сразу, как только он появлялся.

К несчастью, Гена обладал еще и литературным талантом. На факультете работало Литературное объединение журналистов – ЛИТОЖ. Начинающие писатели и поэты собирались дважды в месяц под руководством молодого преподавателя с кафедры стилистики. На факультете в моде тогда был поэт Васильев с четвертого курса, он сочинял стихи, которые понимали не многие и не сразу, и не всегда искренне, зато «поняв», входили в круг избранных и ограждали гениального поэта колючим частоколом отчуждения – от грубых неучей и графоманов. В этот круг и вломился Гена. Васильева он обвинил в мелкобуржуазных настроениях. До сих пор не могу понять, что это значит: «мелкобуржуазное настроение». Раньше полагал, что это когда хочется денег, но мало. Определение-то было гнилое, лет сорок назад опасное, но Васильев от «гонений» только прибавил в популярности и расцвел, как Пушкин в ссылке, а от Гены молодые писатели потребовали доказательств его собственной гениальности. Он не испугался и на одном из собраний ЛИТОЖа прочитал громко и бодро, как и полагается пролетарскому писателю, коротенький рассказ: про то, как печальный молодой человек, потеряв, так сказать, в мелких (или мелко-

буржуазных?) заботах социальную активность, уныло шел по Невскому проспекту и вдруг (под аркой генерального штаба, помнится) увидел сияющего парня. «Почему ты радуешься?» – спросил печальный молодой человек. Оказалось, что сияющий парень нашел свою звезду. И теперь ему все было по фигу. «И ты обязательно найдешь свою, – радостно сообщил он. – Только чаще смотри в небо! У каждого есть своя звезда! Надо только верить!» Кажется, на этом все. Кажется, печальному парню это помогло. И он даже посмотрел в пасмурное небо, где пряталась в глубине Вселенной его заветная звезда, и в его сердце вошла надежда. Вообще-то, если вдуматься, рассказ Гены был исполнен глубокого метафизического смысла, но юные поклонники Васильева его грубо высмеяли. Гена сначала отбивался как бык от стаи шавок, но потом взревел и выскочил из аудитории, хлопнув дверью.

На этом литературные амбиции Гены иссякли.

Была на курсе еще одна чокнутая «большевичка» Даша Романова. Тоже горбоносая, тоже худая, нервная, порывистая, она ходила на первом курсе в шикарном кожаном пиджаке и чем-то напоминала мне Аллу Демидову из фильма «Служили два товарища». Кажется, дед ее лично знал товарища Дзержинского. Даша тоже играла в пламенную революционерку. Мне сначала казалось неизбежным их слияние с Геней на единой идеологической базе, но проходили недели, месяцы, а Гена сражался с мелкобуржуазной действительностью в одиночку, и в одиночку билась с подлой, мещанской

реальностью Даша. Похоже вместе им было скучно. Некого было перевоспитывать, не с кем бороться.

Гена поначалу пугал меня, а Даша вызывала болезненное любопытство и я даже попытался сблизиться с нею. Я никак не мог поверить, что можно вот так всерьез верить в марксистские бредни. Несколько раз я провожал ее до метро после занятий. Вглядываясь сбоку в сухие аскетические черты ее лица, я холодел от мысли, что у этой кожаной куклы тоже есть половые органы и кому-то достанется счастье их увидеть и использовать по назначению. Кто будет этот герой? Комиссары в пыльных шлемах вымерли уже давно, нынешние комсомольские вожаки были для такого подвига жидковаты. Боюсь, что мое болезненное влечение к Даше было сродни глубоко запрятанному и замаскированному мазохизму. Меня уже в юности привлекали властные женщины, которые не стеснялись и не скрывали свое превосходство над мужчинами. Иногда, особенно в кровати, ночью, я представлял очень живо, как стою перед Дашей на коленях и вымаливаю прощение, а она, непременно с маузером в правой руке, левой медленно расстегивает пуговицы своей кожанки и кладет свою ножку в черном сапоге на мое плечо. Бр-р-р... Чур меня! Чур!

Как-то весной я подловил ее после занятий в пустой аудитории и попытался выбить искру из этого куска кремня своим фальшивым комсомольским энтузиазмом.

– Тебе не кажется, что наш актив больше думает о кра-

сивых отчетах, чем о деле? Нет живой работы. Нас заедает формализм!

Слова были из какого-то фильма. И сказаны были с нужным волнением в голосе. Но Дашу просто так было не пробить. Она пытливо посмотрела на меня. У меня уже сложилась репутация на курсе, которая не вязалась с этими пламенными словами.

– А что ты – ты что предлагаешь?

– Пока не знаю. Может быть, субботник придумать? Или поход по местам боевой славы? С ночевками. Прямо в лесу!

– Миша, а где твой комсомольский значок? Почему не носишь? А кто это?

Она указала пальцем на Ричи Блэкмора.

– Так... мужик какой-то. Дома значок. Берегу.

– Береги честь смолоду! – усмехнулась она и ткнула в лицо Ричи указательным пальцем. – Завтра бюро. Не забудь.

Она быстро удалилась, а я остался стоять в смущении, как будто меня только что разоблачили.

Даша и Гена были динозавры, пережившие свое время. Чем-то они напоминали меня самого десятилетней давности: тимуровский отряд и прочее. Так же пугали всех, так же всем мешали, так же были не нужны.

Основную часть комсомольского актива составляли те, кто навели на меня тоску. Юные старики, бойкие зануды, тоскливые энтузиасты, неутомимые болтуны, без единой собственной мысли в голове, с готовыми «правильными» от-

ветами на все вопросы, на все сомнения, включая «вечные», они обожали комсомольские собрания, митинги, все эти бюро, пленумы, комитеты, где непременно что-то обсуждали, постановляли, голосовали, принимали, с чем-то боролись и что-то поддерживали, а потом торжественно заносили все это в протокол... Я сам виноват, сам окунулся во все это дерьмо, когда на собрании первокурсников выдвинул себя в члены бюро – школьный наивный карьеризм еще не угас во мне, я привык карабкаться вверх сразу с первой ступени. Меня избрали исключительно за смелость и нахальство. Никто, разумеется, меня толком не знал, поверили на слово, что я все силы и опыт, и так далее...

Как самому широкоплечему в бюро, мне поручили возглавить ДНД, а потом и оперотряд всего факультета. Должность избавляла меня от бумажной рутины и даже придавала некий романтический ореол моей личности. Раза два в месяц я собирал вечером свой маленький отряд возле метро Василеостровская, мы выпивали в парадной по стакану портвейна и шли в райотдел милиции, где нам прикрепляли офицера и поручали блюсти порядок в ДК им. Кирова и вокруг него. Если офицера в наличии не было, мы шли самостоятельно, но уже добавив по дороге еще по стакану, а то и по два. Однажды я увлекся и выпил стакана четыре «Агдама» без закуски. В ДК я ввалился, пошатываясь. Знакомый лейтенант из местного отдела милиции некоторое время хмуро присматривался ко мне, потом отвел в сторону и

сказал: «Проваливай домой, пока самого не повязали».

Наивный детский конформизм, который выручал меня в школе, в университете оказался несостоятельным. Играть по-взрослому я не умел, и получал тычки справа и слева. В школе, сделав оплошность, я получал мягкий шлепок по попе, в университете мог запросто получить от действительности пинок под зад кованым ботинком.

В связи с этим не могу не вспомнить поучительную историю.

В моей группе учился парень лет уже двадцати с гаком, успевший проработать в газете своего родного Ельца чуть ли не пять лет. Его звали Юрой. Фанатом своего городка он был законченным. Обожал и певицу Ольгу Воронец. Любимая его поговорка была: «Тула, Суздаль и Елец любят Ольгу Воронец!» Был он высок, худ, с «гоголевским» длинным носом, нескладен, и походил на растрепанную тощую рептилию. К тому же он был несколько косноязычным от природы и чуть заикался. Его бесхитрость обезоруживала, простота часто шокировала. Он мог запросто в коридоре взять за пуговицу пиджака изумленного профессора и отвинчивая ее, весело прогудеть ему в лицо: «Так вот ты какой!»

Одним словом – малохольный. Как всякому юродивому на Руси, ему многое сходило с рук. Он мог позволить себе на семинарских занятиях критиковать Брежнева. Сталина он называл открыто сатрапом. Коллективизацию считал злом. Несколько раз преподаватель «Истории КПСС» в зва-

нии майора, честный слуга режима, по-дружески предостерегал Юру: «Не зарывайся». Тщетно. Юра продолжал вещать, как оракул! Кончилось все тем, что однажды меня вызвал к себе в кабинет «на беседу» молодой преподаватель (не буду вспоминать его фамилию) и в лоб спросил, не замечал ли я, что Спиридонов произносит антисоветские речи.

– Не слышал.

– Может быть, он анекдоты антисоветские рассказывал?

– Я не слышал.

– Да он открыто высказывается на семинарах. Как же не слышал?

– Так ведь это же Юра! Он всегда такой, что вы! Он же слегка... чокнутый. Безобидный. И свой!

– Свой? Вы приглядывайте за ним. Это же ваш товарищ, а позволяет себе... Не маленький, должен понимать, что факультет готовит будущих идеологических работников! И мы не позволим... Нужно будет сказать, что анекдоты антисоветские он рассказывал, понятно?

– Да не рассказывал! Честно! Я ни разу не слышал!

Это было мое первое серьезное столкновение со взрослым миром. Я не возмутился и даже не испугался. Там, в загадочных сферах, где обитали Штирлицы, Йоганы Вайсы и полковники Зорины, было видней, как надо. Юрка переборщил, вот и все. Видимо, так же сказали и другие «свидетели». Да и зубы у волкодава по имени КГБ в конце 70-х уже поистерлись – Юрку оставили в покое и он благополучно окончил

университет.

Уже в перестройку я узнал кто именно на нашем курсе «стучал». Это были рабфаковцы, приятные веселые ребята, которые неплохо устроились, окончив учебу, по распределению. Разумеется, я сразу стал припоминать, не болтал ли лишнего, общаясь с ними; вспоминал, как они себя вели, не было ли в них лишнего подозрительного любопытства, подлых наклонностей – нет, такие же, как все. Доброжелательные. Симпатичные. Возможно, меня и моих друзей спасало то, что мы с рабфаковцами были разделены незримой, но строгой чертой моральной и интеллектуальной сегрегации и практически не смешивались.

Не могу не вспомнить, заканчивая о Юрке. В конце концов к нему и к его выходкам привыкли. По окончании университета он женился на однокурснице, осетинке, и был счастлив в браке. Уже будучи отцом троих детей, в нулевые годы, Юра погиб, спасая в пожаре задыхающихся людей. Царствие тебе Небесное, Юрка Спиридонов! Хороших сынов родит Елецкая земля.

Глава 29. Новые друзья

Юность – последний призывной возраст для настоящей дружбы. Университет подарил мне двух друзей. Оба были гениями, но меня это не смущало. Я и сам тогда присматривался к Нобелевской премии. В 70-е годы в СССР гениев вообще было хоть пруд пруди. Особенно среди поэтов и писателей. Как правило, они были небриты и нетрезвы, нелюдимы и грубоваты, смотрели исподлобья и дерзили невпопад, но это непризнанные. Успешные носили модные пиджаки и излучали уверенность в завтрашнем дне. Непризнанные были бедны, но горды, как Люциферы. Часто их никто не читал, но в этом и не было надобности. И так видно было, что человек зашиб много умом, и таланта могучего, особенно в сильном подпитии, когда начинает заговариваться. Именитые собирали концертные залы, непризнанные – пустые бутылки, но в табели о рангах непризнанный сидел на Олимпе, а признанные копошились внизу, среди себе подобных

Я ничего не имел против того, чтобы стать именитым, пока не встретил своих новых друзей. Андрей Бычков был типичным гением. Если бы гениальность излучала электромагнитные волны, все лампочки в аудитории лопнули бы с искрами и дымом, когда он, сложив на груди руки, включал свои мозги. Славик Федоров был законченный эстет, кото-

рого коробила даже выбоина на асфальте. У него в родословной значился некий Нарышкин, быть может, даже из тех самых, и Славка покорно и красиво влачил существование разорившегося аристократа. Иногда в студенческой столовой он вдруг выуживал вилкой из тарелки засохшую макаронину и брезгливо отталкивал тарелку.

– Давай доем? – предлагал я пока он не передумал.

Славка страдальчески закрывал глаза. Он не переносил грубости и его невозможно было соблазнить распитием спиртных напитков из майонезной банки в общественных местах.

Я был в этой компании в лучшем случае Мартином Иде-ном, но чаще просто гопником с улицы Народной. И тем не менее мы сошлись быстро и накрепко! На курсе учились больше ста человек со всего света, но мы, как путешественники в стране варваров, сразу увидели друг друга, обнялись и больше не расставались.

Андрюха и Славик поступали на факультет из тех же соображений, что и я – иного пути к писательскому будущему мы не знали.

Андрюха был таким западником, которого могла родить только суровая советская земля. Он знал наперечет все английские рок-группы, читал только европейских писателей и слушал только Севу Новгородцева по «Би-Би-Си» и концерт по заявкам по «Голосу Америки». Советский Союз он называл «Шоблой-Еблой», а Леонида Ильича Брежнева «старым

пидором». Комсомольские активисты на курсе смотрели на него с ужасом и изумлением. Он же на них не смотрел вовсе и до последнего курса вряд ли знал всех по именам.

В Советском Союзе, считал Андре, ничего хорошего не было, и быть не могло. В принципе.

– Ну, хорошо, – говорил он мне в «Петрополе» после третьей кружки пива, – назови мне хоть что-то хорошее в СССР. Вот мы пьем пиво – говно. Чешское лучше. Сравни наши джинсы и американские. Нужны комментарии? Наши ВИА и английские группешники... смешно? Да куда ни плюнь... А литература? А кино? Смешно сравнивать.

Однажды чуть не случилась драка. С нами за столиком в пивном баре сидел пожилой майор танковых войск. Он подсел к нам с тремя кружками пива, тарелкой сухой закуски и ароматом горюче-смазочных материалов. То, что он законченный мудака, майор понял сразу и без слов: Андрюха одним взглядом мог это объяснить человеку так убедительно, что слова были лишними.

Придраться было не к чему, мы просто говорили с Андре о литературе и английской рок-музыке, но буквально каждое слово майор принимал на свой счет и в конце концов у него на счету накопилась изрядная сумма.

– Так-так, – наконец молвил он, краснея не только лицом, но и загорелой шеей, и громко стукнул кружкой по столу – Значит у них там... шигли-мыгли, а у нас все плохо? Так?

Андрюха посмотрел на него, как на забавного зверка, ко-

торый, оказывается, умел говорить. Это у него получалось просто убийственно.

– Простите, что вы сказали?

– Я сказал, – отчетливо и властно произнес майор, – что некоторые очень любят заграничное, а сало русское едят!

Андрюха посмотрел в свою тарелку, на дне которой лежал кусочек копченой скумбрии, потом на пунцового майора и пожал плечами.

– Какое сало? Не понимаю. Вы опоздали. Сало тут не подают с 17-го года.

– Что ты имеешь против 17-го года, щенок? Да если бы не 17-й...

– Вы бы кушали сало вволю.

– Ох, попадешься ты мне в армии, щенок. Я научу тебя уважать советскую власть!

Самое печальное – майор говорил с искренней ненавистью. Он не злился. Он натурально ненавидел. Седой мужик, отец семейства, заслуженный офицер, не позабытый щедрой дланью государства, он готов был расстрелять Андрея за... что? Вряд ли он сам смог бы это внятно объяснить. «За советскую власть!» Сколько раз произносились в стране эти слова с пафосом или гневом, прежде чем палец нажимал на спусковой крючок.

Всю жизнь майора учили ненавидеть врагов и любить советскую власть. Ненавидеть оказалось проще, а советская власть в любви не нуждалась. Ей нужна была только покор-

НОСТЬ.

– Слушай, он ведь мог в драку полезть, – сказал я Андрею, когда мы выскочили в ноябрьские промозглые сумерки из теплого зала, где мрачный майор остался один на один со своей кружкой и тяжкими мыслями.

– О чем ты? Этот мудака? Да хрен с ним. Ты слышал «Затоптанные под ногами»? Атасная вещь! Я в последнее время тащусь от «Цеппелинов», даже больше, чем от «Паплов». А ты?

– А я бы сейчас е...нул полстакана.

Андрюха писал прозу и стихи. Проза была откровенно порнографической, стихи матерными, но в них была сила неукротимого, бунтарского духа юного советского варвара, который взломал клетку и возликовал, убедившись, что на воле лучше. Теперь уже никто не смог бы загнать его обратно.

Славик был добрее и покладистей. В пятом классе он начал писать поэму в пяти частях о доблестном рыцаре Артуре и обещал закончить ее к концу второго курса. Если к концу XX века в мировой литературе еще и остались представители изящной словесности, то Славик безусловно принадлежал к числу первых. Его слог напоминал восточные кружева. Некоторые предложения были столь вычурны и сложны, что восход мысли терялся в фимиаме забвения раньше, чем приходил освежающий закат. Андре говорил, что Славик мастер формы, я просто смотрел на друга с уважением.

Мы со Славкой любили революционные творения Андрюхи больше, чем свои собственные.

Совокупились мы в крепкой дружбе сразу и навсегда. Не буду даже гадать – почему. Дружба – самая загадочная вещь на земле. В любви хотя бы присутствует сексуальный компонент, который многое объясняет, в дружбе зачастую отсутствует все, что должно бы способствовать сближению, а люди все равно дружат. Часто всю жизнь. Причем касается это в первую очередь мужчин. Интересно.

Другая загадка – откуда мы такие взялись? Мои родители, как я уже говорил, всегда верили высокому начальству и меня приучали с детства к тому, что начальству виднее. Славкин отец был даже идейным комсомольцем в юности, и порывался уехать в далекие, полярные «ебеня», чтобы оттуда начать свою славную трудовую биографию. Потом, когда комсомольский угар прошел, он закончил юридический факультет ЛГУ и теперь преподавал право в институте. У них в квартире я обнаружил коллекцию пластинок с революционными песнями хора старых большевиков. К моему изумлению, они лежали вперемешку с альбомом Алана Парсонса. Славка, всегда далекий от рок-музыки, признался, что время от времени слушает старых большевиков вместе с бабушкой и отцом (мама жила отдельно).

Андрюхины родители были типичными представителями новой советской интеллигенции. Отец – начальник цеха на заводе, мать, врач, работала в поликлинике. Он был в семье

единственным, любимым и неповторимым.

Мы вообще были обычными-типичными. Никаких диссидентов! Никаких родственников за границей! Никаких евреев в Израиле! Никаких мучеников совести в лагерях и застенках психушек! У всех в анамнезе чистые здоровые советское детство, отрочество и юность. И вот результат. Как-то в пылком разговоре в пивном баре, я воскликнул, вполне искренне:

– Да если бы пришли американцы – я первый бросился бы им на шею!

Много будет сказано слов после крушения Советского Союза о том, почему это случилось. Называют предателей из числа высших чиновников, включая Горбачева, Ельцина, Яковлева, называют экономические причины, называют политические причины, а, по-моему, все дело в том, что мы с Андрюхой и Славкой подросли, а вместе с нами подросли и возмужали миллионы соотечественников одной группы крови. И когда раздался рев Иерихонской трубы и стены крепости под названием Советская империя стали рушиться, мы ломанулись вон и ничто уже не способно было нас остановить. Вернуться в клетку? На фиг, на фиг! В джунглях страшно? Пусть! Голодно? Пусть!! Зябко? Пусть, и пошли вы в жопу со своим социалистическим раем, со своим комфортабельным концлагерем, со своими лозунгами и съездами! На свободе лучше!

И все-таки, откуда мы появились, кто сделал нас такими?

Думаю, ответ простой. Социализм и сделал. Хорошо сделал.
Гораздо лучше, чем научился делать автомобили.

Глава 30. Женский вопрос

Если отбросить всякую идеологическую дребедень, первый курс был волшебным! После школы, где у меня был расписан каждый день до минуты (!) это был санаторий. Домашних заданий не было, математики и физики тоже. Были новые чудесные друзья, загадочные иностранные студенты, интересные предметы, а главное – волшебный статус студента ЛГУ. На Народной даже не верили, пришлось показывать всем синее удостоверение. Да я сам себе еще не верил. Это было какое-то чудесное превращение гопника в волшебного принца. Девчонки, которые еще накануне казались недоступными, стали некрасивыми и обыкновенными. Отныне меня ждала какая-то необыкновенная любовь с необыкновенной девушкой из необыкновенной семьи. Возможно, даже заграничной. В деревне, куда я наведалься после экзаменов на три дня, девчонки поглядывали на меня, как на оторванный сладкий кусок, который прошлым летом не каждая стала бы и есть. Теперь у меня была новая кличка – Студент, взамен Пушкина. Тетка теперь боялась, как бы меня не уволокла в семейное гнездо какая-нибудь хитрая лиса из числа тех, которые подкарауливали глупых городских птенчиков. На обратном пути я познакомился в автобусе дальнего следования с девушкой, о которой месяц назад мог только меч-

тать. Мы сидели рядом. Весь автобус спал. Тогда я предложил ей вздремнуть у себя на плече. Месяц назад, уверен, девушка бы отказалась. Теперь, когда я просто прыскал феромонами, как возбужденный скунс своими вонючими секретами, она лишь изумленно глянула мне в глаза и начала мостить на плече куртку. Близилась полночь. Свет в салоне погас. За окном в чернильных сумерках мелькали черные контуры деревьев.

Душистая девичья голова на плече тяжелела-тяжелела и наконец сползла мне на грудь, и я тайком целовал волосы, пахнувшие хвойным шампунем, наливаясь жгучей мужской силой, целовал все сильнее и настойчивей, пока она не подняла лицо и сонно пробормотала:

– Ты не спишь?

И опять прильнула головой к груди, только теперь наши ладони встретились и поведали о своих желаниях гораздо больше, чем наши губы.

На площади Победы мы вышли из автобуса, взявшись за руки. Я считаю, что самая восхитительная минута в отношениях мужчины и женщины, когда из абсолютно незнакомых людей вы волшебным образом превращаетесь еще не в любовников и не в друзей, а в званых гостей. Словно вам распахнули двери в будуар, и вы с любопытством просовываете голову и оглядываетесь без страха, но с трепетом – что же это такое тут у нее?

Таня была по-настоящему красива, знала об этом и нико-

гда бы не доверилась мне так быстро и естественно, если бы я не излучал в ту пору мощные флюиды успешного человека, который рванул к вершине славы, и ничто не могло его остановить.

Уже на втором свидании я признался ей, что стану писателем и не просто писателем, но Нобелевским лауреатом, и Татьяна приняла это с восторгом.

– Ты будешь писать, а я буду варить тебе суп с фрикадельками и жарить блины!

Меня немножко покоробил этот гастрономический подтекст нашего счастливого будущего, но надо было понимать, что Таня училась в торговом техникуме и это налагало на ее мировоззрение специфический отпечаток.

Наша выдуманная любовь, чуть затеплившись, погасла быстро. Причины были очевидны.

Мы были одногодками, но Таня была гораздо взрослее меня. Жила она в общежитии, сама была родом из Куйбышева и очень хотела замуж. Я же не хотел жениться категорически. Чувствовалось, что романтическими ахами и вздохами, гуляньем под луной и сексом переплетенных потных ладоней в кинотеатрах Таня была сыта по горло. Ей хотелось встать у плиты в белом переднике на ленинградской кухне и нажарить мужу вкусных оладушек, а потом, проводив его на учебу, поглядеть перед зеркалом насколько округлился ее милый животик. Если ради этого надо было потерпеть некоторые наивные забавы супруга и терпеливо послушать пер-

вые главы его будущего гениального романа – что ж, семейное счастье требует жертв, можно и послушать, подавляя зевоту и поглаживая животик. Ничего страшного. Родится бэби, и забавы уйдут в прошлое. Начнется нормальная, ровная и прямая, как узкоколейка, советская жизнь.

Можно ли было упрекнуть Таню за эти желания? Нет, конечно. Но разве можно было упрекнуть меня за то, что я в свои 17 хотел жизни необыкновенной?

Быть может, если бы она не торопилась и подольше поиграла со мной в романтику, последствия были бы серьезней, но, к счастью, кто-то до меня напрочь отбил у нее все эти детские глупости, и она пошла на штурм с решительностью будущей заведующей заводской столовой. Я струсил.

Мы пока еще только целовались, но по тому, как она настойчиво просовывала в мой рот свой язык, я догадывался, что она совсем не против отдать и самое драгоценное, что у нее есть. Отдать было негде. В моей квартире постоянно были родители, в общежитии, кроме нее, в комнате жили еще три девчонки. Оставалась – как там в фильме? – одна дорога: в ЗАГС. Невеста была не против, мои родители тоже, а вот жених...

Жених струсил и, как полагается типичному советскому инфантильному мальчику, стал прятаться от проблемы, то есть от невесты. Я не приходил на свидание, я не отвечал на звонки, я боялся решительного объяснения. К счастью, Таня была не только умна, но и благородна. К тому же красива, а

на мне свет клином не сошелся. Она просто ушла, написав мне на прощание сдержанно-сухое письмо.

Моя мама была разочарована. Она еще долго любила повторять: «А красивая-то какая! Как актриса!»

Первый семестр пролетел, что называется, со свистом. Учиться было легко. После моих запредельных школьных нагрузок вкупе со спортивными нагрузками в ДЮСШа, студенческая жизнь располагала к веселой праздности. Пиво в «Петрополе» лилось рекой, умные разговоры не умолкали. У нашей троицы был свой любимый столик возле окна, за которым стояла неприступная стена из красного кирпича – Андре тут же дал ей название «Стена безысходности». Не знаю, насколько много было искренности в Андриюхиных взглядах на жизнь, но они были безысходны всегда, даже когда в наших жилах ликовала юная горячая кровь, а юношеские мечты, казалось, только и ждали, когда благосклонная судьба поднесет спичку, чтобы вспыхнуть ярким пламенем энтузиазма и надежды.

Но в ту пору это было красиво. Красиво было ходить по факультету с отрешенно-брезгливым лицом и наблюдать за жизнью насекомых с высоты птичьего полета. Красиво было долго молчать, глядя в пивную кружку, а потом сардонически засмеяться, ничего не объясняя, потому что и так было ясно, о чем смех: о нашей убогой действительности, разумеется. Красиво было скучать посреди веселья, читать в коридоре стихи Верлена, писать на лекции по научному ате-

изму свои собственные, исполненные черной меланхолии, и тут же уничтожать их, изорвав листок в мелкие кусочки. Было ли это у Андре позерство, пустое кривлянье на публику? Только отчасти. И в гораздо меньшей степени, чем у меня.

Реальный мир Андре действительно презирал, а я лишь делал вид, и делал порой весьма неумно. И все это под влиянием своего друга, авторитет которого в нашей троице был непререкаем.

В сущности, ну какой из меня был Байрон? Я любил жизнь, любил выпить, подраться, посмеяться, вкусно поесть, ходил на танцы по субботам в Дом культуры на Обуховской стороне. Я хотел стать известным и любимым, богатым и влиятельным. А вынужден был притворяться меланхоликом и изгнанником. Впрочем, не всегда.

Ветхий Иванов, дитя уютного школьного конформизма, еще был жив во мне и просил кушать. Тогда я бегал по этажам со своей белозубой улыбкой, пытаюсь донести до каждого, что могу и хочу быть полезным членом коллектива, что я свой. Свой, комсомольский! Брался за какие-то пустяковые комсомольские поручения, горячо и как бы выстрадано выступал на собраниях, спорил в перерывах, как организовать субботник... Потом пил в «Петрополе» пиво, разбавленное портвейном, кружка за кружкой, и объяснял случайному собутыльнику, почему хочу эмигрировать в Америку.

Иногда я готов был даже полюбить проклятую советскую действительность и простить ей все грехи, но, когда она рас-

пахивала мне свои объятия, я коченел от отвращения и страха. Я был чужой. Чего уж там. Таких, сомневающих и слабых, изображали в сталинских фильмах про вредителей и их пособниках, таких изобличал пролетарский поэт Бездомный в «Мастере и Маргарите»: «Взвейтесь, да развейтесь, а вы посмотрите, что у него там внутри! Ахнете!»

Андре было проще. Его честолюбие было непомерным и советские подачки ему были не нужны. Он обитал в астральных мирах среди гениев, где ему было комфортно. Заигрывать с комсомольцами он бы не стал, потому что не смог бы. Он отдавал реальности лишь самое необходимое, а к остальному путь был закрыт даже для родителей. Код доступа имели мы со Славкой, да еще двое давних школьных друзей.

Я боялся всеобщего отчуждения, Андре приветствовал его. Я страдал, когда меланхолия наваливалась на меня, Андре, казалось, находил в ней утешение. Я всем доказывал, что я умный. Ум вообще был моей религией. Андре ничего никому не доказывал, потому как некому было доказывать.

На первом курсе преподавательница по стилистике дала нам задание написать «контур» или, проще говоря, рассказ. Поскольку преподавательница была молодая и красивая, я постарался. Мой рассказ был о несчастной любви. С необходимыми трагизмами, психологизмами, реализмами и рефлексией. Рассказ произвел сильное впечатление, особенно на фоне незамысловатых историй про комсомольских вожаков, которые то задавались сверх меры, то наоборот сомне-

вались, что способны на подвиг.

И тут – вот оно! – взошло солнце русской словесности!

Неподражаемый Андрияша написал исповедь. И какую! Зародыша в утробе матери. Основная мысль – зародышу не хочется вылезать в жестокий мир, где его ждут преступники с ножами, воры и алкаши, ложь и пошлость, а хочется ему остаться в теплой и покойной утробе матери навсегда.

На минуточку, 1978 год! По телевизору «Вечный зов», в газетах Леонид Брежнев, в журналах ангелоподобный секретарь райкома спорит с богоподобным секретарем обкома о видах на урожай.

Рассказ выстрелил. О нем заговорили. Как-то вполголо-са. Как о Солженицыне. Вообще-то, выпирала антисоветчи-на: как это зародыш не хочет родиться в благословенный советский мир? Прозвучал даже приговор незабвенного Гены: «Сделать аборт и дело с концом!» Андрей принимал славу, как и положено гению: «Хулу и похвалу приемли равнодушно». Ведь он был ее достоин, как говорят нынче в рекламах.

Одно плохо, кроме советского искусства и литературы, Андрей презирал еще и советских женщин. Насколько я помню, в вымышленной Англии у него была вымышленная возлюбленная с чахоточным румянцем по имени Алиса. Конечно, какая-нибудь смешливая здоровая толстомясая Нюра с Тамбовщины рядом не стояла с Алисой, но Андре категорически отвергал всех. Позже я выяснил, что шансы имели: а) худенькие и темненькие, б) с болезненной бледностью, в)

с огромными глазами, в которых застыла печаль и скука, г) желательно с суицидальными наклонностями, д) со шрамами на запястьях от бритвы. Знание английского языка приветствовалось. Богатые родители тоже.

Опять же забегаю вперед, скажу – и такие встречались в Советском Союзе, и я имел даже несчастье знать одну из них довольно близко, но на нашем идеологическом курсе подобных не было. Их отстреливали еще на вступительных экзаменах, вероятно. К нам попадали только проверенные, морально стойкие, с явными признаками асексуальности или даже откровенной фригидности. Были, правда, две пухленькие еврейки с завиточками на висках, Марина и Софья, которые с трудом топили свой темперамент в учебе и общественной работе. Когда Марина в аудитории склонялась передо мной, опираясь локтями на стол и выставив свой зад, я чувствовал, как встают дыбом волоски на моей коже и больно становится в трусах. Выпрямившись и оглянувшись, Марина как бы спрашивала: «Ну и долго мы еще будем му-му... валять? Пора бы уж очнуться».

Я, быть может, и очнулся бы, но Андрей был категорически против. Я потерял бы друга, если бы окунулся в простой советский блуд. Влюбиться в однокурсницу? А потом поделиться своими чувствами? Это было так же нелепо, как если бы я стал читать в «Петрополе» вслух «Целину» Брежнева.

Со временем я научился обходить запреты, со временем сам Андрей смягчил свой гордый нрав, но кое-что оста-

лось. Его по-прежнему интересовали только болезненно-худые брюнетки с депрессивными наклонностями. Одна из главных любовей его жизни впервые отдалась ему на Смоленском кладбище, прямо в склепе, да еще и в пасмурный день в ноябре. После чего, натянув трусы, они заговорили о совместном уходе из жизни. Обсуждался вариант с ядом. Я не знаю, насколько это было серьезно, но мухоморов в ноябре было уже не найти, а цианистый калий был в дефиците, поэтому акт самоубийства был отложен на неопределенное время. А потом пришла весна, выглянуло из-за туч теплое солнце и молодые уехали отдыхать в Литву. Там, на озере, они приняли решение продолжить жить. Правда, не совместно, слава Богу, поскольку это было чревато. Родители были не против.

Что это? Позерство, ставшее наваждением для целого поколения интеллектуалов в нашей стране? В России позеры всегда были в цене. Недаром перестройка родила бессмертное: «Понты дороже денег!» Еще Герцен подмечал эту нашу национальную черту – стремление выказываться. Казалось бы, князю Голицыну нет нужды самоутверждаться перед кем бы то ни было. Богат, знатен, красив. И однако же перед английским лордом этот русский барин зачем-то играет в либерала. Чтоб потом, где-то, когда-то, англичанин вспомнил: «Князь Голицын – виг! Виг в душе!»

В «застойные» годы советский честолюбец помирал от бесконечных унижений и все силы своего воображения об-

рашал на то, чтобы выделиться из толпы любимым способом. Отсюда – великое множество непризнанных поэтов, писателей, художников, философов... просто умников, которые «поняли все» и оттого ничего не делали. Художественные натуры, наделенные робким сердцем и повышенной чувствительностью, страдали впереди всех. Трагизм их положения можно понять, только приняв во внимание, насколько грубы порой были нравы окружающих, насколько трудно было спрятаться на этой унылой равнине, где все продувалось холодными ветрами, все просматривалось бдительным государственным оком.

Интересно распорядилась жизнь. Андрей женился в 87-м. Когда-то в университете я был уверен, что его избранницей будет худосочная выпускница английского отделения филфака. Разумеется, худая, разумеется, бледная, разумеется, депрессивная, разумеется, утонченная, умная и надменная. У нее на запястье – шрамы после вскрытия вен. У нее в сердце шрамы после столкновения с грубой реальностью. У нее в дамской сумочке – изящный томик сонетов Шекспира, она может полдня проторчать в Эрмитаже перед картиной Рубенса. Она утром пьет кофе с круассаном, а вечером идет на модный спектакль. После оргазма они умиротворенно беседуют с Андреем об особенностях ранней прозы Оскара Уайльда...

Слава Богу – не сбылось! Нашла Андрюху простая русская крепкая баба. Встряхнула, очистила от университет-

ской пыли, напялила праздничный костюм-тройку и отволокла в ЗАГС, а потом – все как у людей! – в ресторан в гостинице Пулковская. Там гости, как и положено, напились, там Славка чуть не подклеил проститутку за соседним столиком, там кричали «горько!», там плакали родители, там тесть и теща обнимали «сынка» и обещали помочь встать на ноги...

Глава 31. Советская свадьба

Я перевидал на своем веку множество советских свадеб и могу заверить, что ничего более пошлого и отвратительного, чем этот дикий обряд, в мире не существует. За годы советской власти русская свадьба переродилась в какую-то постыдную клоунаду. В шумную пьяную оргию, где причудливым образом совмещались псевдонародные мотивы времен Рюрика и большевистский модерн.

Массовики-затейники наспех придумывали новые обряды. Бородатых попов заменили строгими тетками с лентами через плечо, церковное благолепие – гражданским пафосом. В деревнях молодые после ЗАГСА ехали к ближайшему памятнику Вождю и, сделавшись на несколько минут серьезными и задумчивыми, возлагали цветы на бетонный постамент. Вертлявый молодой человек снимал все это на кинокамеру. Вождь указывал гипсовой рукой направление дальнейшего движения, и вся кавалькада, начиная с вальяжных «Волг» и кончая драными мотоциклами, срывалась с места. Начиналась попойка, которая продолжалась два, а то и три дня. Массовик-затейник поначалу пытался рулить застольем, придумывая всякие смешные штуки – конкурсы и розыгрыши, сыпал идейно-правильными шуточками-прибаутками, но вскоре его поглощала пьяная стихия и он уже никому не мешал.

Хуже, когда тамадой была женщина. Эта перекрикивала всех и надоедала, пока самые стойкие не падали лицом в тарелки.

Самые забористые истории происходили, когда случалась смычка города и деревни. Рассаживались они за столом всегда напротив друг друга. Затаенная неприязнь деревенских к городским поначалу не была видна. Городские привычно и беззлобно подшучивали над деревней, не зная страха и без всякого почтения, деревенские отмалчивались, играя желваками и крепко сжимая вилки, которыми неумело тыкали во что придется на столе, включая хлеб, яблоки и даже конфеты. Но водка отпускала тормоза, униженные и оскорбленные спины распрямлялись, в глазах вспыхивал огонь, который предвещал вечный русский бунт, бессмысленный и беспощадный, и бунт-таки происходил.

– А ты пробовал, сам-то, – вдруг орал могучий парубок с огромным пятном пота на спине, поднявшись и раскинув руки с ножом и вилкой, – в мороз под сорок завести сто тридцатый утром?!

Что оставалось городскому? Жалко проблеять в ответ:

– А ты пробовал после заседания кафедры, где тебе вынесли мозг, переписать готовую диссертацию?

Слишком много иностранных слов. Неубедительно. Поэтому городской просто пытался уйти от ответа. Юлил. Деревенские не любили таких. Да и других тоже, если честно. Скорее всего, не любили они себя и свою жизнь. Ну и получите, кто попал под раздачу.

Редко обходилось без драки, а то и поножовщины. Мне самому на одной свадьбе чуть не откусили палец. Женился мой корешок по улице Народной на дивчине из Западной Украины. Хохлы вели себя степенно, пили много, но закусывали салом, поэтому пьянели аккуратно. А вот нервный малый, дружка жениха, который подавленно молчал и копил в себе что-то мутное и злое, вдруг взбесился и начал оскорблять всех. Мужики очнулись, выволокли смутьяна на лестничную площадку, повалили. Я сел верхом и по доброте душевной стал урезонивать буяна, но он вдруг вцепился зубами мне в палец, как бультерьер – намертво!

– Игорь, Игореша, – уговаривал я его в ухо напряженным от дикой боли голосом, – отпусти, сынок, отпусти. Если не отпустишь – я выколю тебе глаза пальцем. Ты понял меня?

Игорь ерзал подо мной и мычал.

– Отпусти, яйца тебе оторву, падла!

Яйца сработали. Челюсти разомкнулись. Игорь зарыдал, его вытолкали этажом ниже, дали закурить. Я отправился в ванную комнату, чтоб смыть ядовитые слюны Игорька и, отворив дверь, увидел волосатую жопу Китыча. Вцепившись в плечи, он рычал и усердно всаживал какой-то болтающейся перед зеркалом кудлатой голове. Голова поднялась, и я узнал сестру жениха Аллу. Алла была не замужем, и они с Китом с самого утра переглядывались. И вот не утерпели. Увидел это безобразие не только я, но, к сожалению, и родители жениха. «Ах, какой же был скандал!» Кита хотели немедленно вы-

гнать, но Алла огромной веснушчатой грудью встала на защиту и его простили, только посадили влюбленных за стол в разные комнаты и приглядывали. Игорек после припадка успокоился и кимарил на лестнице, уткнув голову в колени. Меня приятно удивило, что хохлы не потеряли свою непроницаемую степенность. В их понимании все шло законным чередом.

– Та-а-а... какая свадьба без драки, – сказал, увидев мое расстроенное лицо, глава семейства – не обращай внимания, хлопче. А попробуй-ка лучше моей горилки. Специально берег для подходящего случая.

Я попробовал. Потом еще раз, и еще... Потом помню только как пытался на уличной скамейке засунуть руку какой-то тетке между ног. Она сопротивлялась и хихикала, потом ей надоело, и она распахнула ноги, но я уже забыл, что мне надо было...

На следующий день палец на моей руке чудовищно распух, и я боялся заражения крови. Игорек исчез. Китыч приперся, но не смел смотреть людям в глаза. Опохмелялись мужики тихо и виновато. Каждому было что вспомнить. Кто-то сильно наврал. Кто-то распускал непотребно руки. Оказывается, невесту вчера украли, да так удачно, что искали весь вечер, а нашли пьяную, за домом. Вместе с похитителями она отплясывала рок-н-рол под магнитофон. Жених чуть не зазвездил ей в ухо. Родственники-таки подрались на кухне, к счастью, без членовредительства. Китыч заснул за столом –

к огорчению Аллы, хохляцкая родня невесты ночью грянула украинские народные песни, переполошив весь дом...

Но вернемся к моему другу Андрюше. После свадьбы молодые переселились в квартиру супруги. Дал Бог ему прекрасную жену, самую подходящую его натуре. Начисто лишённая сентиментальной мечтательности, хваткая, жесткая, энергичная, она приняла скорбное служение супруга русской литературе с похвальным смирением и никогда не лезла в его творческие дела. Хуже было с тестем. Тесть был шофером. Его любимая поговорка была: «Хозяйство вести – не мудьями трясти». Крепкий был мужик, хозяйственный, к тому же коммунист. Андрюху он невзлюбил сразу. Тесть никак не мог взять в толк, как в одной с ним стране мог уродиться такой выродок. Газету «Правда» не читает, телевизор не смотрит, в глаза не смотрит, а если посмотрит, то хочется дать ему в рожу, и все пишет-пишет вечером что-то в толстой тетради... Несколько раз тесть пытался вызвать зятя на откровенный мужской разговор. Купил как-то по такому случаю бутылку коньяка, вспомнил, что к коньяку подаются лимоны; себе отрезал кусок свинины. Он вообще любил поиграть в простого русского мужика, хотя и был простым русским мужиком, только с партбилетом в кармане. Этот билет и сворачивал его рабоче-крестьянские мозги все время куда-то не туда.

– Ты мне скажи, – выдохнув после первых ста граммов коньяка восьми рублём за бутылку и закусив лимоном, про-

изнес он отечески, – вот ты журналист, а газету «Правда» не читаешь. Почему? Ты в коммунизм веришь?

– Не верю. – просто ответил Андрей, тоже закусив лимоном.

– Та-а-ак, – протянул тесть, – понятно.

Видно было, вспоминал Андрей, что ничего ему не понятно, но тесть настроился на какой-то особый, очень душевный проникновенный разговор: как в кино, когда старый рабочий вразумляет молодого. В таких случаях старый рабочий, скручивая негнущимися пальцами сигарку, вспоминал, как брал Перекоп или Кронштадт, или, на худой конец, видел самого Чапаева. Но тесть был слишком молод. Он даже не воевал, Чапаева видел только по телевизору, и иногда – чего уж там! – приносил с работы какие-то подозрительные тяжелые тюки, в которых что-то брэнчал. «В хозяйстве пригодится», – объяснял он.

Выпили еще. На этот раз тесть закусил свининой. Андрей обезоружил его своим признанием. Тогда он зашел с другого конца.

– Вот ты в своей газетке получаешь полтора ста рублей, так? Так. А я триста, да еще халтура. Делай выводы!

– Какие? – встрепенулся Андре.

– Переходи к нам в парк. Помогу. У нас многие шофера с высшим образованием и ничего. Не будешь дураком – станешь годам к сорока дальнбоем. Само-собой в партию вступишь.

– Я подумаю, – пообещал Андре.

Домой теперь он возвращался поздно. После работы заходил к школьному приятелю Сашке, который был на свадьбе свидетелем. Длинноволосый Сашка был законченным рокером. Кроме английской рок-музыки его не интересовало в жизни ни-че-го! Да и сама жизнь без рок-музыки не представляла для Сашки ничего интересного. Друзья наливали в приготовленные бокалы коктейль из ликера и водки и уходили из советской реальности часа на два. Андрей сильно подсел на «Лед Зеппелин», Сашка тащился от «Паплов» и «Пинк Флойд». Друзья почти не разговаривали. Общались в астрале. Наконец Андре тяжело поднимался из любимого кресла и стонал.

– Матка Боска! Иду на Голгофу. Читать «Правду» и смотреть телевизор.

Сашка открывал глаза и просил друга.

– погоди. Сейчас будет мой любимый проигрыш, Блэкмор, собака, что вытворяет...

Через год родился сын. Через два года, гуляя со мной по лесу, Андрей признался.

– Сегодня возьму у бати топор и зарублю его на хер. Все. С меня хватит. Вчера на кухне чуть не подрались. Кричал, что я не советский человек. Что будет писать на работу.

– Да врет он все.

– Не могу его видеть. Дышать с ним вместе не могу. Урод, каких свет не видывал!

Вообще-то так бывает: вроде бы и слабый человек, терпит-терпит, а потом берет утюг и разбивает всю свою жизнь вдребезги.

К счастью, тесть скоро помер.

Славик, добрый и покладистый эстет Славик, хвалился, что не женится, пока не опубликует свою поэму. А женился из нас первым. На его свадьбе в ресторане гостиницы «Европейская» какого-то шута нарядили попом, и «батюшка» обвенчал молодых настоящими наручниками, взятыми взаймы у милиционеров. Наручники щелкнули, символизируя прочность семейных уз, а ключа, чтоб их разомкнуть, конечно не оказалось. Забегали. Заспорили. Заругались. Невеста, красная от всеобщего внимания, едва не плакала. Шутка ли, в самом деле, даже в туалет не сходить! Славка стоически улыбался. Привели откуда-то слесаря и тот распилил цепи.

– Остальное потом. Завтра. Боюсь руку поранить.

Так до конца застолья молодые и просидели в разорванных цепях. Все от начала до конца было выдуманно, вычурно, фальшиво и отрежиссированно бездарным режиссером.

На второй день пили и ели в квартире. Я дважды засыпал, уронив голову на стол. Лапал соседку за коленку. Кричал «ура» молодым. Потом мою тушку отволокли на диван. Свадьба!

Забегая вперед – Славке с тестем тоже не повезло. Или тестю со Славкой – это как посмотреть. Тесть Славки тоже был простым русским мужиком, и он тоже, как и новая Ан-

дрюхина родня, был крепким хозяйственником. И он тоже не понимал, как можно что-то писать в тетрадь, не получая за это деньги. А Славка писал! И будучи инструктором райкома комсомола, и секретарем комсомола Печатного двора! Дурь, как определил тесть поначалу, не лечилась, не проходила! Возникла взаимная классово-ментальная неприязнь, которая переросла в взаимное презрение. «Слабак!» – решил тесть про зятя и при случае стал его шпынять. Случаем мог стать простой визит в гости. Славка, в отличие от Андрея, к жлобству был абсолютно не толерантен. Однажды, в гостях у тестюшки, выслушав злобные упреки в своей ничемности, он посреди ночи выскочил на улицу и пешком отправился домой. Навсегда.

А я навсегда невлюбил советскую свадьбу. Покойся с миром, выродок, порождение советского модерна и патриархального мракобесия. Чур тебе!

Глава 32. Пьянство

Зимнюю сессию я сдал на «хорошо» и «отлично». Славик тоже. По этому поводу мы с ним и еще одним сокурсником, Сергеем, решили гульнуть на даче Славкиного отца в Солнечном. Гуляли с размахом. Взяли шесть бутылок перцовой настойки и пива. Дача продувалась ледяными ветрами с залива, и в комнатах было сыро и холодно, но после четвертой бутылки нам и море было по колено, и в комнатах жарко. Славка начал читать стихи, вскочив на диван. Мне они показались настолько гениальными, что я рыдал и просил только еще и еще! Серега, почтенный отец семейства, отслуживший в армии, но с юной душой, вдруг признался, что тоже пишет прозу, про армию, и мы крикнули по этому поводу: «Ура!» Я поднял тост за гениев и потребовал от собутыльников поклясться, что мы никогда не свернем с пути, никогда не изменим святому призванию, никогда не опустимся в пошлую рутину мещанского существования.

– Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! – проревел я, вознеся стакан к потолку. – Пусть робкий пингвин прячет тело жирное в утесах! Мы будем летать выше облаков! А если солнце обожжет крылья, разобьемся об камни, но не сдадимся! Клянемся?!

– Клянемся! – торжественно вопили друзья.

– Славка! Друг! Дай мне слово, нет, поклянись, что к концу третьего, нет второго курса, ты напишешь поэму и опубликуешь ее в журнале «Наш современник»!

– Клянусь!

– Времени нет, друзья! Отсчет пошел! Часы тикают! Каждый час дорог! Сегодня вечером сажусь за роман. К черту рассказы! Трилогия! Чтоб все вздрогнули, мать-перемать!

– Тогда в четырех! – стукнул кулаком Серега.

– Что?

– В четырех частях. Как «Тихий Дон»! Про што будет?

– Про все! Хочу обобщить... ах ребята, если бы вы знали, сколько мыслей в голове!

Мысли путались, но сил было немеряно! Хотелось куда-нибудь бежать, драться, рвать рубаху на груди! Тогда я стал показывать мастер-класс карате и с разбегу бил в стены ногой, так что с полок посыпались книги, а с потолка известь. Друзья аплодировали. Но этого было мало. Чтоб не оставалось никаких сомнений, что мы начали новую необыкновенно-прекрасную жизнь, я предложил перейти на английский язык. Серега согласился, и мы до самого дома, изумляя пассажиров в электричке, говорили на каком-то чудовищном, праанглийском языке, вставляя в трудных местах грубые праславянские выражения и яростно жестикулируя.

Во дворе я добавил стакан портвейна и лез ко всем целоваться, а дворовые смеялись и называли меня «журналистом», а я любил всех. Китыч с трудом притащил меня до-

мой.

В безудержном пьянстве утопили клятвы и мечты миллионы. Пили задорно, пили лихо, пили вызывающе, пили по-черному, запоями, до чертиков, до полного коммунизма, на работе и после работы, по будням и по праздникам, за столом в ресторане и на скамейке в садике... Теперь модно стало ругать Горбачева за перегибы и вырубленные виноградники, но надо понимать, что страна ему досталась в стадии жестокого запоя и лечить ее нравами и лекциями о культуре потребления спиртных напитков было бесполезно.

В субботу вся мужская половина Народной собиралась вокруг трех пивных ларьков, из которых самым популярным был ларек на «кольце». Сотни полторы мужиков с бидонами и стаканами, красными носами и подбитыми глазами, авоськами с картошкой, которую безуспешно ждали дома, воблой, завернутой в газету и драгоценными шкаликами водки в карманах, стекались поутру в мычащее, кричащее, пыхтящее «Беломором» стадо, и в хорошую погоду газон вокруг ларька напоминал воспетую классиком Запорожскую Сечь. Все как у Гоголя: вот лежит под топодем, раскинув богатырские руки, обоссанный козак с откинутым чубом, вот пляшет чечетку под гармонь, обливаясь потом, гуляка, у которого остался рубль от вчерашней полочки и которому уже лучше не появляться в доме, вот степенные старейшины, столпившись вокруг пятилитрового бидона с пивом, обсасывают рыбы головы и обсуждают важные дела тихими голосами,

вот вертлявый Янкель смешит парубков своими ужимками, наваривши между прочим рублей полтора за пару американских джинсов... К обеду пиво заканчивалось и народное вече разбредалось по домам и скамейкам, за исключением тех, кто отсыпался на траве в жидкой тени тополей. Тополя были молодые, но уже чахлые, поскольку орошались ежедневно декалитрами ядовитой пивной мочи.

Праздник, потерявший конец свой, продолжался на скамейках, а в холодную погоду в парадных, на лестничных площадках на первом этаже, иногда на крышах или в подвалах. Мужики пили водку, подрастающее поколение портвейн.

Серьезные мужики, верные традициям предков, пили из граненых стаканов и закусывали водку плавленым сырком; юноши предпочитали благородный 33-й портвейн и пили его из майонезных банок, а закусывали корочкой черного хлеба. Мы с Китычем предпочитали пить из «горла» и каждый из своей бутылки, чтоб не поссориться, а закусывали исключительно дымом.

Это неправда, если услышите, что жили плохо. Когда на пустой желудок примешь 700 граммов сладкого вина 19-градусной крепости – очень даже хорошо становится на сердце. В животе разгорается пожар. Душа эвакуируется из тесного тела и парит, порхает, кувыркается в синем небе, ликует и звенит, как весенний жаворонок, растворяется, как пар в солнечных лучах! Хочется набить кому-нибудь морду, а потом попросить прощения. Хочется задрать какой-ни-

будь девчонке юбку и схлопотать пощечину под гогот пацанов. Хочется петь и танцевать!

Пели, начиная с апреля, много и везде: на скамейках, на газонах под кронами черемух и акации, под козырьками крыш в плохую погоду... У каждого пацана была гитара, хотя не у каждого был музыкальный слух. Когда петь начинал Китыч, аудитория редела, а окна в домах сердито захлопывались. Пели от души и при этом я ни разу не слышал, чтоб исполняли песни советской эстрады.

Пели и пили, пили и дрались. Любовь испуганно обходила Народную стороной или пряталась в приличных семьях. Приличные семьи вообще предпочитали эмигрировать со временем в центр, подальше от диких окраин, а пока, вечерами, старались не высовываться во дворы. На улицах вольготно себя чувствовали пэтэушники и вчерашние пэтэушники, которых еще не успели забрать в армию.

Я не припомню в нашей пацанской среде от восьмого класса до военнообязанного возраста ни одной сильной любви, ни одной любовной истории, которая громко прозвучала бы на всю улицу, ни одной волнующей любовной интриги, ни одного запоминающегося авантюрного романа – затрудняюсь даже найти этому полноценное объяснение. Может быть, наша улица была странным исключением в этом странном мире? Женились рано, рано становились родителями, рано разводились, рано спивались, но любили, если можно так сказать, обыденно, грубо, пошло и скучно. А в

среде берсерков любовь была вообще постыдна, как некоторые дурные плотские наклонности. Я всегда с болезненным любопытством и завистью смотрел по телику и в кино истории про то, как юноша влюбляется в девушку, как и положено, в 16 лет. В 17 лет они уже неразлучны, а в 18 лет клянутся в верности, когда он уходит в армию. Классика жанра! Мне бы так!

Я не влюбился ни в 16, ни в 17, ни в 18 лет, хотя старался изо всех сил! То времени не было, то чувства не разгорались. Вроде бы красивая, но дура дурой, вроде бы умная, но ногти черные от грязи. Андре пережил то же самое и уверял нас со Славиком, что это от того, что мы не от мира сего. Что все мужчины вообще издревле делятся на тех, кто был влюблен в 16, и кто не был. Был – значит тебя ждет заурядная судьба. Не был – будешь маетсяя, пока не найдешь свою звезду. Черт его знает... Андрей вечно так все вывернет, что и мудрецу не разгадать...

Армия была на Народной избавлением для многих семей. К 18—19 годам некоторые будущие защитники Родины превращались в законченных алкоголиков. Витька Петров, мой одноклассник, после школы пил практически каждый день. Выучившись в «путяге» на водопроводчика, он под руководством опытного наставника Васи в первую очередь освоил мастерство очковтирателя: якобы производил плановый осмотр сантехники в квартирах, а сам с напарником подделывал подписи квартиросъемщиков в журнале контроля и

учета и пропивал выручку от халтуры. Халтуры хватало и самим «мастерам», и собутыльникам. Провожали Витьку в армию три дня! Чтоб все было как у людей, Витьке нашли даже «невесту», которая должна была изображать за столом перед деревенскими родственниками печаль-разлуку. Надька Силантьева, местная «оторва», согласилась. Поначалу она смиренно сидела рядом с умытым, одетым в чистенькое Витькой за столом и терпеливо выслушивала слезливые наставления родни, которая требовала от невесты верности до самого дембеля и свадьбы. Но к вечеру она изрядно набралась дармового коньячка и стала открыто перемигиваться с Пашкой. Витькин брат из деревни Гадово заметил и вскипел! Дрались на улице и Пашка наваял брательнику по самое не могу. Надьку пристыдили, она оправдывалась, но потом не стерпела и вскричала, что Витька даром ей не нужен и пошли все в жопу со своим Витькой! «Ах, какой же был скандал!» – как пела популярная тогда певица. Ругались и хватали друг друга за грудки все, даже мы с Китычем, хотя и сидели в самом углу в соседней комнате.

Пашку с позором выгнали, но он скоро вернулся и устроил под окнами концерт с гитарой. Надька порывалась к нему выбежать, родня удерживала, Витька мирно спал на стуле. Все, как у людей!..

Самое интересное, на третий день, у военкомата, где собрались призывники перед отправкой, Надька с ревом бросилась Витьке на шею и все это видели. Традиция была

соблюдена, Витькина честь восстановлена. Можно было со спокойной совестью защищать Родину.

Родители Витьки вздохнули с облегчением – впереди были два года спокойной жизни. Но рано радовались, бедолаги. Витя вернулся месяца через два. Еще в самолете он заметил в иллюминаторе стаю ангелов в виде журавлей, которые сопровождали новобранцев до самой Самары. Сообщил об этом, как и положено, сопровождающему офицеру. Тот встревожено обещал разобраться. По прибытии в учебку разбираться стали с Витькой. Позвали врачей. Те стали щупать Витьку и заглядывать ему в глаза. Витька обиделся. Единственным выходом из создавшегося положения он посчитал покаянную исповедь. Врачи и офицеры сгрудились, чтоб послушать. Но, то ли кто-то усмехнулся некстати, то ли Витька уловил фальшь в их сочувственных ужимках, только он ринулся на одного из них, самого щуплого и попытался его придушить. Тогда, как пел Высоцкий, на Витьку «навалились толпой, стали руки вязать, а потом уже все позабавились»

Очнулся побитый изрядно Витка в больнице. «Делириум тременс», – прозвучал приговор. Стали лечить. Была надежда, что «на сухую» все станет нормально, и через положенный срок Витьку даже вернули в часть. Некоторое время он усыплял бдительность примерным тихим поведением, но через две недели случилось ЧП. В казарме появился офицер, только что прибывший из училища, молодой, амбициозный

и глуповатый. К тридцати годам он хотел стать майором, поэтому спешил. На глаза ему попался «зачуханный» Витя в расхристанном виде. «Лейтеха» вскипел и наговорил лишнего. Последнее, что он успел произнести – немецкое слово «гауптвахта». После этого офицер увидел над собой красное, перекошенное бешенством лицо тощего солдатика и почувствовал, что его горло надежно перекрыто стальными пальцами. К счастью, в казарме они были не одни.

Витька комиссовали.

На Народной Витя сразу выздоровел и перешел на свою норму – полторы бутылки крепленого в день. Время от времени Витька терял социальную ориентацию и его укладывали на Пряжку, там он нашел свое счастье в лице толстой, рябой и грубой санитарки Светы родом с Тамбовщины. Света стала его женой и покровительницей, вовремя снабжала его необходимыми таблетками, а также била его, когда Витя терял берега.

Вообще, 1978—1979 годы на Народной стали самыми запойными – пацаны 1960—1961 годы рождения уходили служить Родине. Но как-то незаметно пролетели «только две зимы и только две весны» и вновь началась массовая пьянка – из армии вернулись защитники.

Тут уж тремя днями было не обойтись. Гуляли неделями, перетекая хмельной гурьбой из одной квартиры в другую. Уличный полублатной жаргон разбавили армейские словечки: «салабон, карась, дедушка, салага»... В стычках, порой

жестоких, выясняли, чьи рода войск самые крутые. Лидировали десантники и моряки. Миролобивая гражданская публика испуганно ежилась, когда слышала резкие солдатские команды; девчонки восхищенно замирали, когда доблестный моряк Балтики Пашка рвал тельняшку на груди и грозился, что научит всех уважать советскую власть. Английскую рок-музыку заметно потеснили армейские песни. Пели про взвод солдат, который poleg почти полностью, а им всего-то на всех было 240 лет, пели про Братиславу, когда «десант на запад брошен по приказу», про то, как невеста отреклась от жениха-десантника, когда он поранил ноги, а десантник выздоровел и приехал в родной город «с голубыми погонями, с сигаретой в руках». Девчонка бросилась ему на шею, а он оттолкнул ее и сказал «ковыляй потихонечку, а меня ты забудь, проживу как-нибудь». Интересно, что даже любители продвинутой рок-музыки с удовольствием слушали эти песни. Я сам хлюпал носом, когда пели, что погибшим пацанам было всего-то 240 лет на всех. Да, мелодии песен почти не отличались, слова были примитивны, но чувства – сильными и искренними. Как в хорошей рок-балладе.

Мальчишки менялись в армии разительно. Бравада, показная грубость, солдатские словечки – это через месяц-другой проходило, а вот мальчишеское озорство и наивная доверчивость исчезли навсегда. Особенно менялись те, кто прошел Афганистан. В нашем дворе таких было двое. Мишка Голомолзин был моим одноклассником и я хорошо пом-

нил его добрую улыбку и покладистый нрав в школьные годы. После армии он стал молчаливым. Напрасно во время застолий ребята пытались вызвать его на откровенность и даже провоцировали его. Мишка отмалчивался и мрачнел. Много лет спустя встретились случайно, посидели в кафе – он признался мне, что дорого бы дал за то, чтобы забыть Афган навсегда. Больше я его не спрашивал.

Глава 33. Первый курс

Счастливым первый курс! Еще играет в жилах школьная дурь, а на тебя смотрят как на взрослого человека.

Весной мы, трое, окончательно слиплись в единое трехглавое целое. Главная голова – Андрей – настойчиво увлекала нас к полной бессмысленности бытия. Славик мягко сопротивлялся, полагая, что смысл можно найти в изящных искусствах и литературе, я готов был идти куда угодно, поскольку из меня бил фонтан жизнелюбия и мне был весело даже на кладбище.

О будущей профессии мы еще не задумывались, поскольку твердо решили стать знаменитыми писателями. Надо было писать, но как-то не получалось. За весь год я написал два рассказа в жанре «хочу вас напугать до смерти», Славик осилил только одну главу своей бессмертной поэмы, а Андрей перешел к стихам, которые походили, скорее, на похабные частушки.

Жилось легко. Страдания были выдуманскими. Советская действительность еще играла с нами в детские игры. Чем-то мы напоминали юных глупеньких красивых барышень, которые уверены, что красота их вечна и мальчики будут любить их до конца жизни.

Первая студенческая весна была ослепительно хороша.

После занятий мы любили прогуляться до Невского проспекта по набережной Невы. Говорили исключительно о литературе. В то время я был уверен, что весь мир, за исключением Народной, говорит только о литературе. А о чем еще??

За одну удачную фразу в рассказе, которую заметил и похвалил Андрей, я многое готов был отдать. Литературный стиль, форма имели в те годы огромное значение. Даже если человеку было абсолютно нечего сказать, он мог добиться успеха, мастера из слов красивые, нелепые, вычурные конструкции. Мысль в них блуждала, как бесплотный призрак в темном лабиринте, но автору это и было нужно – всегда находились толкователи, которые могли найти темную кошку в темной комнате, даже когда кошка была едва жива от истощения. Думаю, это было время торжества стиля в литературе. Высшей похвалой для журналиста в ту пору были слова, которые вряд ли поймут нынешние копирайтеры: «Он хорошо пишет». Каждый второй писал «в стол». Это была заначка на черный день. Я уже давно примерялся к роману-эпопее. Меня увлекал масштаб. Я еще не знал толком, о чем будет роман, но представлял его непременно в четырех частях по четыреста страниц в каждой. Я даже чувствовал тяжесть этих томов в руках. Иногда я перелистывал страницы своего шедевра, сидя в любимом кресле в загородном доме у окна с видом на озеро. Несколько раз даже брался писать, но разочарованно откладывал – не то, не гениально! Первые же строки, как я полагал, должны были бить наповал, а мои на-

водили скуку. Я мучительно, порой целое утро, вымучивал одну фразу, после которой читатель уже должен был висеть на крючке, а выходило: «В семье Полежаевых случилось горе». Затхлый дух банальщины не выветривался, несмотря на все мои стилистические ужимки, но, главное, семья Полежаевых уже опостылела мне до смерти. Я не знал, что с ней делать. Глава семья у меня был то полковником-пограничником, то контр-адмиралом, то профессором, и в зависимости от этого, его дочка становилась то брюнеткой с черными глазами, то блондинкой с каким-то, блин, задумчивым лбом, то шатенкой с милыми ямочками на щеках.

А между тем наступил май, мой любимый месяц, и я забросил свои литературные труды. Куда приятней было сидеть в «Петрополе» со Славкой и Андреем за кружкой пива и мечтать. Чудесная юность заканчивалась. Так же, как и детство, так же, как и отрочество, она уходила летом. Так же, как и детство, она уходила в прошлое осязаемо, зримо, как уходит вдаль, переполненный провожающими перрон. Когда на лицах у всех улыбки, а в сердце щемящая грусть, тревога и надежда – глупая и непобедимая, как любовь матери.

Окончание семестра мы отмечали у Андрюхи дома вторым. Был чудесный солнечный вечер, мы сидели на крохотной кухоньке в хрущевской пятиэтажке, пили сладкую наливку и сочиняли «Программу жизни» на ближайшие пять лет, которая начиналась преамбулой: «Надо что-то делать», и заканчивалась литературными триумфами с премиями, гоно-

рарами и солидными должностями в литературных журналах. Мечтали крупно, дерзко. Верили в успех до пьяных слез и обниманий. В сущности, это был очередной, безобидный свисток, который выпускал пар амбиций из наших горячих наивных сердец. Символично, что назююкались мы тогда так сильно, что растерялись на улице. Я очнулся уже у себя дома. Душевный подъем был еще так высок, что я позвонил Коновалову и мы на велосипедах посреди ночи, поехали к колхозному озеру. Там, в сумерках, разгребая холодную воду руками, я и услышал по радио, что началось лето.

Перед тем как опустился занавес, юность одарила меня чудесным летом, счастливым летом! Это был последний фантастический аккорд симфонии, после которого началась долгая осень. Но об этом эпизоде моей жизни я написал отдельную повесть, которая так и называется: «Последний аккорд юности».

Глава 34. Юность ушла

Юность ушла как-то сразу. На втором курсе. Осенью. Солнце зашло за тучи и полил дождь. Стало зябко и тоскливо. На Народной армия выкосила добрую половину пацанов. Остались мы с Китычем, да Сашка Коновалов, да Юрка Караваев... В университете началась военная кафедра. Иногда мне кажется, что основная задача военных как раз и заключалась в том, чтобы выбить из нас остатки юности, как пыль из чучела. Новобранцы вообще вызывают у старых воjak раздражение: умирать не хотят, повиноваться не хотят, много думают, а главное, их бесит беззаботный, рожденный на гражданке смех, который в армии особенно больно ранит душу и который они глушат с особенным ожесточением.

Китыч рассказывал, как в учебке под Читой их построил лейтенант Балгазин и произнес краткую речь.

– Вы думаете, что вы уже солдаты? Ошибаетесь. Сначала мы сделаем из вас говно! А потом слепим из него солдат!

Говно, на мой взгляд, слишком мягкий материал, чтоб из него можно было вылепить твердого воjaku, но в целом мысль ясна и некоторых офицеров она даже очень устраивала. Сам Балгазин, по воспоминаниям Кита, был тверд до первого запоя, которые случались с ним все чаще после позорного бегства жены, и тогда он ночью врывался в казарму с бешены-

ми глазами и орал: «Подъем! Строиться!» Солдаты, украдкой зевая, понуро стояли в строю, а лейтенант бодро, как журавль, вышагивал перед строем и отчетливо, громко зачитывал устав... Так он разгонял скуку...

Китыч вспоминал Богазина с содроганием, мне было его почему-то до слез жалко. Как представлю себе, как молодой мужик лежит в сырой съемной комнате, в кальсонах, на смятой постели, один на всем белом свете, дожидаясь утра, когда можно будет окунуться в армейскую суету и забыться... А на комодe – воображение подсказывает! – склеенная канцелярским клеем фотография жены в свадебном платье, а под подушкой – ее лифчик, наспех оставленный во время бегства из гарнизона. Иногда ночью Балгазин достает лифчик, мнет и нюхает его, и плачет... бр-р-р...

По окончании художественного училища Китыча определили на завод «Самоцветы». Бригада была, что надо! Пятеро инвалидов умственного и физического труда. Один, Гоша, был тихим шизофреником. Он всегда здоровался с Китычем. Иногда по десять раз на дню, улыбаясь смущенной детской улыбкой. Он прятал в своем шкафчике дохлую крысу, которую нежно любил: после смены он гладил ее у себя на коленях и что-то тихо и ласково ей нашептывал. Другой, Гена, был крепким и задорным малым, обожал анекдот про то, что женские половые органы должны пахнуть женщиной, а не одеколоном «Красная Москва», и любил пошутить над Гошей. Он перепрятывал дохлую крысу Гоши в свой шкаф-

чик и при этом всяческими ужимками привлекал внимание Китыча, чтоб тот поучаствовал в потехе. Потеха была жестокой. Отказаться участвовать в спектакле напрямую было опасно. Гена мог запросто разволноваться, а волновался он не очень хорошо, прямо скажем, нельзя было ему волноваться – начальник смены об этом особо предупредил. Китыч делал вид, что угорает от шутки. Прибежал Гоша, обнаруживал пропажу и начинал натурально реветь. Ревел, но от восторга, и Гена, колотя себя по коленам кулаками. Так продолжалось несколько дней

Ревел, но уже от ярости и Китыч, расписывая мне всю эту историю за бутылкой портвейна на Народной.

– Представь себе это кино! Крыса провоняла на всю раздевалку! Выбросил, наконец... Прикинь, бригада коммунистического труда, твою мать! Один тихий дурак, другой – буйный! И три безногих инвалида! И я весь такой в белом! Ювелир! Тут сам скоро сдвинешься! А что? Запросто. Тут захожу как-то в раздевалку – Гоша сидит голый на скамейке и дронит. И на меня смотрит так... внимательно. Я задом-задом от греха подальше. Теперь вообще боюсь к нему спиной стоять. Нормально? Это мой руководитель постарался – Биндер! Невзлюбил меня с первого курса! А что я ему сделал? Мало того, что на конвейер поставил, так еще и коллектив подобрал соответствующий. А на золото, между прочим, племянника посадил!

Тут Кит, включив по привычке бытовой антисемитизм,

погрешил против правды. У бедняги Биндера просто не было выбора. За три года учебы в 11-м ПТУ Кит собрал столько квитанций и извещений о приводах в милицию, сколько заслуженный ювелир не соберет за всю свою жизнь почетных грамот. Куда такого? На золото? Даже за дипломом Кит пришел прямо из вырезвителя. Праздновал окончание учебы... В этой знаменитой пьянке и я принимал участие. Последнее, что помню – Кит лежит на газоне, раскинув руки, совершенно мертвый. Его и отвезли сначала в какую-то лечебницу при вырезвителе. Хорошо еще, что не в морг.

– Все в порядке? – тревожно спросил Биндер Китыча, когда тот встал в дверях, как каменный гость. Вчера Биндер уже было уверовал, что отмучился и теперь понял, что никогда не следует радоваться заранее.

– Без криминала, – сдержано ответил Китыч.

Биндер перевел дух и, наверное, тайком перекрестился.

– Могу быть уверен, что бумаги не будет?

– Не будет. Я сбежал.

– Как это?

– Да так... Очнулся в кровати, иголку из вены вырвал и ушел.

– И отпустили?

– Там сестры были, бабы какие-то... Они и дергаться не стали.

– Коля, Коля, – вздохнул старый еврей, который мог часами наставлять сынов Сиона на путь истинный, а перед этим

молодым язычником чувствовал свое полное бессилие, – куда ты так торопишься, Коля?

Буквально через месяц Кит сбежал из «Самоцветов». Устроился к брату на завод имени Ленина слесарем. «До армии», – решил так. Завод принял его как родного. Взяв в руки гаечный ключ 32 на 24, Китыч понял, что этот мужской инструмент гораздо надежнее, чем всякие там мелкоскопы и паяльники величиной со спичку. А главное – солиднее.

– Знаешь, что мне нравится? – признавался он мне. – Никто не парится с миллиметрами и микронами. Не сходитесь контакт – взял кувалду: бац!! Есть контакт! Все чики-пики! И никто не заметит. Наглеть, конечно, не надо... У нас ребята грамотные. Бригадир, Савельич, в обиду не даст. Турбины делаем – не что-нибудь!

Мы с Китычем прятались от осенней депрессии в лесу. Уходили далеко вглубь, к лосиному болоту, где когда-то в детстве искали косточки красноармейцев. С тех пор лес подрос, возмужал. Грибов на болоте было вдоволь, появилась клюква и брусника. По-прежнему лес нес в себе какую-то тайну, дышал спокойствием и бесстрастным величием. По-прежнему врачевал душу и наполнял ее силой. Сколько раз он спасал меня, мой милый лес, сколько раз я прятался в нем, когда город мучил особенно жестоко и настойчиво! Нигде человек не способен понять так глубоко и ясно насколько пусты городские страсти, насколько иллюзорны городские миражи! Насколько ничтожны, наконец, городские страхи,

из которых буквально соткана бестолковая, суетная, городская жизнь!

Достаточно лечь на спину в глубокий мягкий мох под сосной и посмотреть в небо, в котором открывается вид на всю Вселенную, и проблема, которая еще недавно больно изматывала душу, становится все меньше-меньше-меньше, пока не превращается в маленького, смешного мышонка. «Тьфу, исчезни!» – скажешь ему, и он испуганно юркнет в свою норку.

А еще, лежа на спине, ты буквально чувствуешь, как содрывается и стонет земля от тяжести людских страданий. Со всем рядом пять миллионов человек упорно карабкаются в гору своих желаний, хватаясь за пятки тех, кто сверху, и отбрыкиваясь от тех, кто внизу. То и дело слышно, как вскрикнул неудачник, сраженный рукой неумолимого врага, то и дело доносится, как возликовал победитель, сразивший зазевавшегося соперника, но вот и сам он вскрикнул от боли и ужаса, когда близкий друг нанес предательский удар в спину. Проклятья и стоны сливаются в единый гул.

А под сосной мягко и покойно. Желтой бабочкой спускается откуда-то сверху желтый лист, шелестит в кронах заблудившийся ветерок, вдруг упадет на лицо теплый, сентябрьский луч солнца и тут же сотрет его с кожи прохладной губкой набежавшее облако. «Отдохни, Мишутка, – шепчет лес, – еще набегаешься. Ох, набегаешься еще, дорогой мой»

Но рано или поздно возвращаться в город приходилось.

За всю свою жизнь я не прожил столько бесполезных серых дней, как в ту пору. Вечерами после занятий я маялся и страдал от уныния. Вместе с Китычем мы нарезали круги вокруг дома до поздних сумерек, курили одну за другой горькие папиросы, вздыхали и молчали... Не разговаривали из какого-то взаимного упрямства – ждали, кто первый начнет. Вообще осточертели мы тогда друг от друга смертельно. Все слова были сказаны, анекдоты рассказаны, воспоминания не грели...

Было ясное ощущение, что мы что-то упустили и ничего не взяли взамен. Все сверстники выросли, а мы нет. Все занялись делами, а мы занимались ерундой. До сих пор жалею о бездарной потере драгоценного времени. 19 лет! С ума сойти...

Учеба на факультете сделалась скучной обузой. На первом курсе блистали преподавательница по античной литературе и молодой доцент по литературоведению Руденко. Их лекции собирали полные аудитории. Руденко, на фоне остальных преподавателей, казался раритетом проклятого царского режима. Его речь была безупречна. Осанка внушительна. Мысли просты и убедительны. К тому же он имел сомнительную и соблазнительную одновременно репутацию с точки зрения политической благонадежности. Как-то раз на вопрос нашей неисправимой большевички Тани, той самой, в черной кожанке: «Может ли натюрморт быть партийным?», Руденко ответил с плохо скрываемым отвращением: «Партийной мо-

жет стать даже задница, если ее долго показывать по телевизору».

На втором курсе некое интеллектуальное сияние излучал только преподаватель по русской литературе 19 века Маслов. Высокий, с черной «пиратской» повязкой на левом глазу, с решительным породистым лицом, он чем-то напоминал Потемкина из старого фильма «Ушаков». Помню, как стремительно вошел он в аудиторию, монументально воздвигнулся на кафедре и сразу сделал громкое заявление: «Я атеист!» Сказано было так, словно он стоял не перед аудиторией советских студентов в 70-е годы, а перед лицом испанской инквизиции. И, тем не менее, это прозвучало, действительно, как вызов. Хотелось схватить его за рукав и вкрадчиво спросить: «Ну-ка, ну-ка, с этого места подробнее, пожалуйста, как вы сказали – атеист?!»

Пикантность заключалась при этом в том, что Маслов изучал (и, похоже, любил!) творчество Достоевского.

О творчестве Федора Михайловича к тому времени я имел яркие воспоминания: как в спортивном лагере, в присутствии свидетелей, швырнул книгу «Преступление и наказание» об пол и поклялся никогда не брать ее в руки. Но то было в прошлой жизни, когда счастье исторгалось из сердца, как пенная струя из бутылки шампанского! На всех хватало! А теперь было зябко и как-то тревожно. Достоевский звал меня, но я сопротивлялся. Мне гораздо ближе был Лев Толстой, который грешил и каялся, и любил жизнь, природу так

похоже на меня.

Как-то вечером мы сидели с Андреем в «Петрополе» на своем любимом месте перед «стеной безысходности» и вспоминали одноглазого «пирата».

– Интересный тип, – сказал я задумчиво. – А ты когда-нибудь верил?

Андрей, который в десяти случаях из десяти сказал бы «нет!», если бы коммунист сказал «да» и, наоборот, на этот раз задумался и потер переносицу.

– Да нет, слушай... Ерунда какая-то... Какой Бог...

– Значит, мы с тобой умней Федора Михайловича? Поняли то, что он не понимал?

Андрюха откинулся на спинку стула, с шумом выпустил воздух через запузырившиеся губы.

– Старый, ну ты загнул. Достоевский жил в XIX веке.

– И что?! А мы атомную бомбу взорвали, в космос летали – Бога не видали?

– Старый, я не про это.

– А я как раз про это.

Мы задумались оба. Кажется, это была первая попытка в моей жизни, когда я задумался о главном всерьез.

Вокруг сидели люди. Несколько майоров из академии транспорта и тыла, несколько знакомых студентов с филологического факультета, несколько испитых личностей с грустными и подавленными лицами. «Бони-М» бодро распевал: «Распутин – лав машин», бармен Витя стоял несокрушимо

за барной стойкой, вяло перебирая пивные кружки, под потолком скапливался сизый дым от табака, и я вдруг понял, что мы все просто находимся в плену обыденности. Наш мир был, в сущности, только то, что можно было потрогать, понюхать, посмотреть, а посмотреть, по правде говоря, было не на что! Из картины пропахшего дымом кабака мы делали вывод об устройстве мира, а путеводителем становился любой энергичный дурак, дорвавшийся до кафедры.

– Андре, кому ты больше веришь, – спросил я решительно, – Федору Достоевскому или Владимиру Ленину?

– Н-н-ну-у-у...

– Ладно мычать. Ты говори прямо. Как на духу.

– Достоевскому, конечно.

Я поднял кружку.

– И я. Давай! За Федора Михайловича!

На следующий день я пришел в районную библиотеку и попросил «все, что есть Достоевского». В наличии оказались все тридцать томов Полного собрания сочинений писателя. И начал я с «Преступления и наказания».

Влезал я в Федора Михайловича с трудом. Несколько раз хотелось просто дать ему в морду. За грязных больных людей, за бесконечные истерики и припадки, за любовь к страданиям, болезням, нищете, слезам, юродству! Для пацана с улицы Народной, спортсмена с наклонностями хулигана, для честолюбца и прагматика советской закваски, все это было мучительно, неудобно, невтерпеж. И однако же я шел напро-

лом, многое не понимая, многое пропуская, к неведомой цели, которая сияла сквозь бурелом и обещала отрадную истину.

Много лет спустя мне довелось прочитать интервью с Анатолием Чубайсом, который вспоминал свой собственный опыт прочтения Достоевского. С похвальной откровенностью он признался, что писателя ненавидит. За то самое. За истерики и юродства, за православную веру, от которой веет мракобесием, за болезненных героев и воспевание страданий... словом за все то, что я сам пережил, что понять могу, за что не могу осуждать Толика, и не буду. Меня поразило тогда другое. Чубайса стали осуждать. Именно любители Достоевского! Главным образом за черствость! Никому и в голову не пришло, что Чубайс своим признанием поднял писателя на новую высоту. Чубайс и милосердие несовместимы! Чубайс и христианство несовместимы! Чубайс и вера в бессмертие несовместимы! Чубайс нанес бы Федору Михайловичу болезненный удар, если бы признался в любви к нему или хотя бы в симпатии.

Достоевский не для всех, верно. Но для одних он непонятен, а для других противопоказан. И те, кому он противопоказан, обнаруживают себя сразу – жгучей ненавистью, как им кажется к самому писателю. Но – нет! Не к нему. А к самому Христу.

Начав с первого тома и добравшись до середины, я к концу второго курса стал другим человеком. Больно и тяжело бы-

ло по-прежнему, но в темном лесу, однажды засияв, все ярче разгоралась заря. Она по-прежнему обещала отраду.

Конечно, рано было говорить о перерождении. Скорее это был бунт. Тяжело я расставался с беспечной юностью, ох тяжело!

Марксизм оказался не столь уж прочной конструкцией. При тщательном рассмотрении, особенно на паях с Андрюхой, он развалился, как трухлявый пенёк, и не могу сказать, что мы были опечалены с Андре этим фактом, скорее наоборот. Вкратце наши выводы были таковы (они и по сей день остались прежними, хотя и дополнились новыми вводными, о которых я тоже сейчас скажу)

...Все начинается с того, что какому-то умнику, который не может толком наладить собственную жизнь, приходит в голову, что он понял, как наладить жизнь человечеству. Поначалу он, сукин сын, понял по каким законам человечество развивается на пути к всеобщему счастью. Классовая борьба! Она, родимая, как шило в жопе у прогресса. Не дает ему тормозить. Дальше мысль делает революционный скачок: пролетариат – самый что ни на есть передовой класс! Эксплуататорам приходит кирдык, потому как рабочий уже вырыл им глубокую могилу. Потому как терять рабочему нечего. Цепи и те пропиты в ближайшем от фабрики кабаке.

Смелые мысли. Сразу и не обхватишь. Однако из этих мыслей вытекают соблазнительные выводы. Взял, например, в глубокой обиде батрак Иван в руки топор, зарубил бари-

на, пришел домой, упал перед иконой, кается перед Господом: «Прости убивца, Господи, не стерпел!» «Не кайся, товарищ! – отвечает ему революционер в кожанке. – Не просто ты убил злыдня, а выразил классовый протест! Враг твой, помещик, пользуется твоей политической неграмотностью и пьет из тебя трудовую кровь! Но вот пришел долгожданный час избавления! Возьми топор и своей мозолистой рукой добудь себе и богатый халат и коня. Если ты храбрый и сильный!»

Во всей этой лабуде есть одно рациональное зерно. Во-первых, учение объявляется всесильным, потому что оно верно. Согласны? А если маузером по голове? Ну, вот, другое дело: согласны. Тогда переходим к следующему пункту. Рабочий класс необразован и неорганизован, следовательно нуждается в руководящей силе. Эта сила – партия рабочих и крестьян! Возглавляют партию отнюдь не рабочие и не крестьяне, поскольку они еще читать не умеют, про Маркса не слыхали, что делать не знают. Не страшно! Умники, постигшие всесильное учение, знают. Умники постигли истину, за столбили за собой право на правду, и теперь с легким сердцем могут творить историю. То есть, проще говоря, все, что угодно. Отныне они и только они назначают правых и виноватых, объявляют, что есть истина и что – ложь.

Мировая революция, которая неизбежна, не случилась? Не страшно, вводим в учение дополнительную главу, где черным по белому написано: «Можно построить в отдельной

стране». Страна отсталая, а учили, что революция случится в самой передовой? И утверждали, что социализм наступит сначала в Англии и Германии? Кто говорил? Имена? Явки! Пароли? Ну вот и славно. Остальные поняли как надо. Дальше – проще. Нужно истребить капиталистов и купцов? Пожалуйста. Нужно извести попов? Нет проблем. Выкорчевать кулаков-мироедов? Наконец-то! Прополоть паршивую интеллигенцию? Давно пора (и отныне она будет называться паршивой, пока не будет другого указания). Бога нет? А как же! Дарвину ура!

А где же счастье? Да вот оно! Сказал же Вождь: «Жить стало веселее!» Ты не согласен? Тогда пройдемте, гражданин, вас ждут в местах не столь отдаленных и там вы поймете, что жили счастливо и беззаботно.

Абсолютно в той же парадигме расцвел фашизм и нацизм. Только там историю двигали не классы, а расы. А вместо пролетариата главными двигателями прогресса объявлялись арийские племена. Все остальное по той же схеме. Племена разрознены, их нужно объединить и направить. Есть такая партия! И она знает, что есть истина и что есть ложь.

Нужно истребить евреев? Пожалуйста. Прополоть недочеловеков-славян? Давно пора. Бога нет? Но есть высшая раса, которую хранит сам Один! Дарвину ура!

А где же счастье? Оно в войне за мировое господство!

Если вы убедили остальных, что знаете, как развивается общество, все остальное дело техники, вашей совести, вашей

порядочности, образованности и ума.

Ныне, насколько мне известно, в передовые умники выбился некий Шваб в компании с Аттали. Они тоже уверены, что неразумное человечество нужно организовать и возглавить. Только осуществить на этот раз задуманное сможет не передовой пролетариат, как мечтал Маркс, а союз миллиардеров-интернационалистов – глобалистов, в руках которых сосредоточены необходимые для этой грандиозной задачи, ресурсы. Эти проходимцы тоже что-то блят про прогресс, про перенаселение, золотой миллиард и про катастрофическое потепление. На самом деле их гложет другое. Видеть счастливые лица свободных людей, которые радуются жизни на террасе собственного дома, не имея при этом даже миллиона в кармане, миллиардерам невоготу! Ведь сами миллиардеры уже давно не способны к счастью! Их гложет зависть к беднякам, которые умудряются радоваться жизни без гроша в кармане. Как же так, миллиардер Скуперфильд всю жизнь неустанным трудом копил золото, а умирать предстоит, как обыкновенному фермеру Джону, который умудрялся напиваться в местном баре каждую пятницу с беспутными дружками, да еще трахал красивых девчонок в молодости не за деньги. А где священная зависть к богатству?! Где восхищение и благоговение, без которых Скуперфильд чувствует себя смертельно обиженным и одураченным? Что толку, если благоговеют только дураки? Можно ли утешить свое тщеславие восхищением заведомых неудачников и челяди, ко-

торая питается крошками с барского стола? И это при том, что вся несметная сила проплаченного интернета, кинематографа, газет и журналов направлена на разжигание похоти к деньгам, к славе и власти! Когда самые красивые женщины планеты каждый день объясняют, что они принадлежат только богачам, потому что богатые никогда не плачут, едят из золотых тарелок и какают в золотые горшки.

Значит нужно объяснить людям, что они опять ничего не понимают. А для этого нужно опять смешать всех в бурлящую толпу, где никто не слышит другого, где никто не понимает, что происходит, где все пихаются и орут. Где всех гложет тревога и отчаянье.

Свободная личность – враг прогресса! Одиночество – опасно и подозрительно!

Нужна непременно толпа! И толпа возбужденная! Нужно, чтоб ничего личного, частного, тихого, сосредоточенного, осмысленного, своего! Чтоб некуда было спрятаться. Как таракану, который бегаёт по зеркальной поверхности стола под лампой. Поэтому – долой частную собственность, которая гарантирует хоть какую-то защиту от щупальцев государства, долой семью, где царствуют свои законы, долой «мой дом – моя крепость»! Долой совесть и стыд, которые защищают личность от вторжения чужеродных вирусов. Долой мысли, которые рождаются в святой тишине. Громче! Еще громче бейте бубны и барабаны! Бойчее пляшите ноги! Кто там грустит? Кто задумался? Кто ищет выход? Налейте

ему сладкого вина! Закружите его в вихре безумного танца! Все общее! Устроим великий планетарный флешмоб! Кто не скачет, тот изгой! Кто не с нами – тот против нас!

И, конечно, управляет всем этим бурлящим человеичником партия, которая все знает и все предвидит. Партия миллиардеров и мудрецов, которых оскорбляет целомудрие, а святость вызывает бешенство, которых коробит сам звук детского беспричинного смеха. Которые, подобно матерым уголовникам в тюрьме, готовы «опустить» любого нормально человека на дно греха и отчаянья. Партия злобных карликов, сутулых гномов, беспощадных, хладнокровных рептилий, которые куют свое золото глубоко в швейцарских горах, творя древние заклинания, где они умываются кровью девственниц, чтоб обрести молодость, где просят своего мрачного владыку вернуть им угасающие силы, чтоб продолжать свое адское дело.

Сказки? Не знаю, не знаю...

И всегда, я заметил, во всей этой истории присутствует прогресс.

Как, ты не хочешь прогресса??!!

А что это такое, прогресс?

Если это мой добрый сосед в деревне, который поутру принес мне от щедрого сердца кружку парного молока и поделился радостью хорошего настроения, а я с удовольствием согласился пойти с ним вечерком на рыбалку – согласен с таким прогрессом.

Если же это огромная пирамида, которую несчастные строили пятьсот лет, чтобы она восхищала и изумляла потомков своей загадочной мрачной бессмысленностью – пропади вы пропадом с таким прогрессом.

Если старый пердун-импотент с девятым по счету пересяженным сердцем пытается убедить меня, что нет мужчины и женщины и каждый ребенок волен сам выбирать себе пол, потому что так велит прогресс... на костер колдуна! Сам принесу вязанку хвороста под его тощую жопу!

Вожди и мудрецы, черт бы вас побрал, которые знают все на свете и всегда ведут в светлую даль человечество! Я всю жизнь вразумлял и наставлял одного единственного человека – своего близкого друга Китыча, и через 55 лет могу засвидетельствовать: ничего у меня не вышло. Из чертополоха не вырос лютик. Спрашивается, а на фига лютик? Мало их что ли, этих лютиков? Чем плох чертополох? Оставили бы и вы человечество в покое? Не вы его создали, не вам и управлять!

Извините, отвлекся.

...Пили мы все по-прежнему много. Только если в юности это всегда был праздник, то теперь пьянки становились мрачным обрядом с тяжким похмельем. Бывало посреди недели, днем, я покупал две бутылки дешевого красного вермута в бутылках по 0,8, которые мы тогда на Народной называли «бомбами», и приезжал к Андрюхе в гости на улицу Бухарестскую, когда его родителей не было дома. Там,

на кухне, в сумраке и тишине, я глотал, содрогаясь, отвратительное пойло чернильного цвета из чайной кружки, закусывал горьким дымом изжеванной папиросы и наливался тоской, как холодные ноябрьские сумерки за окном. Андрей пил меньше, из хрустальной рюмки, закусывал лимоном, но безысходности в нем было еще больше.

Я бился с Первопричиной, бился головой в стену, надеясь, что либо стена рухнет, либо голова расколется. Моя здоровая крестьянская натура была нечувствительна к бытовым неудобствам, эстетическому безобразию; мой здоровый крестьянский желудок переваривал все, что в него пихал повседневный советский быт, без особых пагубных последствий. Другое дело Андре. Действительность оскорбляла его повсеместно и ежедневно – своим вопиющим уродством, своими убогими красками, своими грубыми нелепыми нравами. Он убегал – жизнь догоняла его, он прятался – она его находила. На военную кафедру, по вторникам, он шел как на Голгофу, а возвращался, словно изнасилованный в извращенной форме.

Что это было с нами? Взросление?

Однокурсники стали скучны. Мир стал скучным. На нашем строгом курсе так и не зародилось студенческое братство, не было веселых студенческих капустников, КВНов, не было коллективных выездов на природу, не было даже громких романов. Каждый возился в своем углу.

С любовью был совсем худо. От отчаянья я сделал

несколько нелепых попыток подружиться с некоторыми однокурсницами и зарекся. Такое было ощущение, что девушки не жили, а расставляли шахматные фигуры на доске своей судьбы. Каждый неверный ход грозил им поражением, а каждый удачный ход мог обернуться для меня большими проблемами.

Была одна ленинградская девчонка из приличной семьи, Вика, которая смеялась, когда ей было смешно и грустила, если было грустно, но ее вскоре похитил нахальный парень с третьего курса, Тимур. Он долго не пристраивался, как я, а просто трахнул ее после какой-то вечеринки и взял в жены. Через год его посадили за кражу – Тимур спер пальто профессора в гардеробе. Это был уже не первый случай в моей жизни, когда красивую женщину на моих глазах уводил урод. Секрет тут был прост. Урод не боялся красивых женщин. Кто-то с детства вдолбил уроду правильные мысли – мужчина всегда неотразим и, если ему что-то нужно, он идет и берет! (так еще говорил про англосаксов Марк Твен). Пока женщина расчухает, что у «принца» (все уроды непременно принцы из сказки), кроме крепкого члена, за душой ничего нет, он заделает ей ребенка, пропишется в квартире и сядет на шею ее родителям.

Вика через год семейной жизни потеряла свой задорный детский смех и милую доверчивость. Она поняла, как устроены мужчины, но, к счастью, не озлобилась и не впала в уныние, просто сделала выводы – стала валютной проституткой

и в конце 80-х уехала в Германию.

Надеюсь, у нее все благополучно.

Глава 35. Первая практика

Летом после второго курса предстояла практика в районной газете. Мы с Андреем выбрали дальнюю «районку» в области, Славка примостился в ленинградской заводской многотиражке.

В начале июля междугородний «Икарус» привез нас с Андрюхой в городок, который я возненавидел на всю оставшуюся жизнь: Лодейное Поле.

Городок «не велик и не мал», как поется в известной бодрой песенке, располагался на берегу широкой и холодной реки Свирь. То, что это «жопа мира», я понял сразу, как только мы вышли из автобуса. Площадь была пустынна. Порывистый ветер гонял по щербатому асфальту пустые пачки из-под папирос и изжеванные фантики. Тощая собака с прогнувшейся, как от невидимого седла, спиной и неподвижным хвостом, пристально смотрела на нас боком. Убедившись, что мы безобидны, она вывалила язык и отвернулась.

Конечно, мы не ждали оркестр, но все равно слегка растерялись – городок встречал столичных пришельцев подчеркнуто равнодушно и холодно. Словно говорил каждому в лицо: «Ну что, столичный гусь, приехал? Сейчас увидишь, как мы тут прозябаем. Ахнешь!»

Редкие прохожие прятали хмурые лица и отвечали на

вопросы отрывисто и враждебно. Унылые, потрескавшиеся морщинами, дома глядели пустыми окнами наружу, как нищие старики в доме престарелых: с покорной, молчаливой тоской. Ничто не утепляло взгляд, ничто не свидетельствовало о беззаботной сонной провинциальной жизни. Хотя бы одно крохотное кафе, из которого доносится музыка, ну хотя бы нарядный ларек, уютный магазинчик с приветливой милой продавщицей, гостиница с карельским орнаментом и чахлой клумбой перед парадным входом... Хотя бы несколько праздных ротозеев с заспанными физиономиями, пришедших поглазеть на прибывших пассажиров – их так любили высмеивать классики русской литературы. Сгодились бы и румяная мамочка с коляской, упитанный важный городской с заложенными за спину руками – ни фиги! Пусто.

Страшен советский райцентр! Молодой специалист, оказавшийся здесь по распределению, спивался в несколько лет. С этим монстром невозможно было биться, потому что это был дух. Мрачный дух уныния и безысходности, вызванный из преисподней большевиками в 17-м году. Его символический лик висел на главной площади и внимательно следил за тем, чтобы паства шагала в ад. Он уже не лютовал, как в славные 20-е годы, но всякая живительная человеческая радость по-прежнему была ему несознаваема. Ее успешно заменял революционный пафос. Когда-то классики выставляли провинции счет за то, что она жила убогими мещанскими удовольствиями и не радела о высоком. Теперь высокого было вдо-

воль. Согласно официальным отчетам районных властей, население городка дружно развивало и без того развитый социализм, чтоб вознестись еще выше, еще ближе к заветной цели – коммунизму! На заводах стучали кувалды, в полях трещали сеялки, по радио бодро звучали песни. Процент успехов в отчетах всегда зашкаливал за сотню! Неуклонно повышался и процент уверенности населения в завтрашнем дне!

Правда, вечерами на город опускалась темень, а вместе с ней и постылая тоска. Тихо вокруг. Только не спит Ильич. Незримо обходит улочки и закоулочки, заботливо высматривает, не затеплился ли где робкий лучик лампадки, не встал ли кто на сон грядущий на колени перед иконой? Нет, никто не встал. Можно возвращаться на свой пьедестал перед райкомом....

Когда тоска становилась невыносимой, партийные жрецы собирали народ в колонны и они шли по главной улице с алыми транспарантами, славя своих, проклятьем заклеянных, вождей. После демонстрации в домах накрывались столы и начинался массовый запой с песнями, плясками и мордобоем.

И опять наступали серые будни. За год иссякали силы у самых бодрых натур, заканчивалось жизнелюбие у самых отчаянных оптимистов. Недаром сами местные в свое время говорили: «Лучше неволя, чем Лодейное Поле!»

Нигде советская власть не добила таких впечатляющих успехов, как в русской северной глубинке. Тут понимаешь

с пугающей ясностью, что пощады тебе нет. Ты никогда не сможешь стать богатым, ты никогда не сможешь стать свободным, ты никогда не сможешь устроить свою жизнь так, чтобы она не казалась тебе каторгой – скучной и постылой обыденностью, исполненной беспросветной нуждой и унижением.

Однако я отвлекся.

...После долгих мытарств мы-таки нашли редакцию, где уборщица открыла нам кабинет для ночлега. Я расположился на столе, за которым по утрам проходили планерки. Андруха примостился на диване. Всю ночь мы слушали, как под потолком жужжат комары и вспоминали пионерский лагерь, где проходили практику в прошлом году.

Утром, в воскресенье, пришел хромой мужик в гимнастерке и отвел в нас в общежитие какого-то техникума. А в понедельник начались рабочие будни.

Скоро выяснилось, что свою будущую профессию я не понимал вообще. Достаточно сказать, что я выбрал для практики отдел сельского хозяйства, потому что он ассоциировался у меня с есенинскими березками и тургеневскими рощицами. Возглавлял отдел Николай Иванович, алкоголик в периодической завязке с двадцатилетним стажем, член партии коммунистов с сорокалетним стажем, мужик вредный, как мухомор, и суровый, как наждачная бумага. К 70 годам он вынес убеждение, что жизнь – это борьба за урожай, и с нетерпением ждал посевной или уборочной, когда в пол-

ной мере раскрывался его талант и предназначение. Безжалостные запои накатывали на Николая Ивановича зимой, когда в полях замолкал стрекот тракторов, а на город опускалась долгая холодная ночь. Никто не знал район лучше Николая Ивановича, все председатели колхозов и совхозов были с ним на «ты», секретарь райкома уважительно называл его по имени отчеству; он воевал с финнами где-то в этих местах и 9 мая надевал пиджак с орденами и медалями. Война наградила Николая хромотой и хроническим кашлем, ленинское мировоззрение воспитало отвращение ко всякого рода легкомыслию, беспричинной веселости и буржуазному комфорту. Насколько я мог понять, коммунизм для Николая Ивановича был не местом для смеха. У него была в голове своя модель мира. Там шла великая битва за счастье всех народов, там в светлое будущее люди вгрызались отбойными молотками и ковшами гигантских экскаваторов, а когда стихал рев моторов и рассеивалась пыль, грозно пели «Интернационал».

Несмотря на тяжкую молодость и запои, Николай Иванович сохранил завидное здоровье и работоспособность. Худой, жилистый, поднимался он по лестнице без одышки и злился, когда его спрашивали о давлении, которое считал пережитком прошлого. «Какое у коммуниста может быть давление? Сколько надо будет, столько и будет давление!»

Увы, Николай Иванович невзлюбил меня именно за то, что я (по глупому мечтательному лицу было видать) витал

в тургеневских тенистых рощицах и золотистых полях, где собирал букеты из васильков и любовался алыми закатами. А предстояло увидеть мне суровый труд на благо района в свинарниках и силосных ямах. Иваныч с нетерпением ждал час справедливого торжества, когда я окуну свою довольную рожу в навоз, а он будет размазывать его своей мозолистой крестьянской рукой по моей белой рубашке.

Главный редактор, Виктор Юрьевич, смотрел на меня почти с сочувствием. Это был добрый покладистый мужик с мягким брюшком, которое навивало мысли о мягкой покладистой жене. В газету он попал из райкома, в котором на высокой должности остался трудиться его шурин. На планерке, представив нас с Андреем коллективу, Виктор Юрьевич как-то неуверенно попросил Николая Ивановича научить меня журналистскому мастерству и поделиться богатым опытом. Звучало, как просьба особенно не зверствовать. Николай Иванович язвительно хмыкнул.

– Научим. Они там, в Ленинграде, до сих пор думают, что булки на деревьях растут. Вот пусть полюбуется, как хлебушек выращивают на самом деле.

Коллектив одобрительно загудел.

Нелюбовь провинциалов к столичным в те годы была столь очевидной и обезоруживающей, что принималась как данность. В провинции не могли взять в толк, как в одном государстве люди умудрились разделить на счастливицков, которым выпала судьба жить в столицах, и дураков, которые

эти столицы кормили, а сами жили впроголодь. Правда, те провинциалы, кто имел родственников в деревне, могли рассчитывать на кусок сала и солонины, а то и на бочонок меда в придачу к скудному городскому пайку, а те, кто был без корней, нездешний... Свидетельствую, осенив себя крестом – на полках в магазинах в Лодейном Поле было пусто. Порой не было даже сигарет. И это не выдумки, что на выходные хозяйки из маленьких городков отправлялись в столицы не за культурой, а за колбасой и фруктами.

Андрюхе повезло. Его взял под крыло молодой симпатичный выпускник ЛГУ Александр, попавший год назад в Лодейное Поле по распределению. Саша приехал сюда вместе с молодой женой и малюткой сыном. Жизнь в Лодейном Поле еще не сломила его. Из него еще не выветрился ленинградский студенческий дух, он еще не успел закиснуть и сморщиться в рассоле едкого провинциального нигилизма. Он верил, что через два года вернется в Ленинград победителем, и смотрел на свою работу, как на ссылку, необходимую каждому честному поэту. Вечерами Александр писал диссидентский роман про вернувшегося из сталинской ссылки художника, а ночью читал для укрепления духа самиздатовский «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Андрюхины заметки он правил, а то и переписывал, одной левой, а потом они увлеченно беседовали о литературе. Андрей ходил на работу почти с удовольствием и зачастую с томиком Хемингуэя в руках.

Я приходил с горькими мыслями. Мой шеф читал исключительно «Правду» и писал передовицы о том, как вывести сельское хозяйство из коматозного состояния. Поначалу я пытался с ним заигрывать, но просчитался. Я выбрал роль юного простодушного веселого симпатяги с белозубой улыбкой, который понимает, что ничего не понимает в сельском хозяйстве, но готов научиться у старшего товарища, который не может устоять перед таким обаятельным напором. Оно, быть может, и сработало бы, будь Николай Николаевич женщиной. Но он был мужчиной, к тому же не глупым. Ему моя белозубая улыбка была, как нож к горлу. Я был столичный прыщ, городской повеса, избалованный бездельник, притворяшка, который в гробу видел сельское хозяйство и которому нужна лишь хорошая оценка за практику. Разубедить в этом старика было невозможно, даже если бы я пришел на утреннюю планерку в рыжей фуфайке, насквозь пропахшей колхозным говном.

Первое мое задание помню хорошо. Надо было съездить на станцию технического обслуживания и написать, как они там готовят трактора и другую технику к уборочной, а главное, как они умудряются при этом экономить орудия труда в свете последнего постановления ЦК партии и, лично, Леонида Ильича Брежнева, которого недавно осенило, что «экономика должна быть экономной». Для затравки надо было побеседовать с главным инженером Василием Петровичем.

– А потом, – оживился мой шеф, – поговори с народом,

не ленись! Рабочая косточка – главная в деле, запомни!

Станция располагалась за городом на пригорке. У меня сердце тоскливо сжалось, когда я увидел приземистые ангары и услышал издалека стук молотков и кувалд. Было невозможно себе представить, что вот сейчас, в разгар рабочего дня, какой-то парень с дурацкой записной книжкой сунется под трактор и начнет мучить чумазого слесаря с гаечным ключом дурацкими вопросами: «А вы читали последнее постановление ЦК? Что скажете? Только без рук!!!»

Я остановился и с тоской огляделся. На станции меня уже заметили и показывали в мою сторону рукой. На одно мгновение меня охватило жгучее желание бросить все и бежать наутек. Черт с ним, с заданием, скажу, что прихватило живот! Но! Командир тимуровского отряда проснулся, приподнял голову и тихо сказал: «Надо, Миша, надо».

Вошел я на территорию станции сторбившись, тяжело шаркая ногами и с таким лицом, словно при первом же окрике готов был поднять руки.

– Тебе чего? – встретил меня мужик в замасленном комбинезоне и с канистрой в руках.

– Да так, ничего. Посмотреть...

– Зоопарк что ли? Тут люди работают.

– Мне главный инженер нужен. Василий Петрович.

– На работу, что ль устраиваться? Вакансий нет. Вон он, наверху.

– Понял. Мерси.

В кабинет к главному инженеру я ворвался с истерической решимостью и сразу услышал:

– А мне по...й что у тебя отгулы! Понял?! Чтоб завтра был на месте! Вам дай палец – вы всю руку сожрете! Ты когда на прошлой неделе два дня задвинул – про отгулы думал?! А тут вспомнил! Тебе чего, парень?!

Перед плотным, седым дядькой в брезентовой куртке стоял понурый мужик с кепкой в руках. Они оба на меня уставились.

– Да вот... узнать... не надо ли чего...

Я буквально сгорал от стыда.

– У тебя какой разряд?! В армии служил?

– Я это...

– Если не служил – разговор окончен. У нас с этим строго.

Прописка?

– Я из газеты. У меня задание... вот.

Я выложил на стол временное удостоверение и сделал шаг назад.

Инженер взял удостоверение, повертел его в руках.

– А от меня-то что нужно? Ладно, Витя, ты иди, потом договорим... Садитесь. Вы хоть бы предупредили.

К моему удивлению инженер не удивился, когда я предложил ему рассказать, как станция экономит на инструментах, когда чинит трактора.

– Это в смысле «экономика должна быть...»?

– «Экономной»! – подхватил я с чувством огромного об-

легчения. Чувствовалось, что Василий Петрович был ушлый руководитель. Политику партии знал хорошо. Убеждать ни в чем не надо было.

– В свете..?

– 25 съезда КПСС! – бодро отрапортовал я.

– Понятно... С этим у нас строго. Значит смотри, сейчас я подведу тебя к нашим слесарям, ты с ними побазаришь, то да се, а главную, идейную часть сам напишешь, понятно? Тебя кто прислал?

– Николай Иванович, завсельхозотделом...

– Во-во! Коля знает, как надо! Хотя я просил пока повременить, ну да ладно... Значит, бережем каждую гайку! Это от моего имени. Каждый шуруп! Лично слежу. Горюче-смазочные материалы на строгом учете! По пятницам проводим политинформацию – это обязательно. Международное положение, борьба народов Африки против фашистских захватчиков...

– Мне бы про экономию.

– И про экономию, конечно. Сколько раз говорил оглодам, закрывайте кран за собой, электричество не жгите напрасно! Но – слушаются, врать не буду, подвижки есть. Ведь все! – внезапно Василий воспламенился и даже привстал со стула. – Ве начинается с копейки! Копейка рубль бережет! Правильно Леонид Ильич Брежнев говорит: «Берегите каждую гайку и тогда ахнете! Когда подсчитаете...» Тебя как, Миша, зовут? Миша, тут ты сам как-нибудь из текста доку-

ментов, ну как вас учили... Цитаточку там, или что... У нас, блядь, уборочная на носу, крутимся как белки...

– Обязательно, Василий Петрович, вставлю цитатку, будьте спокойны.

– Ну, пошли, с народом познакомлю

Высокий, белобрысый слесарь Витя, выслушал инженера, вытер руки ветошью, кивнул.

– Понял. Скажу что-нибудь.

Инженер пожал мне руку.

– Если что, я... привет Николаю. Жду его в гости.

Я держал в потных пальцах блокнот, в котором была написана пока только одна фраза: «Экономика должна быть экономной», рядом рожица и дюжина восклицательных знаков.

– Ну что, – вздохнул Виктор – вот, например, гаечный ключ. В прошлом году Сашка оставил его не убравши, он и пропал, ключ, то есть... Скоммуниздил кто-то себе в гараж – ну это... не надо. Непорядок! Инструмент надо за собой убирать. Иначе ключей не напасешься. Что еще...

– Да вы знаете, – с энтузиазмом подхватил я, – даже на ветоши можно экономить. Вот вы руки вытерли, а тряпку не выкинули...

Витя посмотрел на меня долгим, затуманенным взглядом:

– Ну, да, не выкинул... а гайками мы не разбрасываемся...

И вот еще что, – Витя обвел ангар ищущим взглядом. – Свет за собой надо выключать. Вот что, а не то, что... Слушай, ты сочини что-нибудь сам? Как тебя зовут? Миша? Миша, я

не умею, как надо. У нас аврал! Вчера залили масло с бочки – так движок стукнул, блядь! Кто-то разбодяжил. На гайках экономим. Это не надо писать!

– Понятное дело! Я про ветошь напишу. Все начинается с малого. А заканчивается...

– Движок стукнул. Ничего поправим. На поля все выедут, как положено.

Я походил еще от одной машины к другой, записал имена, должности... Приехал в редакцию уже после обеда, сразу сел за работу.

Отыскал в подшивках материалы XV съезда, надергал цитат. Начинался мой материал приблизительно так.

«От горячего движка потянуло прогорклым маслом. Слесарь 5-го разряда, комсомолец Витя, вытер руки грязной ветошью и, уловив мой взгляд, сказал.

– Надо бы уже выбросить, да жалко. Экономия ведь с малого начинается. Леонид Ильич правильно сказал на XV съезде: «Экономика должна быть экономной!»

Дальше шло описание полей – не мог удержаться, добавил-таки Бунина! Пшеничные поля у меня млели в лучах солнца, дожидаясь, когда придут трактора. Тяжелые колоски наливались соком земли. Аисты парили в небе и сыто курлыкали. Главный инженер у меня был похож на былинного, героя, который готовился к битве. За урожай.

«– Бережливость – она ведь не только в цеху! Ни одно зернышко не должно пропасть! А для этого трактор дол-

жен работать как швейцарские часы (что-то подсказало мне, что «швейцарские» нужно вычеркнуть). У нас каждый болт, каждая гайка на строгом учете! Как сказал в своей речи Леонид Ильич Брежнев...»

Гайки и болты беспомощно брямкали и звенели в пустоте моих мыслей, которых было всего две: первая, понятное дело, экономика должна быть экономной, вторая – экономия начинается с малого.

Слепив Бунина с Брежневым, добавив некоторые личные переживания, я застопорился. Мне никак не удавалось закончить текст на нужной, соответствующей содержанию пафосной ноте, но я все-таки нашел нужную формулировку, которая показалась мне универсальной для всех советских текстов: «Ведь в этом и заключается наша правда!» Я заканчивал тогда этой фразой многие свои тексты и всегда она казалась уместной, всегда удачно закругляла пустословие в один крупный логический Ноль.

Николай Иванович прочитал переписанный набело текст с нескрываемой брезгливостью и бросил листки на стол.

– И где же ты видел в наших краях пшеницу?

– А что, не сеют?

– Да вот пока Бог миловал. Кукурузу пробовали, а до пшеницы руки не дошли. Предлагаешь попробовать?

– Я бы попробовал.

– Ну да, ну да. К белому хлебушку привык? Кстати, где ты видел у нас аистов?

Я молчал.

– У вас сельское хозяйство преподавали на курсе?

– Преподавали.

– Что такое озимые знаешь?

Я вспомнил нашего преподавателя по сельскому хозяйству. Как они были похожи с Николаем Ивановичем! Задержанные, подозрительные, вредные, недоверчивые – плоть от плоти колхозных нравов! Зачет по сельхознауке я сдавал три раза и последний раз засыпался как раз на том, что спутал колосок ячменя, который не поленился притащить преподаватель, с колоском ржи, отчего учитель меня просто возненавидел. Тогда тоже зазвучали известные слова про булки, которые яко бы растут на деревьях.

– Это когда пшеницу сеют зимой?

Николай Иванович, надо отдать ему должное, добивать меня не стал. Убедившись в том, что я полное ничтожество, он вздохнул тяжело и стал что-то чиркать в моих листках. Потом сердито отбросил их и начал писать сам, набело.

– Василий Петрович привет вам передавал, – льстиво промямлил я.

Шеф поднял голову, задумался и опять застрочил своей ручкой с синими чернилами. Шариковой он не пользовался из принципа.

«Готовь сани летом, а телегу зимой», – так начиналась заметка под моей подписью на второй полосе. Василий Петрович пел про экономию грамотней любого лектора из обще-

ства «Знание», Виктор, слесарь, рубил по-рабочему грубовато, но по делу. «Я так считаю, взялся за гуж – не говори, что не дюж! Видали «зилка» у входа? Убитый был – жалко смотреть. А теперь хоть на соревнования выпускай».

Заметку на летучке вежливо похвалили. Я покраснел от стыда. Мой шеф был невозмутим.

Вечерами мы гуляли с Андрюхой по берегу Свири. От могучей реки веяло холодом Онежских вод, на другом берегу начиналась тайга, конец которой упирался в Тихий океан. Говорили мы исключительно о литературе, иногда с отвращением вспоминали работу. По пятницам ходили в баню, а в субботу я один ходил на танцы в Дом Культуры, приняв для храбрости бутылку вина на грудь. И здесь, как и в Псковской области, парни ходили на танцы для того, чтобы проявить свою удаль молодецкую, иначе говоря, чтоб подраться. Такой гусь залетный, вроде меня, за версту семафорил, что нуждается в хороших тумачах. На меня еще на входе нехорошо поглядывали, но милиционеры прекрасно знали особенности местного менталитета и порядок соблюдали строго: на моих глазах два сержанта так отметили пьяного задиру, что он, поскуливая, сам забрался в «уазик».

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в ту пору дралась вся страна. Это была страна героев. Страна подвигов! Обыкновенный человек был не нужен. Человек – это звучит гордо! Даже в пустяковой киношной истории парень был обязан совершить решительный поступок в решающий момент:

побить наглеца или труса, например, или спасти колхозное добро, непременно рискуя жизнью, или, на худой конец выступить на комсомольском собрании со смелым признанием. Без этого человек был как бы неполноценен, незакончен – мало ли, что говорит, а что у него там, внутри? Больше всего были востребованы военные. У них не забалуешь, не соврешь, не спрячешься. Они сильные и смелые. Настоящие.

Представить себе, что уважаемым членом общества мог стать портной или кулинар, восхитительно готовящий пирожки, было невозможно. Кулинар – это вообще уже смешно. Портной – грустно.

А если не получилось с военным поприщем? Если вокруг обыкновенная унылая жизнь, в которой невозможно найти удовлетворения своему честолюбию, в которой самолюбие попирается ежедневно постыдным однообразием, бедностью, скукой? Тогда добро пожаловать в хулиганы! Как там в мультфильме: «Они бабушку не слушались» и не боятся никого!

Недаром в 90-е годы страна наводнилась криминальными группировками – в резервистах не было недостачи. Умные и глупые, молодые и юные честолюбцы жадною толпой ломанулись к славе и богатству, сметая все на своем пути, к жизни красивой, которую они видели только в кино.

В восьмидесятые им оставалось только бить морды друг другу.

Мне не набили только по счастливой случайности. Я имел

наглость проводить после танцев девчонку до калитки ее дома.

Я заметил ее сразу. Она сидела вызывающе одиноко в уголке, худенькая, бледная, в ситцевом платье, сидела сгорбившись, не поднимая глаз, и никто ее не приглашал. А я пригласил. Она удивленно подняла на меня свои васильковые глаза, но поднялась.

– Как вас зовут? – спросил я.

– Люся, – едва слышно ответила она.

– Вы местная?

Ответа не последовало.

Танцевала она плохо. Несколько раз я притягивал ее к себе, но она упиралась в мои плечи жесткими ладошками и отворачивала голову. В бледном лице ее было обидное безразличие и скука. Хотелось спросить: «Ну и зачем тогда приперлась?» Вместо этого я пытался ее рассмешить и сочинял всякие глупости про свою студенческую жизнь. Почему-то я прилип к ней. Из упрямства, что ли? С танцев мы возвращались уже в сумерках. Я иссяк и подавленно молчал, глядя себе под ноги. Руку мою, которую я пытался просунуть под ее руку, она скинула. Молчали мы с каждой минутой все громче. Вокруг темнели заборы и силуэты крыш, лаяли в захлеб собаки.

– Давай сходим завтра в кино? – предложил я.

– Нет.

– Погуляем?

– Погуляли уже.

– Да, места дивные. Романтика.

– Пришли уже.

Я потянулся губами к ее щеке, но она увернулась. Едва ка-литка захлопнулась, как передо мной в сумраке выросли чет-веро пацанов с одинаково мрачными физиономиями. Стар-ший угрожающе держал руку в кармане. Вот тут-то я и услы-шал историческую фразу:

– Лучше неволя, чем Лодейное Поле, – это старший ска-зал.

И добавил:

– Ты больше сюда не ходи. Она Леньку ждет. Ему полгода осталось.

Я не стал уточнять, где Леньке осталось – в армии или в тюрьме. Боюсь, слишком поспешно я сказал, что больше сю-да ни ногой и вообще попал по ошибке. Пацаны расслаби-лись и даже угостили меня сигаретой. Назад я летел пулей и в комнату в общежитии ворвался, запыхавшись.

Андрей оторвался от книги и спросил.

– Ну что? Удовлетворил свою похоть? Надеюсь, шампан-ское было холодным? А простыни из китайского шелка?

– Не могу здесь больше! – промычал я и упал на голую панцирную сетку с подушкой без наволочки. Сетка заколы-халась, приветствуя мое тело сладострастным скрипом.

– Напиши передовицу, полегчает. О повышении удоев козлов в селе Козлянцево Козлищенского района. В свете

последнего постановления козлов ЦК. Как ты там написал в своей последней пророческой статье: «Ведь в этом и заключается наша правда»?

– Наша сила.

– Ну, все равно. У тебя здорово получилось про комсомольский билет. Что это не просто красная книжечка. Что это – драгоценная частичка нашей Победы, так что ли? Кстати, что с этой дояркой, которая уронила билет в сельский сральник вместе с получкой? Выгнали?

– Куда? Куда можно выгнать из Лодейного Поля? Разве что на Таймыр, но там коров нет. Влепили строгача. Она сказала мне, что задолбали ее с этим билетом. Что лучше бы туалет сделали нормальный, а тоходишь и боишься, как бы самому в него не провалиться. Вместе с билетом и получкой.

– А у тебя было написано, что она сказала: «Я только теперь поняла, что значат эти слова – хранить комсомольский билет у самого сердца. Как сказал Леонид Ильич, ЛИЧНО! в последнем докладе: «Комсомол – это верный помощник партии в деле оболванивания пролетарских масс...»»

– Не ври, не было такого. Там было написано: «Доярка Нюра вытерла новым цветастым подолом слезы из глаз и, погладив любимую корову Зорьку за розовое вымя, ласково обратилась к ней: «Ну что, Зорька, не подведем? Партия верит нам. Ты уж не подкачай, кушай травушку-то, кушай. Что бы жирность была высокой»».

– Это я, видимо, пропустил. А потом, помнится, Нюра

сказала: «Я теперь...»

– «Теперяча!»

– Ну да, извини. «... Я теперяча комсомольский билет у самого сердца носить буду. В лифчике! Сердце будет согреть в морозы, куплю седьмой размер и запишаю вместе с Уставом». А что там у нее про будущее?

– У Нюры есть мечта. Поступить в Высшую партийную школу. Мать отговаривает ее, мол и здесь работы непочатый край. А муж, тракторист десятого разряда как раз не против:

«– Пушай Нюрка учится. Она птица высокого полета! Мы привыкли тут, чего греха таить, по старинке жить. Бывало, приду домой под хмельком, она мне слово супротив, а я ей – в глаз! Да так славно приложу, что неделю раком ползает! Раве это дело? По науке надо! Или, например, заначку найдет и спрячет. Я ей: «Ты курва, у меня сейчас винтами пойдешь! Где деньги?!» Опять же бескультурье. А ведь Леонид Ильич – лично! – сказал, что опохмеляться надо в обязательном порядке, чтоб, значит, руки не дрожали и голова была ясная».

– Ну, ты загнул. И как только твой алкаш, Николая, такое пропустил...

– Все, Андре, я сдох. Не могу. Лучше в кочегары пойду. Так невозможно. Это же сплошная блевотина. Так и свихнуться можно.

– Согласен, – Андрюха тяжело вздыхает, ложиться навзничь на свою постель.

В сумерках одиноко зудит комар под потолком. Такое впечатление, что он издевается над нами.

На следующий день на планерке я бодро докладывал.

– Пришло письмо. Коллектив комсомольцев колхоза «Победа» пишет, что доярка Тимофеева Анна взяла повышенные обязательства, уроки усвоила... не обижается, значит, что выговор вlepили за утерю билета... коллектив взял ее на поруки... С выводами статьи все согласны. Подпись, секретарь комсомола... Вот. Злыдников Павел.

– Ну вот, не зря съездил, – отечески прогудел редактор. – Как он, стажер наш, а, Николай Иванович?

– Пока рано хвалить...

– Ну-ну, хвалить иногда как раз полезно, да и наставника не грех похвалить, да товарищи?

По лицу Николая Ивановича видно, что он не согласен с тем, что его надо хвалить. Не верит он в эти похвалы. И сам редко хвалит. Потому что навидался в своей жизни всякого.

И мне за практику Николай Иванович поставил только тройку. Андрюша получил пятерку. Саша, его наставник, провожал нас на автобус. Он был печален. По нашим лицам видно было, что мы убегали из дыры, где ему оставалось еще трубить и трубить.

– Ты, главное, пиши, – напутствовал его Андрей, – у тебя хорошо получается. Приедешь – звони!

Автобус тронулся, я посмотрел в окно и увидел девоч-

ку в ситцевом платице, которая уныло ковыряла сандалией асфальт. Почему-то так жалко стало ее, что я чуть не заплакал. Вся судьба ее как бы высветилась наперед: школа, ПТУ, свадьба в заводской столовой, жених из соседнего дома, хмельной, тупой, довольный... пьяные дружки с похабными шуточками и намеками, роддом, фабрика, зимняя стужа и бесконечное ожидание какого-то чуда, которое перевернет жизнь и засияет, наконец, солнце счастья. Андрей перехватил мой взгляд и вздохнул. Мы понимали друг друга без слов.

...Много подлинного горя в нашей жизни. Мне случалось брать интервью со смертником, которого вскоре расстреляли в Крестах, я видел в тюрьмах полностью раздавленных судьбой страдальцев, сидел у изголовья тяжело больных, но эта девочка не выходит из головы. Я как-то спросил Андрея, что самого грустного он видел в своей жизни, и он сразу понял меня и ответил так:

– Как-то возвращался я с военных сборов с северов, на поезде. И вот где-то под Череповцом поезд остановился. За окном – поле. Вдали, в серой дымке видны заводские трубы, домны. День обыкновенный, солнечный, прохладный. Поле тоже обыкновенное, советское, с заросшими канавами, с какими-то ржавыми железяками, остатками шпал, битым кирпичом... И в этом поле расположилась на простыне семья. Папа, мама и дочка. Папа в пиджаке курит, отмахивается от комаров, мама в малиновой кофте стоит на коленях. На га-

зете – огурцы, помидоры, бутылка вина, лимонад, какие-то кулечки. Девочка в белом платье внимательно, напряженно смотрит, как мама достает из сумки кулечки. Видно, что долго готовились, тщательно выбирали покупки. Семейный праздник. Пикник. Все как у людей. Вокруг ни души, только вороны в небе кружатся. Мы постояли и тронулись, девочка обернулась, что-то сказала маме, и та тоже мельком глянула на вагон, а меня по сердцу резанула такая тоска и безысходность, что я забрался на верхнюю полку и лежал там до самого вечера. Понимаешь меня?

Я кивнул подавленно.

Блажь? Не знаю, не знаю. Просто бывают минуты особого просветления в жизни каждого человека, когда он видит подлинный трагизм и бессмысленность в обыденном существовании. Без веры, без красоты. Без Бога. Дело, конечно, не в бедности.

Таинственный схимник в келье, находящийся в непрестанной молитве, не вызовет сочувствие или жалость у праздного и далекого от веры человека, скорее удивление и робость, уважение или восхищение, а иногда и благоговение, и восторг.

А Николай Иванович, коммунист с 40-летним стажем, посвятивший свою жизнь борьбе за счастье мирового пролетариата, к закату превратился в унылого вредного старикашку. Целый город с трехсотлетней историей превратился в советский населенный пункт с истуканом на центральной площа-

ди вместо церкви. Чем гордиться человеку, если он родился в подобном населенном пункте? Я не знаю.

Знаю только, что монастырь в глубине северных лесов не вызывает ощущение «на краю света». Скорее, наоборот, он кажется светильником в ночи, отрадным прибежищем, где можно спрятаться и перевести дух. А может быть и заново родиться.

Я был хорошо знаком с писателем Даниилом Граниным в последние годы его жизни, как-то он признался мне, что с глубоким сочувствием относится к жителям провинциальных русских городов.

– Я понимаю гордость тех, кто живет в Петербурге, в Москве, или, предположим, в Казани, в Сочи. А чем гордиться жителю Котласа? Медвежьегорска? Ухты? Нечем... Я бы уехал. И я не осуждаю тех, кто уезжает. Без самоуважения человек умирает. Надо обязательно найти точку опоры.

Я слышал, что возродили к жизни, очистили от забвения и поношения монастырь Александра Свирского. Теперь там много паломников, вновь зазвенели колокола. Надеюсь, что какая-то часть благодати достанется и Лодейному Полю. Надеюсь, что настанут, наконец, времена, когда по берегам Свири вырастут крепкие двухэтажные деревянные дома, которыми когда-то славился наш Север, в которых будут жить зажиточные многодетные семьи и ни одна сволочь не посмеет сунуть свой нос за ограду их усадеб без приглашения. Сво-

бодные люди будут сами свободно выбирать свою судьбу.

А ведь я даже не помню, как называлась моя первая в жизни районная газета...

Глава 36. Писательство

Первая практика едва не отбила у меня всякое желание работать по профессии. На третьем курсе я стал лихорадочно писать роман-эпопею, который к исходу пятого курса должен был обеспечить мне пропуск в большую литературу и избавить от журналистского рабства.

Ни одного живого писателя я не знал. Ни в одном литературном журнале не был. Вход в литературу я представлял так: открываю дверь в кабинет главного редактора и, немного смущаясь, кладу пухлую папку на стол.

– Вот... написал...

– Что это, молодой человек?

– Роман.

– Роман?! – седой и пожилой главный редактор откидывается на спинку кресла. – Всего-навсего? А вы представляете себе, любезный, что такое роман?

Дурак даже не представляет, что лежит у него на столе и продолжает изгаляться:

– Люся, дорогая, – кричит он строгой даме в очках, которая сидит за пишущей машинкой в приемной, – иди сюда, нам роман принесли! Как у Толстого! В четырех частях!

А потом, через неделю, звонок по телефону. Глухой, сдавленный голос.

– Михаил? Это редактор. Вы не могли бы приехать? Срочно! Сейчас! И паспорт захватите!

Смешно? Но без этой прелюдии невозможно было засесть за эпохальную вещь. Я сразу настроился, что будут соблазны, что преодолевать придется в первую очередь себя. Правильно думал. Соблазны были каждый день, в себя поверить было так же трудно, как в коммунизм. Прочитав утром то, что вечером писалось с жаром сердца, я впадал в депрессию – вычурные, фальшивые слова исторгались не мной, а каким-то законченным идиотом, манерным и лукавым комсомольским выползнем, одинаково отвратительным и для своих, и для чужих.

Страдал не только я. Страдал Андрей, страдал Славик. Андрюша, чтоб не расплескать свой талант напрасно, перестал писать вовсе; Славик писал, как и я – из принципа: упорно, вымученно, хотя бы по странице в день. Я за день мог исписать и целую тетрадь лихорадочным подчерком, который наутро разбирал с трудом.

Мы ломились в литературу, как напуганные беглецы, которые слышали страшный, провидческий глас: «Лучше неволя, чем Лодейное Поле!»

Сокурсники из провинции переживали грядущую судьбу проще. Нобелевская премия их не соблазняла, районные городки суицидальные мысли не наводили, тягостные предчувствия бездарности не мучили. Жизнь обещала им спокойную старость. А что случится до и после, думать не хо-

телось.

А мне хотелось. На четвертом курсе я пришел к выводу, что без счастья жизнь не имеет смысла. «Кто счастлив тот и прав», – таков был мой девиз. В это время я сошелся близко с Мишей Герасимовым. Он выделялся на курсе, во-первых, солидным возрастом – ему было под тридцать, у него была жена и дочь, во-вторых, про него ходили упорные слухи, что он верующий.

Верующий в наше время и в нашей среде – это было серьезно. Это был вызов покруче дешевой антисоветчины. Верующий ломал самую сердцевину государства пролетариев, основу основ, так сказать. Получалось, что не все поняли и уверовали, что человек – это обезьяна. В школе таких высмеивали. На моей памяти лишь однажды Петька Епифановский в полу-шутку, из вредности, сказал училке по биологии, что человек вряд ли произошел от обезьяны. Пол-урока она изводила его издевками.

– Дети, посмотрите на нашего Петю! Оказывается, он произошел не от обезьяны. А от кого же, Петя?

– От родителей, – буркнул Петя, которому до фонаря на самом деле был этот вопрос. Но училка возбудилась не на шутку.

– А родители от кого произошли, Петя?

– От своих родителей.

– Умница! А они в свою очередь от своих. И так многие поколения! И вот миллион лет назад нашими предками ста-

ла... кто дети?

– Обезьяны! – радостно подхватили мы. Хотя, если по чесноку, нам было абсолютно наплевать от кого. Хоть от крокодила. Раз взрослые говорят – значит так и было. Но училка еще долго волновалась, словно в ее родословной обнаружались враждебные советскому строю элементы.

– С точки зрения эволюции Дарвина, ребята, и я, и Петя, и Миша, все, все! – мы млекопитающие, да, да, обезьяны, получившие развитие путем естественного отбора. Не надо возноситься, Петя, думать, что ты пуп земли! Сравнительно недавно по историческим меркам твои и мои предки лазали по деревьям!

Петьке, хулигану, уже надоел этот диспут, и он сдался.

– Да мне похер, кто у кого лазал! – сорвалось у него с языка, но училка в ажиотаже даже не заметила сквернословия.

– Ученые, ребята, уже давно установили, что между нами и обезьянами существует близкое родство!

– Да мы видели! – подхватила Танька Соловьева, вскочив. – Они такие миленькие! И яблочко едят, как мы, ручками!

– Да, Танюша, миллионы лет назад эволюция разделила нас, увы. Мы пошли своей дорогой, а они своей. Но родственные связи – остались! Так что, глядя на шимпанзе, всегда помните – это ваш пра-пра-пра-родственник! Все понятно?

– Да! – радостно проревел класс, и я в том числе.

– Ну, ты, макака! – пихнул я Китыча в бок. – Поддай мне банан! Живо!

– Полай! Я не макака. Я шимпанзе!

– А я тогда... горилла! Вот!

– Гиббон ты ушастый!

И мы покатались на пол от хохота.

Не могу сказать, что меня в юности особенно угнетала эта мысль – что я всего-навсего обезьяна. В конце концов у нас на Народной встречались экземпляры, в сравнении с которыми и обезьяна сочла бы себя обиженной. Но со временем я стал понимать, что из этой мысли неумолимо вытекает вывод, что вся наша жизнь не стоит и ломаного гроша. На первом курсе я находил в этой мысли повод для поэтической меланхолии, на четвертом эта мысль стала невыносимой, и то, что остальные с этой мыслью жили в ладу, делало ее еще более мучительной.

Много лет спустя я встречал людей, которые возбуждались самым серьезным образом, когда встречались с возражением на теорию Дарвина. Это не были специалисты, которых коробила некомпетентность оппонента, это не были ученые, которые потратили жизнь на доказательства правильности теории и теперь ни за какие деньги были не согласны отречься о дела всей своей жизни, это не были умники, которые пытливым умом и трезвыми выводами постигли главную тайну природы и теперь истины ради вынуждены были отстаивать ее перед невеждами – нет! Это были рядовые люди,

чьи скудные познания мира умещались в дальней ячейке головного мозга, где истлевали за ненадобностью и другие постулаты марксистско-ленинской философии. Непостижимо, но они вспыхивали, как порох, когда сталкивались с обыкновенным скепсисом по отношению к дарвинизму. Даже намек на несогласие с тем, что мы обезьяны, они встречали с подлинным возмущением и высмеивали его с ядовитым, злым, агрессивным сарказмом. Это напоминало фанатическую одержимость, когда истина становится дороже добрых отношений, а победа в споре нужна не ради удовлетворения тщеславия. Что же это такое? Почему страшная мысль о бессмысленности всего сущего становится столь желанна человеку, почему он цепляется за нее вопреки даже здравому смыслу? Ведь совершенно очевидно, что человек – создан. Что дикий миф о том, как из мертвой материя вырос сам по себе дивный мир, несостоятелен до такой степени, что его невозможно принять без веской причины. Что это за причина? На мой взгляд она одна. Этого хочет тот, кто от начала был противником человека и хотел человеку только зла. Других объяснений нет.

Как-то в стройотряде, после ужина, мы чуть не разругались с добрым парнем по имени Антон, студентом-физиком, когда поспорили о сотворении мира. Антон, повторяю добрый и честный малый, буквально взбесился, когда я усомнился, что жизнь зародилась из случайных смешений земного праха.

– Да, я верю, – взревел он, – что из случайных комбинаций атомов, электронов, молекул может возникнуть структура жизни, которая начнет самосовершенствоваться и рождать все новые и новые формы. В этом нет никакого чуда! Это свойство материи и ничего больше! А тебе хочется, чтобы Боженька управлял все этим?!

По правде сказать – очень хотелось! Непонятно было, почему Антону не хочется. Ведь поверить в ахинею про случайные комбинации атомов было гораздо труднее, чем в Бога, да просто невозможно! Мы разругались. Я был обижен. Антон оскорблен.

Уже много лет спустя я узнал, что идея самопроизвольного зарождения жизни абсолютно несостоятельна именно с научной точки зрения, что именно серьезные ученые стали главными свидетелями против дарвинизма, но и в тесных казематах коммунистической идеологии той поры я никогда не подходил к этим вечным вопросам без очевидной веры в то, что нас кто-то создал. Эта вера буквально стучалась в сердце каждое утро, когда я видел, как из-за леса встает солнце, чтоб обогреть меня, когда я смотрел на голубенький цветок незабудки, сотворенной гениальным воображением Художника, когда провожал взглядом строгий клин журавлей, чьей-то волей влекомый в дальний путь через моря и горы, когда вдыхал волшебный аромат кустов деревенской розы, густо посыпанных снегом своих роскошных цветов, когда беспричинная радость растворяла сердце в сосновом бо-

ру и хотелось плакать и благодарить Того, кто подарил тебе все это и много больше подарит, если хватит ума не потерять эту благодать в суете дней...

Но Миша Герасимов стоял на ступень выше. Он ходил в церковь. Он читал Библию. Он истины, которые я постигал умом, знал сердцем, и я чувствовал эту разницу, общаясь с ним, и стеснялся себя.

Герасимов первый раз привел меня в церковь, не чтобы поглазеть. Первый раз я поставил перед иконой свечку. Первый раз перекрестился деревянной рукой. Поклонился скрипнувшей спиной. Первый раз пробормотал какие-то вымученные слова покаяния. Мы вышли на улицу, и я невольно распахнул пальто, потому что вспотел весь.

– Ну как? – спросил Миша.

– Не знаю, – честно сказал я.

Много раз потом я видел и слышал, как вера приходит к человеку. Иногда как гром среди бела дня (я сам был свидетелем и такого чуда). Иногда человек созревает годами, отшелушивая от сердца засохшие убеждения и соскабливая копоть предрассудков. Я прошел свой путь.

Не убедительные интеллектуальные аргументы мешали мне. Не сомнения в самоочевидности тех или иных истин и доказательств. Ум уже давно все доказал. Сердце давно стучалось из клетки. Тогда что?

Трусость.

Тяжко признаваться в этом воспитаннику улицы Народ-

ной – у нас смелость и лихость всегда были главными добродетелями настоящего мужчины. Тяжко и стыдно. Как стыдно бывало за то, что стеснялся своего простоватого отца перед людьми, своей не геройской биографии, своей наивности и жалостливости, совестливости и доброты.

Трусость вообще грех тяжкий настолько, что о нем предпочитают молчать даже смелые люди. Трусость, как лакмусовая бумажка, проверяет человека на пригодность всю жизнь.

Моя трусость была двух уровней. Первый уровень «официальный» – я боялся системы, которая запросто могла перемолоть мои косточки и выплюнуть на обочину мою изжеванную тушку. Этот страх не самый постыдный. Никому не хочется класть голову на плаху, особенно когда за это не обещают аплодисментов. При всем том, что система к середине 80-х уже издавала легкое зловоние, скушать человека она могла запросто из-за любого пустяка. Нужно было соблюдать некоторую ловкость, чтоб не попасть власти в зубы, некоторую мудрость и осторожность, чтоб не зарываться и не лезть на рожон. Я никогда не был членом каких-то тайных кружков и обществ, не якшался с диссидентами, не ходил на митинги протеста, не писал в подпольные журналы. Думаю, на Литейном, 4 я на первом же допросе сознался бы во всех грехах и каялся вполне искренно, потому что в глубине души верил в божественное право государства вершить суды и определять виновность своих подданных.

Второй уровень – трусость перед Богом. Это когда боишь-

ся перекреститься на людях, когда скрываешь перед близкими, что ходишь в церковь, когда боишься прослыть невеждой и мракобесом, отстаивая истину, когда стесняешься показаться смешным и несовременным перед «образованцами», когда зачем-то врешь девчонке про свою безжалостность и неумолимость, когда, обольщая женщину, придумываешь себе образ успешного ловкача и пройдохи, когда хочешь показаться пацанам грозным и жестоким, а у самого сердце разрывается от жалости, когда хвастаешь своей силой и могуществом, а сам чувствуешь себя подлецом, словом, когда изменяешь себе ради лукавого угождения ничтожным людям, которым зачастую нет до тебя никакого дела.

О, трусость эта хитра, изворотлива и непобедима. Искоренить ее можно, копая долго и неутомимо вглубь. Все глубже и глубже. Там и прячется тот самый черный карлик, который дергает за ниточки ваши помыслы и поступки. Это очень злой, очень гордый и очень лживый карлик. Он придумывает вам подходящий образ, которому вы поклоняетесь иногда всю жизнь. Это может быть ковбой с ледяным взглядом серых глаз, молниеносно выхватывающий кольт при первой опасности, это может быть обаятельный жулик, обирающий до нитки своего ближнего, это может быть ловелас, обольщающий женщин ради оваций друзей и знакомых. Хуже всего, когда это сам черный карлик, демон без маски, потому что он требует от жертвы только гибели и себе, и близким.

Бороться с карликом трудно. Переубедить его невозмож-

но. В споре он всегда побеждает, потому что умен. Единственный способ справиться с ним – уповать на Божью помощь. Воровать не буду, потому что грешно. Блудить не буду, потому что грешно. Лукавить не буду, потому что грешно... Почему грешно? Потому что Бог сказал. Точка.

Герасимов Миша открыл мне печальную правду, что я живу вне морали. Мораль для меня была необходимой ширмой, чтоб прикрыть стыд, не более того. Я не сдал бы чемодан в камеру утерянных вещей, если бы нашел его на скамейке в безлюдном месте, возможно я даже не окликнул бы человека, выронившего кошелек из кармана, и забрал бы кошелек себе. Впрочем, мог бы и окликнуть, если бы в эту минуту представлял себя веселым щедрым повесой. Конечно, я был сострадательным, конечно, я вступился бы за друга, я не стал бы клеветать даже на врага, но это были врожденные чувства. Они не складывались в единое мировоззрение, в котором каждая конструкция прочно спаяна с другой и вместе они образуют некую идейную крепость, в которой может укрыться душа человека. О Нагорной проповеди я не знал ровным счетом ничего, о десяти заповедях тоже. Моральный кодекс строителя коммунизма прочитать не смог несмотря на то, что еще в школе задавали. Что-то осталось в голове от Маяковского – «Что такое хорошо и что такое плохо». Что-то осталось от бабушки, которая учила, что если будешь врать, то нос вырастит, что-то вдолбили кулаком во дворе, где кодекс чести соблюдался строго, что-то успе-

ли втемяшить в начальных классах школы, пока еще прилагательные «ленинский», «коммунистический» не отравили мозг. Таких, «безыдейных», но «чистых» было много. Иногда они поражали своими геройскими поступками, иногда совершали совершенно дикие аморальные поступки – и те и другие они не могли потом объяснить. Петька спас из полыньи пожарного пруда незнакомого мальчишку, а спустя год избил до полусмерти пацана за то, что тот «не так посмотрел», Вовка отдал последние деньги Витьке, когда тот потерял кассетный магнитофон, и он же на глазах у Витьки обчистил карманы у пьяного мужичка, заснувшего на скамейки, а потом рассказывал эту историю восхищенным пацанам. «Хорошо» прилаживалось к «плохо» как придется. Получалось лоскутное чучело, которому предстояло строить светлый мир будущего.

Герасимов был целен. Если я разделял веру и поступки совершенно свободно и, веруя, грешил без покаяния, то Миша после университета уехал в Сибирь отрабатывать три года исключительно ради того, что бы «не быть обязанным государству за обучение». Для меня столь высокие помыслы были просто непостижимы. Свою связь с Богом я видел поначалу где-то в космосе, откуда земные грешки казались смехотворно малыми и несущественными. Ну переспал с девчонкой, ну напился, ну обманул преподавателя, ну и что? Создатель Вселенной со всеми ее звездами и планетами вышел со мной на контакт – шутка ли? Вечность! Абсолют! Тут ни-

каких мозгов не хватит, чтоб обхватить эту мысль. А вдруг Он откроет мне дверь тайны мироздания, и я обрету мудрый покой и силу?!

А тут эта дура – Ленка, говорит, что залетела и уже на втором месяце и что я должен жениться! Ага, разбежался! Да лучше повеситься! Господи, прости меня, грешного! Сделай так, чтоб Ленка благополучно сделала аборт и отстала от меня! Ведь я хороший, в сущности, парень и никому не желаю зла. Ну, было нам с ней хорошо, теперь я буду осторожен. Но свадьба – ни-ни, Господи. Рано. Еще не написан гениальный роман. Еще столько девчонок вокруг!

Как-то вот так.

Говорят, что викинги в средние века крестились, потому что получали за это подарки. Многие по нескольку раз. Моя вера была не многим глубже. Выпив в парадной три майонезных банки портвейна, я мог схватить за грудки собутыльника и прореветь ему в испуганное лицо, что Бог первичен, а материя вторична и что «в Библии все сказано»! А потом вместе с Китом затеять драку с мужиками, которые имели наглость сделать нам замечание за непотребное поведение.

На втором и третьем курсе я прочитал почти полностью собрание сочинений Достоевского в 30 томах. Читал, как и жил, беспорядочно, яростно, запойно, со слезой и скрежетом зубным, с отвращением, с протестом, с гневом; наконец, с открытым от изумления ртом! «Великого инквизитора» читал весенней ночью. Несколько раз вскакивал с кровати и

читал стоя. Потом выскочил на улицу и быстрым шагом пошел в лес. Дивная, апрельская ночь накрыла меня свежим покровом. Земля дышала. В темноте слышно было как переговариваются между собой талые ручьи – и тренькали детским дискантом, перепрыгивая мелкие камешки, и заливались беспечным смехом, перекатываясь через коряги и валуны, и ворчали, ворочаясь по-стариковски, в глубоких заводях. Всех собирала в свою утробу безымянная речка, которая в апреле становилась полноводной и норовистой, а жарким летом почти исчезала в глубоких торфяных впадинах и канавах. Речка впадала неподалеку в Оккервиль, та в свою очередь в Охту, Охта в Неву, а Нева в Атлантический океан. Эта мысль – что я стою неподалеку от побережья Атлантического океана – всегда будоражила мое воображение. В детстве мы с Китом неоднократно снаряжали маленькие драккары из сосновой коры в дальний путь к берегам Норвегии и, опуская их в стремительное течение, провожали старым моряцким напутствием: «Семь футов под килем!»

Вот и теперь речка взволнованно лопотала под мостком, унося воды моего леса в могучий океан, словно «хлопотливая труженица в весеннюю страду», по словам поэта. Отовсюду, из мрака, дышала влажная прохлада, настоящая на прелом запахе оттаявшей земли. На небе мерцали крупные яркие звезды. Я вышел на лесную поляну, поросшую сухой прошлогодней травой, и задрал голову.

Ничто так не очищает душу, как ночное звездное небо. Я

вдруг почувствовал то, что искал многие годы – я сделался счастливым. Назвать счастьем после этого все, что я знал и перечувствовал, было кощунством. Это был не восторг, не умиление, не покой... Не экстаз, не упоение... Это было не покаяние... Это была необыкновенная полнота жизни, как будто была тьма и вдруг включили свет, и ты увидел подлинный мир ясными глазами и мир был прекрасен. В нем не было страха, не было загадок, не было предчувствий и надежд, не было времени. В нем все вопросы получили ответ. Я стоял, как громом пораженный и блаженные слезы катились из моих глаз...

Свет выключился через три-четыре минуты так же неожиданно, как и включился, но глубокий обморок благодати еще долго был со мною.

Часа два я бродил бесцельно по лесным тропам и плакал в голос, размазывая слезы ладошками. Я просил Бога только об одном: чтоб Он не покидал меня. «Господи, хорошо мне с тобою!» Я любил и прощал всех. Я говорил с лесом, и он отвечал мне нежной молвюю, я признавался в любви к звездам, и они улыбались мне в ответ. Этот мир был совсем не страшный, он был моим уютным домом, в который я вернулся из странствий. Надолго ли?

Заалела на востоке узкая полоска неба, вскрикнула спрoсонья какая-то пичуга, треснула ветка... Я очнулся.

Бог подарил мне часа два подлинной благодати. За что? Думаю, из милости. Но не только. Много раз в дальнейшем

я спасался от отчаянья и депрессии, вспоминая эту волшебную ночь. В самую тяжкую минуту, в час испытаний и сомнений, я вспоминал, как был «восхищен на небо» и пятился от черной бездны со спасительной молитвой и надеждой.

Назавтра я узнал, что это была Пасхальная ночь.

Глава 37. Обращение

Я рассказал Герасимову о своих чудесных переживаниях, будучи уверен, что он оценит и зауважает меня, но Михаил задумался.

– Будь осторожен. Такие симптомы бывают у эпилептиков. Ты в курсе, что такое прелесть?

Мишу вообще трудно было увлечь фантазиями. Его вера была строга. Даже внешне – худой, чисто выбритый, черно-волосый, подтянутый, смуглый, в огромных черных очках – он походил больше на католика, чем на православного, которых мы привыкли представлять расхристанными и немножко шальными бородачами. Позже он признался мне, что одно время действительно подумывал о том, чтобы перейти в католичество, но успешно переболел. Понял, что соблазнился, скорее, эстетикой, чем духом католической Церкви.

Миша обращался в сферах, которые для меня были закрыты. Однажды он дал мне почитать Набокова – рассказы, «Лолиту» – отпечатанные на машинке, и я впервые столкнулся с настоящим, не тронутым грязными пролетарскими лапами, «заморским» русским языком. Лолита перетряхнула все мои представления о литературе. Я прочитал ее за сутки и пережил бурные чувства в четкой последовательности – восхищение, благоговение, уныние, отвращение, ненависть.

Гумберт вызывал у меня только одно желание – дать ему по яйцам ботинком, а потом в зубы коленом. Я не постеснялся, возвращая пухлый том в кожаном синем переплете, сказать об этом Герасимову, который расхохотался.

– Он редко вызывает сочувствие.

– Мне вообще показалось, что Набоков однажды был смертельно оскорблен и мстил всем всю жизнь. Злой он.

– Может быть, – задумчиво сказал Герасимов, – но стилист непревзойденный.

Потом он познакомил меня с трудами некоторых зарубежных религиозных мыслителей и, наконец, вручил папку с машинописными листами.

– Вот, держи. Это курс лекций по богословию Осипова Алексея Ильича, профессора Духовной Академии в Москве. Известный в своих кругах человек. Умница. Мне дали на время, я уже прочел.

Я читал в своем любимом лесу, под огромной елью, в мае, на ковре зеленого мха, украшенного цветущей ветреницей, под аккомпанемент трелей зябликов и зеленушек, согреваемый теплым солнцем на голубом небе – прекрасная сцена для урока по богословию! Осипов сразил меня. Я открывал глаза, переворачивая страницы, раз за разом, на мир, на Бога, на человека, на смысл жизни! Ответы, которые так нужны были мне в последние годы, которые буквально стучались в мое сердце и разум, открывались в ясной простоте, поражая своей убедительностью. Дурацкие советские сказки про бо-

родатого дедушку на облаках, который кидает на грешные головы молнии и громы, развеялись. Рухнули подлые наветы на Церковь, которая учит рабству и потворствует несправедливости. Затрещал миф о неизбежном противостоянии религии и науки. Пошатнулось все мироздание. Причем в прямом смысле – меня зашатало, когда я вскочил на ноги в сильном возбуждении. Я заверещал как индеец и заплясал. Зяблики удивленно смолкли. Смолкли дятлы, монотонно и неумолимо долбившие деревья неподалеку. Но меня слышал Бог! Который везде! Который в моем сердце! Который стучит в дверь и ждет, когда отворят ее!

Это был миг прозрения. Я огляделся, с изумлением разглядывая чудесный мир вокруг.

Желтая бабочка торопливо чертила в воздухе загадочные знаки. Легкий ветерок взъерошил молодую листву на березе, и она пролепетала соседке с густой вуалью из желтых сережек – как хорошо жить! Вздохнула с облегчением старая ель, сбрасывая с себя лесной сор и сухие иголки. Загудел толстый шмель, расталкивая сухие травки, чтоб пробраться к заветному желтому цветку. Замелькали по земле и по стволам легкие тени от набежавшего облачка. Зяблики встрепенулись и начали с прерванного куплета, зеленушки подхватили, дятлы грянули и весь лес запел: «Слава Тебе, Боже!»

Так происходило мое первое крещение. Второе, в церкви, случилось лишь семь лет спустя.

Увы, на курсе мы с Герасимовым были едва ли не един-

ственными, кто всерьез обратился к христианству. Славик к вере был равнодушен. Андрей искал в ней скорее поэтическое вдохновения, свежие аллюзии, протест против кондового советского мировоззрения, убежище от печальной реальности, чем опору и главный смысл в жизни.

Да и сам я нес веру в сердце, как драгоценный дар, как тайну, которую нужно было беречь, но которой трудно было с кем-то поделиться. Все были заняты. Никто не хотел смотреть в небо. Хотя бы иногда. Это вранье, что в небо не смотрят потому, что некогда. Причина всегда одна – незачем.

На исходе своих шестидесяти лет коммунистический режим одряхлел, но по-стариковски упрямо держался за свои главные заблуждения.

Почему-то именно религия оставалась последним бастионом, который большевики хотели взять прежде, чем сдохнуть. Старые пердуны вместо того, чтобы подумать о том, что совсем скоро для них настанет роковой момент истины, сочиняли в своих толстых журналах статьи о неизбежности победы мировой революции и материалистического мировоззрения. Зачем им нужна была победа материалистического мировоззрения – одному Богу было известно. Как-то уже после падения Берлинской стены я спросил одного старого партийца, зачем он так упрямо и долго боролся в своей жизни с Богом. Партиец был из начитанных, вспомнил и Прометея, и Горького с его «человек – это звучит гордо». Сам он уже давно потерял свою большевистскую удаль

– сгорбился, высох, на щеках, на носу лопнувшие капилляры нарисовали лиловые узоры, пальцы, изуродованные артритом, тряслись... Мы встретились взглядами. В его слезящихся бесцветных, стариковских глазах мерцал все тот же злой вызов, с которым он прожил жизнь. «Ну что смотришь? – говорил этот взгляд. – Да, мы прожили жизнь в борьбе, и я ни о чем не жалею». И мне было его не жалко. И не верилось – ну, никак! – что человек этот всю жизнь боролся за счастье народа. Скорее, всю жизнь он прожил назло. И себе. И Богу!

Атеизм, подаривший миру Вольтера и Герцена, на исходе советской эпохи выродился в беспомощное злое брюзжание. Здравая мысль, свежая идея уже давно сдохли в застоявшемся болоте старых марксистских догм; в плесени расплодились плутоватые бойкие дельцы от философии, которые ловко сооружали из избитых истин свои пухлые диссертации и «научные» статьи.

Слово «научный» стало любимым. Научный подход открывал волшебным ключиком двери в «научную» философию, где «научного» мыслителя ожидали должности и награды.

Прекрасный русский писатель Солоухин попал в немилость. Представьте, написал он, вы идете по девственному лесу и вдруг видите шалаш. Кто сделал его? Охотник? Рыбак? Лесник? Или порывом ветра ветки взмыли в небо и сами собой уложились нужным образом? Ответ очевиден, не так ли? Так может быть, пишет Солоухин, и мир наш создан

не случайным порывом ветра, а по плану?

Казалось бы, мысль, как мысль. Ответьте.

Ответили.

В толстом московском журнале «группа товарищей» разразились гневной отповедью отщепенцу. «Заигрывает с Боженькой», – таков был приговор. Казалось бы, заигрывает и заигрывает, вам-то какое дело? Нельзя! Сами «товарищи» предпочитали «заигрывать с Лениным», взывая к трупам по всякому поводу чуть ли не в каждом абзаце и уверяя свою паству, что он живее всех живых.

Так вот и жили.

Глава 38. Народная

Мои пьянки уже давно потеряли свое очарование. В прошлом остались блаженные времена, когда поутру, освежившись под контрастным душем, мы встречались с Китом на лестничной площадке и, захлебываясь от хохота, вспоминали, как чудили накануне – кому набили морду, кто наблевал себе на ноги, кто вырубился в кустах. Теперь наутро воспоминания пугали, и мы обменивались ими по телефону осторожно. Контрастный душ помогал мало. Одиночество пугало.

Собирались у пивного ларька. Кто-то с «бланшем» под глазом, кто-то в чужой куртке. Вытряхивали мелочь из карманов, но вскоре появлялись и бумажные мятые купюры. Жизнь налаживалась.

Здоровья в организмах было еще много. Вообще, положая руку на сердце, могу сказать: крепкое племя было семидесятых. Крепкое! Я сам в юности мог подтянуться 49 раз на турнике, в молодости 25 раз. И был далеко не самым сильным среди сверстников! Думаю, если выставить друг против друга десять юношей из семидесятых против десятка нулевых, победа советской команды была бы сокрушительной. Наши ребята на спор разбивали кулаком кирпичи и гнули металлические прутья. Толкали штангу под девяносто кило. Од-

нажды я был свидетелем и такой забавы. Кит и Вовка Константинов стали спорить у кого рука крепче, да удар сильнее. Вовка год целый качался в спортивном подвальчике, ну а Кит был известный силач и забияка. Решили проверить в честном поединке. Прямо, как у Лермонтова в «Песне про купца Калашникова». Встали друг против друга, Вовка размахнулся и вlepил Киту в ухо так, что весь двор вздрогнул и ахнул. Покачнулся Кит, ухо потрогал, усмехнулся, куртку снял. Вовка побледнел, но встал честно в пол-оборота и руки свесил. Кит ударил в ухо, коротко и страшно. Вовка как подрубленный упал на землю. Его накрыли пиджаком и отнесли на скамейку. Там он и лежал, пока не принесли несколько бутылок портвейна. Бойцы выпили мировую.

Вспоминаю один солнечный апрельский день. Мы с Коноваловым прогуливали урок математики, загорая на Неве. Стояли на деревянном настиле, который каждую весну до сих пор сооружает неподалеку от Володарского моста местный рыбсовхоз: накануне путины корюшки. Нева дышала холодом. Огромные льдины с нахохлившимися чайками на борту, с шелестом проплывали мимо, к заливу. И вдруг сверху, по ступеням лестницы на помост спустились два парня лет двадцати. Высокие, плечистые, из тех, которые завязывают рубахи летом на пупе и знают, что надо делать с девочкой после танцев. Парни оглянулись на нас мельком и больше как бы не замечали. У каждого в руках по «мальку». Выдохнув, дружно приложились. В три «булька» опорожни-

ли их в раскрытые рты, швырнули пустую тару в воду. Скинули брюки, рубахи. Красивые, атлетические тела их заиграли мускулами, они спиной чувствуют, как мы с Сашкой смотрим и ждем.

Парни рисуются. Похлопывают себя по бокам, тихо переговариваются. Наконец, разбегаются и ныряют в ледяную воду! Отфыркиваясь, рыча, гребут мощным кролем против течения в ледяном крошеве. Сильными руками выталкивают тела на помост, встряхиваются, как собаки, одеваются. Закуривают. Кивают нам с улыбкой. И уходят под наши молчаливые аплодисменты. Мы с Сашкой еще долго молчим. Что тут скажешь? Только:

– Да, бля-а-а-ть...

Скорее всего работяги с Обуховской обороны. Скорей всего, вечные скитальцы по 206 статье: выпил, подрался – в тюрьму!

Дурная кровь – так говорят про таких в народе. Когда-то, тысячу лет назад, охотники, дружинники, купцы, пираты, казаки-разбойники, первооткрыватели, бизнесмены. Теперь вот – хулиганы и пьяницы. Социализм всегда декларировал, что таким не место в обществе. Полностью согласен. Таким социалистический лагерь хуже лагеря строгого режима. Скучно. Целые институты и академии марксизма-ленинизма изучают общественные отношения, чтоб сделать жизнь простых людей насыщенной и счастливой, а им скучно. «До лампочки!» – как говорил герой известной комедии Гайдая.

Это были диссиденты без цели, революционеры без подвига, извечные бунтари без царя в голове. Скучно!

Страшное слово. На мой взгляд – ближайший синоним слову – бессмысленность! Боюсь, что в скуке и рождается знаменитый русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

Хулиганы жили ярко. Они были бесстрашными. Их боялись. За ними гонялась милиция, о них дворовые скалды слагали саги. Трезвым, законопослушным, семейным гордится особо было нечем. Бедность их была очевидной. Унылый быт навевал тоску. Орущий в коляске ребенок вызывал к папаше сочувствие. Перспективы у всех были одинаково скучными. Ну, купил он костюм с отливом, ну съездил в Ялту, и что?

Ничего.

Глава 39. Переходный возраст

Умер Брежнев. Верный ленинец, продолжатель, и т д, и т п. Теперь о нем или хорошо или ничего. Я с чистым сердцем не брошу в старика камень. Он не был злым. Не стоит обвинять его в том, что он не знал, куда рулить. Никто не знал. Проклятая большевистская колея завела в такие топи, что главное было не впадать в панику. Брежнев идеально справился с этой ролью. Глядя в его грудь, увешанную медалями, невозможно было поверить, что дед запутался и не знает куда грести. Его знаменитая речь с кашей во рту, знакомое всему населению бровастое лицо, по которому не пробежала уже давно ни одна мысль, ни одна свежая эмоция, кроме чувства глубокого удовлетворения, его заторможенные движения, напоминающие каждому о печальном бремени глубокой старости – все это внушало мысль, впервые высказанной еще Минихом в XVIII столетии: «Россией управляет сам Господь Бог». Брежнев был просто Его ставленник. Видимо, именно такой и был нужен. В первую очередь нам. Ведь мы были этого достойны, как говорит реклама, не так ли?

Лично я ушел в академотпуск. Решил продлить свои чудесные студенческие годы. Знакомая врачиха сделала направление в клинику неврозов на 15-й линии Васильевского острова, и 45 дней я лечил свою нервную систему уколами

витаминов В-6 и В-12, да еще какого-то раствора из алоэ. Чтоб не посещали тревожные мысли, врачи прописали ме-пробамат. В аннотации к лекарству в пункте «побочные действия» написано, что он вызывает «ложное ощущение благополучия». По-моему, ощущение благополучия может быть только подлинным, и я вполне им наслаждался!

Впереди был отпуск без малого год. О праздности не могло идти и речи! Я приступил к написанию романа. Всерьез. Отец устроил меня на должность сторожа строящегося корпуса фабрики имени Ногина, и я охранял здание от злодеев по выходным дням. В субботу, после обеда, меня запускали, как сторожевую собаку, за ворота стройки, а в понедельник утром выпускали на волю. Устроившись в теплом кабинете будущего директора, я стучал по клавишам своей пишущей машинки, которую привозил из дома в рюкзаке, с утра до глубокого вечера, так что по всем гулким коридорам было слышно: сторож не спит! Работает...

Роман был как бы о любви. Замес был крутым. Она – фанатичная, бескомпромиссная комсомолка, он... Он – это как бы я. Только поумнее, поироничнее, пообразованнее (таким я хотел себя видеть). Ну и покрасивее, наверно. Приехал этот как бы я в районный центр, списанный с псковского Острова, и познакомился с девушкой прямо в отделении милиции, где она подвизалась дружинницей. Он такой столичный весь, циничный, образованный нигилист, а она прямо-таки предана до мозга костей делу Ленина.

Ну и сошлись... лед и пламень. Она – монументальная коммунистка, он – повеса, обаятельная сволочь, коварный бабник. Как он ее пытался очеловечить! А она решила наставить его на путь истинный. То есть сделать из него правого коммуниста. Они сначала забавно бодались, иногда увлекали меня, но скоро выдохлись. Огня не было, одни искры. И секс не предвиделся. Игорь даже и не пытался. Это как соблазнять гипсовую «Девушку с веслом» в парке. Они много гуляли, много говорили... скучно говорили, банально, с нарастающей неприязнью к ним автора. Раздражение героев тоже накапливалось. Так бывает и в жизни – оба любезничают, хотя терпеть не могут друг друга и только ждут удобного момента, чтоб ужалить. Однажды Марья сводила Игоря к постаменту Клавдии Назаровой (это местная партизанка такая была), а потом они пошли на берег реки Великая (о, как утомила меня эта бесконечная ходьба по унылому райцентру, где и кафе приличного было не найти!). Там Марья показала на холм на другом берегу и сказала, что в 44-м на этом холме погиб ее дед, освобождая Псковщину от фашистских захватчиков. Тут Игоря и должно было торкнуть. Я напрягся, вперил взгляд в своего героя и стал ждать, когда он скажет главные, нужные слова. Игоря заклинило. Маша выждала паузу и недоуменно на него посмотрела.

– Да уж, – сказал Игорь и сцепил зубы.

И вот тут я впервые столкнулся с великой тайной искусства: не хочешь срать – не мучай жопу. Муза Мельпомена,

которая с брезгливой жалостью наблюдала за моими выморочными усилиями несколько месяцев кряду, – отвернулась! Вместо нее высунулась какая-то козлиная рожа и блудливо мне подмигнула. Произошло это в субботу вечером. У меня во лбу было уже полтора литра чифиря и от поднявшегося давления звенело в ушах. К тому же болели подушечки пальцев, потому что я барабанил по клавишам пишущей машинки как ненормальный, когда из меня лезла всякая чушь. А в последние дни только она и лезла.

« – Вот им, – Маша указала на возившихся в клумбе де-тишек, – и принадлежит будущее, которое мы строим».

Это и были последние цензурные строчки незаконченного романа «По правде говоря». Дальше меня прорвало не для печати. И остановить подлинное вдохновение я не мог.

«Игорь отбросил на землю сигарету и зло сказал:

– Дальше, вот этот, в панаме и желтых штанишках, сопьется к двадцати годам и будет лежать облеваный под забором. А рыжая девчонка с ведерком родит сопляка от приبلудного молодца, станет к тридцати годам толще коровы, вставит в рот железные зубы и будет торговать морковкой на рынке.

– Игорь, ты опять?!

– Не опять, а снова. Ты когда мне дашь, стерлядь комсомольская? У тебя что там, между ног, писулька или пупок завязанный?

Марья вытаращила глаза.

– Ты, ты, ты...

– Я это, я!! Протри зенки, если не видишь! Короче! Сейчас покупаем два фуфыря и идем к тебе домой. Там я прочищу тебе душничок до полного блеска, как говорит мой приятель Петрик, а потом мы вмажем стакана по три красного. А потом, если ты не можешь без этого кончить, прочитаешь мне пятую главу манифеста Маркса, идет?»

Надо признаться, из меня поперло. Накатил какой-то истерический восторг. Я плясал какой-то безумный танец, вырвавшись из клетки. Было ли это вдохновением или я просто блевал отравленной пищей – не знаю. Но оторвался от души. Маша бледнела, Маша краснела, Маша покрывалась пятнами, Маша хваталась за сердце, пыталась даже вlepить Игорю пощечину, но Игоря было уже не остановить! Он был неотразим, мой Игореша, остроумен, дерзок, смел! Голем ожил! Глаза заблестели, на щеках вспыхнул румянец! И мои щеки покраснели, и мои глаза заблестели, и пальцы неукротимо долбили в тугие клавиши канцелярской машинки, извлекая все новые и новые, пугающие слова-хулиганы.

Я глумился над Машкой целый вечер, пока она не распахнула ноги со словами: «Так возьми же меня, как последнюю блядь, Игореша!» И он взял. Так, что она заорала на весь дом. От боли и счастья. И весь дом услышал, а старая Февронья, соседка снизу, сказала, перекрестившись своему супругу: «Ну вот и наша девка и нашла мужика, слава тебе Господи!» – «Ничо, – отвечал старый, – парень справный, я видел»

Потом наступило опустошение. Мир, который я создавал

четыре месяца, рухнул. Я смотрел на его руины на широком директорском столе и чувствовал, что больше в него не вернусь. Выдрал из барабана лист и бросил его в папку от греха подальше. Сгреб ненужные бумаги, разорвал и выбросил в ведро. Засунул в рюкзак тяжелую машинку.

Потом я включил свой «Меридиан-203» и с огромным облегчением послушал концерт по заявкам по «Голосу Америки» – с 20.00 до 21.00 (помню до сих пор!)

Нужно ли объяснять, зачем я взялся за этот роман, почему я выбрал главной героиней «комсомолку, спортсменку...» Машу? Маша должна была распахнуть мне двери в советскую литературу. Писать про слесаря Вову, который после смены вытирает чистой тряпкой свой рабочий станок и дорожит каждым гаечным ключом, я не смог бы и за Нобелевскую премию. А Маша должна была стать героиней нового времени, этакой комсомольской юродивой, советской Сонечкой Мармеладовой, обращающей в истинную веру непутевого Игорька. Увы, обращала неумело, вяло, иногда истерично. «Химия» сближения не заладилась с самого начала. Проблема была в том, что я не только не любил Машу, но и не хотел ее как мужчина. По утрам, когда она под моим пристальным вниманием натягивала чулок на «стройную» («загорелую» я вычеркнул, когда ей загорать-то?) ногу, я пытался представить, какие душевные муки она испытывает во время менструации. Как должно быть мучительно стоять перед классом, олицетворяя большевистскую веру в побе-

ду коммунизма, и чувствовать, как между ног, под трусами и ватой, предательски растекается кровавое пятно. Стыдоба-то какая! Врачи будущего, конечно, справятся и с этой проблемой, а пока надо мириться с этим атавизмом. Что делать, эволюция еще не успела отрегулировать все шестеренки в теле обезьяны. Еще остался маленький хвостик на копчике, еще мучает иногда понос после кислого молока, еще снятся по ночам гадкие сны, после которых хочется умыться под душем. А пока... Я натягивал на эти бледные «строительные» ноги чулки (не пожалел капроновых!) и невольно представлял, как они судорожно смыкаются, когда мужская рука прикасается к ее талии, как невозможно засунуть в них руку и как не хочется этого делать, по правде говоря. Ну, зачем? Мало на свете нормальных женщин? На фригидных потянуло? Должна же быть причина этого влечения? Любовь? Бросьте... Больше всего на правду было похоже, что Игорьку было скучно. Ему любопытно было распотрошить эту куклу, чтоб посмотреть, что у нее внутри. И если девушка из-под моего пера выходила безжизненной куклой, то Игорек – порядочным мерзавцем.

Получалось: мерзавец домогается несчастную одинокую женщину. Аплодисменты членов Союза писателей СССР.

Зачем так было мучиться? Отвечаю: хотелось войти в круг избранных советской властью писателей. Хотелось признания тех, кто внушал презрение и зависть. Хотелось пожимать руки этим откормленным самодовольным баловням власти в

серых пиджаках, со значками депутатов на лацканах и серыми «Волгами» на дачных участках. Хотелось заседать в президиумах под портретами классиков русской литературы и вождей мирового пролетариата. Хотелось рассказывать читателям в актовом зале какого-нибудь ДК, как пришел в голову замысел романа про комсомолку маленького псковского городка, которая обратила к правде циничного повесу из Ленинграда.

Глупо? А куда было податься?

Богема была чужда мне. Я только заглянул за ее ширму несколько раз и на меня дунуло таким горьким запахом нищеты, ядовитого тщеславия, жалкой бравады и безнадёги, что я после этого бросался к письменному столу и продолжал лихорадочно писать выморочную историю любви поганца Игоря и фанатички Маши.

Конформист не спал. Он взматерел за десять лет, с той памятной поры, когда я решил лечь под реальность, «прогнул-ся под изменчивый мир», как пел когда-то со знанием дела заслуженный мастер по прогибанию. Конформист требовал комфорта. В штыковую атаку на ложь и за правду он категорически идти не хотел. Возможно, и правильно делал. Ну, сломал бы я себе шею в неравном бою, и что? Перестройка бы не наступила? Затормозился бы путь к прогрессу? Тем более, что, заглянув за кулисы перестройки, я бы еще подумал, надо ли спешить...

Я не бравирую и не пытаюсь эпатировать. Редкий чело-

век лезет на рожон. Нужна веская причина. В восьмидесятые годы протесты приобретали причудливые формы. Кто-то не выдержал и выкинул телевизор с пятого этажа, наивно полагая, что вместе с ним выкинул и опостылевшего ненавистного Леонида Брежнева. Кто-то, напившись, разбил бюст Ильича в Красном уголке. Насмотрелся я на этих протестантов. На одного подлинного героя, который восстает против несправедливости, приходится тысяча пустозвонов, честолюбие которых не знает покоя. Из этого перегной вырастает странное ядовитое племя бездельников, ругателей и пьяниц, которые полагают себя совестью нации и спасителями человечества. Их главная отличительная особенность основана на нескольких незыблемых постулатах. Первое – это твердая вера в то, что они ни в чем не виноваты. Второе – что они достойны много лучшего. Третье – что в «этой» стране ничего не получится. Отсюда следует четвертый вывод – поэтому ничего делать и не надо. Казалось бы, ну и уймись наконец. Нет, эволюция мысли продолжается. Пятое, и главное, «эта страна» – говно, и люди в ней говно. Шестое: но есть избранные – они не говно. Им просто выпала горькая участь жить среди говна. Поэтому они страдают. И обличают, обличают, обличают... Просто невозможно себе представить, что стало бы с этим племенем, лиши их возможности обличать. Обличая, они дают себе право грешить направо, потому что «все равно ничего не выйдет». Любой дельный человек вызывает у них раздражение, а чужой успех ра-

вен оскорблению.

Однажды, сто лет назад, это племя неудачников уже сгубило Россию, теперь, на исходе семидесяти лет советской власти, неудачники наплодились вновь. Скоро их час настает.

Однако я отвлекся от литературы.

Теперь я с удовольствием читаю советскую прозу. Иногда с иронией, иногда с ностальгией. Иногда с любопытством, какое случается, когда читаешь что-то интересное про экзотические страны. Про папуасов, например...

Разве это не экзотика? Кипит работа! Мудрый, как удав Каа, секретарь обкома (непреренно для меня в образе артиста Евгения Матвеева) отечески вразумляет боевого товарища, секретаря райкома, который умудрился влюбиться в замужнюю женщину: «Не дело ты, Иван, затеял, не дело! И народ все видит, жалеет тебя, дурака! А это плохая жалость, Иван!» В литературе той поры, в негласной табели о рангах, насколько я понял, за секретарями райкомов закреплялось право влюбиться в замужнюю женщину, с условием высоких производственных показателей и дальнейшей горькой расплаты. Председатель колхоза мог грешить и не каяться, но и на высокие удои при этом ему рассчитывать не приходилось. И если подгулявшего секретаря райкома вразумлял секретарь обкома, то председателя колхоза учил уму-разуму секретарь райкома. По-настоящему грешили бригадиры. Эти могли и напиться, и морду набить. Завхозы были пад-

шие создания: мелкие, вертлявые, мутные и скользкие.

Секретарь обкома был уже недостижим для греха и находился в прямой связи с высшими партийными силами. Еще выше стояли уже полубоги, которые редко попадали в кадр или на страницы романов. Они, в свою очередь, мудро вершили суды и направляли, исполняя волю верховного жреца, которого, как в еврейской религиозной традиции, по имени нельзя было называть, да и всуе вспоминать не стоило.

В каждом колхозе был свой мудрый дед, который держал связь времен, видел живого Дзержинского или Калинина, и в критической ситуации изрекал глубокие народные мудрости. Дед мог позволить себе критиковать начальство, к которому обращался на «ты», мог даже вольнодумствовать на религиозные темы; над дедом посмеивались, но и прислушивались весьма серьезно. Если деда не было или его было недостаточно, всегда наготове был секретарь парткома. Секретарь парткома был сед. У настоящего, чистой пробы, секретаря парткома под сердцем должен был остаться осколок с гражданской или Отечественной войны. Не знаю, как в реальности, но в литературе в задачу секретаря входило поднять дух колхозников, когда наступала очередная жопа.

Это, так сказать, главные персонажи. Но в советской литературе был аромат «ложного благополучия», как после хорошей дозы мепробамата, который теперь невозможно воссоздать и очень талантливому перу. Так в нынешнем кинематографе невозможно воссоздать советские послевоенные

лица. Как ни стараются приблизиться к правде режиссер, костюмер, обряжая артистов в карикатурные тельняшки и кирзачи, заставляя их зверски корчить рожи и произносить грубые слова, а получается «клюква». Для того, чтобы правдиво изобразить работягу шестидесятых, надо пожить в рабочем общежитии годика два и протереть брюки на заднице на различных собраниях, а по утрам шесть раз в неделю втыкаться в переполненный автобус, чтоб доехать до заводской проходной. Даже в юных лицах из семидесятых появляется некое самомнение, которого нет в шестидесятниках. Лица пятидесятых только и ждут, когда их поведут на подвиг. Нынешние лица для обывателя той поры – это вообще иностранцы из капиталистических стран. Попробуйте заставить сыграть даже гениального голливудского актера пролетария с Обуховки середины шестидесятых...

А такие мультки, как переходящие вымпелы ударников коммунистического труда (помните?!). Повышенные обязательства? Борьба с мещанством, борьба с фарцовщиками, борьба со стилистами, борьба с пережитками, с природой, с родимыми пятнами капитализма, за мир, за Анжелу Дэвис, за прогресс, за урожай... Борьба, борьба, борьба!

Кто вел нас в этот вечный бой? Трудно поверить, что Брежнев, который едва добирался до трибуны без посторонней помощи. Суслов? Даже не смешно. Юные секретари комсомольских органов, конечно, пыжились, играя в пламенных бойцов, но кто им верил и кто шел за ними?..

Наверное, была все-таки в национальном характере русского народа заложена ядерная бомба, фитиль которой так опрометчиво зажег неумемный еврейский народ. Могучая и неуправляемая стихия получила строгое направление: в светлое будущее! Символ веры – «Москва – Третий Рим» – в сердцах народа не угас, но зазвучал по-новому: на музыку Пьера Дегейтера. В «машихах» тоже недостатка не было. Началась великая смута, которую пролетарские горлопаны называли революцией без конца. Честолюбивые и злые получили точку опоры, смиренные – новое ярмо на шею. Мир вздрогнул от дурного предчувствия и только умолял большевиков продолжать адский эксперимент в границах бывшей Российской империи, не выплескиваясь наружу. С таким же успехом либералы могли взывать к спокойствию взбесившийся океан или бушующий пожар, который сами же и раздували. Кто виноват в этом безумии? Помимо главного библейского зачинщика, имя им – легион! Все сплясали кровавый краковяк на костях своих отцов. Все и наплакались. Всем и ответ держать. Тем более, что вместо троцкистско-ленинского дурмана, с Запада приходит новый дурман, едва ли лучший. Но ведь и прежний казался таким желанным, особенно когда смотришь на него через линзы Голливуда в говнодавах фабрики «Скороход».

Короче, с Машей-идейной психопаткой было покончено. С кривлякой Игорьком тоже. Любви не получилось. Получилась какая-то похабель, причем с первой же страницы. 146

страниц машинописного текста (в трех экземплярах!) я за-
пихал в картонную коробку и спрятал в кладовой.

Прощай, Машуля! Бывай здоров, Игорек! Надоели вы мне
до смерти!

Глава 40. Академка

Год в академке был самым счастливым после падения юности в постылую взрослую жизнь. Я опять увлекся поиском счастья. Для меня почему-то очевидным было, что счастье – это когда не делаешь то, что тебе не хочется. Не хочется вставать? Лежи! Не хочется работать – забей! Скучно? Смотри телек или читай. Жаждешь наслаждений? Есть женщина – милая, желанная, сексуальная, взрослая Людмила. Она замужем за адвокатом, носит дорогое белье и волне довольна жизнью. Наша взаимная страсть начисто лишена корысти. Мы жадно постигаем тайны плотской любви, срывая с нее покровы тайны и стыда.

Люда гораздо старше меня, но едва ли опытней. Старый муж, ставший первым мужчиной в ее жизни, после рождения ребенка переселился из супружеской кровати на диван, а молодая жена, как это часто бывает, «проснулась и взалкала». Случилось это в пору, когда в крупном городе адюльтер был самым заурядным делом. А что мешало? Поповское слово «грех» употреблялось разве что в издевательских смыслах. Люда была честной женщиной. Написав эти строки, я понимаю, что выгляжу глупо. И, тем не менее, в советском миропонимании – Люда была честной женщиной. Она уважала мужа, который приносил в дом много денег и я, стыд-

но признаться, тоже искренне уважал его за это. Никогда мы не говорили о нем издевательски; она называла его «мой», я называл его «твой». «Как твой себя чувствует?» – «Нормально. Вчера прихватило что-то. Давление. Говорила ему – не ходи в баню. Вредно!» – «Не скажи. Вредно, когда меры не знаешь. Ты ему клюквы купи. Очень помогает».

Ко мне Люда относилась чуточку по-матерински, хотя я и строил из себя будущего лауреата. Часто приносила на свидание что-нибудь вкусненькое. Я без стеснения пользовался статусом нищего студента, и в кино, в кафе, в рестораны мы ходили исключительно за ее счет.

Секс стал для нас обоим открытием. Я впервые понял, что вкусное блюдо можно кушать, не торопясь и наслаждаясь, а Людмила вообще открыла для себя, что не только «мужикам это надо». Женщина расцвела. Ей стало доставлять радость красиво одеваться, вызывающе красить у меня на кухне губы и ресницы, а духи «Может быть» отныне стали для меня афродизиак. Белье стало исключительно черным и кружевным, и снимала она его соблазнительно – медленно, поднимая на меня затуманенные похотью синие глаза и наслаждаясь моим вождением. Она перестал стесняться своего тела, которое встречало мои губы и язык с нетерпеливой страстью, и заставляла меня служить своему телу беспрекословно. Мы занимались «этим» на полу. Иногда с утра и до вечера, делая перерыв на туалет и еду. Спускаясь потом по лестнице, Люда со смехом признавалась, что с трудом может

сдвинуть ноги. Я гордился собой и хотел еще и еще.

Наверное, такой и должна быть плотская любовь. Мы не ссорились, не мешали друг другу, помогали, чем могли, сучали во время долгой разлуки. Не знаю, изменяла ли мне Людмила, но я ей изменял с легким сердцем. Считал, что это все пустяки по сравнению с той глубокой нежностью, которую испытывал к ней, и которая была синонимом моей верности.

Вспоминал ли я о Боге? Вспоминал. Как о добром отце, который настолько велик и необъятен, что мои жалкие грешки ему и разглядывать было не интересно. Ну, замужняя женщина, да. Так ведь для здоровья полезно и мы никому не мешаем!

По правде сказать, в тот год я вообще никому не мешал. Сторожем я получал в месяц в два раза больше, чем потом в университете.

Неделя была абсолютно свободна для творчества и любви.

Бог тоже не мешал мне. Я блудил без вызова, ссор и скандалов и вел трезвый образ жизни. Я никого не обижал. Мне некого было ненавидеть. Я не вынашивал зла. Никому не завидовал. Не обижался. Людмила была доброй и порядочной женщиной, и мне не стыдно было предстать с ней перед Отцом, зная, что Он любит ее еще больше, чем я.

Вообще, весь год в академическом отпуске я прислушивался к малейшим движениям своей души и пытался понять, как мне следует их растолковать. Такая вот мне выпала при-

вилегия в застойные годы.

Каждый день с утра я уходил в лес и гулял по три-четыре часа один. Лес встречал меня с радостью и обнимал, как старого друга. Я поверял ему свои мысли, и он отвечал дуновением ветра или шелестом листьев, что смысл жизни в покое, в тишине, в созерцании красоты и переживании вечности.

Хорошо!

Зимой я всматривался в голубые тени на снегу и со смехом стряхивал на голову иней с деревьев, мечтал о необыкновенных встречах и любовях, в мае забирался в заросли цветущей черемухи и, одурманенный ее лекарственным ароматом, впадал в настоящий транс, с почти реальными видениями; я наслаждался пронзительной грустью в ноябре, когда последние желтые листья с кустов падали в мокрый снег; летом, наевшись черники до отвала, я благодарил лес, кланялся ему и говорил: «Спасибо, господин лес!»

Я тогда искал счастья, как голодная собака, и в первую очередь носом, по запаху, который воскрешал в душе счастливые воспоминания и погружал меня в грезы. Но с каждым разом делать это становилось все труднее. Увы! Юность посылала мне свои последние сигналы. Молодость не была столь щедрой. Гормональный фон приходил в норму. Отныне даром счастье не приходило. Теперь и радость приходилось добывать порой тяжким трудом.

Лишь много лет спустя я понял, что источник счастья не в лесу и принудительными усилиями его не вытащить. Осо-

бенно, когда тебе уже за тридцать. Но в тот год счастья в избытке. Я вел дневник, в котором специальным значком отмечал счастливо прожитый день. Дневник сохранился. Больше всего счастливых дней в тот год выпало на апрель – аж 14 штук! Пролистав дневники последующих лет, я убедился, что значков с каждым годом все меньше и меньше. Три, два, один... А потом они и вовсе пропали...

Университету я благодарен. Шесть лет я искал себя. Шесть лет меня окружали интересные люди. Шесть лет я читал хорошие книги, смотрел спектакли, слушал лекции, влюблялся, спорил до хрипоты с Андре и Славиком о вечных вопросах – ну, право, что еще нужно молодому человеку, интеллектуалу? Марксистская философия не прилипла ко мне и особо не навредила. Я вообще не верю, что философия способна искалечить человека, если его воля и ум не предрасположены соответствующим образом. Материалист становится материалистом задолго до того, как познакомится с трудами Фейербаха. Материалист познает мир не за письменным столом или созерцая звездное небо, а вкладывая в банк очередной денежный пай или благоговейно поглаживая руль своего нового автомобиля. И познание это глубже, чем кажется на первый взгляд. За ним – представление о добре и зле, правде и лжи, достоинстве и низости, о Вселенной, если угодно, и месте человека в ней. Прежде выводов Гегеля человек ощущал себя богоподобным, прежде выводов Ленина человек ощущал себя обезьяной. Поэтому так злятся обезья-

ны, когда смеются над их предком, поэтому так оскорблены верующие, когда поносят их Отца. Поэтому обезьяны и верующие никогда не поймут друг друга. Ну и пусть! Главное, чтоб не дрались.

Глава 41. Газета

Сколько веревочке не виться... Приятная студенческая жизнь подходила к концу. Шесть лет – не кот чихнул. Мои однокурсники путевку в жизнь получили на год раньше. Мишка Герасимов отправился в Сибирь, в Туву, отрабатывать долг перед государством, Славика отец устроил инструктором в Петроградский райком комсомола, Андрея отец пристроил корреспондентом в многотиражку своего завода.

Меня устраивать было некому, пришлось выкручиваться самому. В Сибирь я отправился бы разве что в кандалах, на завод идти категорически не хотелось, в райкоме меня никто не ждал, поэтому я решил остаться в университете.

Оглядываясь назад, могу сказать – это был счастливый выбор. Университетский еженедельник в середине восьмидесятых был самым желанным прибежищем для раздолбая, вроде меня.

Во-первых, коллектив. Шесть милых женщин и одна дореволюционная старушка-машинистка. Во-вторых, я остался на территории, которую большевики полностью подчинить себе так и не смогли.

Университет, как не крути, это собрание весьма образованных и неглупых людей обоюбого пола, в задачу которых вхо-

дит только одно – думать. Вот они и думают. Когда много умных людей думают, рождаются интересные идеи. Понять эти идеи заурядному партийцу сложно, что позволяет идеям некоторое время беспрепятственно размножаться. Возникает атмосфера некоей автономной самобытности посреди моря враждебной банальности и откровенного дебилизма. Неизбежно возникает инакомыслие и фронда. Самобытность и автономия только усиливаются, когда извне усиливается давление обеспокоенной власти. Принуждать к противостоянию никого не приходится. Каждому лестно быть внутри крепости, в которой хранится ковчег передовых знаний. Естественным образом внешний мир становится чуточку чужим и враждебным. Конечно, власть это беспокоит. Единственный способ для власти разбить монолит сопротивленцев – внедрить в крепость своих агентов. Для этого и существовал в ЛГУ, помимо первого отдела, институт парткомов, во главе которых стоял в ту пору всесильный и страшный товарищ Дубов.

Дубов и был, по существу, главным редактором газеты «Ленинградский Университет». Наталья Толстая, хоть и числилась главным редактором, шагу не могла сделать без одобрения или повеления всесильного секретаря парткома.

Я вломился в женский коллектив, как матрос Железняк в институт благородных девиц. Мужчину тут ждали давно. Пока в штате был только один, фотограф, но он от долгого употребления так обабился, что даже борода его не спа-

сала. И вдруг – вот он. Молодой, крупный, неуклюжий, любопытный, амбициозный, грубовато-неотесанный, а главное, во взгляде прячется еще неудовлетворенная похоть к женскому полу, которую так легко обратить и в пылкую дружбу, и в запретную страсть.

Для проверки творческой потенции мне дали первое важное задание – написать фельетон о том, как несознательные студенты портят столы в аудиториях, рисуя на них всякую всячину. Словом, «плохиши» наплевательски относятся к социалистической собственности. Есть где развернуться! До сих пор помню первое предложение: «Японская пословица гласит: «Прежде чем написать что-то – посмотри, как красив чистый лист бумаги!»» Понесло сразу. Надписи на столах в аудиториях были разные: и забавные, и похабные, и глупые. Я рифмовал их в язвительные конструкции и поливал остроумным ядом. Разошелся и вышел на уровень космических обобщений. Обличал и увещевал. Впервые отказался от своей универсальной концовки «ведь в этом и заключается наша правда!» в пользу многоточия.

Мне понравилось. Но гораздо важнее, что понравилось Дубову! Он так и сказал редактору Наталье Толстой: «Где вы его откопали?» Так, еще будучи студентом 5-го курса, я был принят в штат университетской газеты. А иначе говоря, был принят в приличную компанию.

Это был типичный женский цветник середины восьмидесятых. Шесть милых симпатичных молодых женщин, кото-

рые читали Цветаеву, слушали Цоя и Гребенщикова, ходили на выставки и на дискотеки, в Кировский театр и в ленинградский рок-клуб, пили водку и шампанское, курили «Ротманс» и «Беломор» и обладали приятным шармом превосходства над серостью и убогостью советской действительности. Некоторые были изрядно образованы и умны. Натэлла Кулешова, красивая женщина, чуть склонная к полноте, с грузинским профилем и острым язвительным умом, была на «ты» со многими заслуженными артистами ленинградских театров; Ольга Светличная поразила мою рабоче-крестьянскую душу тем, что в совершенстве знала французский и в детстве имела собственную гувернантку; Вера была точной копией леди Дианы и при этом обладала обаянием хорошо воспитанной веселой барышни; Татьяна Гаген прекрасно разбиралась во французской живописи XX века, была до карикатурности заносчива и злоречива, и находилась в постоянном поиске молодого человека, который смог бы затмить своими дарованиями ее самомнение; Танька Левина, перфекционистка с веселыми ямочками на щеках, тоже искала жениха, желательно с фамилией Иванов, поскольку главный по кадрам университета не очень жаловал «левиных». Наконец, ровесница века, мудрая Любовь Давыдовна Беркович, машинистка, которая не мыслила себя без работы, без своей верной пишущей машинки и была мамой и бабушкой нашей компании.

Главный редактор газеты Наталья Толстая, как и положе-

но грамотному руководителю, была среднего пола и хорошо смотрелась в этой роли.

Хорошо помню, как мягко падал в эти теплые женские руки. Хорошо быть единственным! Приятно войти в двери и увидеть, как поднимаются на тебя шесть пар женских глаз, всегда любопытных, всегда ожидающих, всегда готовых к игре «а попробуй-ка меня соблазни».

Работали мы мало, чая пили много, с конфетами и до-машними плюшками, курили до одурения, умничали, строили глазки и сплетничали. Я быстро обабился. Мужская грубость теперь меня раздражала, серьезные мужские разговоры утомляли. Народная улица с ее пещерными нравами от-талкивала и пугала. Я стал много хихикать и усвоил легкий, ироничный взгляд на мир. Теперь мой стеб не был злым, как раньше, скорее, снисходительным. Одно время я даже вошел в роль «баловня судьбы», всеобщего любимца, доброго ма-лого с белозубой улыбкой, не ведающего печали, но эта ноша оказалась мне не по плечам.

Штатное расписание в еженедельнике было укомплекто-вано, и мой маленький гарем был застрахован от мужского вторжения. Правда, и желающих вторгнуться было немного.

Зарплаты в газете были сугубо женские. Я, например, по-лучал 95 рублей. На свою собственную зарплату жила только Толстая с окладом и премиями под двести. Остальные дев-чонки, и я в том числе, висели на шеях у своих мужей или родителей.

В таких условиях избежать служебного романа невозможно. Пока я примерялся, на кого «положить глаз», меня выбрала Натэлла Кулешова.

Натэлла была создана для любви в жанре латиноамериканской драмы. Ей нужен был чилийский перчик, без которого отношения быстро утомляли ее. Мужчины беззащитно и плотоядно заглядывались на Натэллу, поводя носами, как собаки, учуявшие аппетитный запах, но «своих» она выбирала сама. Трудно было сказать, кто станет следующим. Мачо ее не интересовали. Сухие интеллектуалы тем более. Ее привлекали искренние натуры. Она и сама всегда влюблялась искренно и бескорыстно. Всякий раз это был честный поединок, который начинался романтически, развивался драматически, а заканчивался порой трагически. Редко кому удавалось соскочить в середине пути или изменить сюжетную канву. Натэлла умела завладеть душой. Она была умна по-женски, то есть хорошо знала мужское сердце и его слабости. Вначале потакая самолюбию мужчины, а потом уязвляя его гордость, она добивалась от него рабской зависимости и выкручивала ему яйца так, что бедняга отплясывал трепака до тех пор, пока ей не надоедало. Оружием ревности она владела в совершенстве и применяла ее безжалостно.

Вообще бухали мы в редакции дружно, весело и много. По любому поводу и без повода. Плясали рок-н-рол и бесились, как дети. Девчонки напивались. Хорошо помню, как волок на плече по лестнице Ольгу, у которой в детстве была

гувернантка, а потом сдирал с ее безжизненного тела пальто в прихожей, а помогала мне «леди Диана» Вера, которая этим вечером блевала в туалете.

Никто из нас, кроме разве что меня, не был алкоголиком. Так пила вся страна. Трезвый человек вызывал сочувствие и враждебность. Спившихся выталкивали вон из приличного общества, как павших в битве с зеленым змием.

Разумеется, по пьянке и грешили. Мы с Натэллой уже давно возвращались с работы вместе. Шли пешком до метро на Невском, говорили о работе, Пастернаке и Заболоцком, а думали о сексе. Это было так очевидно, что порой мы замолкали на полуслове. Какой там Пастернак на фиг... Хотелось упасть на колени и прильнуть ртом к ее лобку.

Однажды после вечеринки, в благословенную пятницу, я провожал ее до дома, где была прописана ее мать: уже год как она работала с мужем где-то в Средней Азии.

Мы стояли возле парадной и прятали глаза.

– Зайдешь? – спросила она глухим голосом, который не имел никакого отношения к комсомолу, но приглашал в преисподнюю.

Сглотнув, я кивнул. Мы поднялись на пятый этаж и уже в коридоре начали целоваться.

– Можешь в меня... – прошептала она, когда я расстегивал у кровати со спущенными штанами ее лифчик. – Ну что ты возишься? Забыл, как это делается? погоди, я сама.

Спустя пять минут, стряхивая пепел в пепельницу на моей

груди, она грустно произнесла:

– Какие же вы, мужики, глупые...

– Почему глупые?

– Ломаетесь, строите из себя героев, а сами боитесь до смерти, что пипка не встанет. У меня был один... грузин. Красавец, умница, университетское образование, дом в Гаграх... Джигит! Месяц меня обихаживал. Гарцевал, как конь перед кобылой. А в постели задрожал, как кролик. Я ему говорю: «Не бойся, милый, расслабься, сейчас все у нас получится!» А он меня чуть не задушил. Натурально! Накинулся. Потому что женщина должна знать свое место! А он, видите ли, мужчина! Царь... зверей. Лев! А потом плакал... признался, что хочет руки на себя положить. Я ему врача посоветовала, мой знакомый, сексолог... Есть же таблетки...

– Ты ничего другого не могла рассказать?

– А что? Ты вон тоже боялся... герой с улицы Народной. Гроза замужних баб и невинных девиц. Думаешь, не видно? Как ты ломаешься? Знаешь, кому хорошо в постели? Кто не строит из себя... Мы же животные. Выкинь из головы всякую муть про стыд и приличия, и все такое, и будешь самцом, как... бабуин.

– Сама же лечила меня весь вечер Набоковым. Тот еще бабуин.

– А зачем нам Набоков в постели? Третий лишний.

– Хорошо вам, бабам, советы давать. Задрала ноги и думай себе: «Когда ж ты кончишь, баран безрогий». А «баран»

стараются, пыхтит. Зачем пыхтит, спрашивается? Если аплодисментов не будет? Кончил, и на боковую.

– У тебя юмор есть. Мне это нравится. Но самолюбия в тебе слишком много. Чего ты пыжишься все время? Остынь. Мой муж... объелся груш, тоже много о себе воображал. Я первый год тащила его, пихала под зад, а потом поняла – бесполезно. Ведь что обидно – он же умный, не злой, сына любит, балует... Но – воли нет, совсем. И выпить он любит. Ты, кстати, тоже. Бросай. Плохо кончится. Тебе надо определиться, Миша. Возьми комсомольскую тему. Возглавишь отдел. Осенью подашь документы в Университет марксизма-ленинизма: это нужно для анкеты. Ходить на лекции не придется. Я все устрою. Через два года получишь корочки. Выберем тебя в комитет ВЛКСМ университета. А там – открытая дорога: можно по комсомольской линии пойти, а можно – на факультет, в аспирантуру, за диссертацию сесть. Главное, не теряй время, как мой благоверный... Три года пыхтит над первой главой... А ты хорошо целуешься. Пепельницу на пол поставь. Смотри, у меня молоко из соска до сих пор идет, если нажать. Хочешь попробовать? Как мамочку? Да... вот так. Сильнее. А теперь эту. Нежно, язычком. А теперь ниже... еще ниже... Сделай мамочке приятное...

Из парадной я вышел в утренних сумерках. Усы пахли возбужденной женщиной. О муже я не думал. О последствиях тоже. Самец, которого домогалась Натэлла, проснулся. Бабуин ликовал! И ему очень хотелось выпить и закусить.

Поэтому я прямо пешком отправился к другому бабуину, который только что продрал глаза у себя в постели и вспомнил, куда заныкал вечером заначку. Мы столкнулись с ним у парадной.

– Ты? Куда? А я знаю тут одно местечко: правда водка, но в любое время.

– Согласен! Пошли!

К полудню я мы обнимались на кухне под любимые песни Юрия Лозы.

– Ты пойми, слушай сюда, – говорил я, настойчиво заглядывая другу в глаза, – мы не бабуины. Мы – люди! Нас сотворил Бог! Я в любую минуту могу спасти тебе жизнь, жертвуя собой, а могу и предать, как Иуда! Потому что я Богоподобен! И ты – Богоподобен!

– Я? – у Кита от признательности наворачивались слезы на глазах. – А мне колонный говорит: «Никитин, у тебя ни стыда, ни совести! Ты куда дел новые покрышки?!» А куда я их дел? А мы их с тобой сейчас обмываем – вот куда я их дел! Понял меня? Ничего, старые еще месяца два продержаться, а там посмотрим...

– Я хочу очиститься, Кит. Отрекаюсь от греха, понял? Завтра пойду в лес, и ты со мной! В лесу мы ближе к Богу!

– У меня сейчас точка удачная: «рыгаловка» на Загородном... Вчера сосисок домой привез целую упаковку, бананов. Мать в восторге. В «рыгаловке» меня уважают, потому что, если что – я на ремонте, понял? Ищите другого дурака

ка. А кто даст? Директриса мне: «Коленька», «Коленька»... Манда старая, понимает... А Ирка мне вчера прямо на складе дала... На ящиках...

– К черту всех баб! От них все зло!

– Согласен. Но иногда конец надо смочить?

– Ах ты, бабуин, бабуин дикий! Ну, за Федора Михайловича Достоевского! Не чокаясь! До дна!

Глава 42. Натэлла и Марина

Наш роман с Натэллой в редакции сопровождался многозначительными переглядами и сочувственными ухмылками. Я был «очередной», и мое падение было неотвратимо. Скоро Нате действительно стало скучно. Я не страдал, не ревновал, не устраивал сцен – как можно! У меня была защита: если становилось скучно – всегда под рукой был Кит, если наваливалась безысходность – я бежал к Андре или Славику, которые страдали тем же, если мучила похоть – Люда с радостью приходила на помощь.

Без сильных чувств Наталья засыхала. Мы любили наши горячие разговоры о литературе, она пыталась разжечь во мне интерес к театру, она много рассказывала о себе, о жизни... Она была, несомненно, умна и талантлива, и я никак не мог понять, почему она прозябает в еженедельнике, хотя запросто могла бы сотрудничать с центральными изданиями, да и на другом поприще добилась бы успехов.

Наверное, она была просто Женщина. Необузданная, но верная своему призванию быть женщиной. Ее личность была слишком сильна для будничных отношений. Она искала Мужчину, который утолил бы ее. Взял бы ее не силой, не умом, не кошельком, а пожирающим огнем страсти, равносильной ее любви. Это была утопия и на пути к ней она успе-

ла сокрушить немало мужских сердец, но и сама была в рубцах от бесчисленных ран, которые исковеркали ее характер. Чем больше было неудач, тем сильнее было желание мстить.

Я не умом, а шкурой своей понял это и начал сдавать назад почти сразу. Мне она была не по зубам. Зато у Натэллы зубы оказались покрепче, и свою добычу она не хотела отпускать.

Шло время.

Волею судьбы в редакции поменялся главный редактор, я успешно и благодаря протекции Наты «поступил» в Университет марксизма-ленинизма, Натэлла поднялась в должности и я стал ее подчиненным, а также одним из немногих мужчин, кто на своей шкуре испытал, что такое сексуальное принуждение со стороны женщины-начальницы, с грубым использованием служебного положения.

Отныне всякие легкомысленные отношения с Верой, в которую я был давно тайно и целомудренно влюблен, исключались. Исключались вообще отношения с женщинами, за исключением Любви Давыдовны. Свидания теперь назначались только Натэллой и отговорки были неуместны. Встречи проходили на ее территории, иногда у меня, в обед или вечером, и оставляли во мне осадок горького протеста и отвращения к себе. В постели Натэлла была безжалостным режиссером, начальником, который привык добиваться поставленной цели методом принуждения, насмешек и унижений. Признаюсь, не без стыда, иногда это срабатывало, и во

мне просыпался настоящий мазохист. Что за пытка быть мазохистом уроженцу и жителю улицы Народной! Мне, способному выпить в парадной бутылку крепленого портвейна в три «булька», мне, который носил на голове шрамы от топора и кастета, мне, чьим кумиром в те годы был Тиль Уленшпигель и Тарас Бульба, стоять на коленях перед пылающей от похоти ведьмой, которая запрокидывала за волосы мою голову, чтоб посмотреть в мои глаза прежде чем сомкнуть бедра у меня на шее... я просто сгорал от ненависти к этой бабе и желал ее нестерпимо!

Друзья не догадывались о моих мучениях. Китыч не знал такого слова: «мазохист» и вряд ли сумел бы понять, в чем тут кайф. Он нашел свою «отраду» в «рыгаловке» на Загородном и пользовал ее в подсобке, пока она не переселилась к нему домой. Это была юркая худая женщина польских кровей, детдомовка с интеллектом ребенка, гипертрофированной сексуальностью и изломанной психикой. Идеальный вариант для Китыча, который всегда считал себя конченным человеком

К этому времени развелась Вера. Муж, научный сотрудник, подрабатывающий диск-жокеем на модной дискотеке, весельчак, тусовщик, выдумщик, на исходе пяти лет семейной жизни выдохся. Выдумки закончились, веселый задор иссяк. Надо было делать карьеру, а не плясать на дискотеке, но на работе не ладилось. С детьми тоже не ладилось. Вообще, взрослая жизнь не ладилась: банальный сюжет для наше-

го поколения. Лера была из тех милых, покладистых созданий, которые готовы удивляться и радоваться каждому дню, если муж умеет удивлять и радовать. Если разучился – огонь погас и раздувать его бесполезно.

Мы невинно сблизились. Невинность возбуждала нас обоих. Я обрел в ней ту самую прекрасную девушку, которую так и не нашел в юности; она просто отдыхала после семейных драм. Любовь Давыдовна с высоты своих восьмидесяти лет видела в нас прекрасную пару. Мы часто сбегали на обед по одиночке (чтоб Натэлла не ревновала) в ближайшее кафе, а потом гуляли. Я помолодел. Опять стал глупым, радостным и беспечным. Мы словно сбежали из взрослого мира и не хотели возвращаться. Все было, как давным-давно, в первый раз. И впереди был первый поцелуй (он так и не случился), и первое признание в любви, и первое падение в прекрасную бездну, когда юноша и девушка чудесным образом преобразуются в мужчину и женщину. Мы наслаждались риском, стоя на краю. Никто не хотел сделать первый шаг. Он неизбежно увлек бы нас из этого волшебного состояния, а без него было невыносимо серо и скучно. Почувствовать юношескую влюбленность с опозданием в десять лет... не знаю, пожелал бы я подобное другу.

Натэлла оценила опасность сразу и теперь нещадно гнобила меня по всякому поводу. Она догадывалась, что ничего серьезного у нас с Верой не выйдет и все равно не хотела делиться. Редакция затаила дыхание и ждала развязки. Она

наступила неожиданным образом. Лучезарное сияние Веркиных глаз неожиданно потускнело, а потом и вовсе угасло. Все. Закончился роман. Кто-то выключил рубильник.

В редакции появился новый молодой мужчина. Холостой и обаятельный. Из интеллигентной семьи. Он и включил рубильник вновь. Только теперь все тепло и свет Веркиных глаз достались ему.

Я страдал ровно две недели, изведя Андрея и Славика своим нытьем. Киту жаловаться было бесполезно. У него был один-единственный способ лечения от всех напастей с пагубными побочными эффектами. Через две недели кто-то милосердно вырубил и мой рубильник, и я вернулся в прежнюю жизнь. По крайней мере, теперь я знал, как выглядит любовь в шестнадцать.

Увы, Натэлла ничего не забыла. Наши отношения напоминали поединок, смысл которого состоял в том, чтобы противник запросил пощады. Внешне все выглядело пристойно. Битва шла в астрале. Иногда одно-единственное слово, сказанное за чайным столом после летучки, становилось ядерным взрывом, а холодная терпеливая улыбка химической атакой. Страдали мы оба, но сдаваться никто не хотел. Теперь я думаю – а как сдаваться? Просить прощение? За что? За то, что разлюбил? Полноте, да и не любил вовсе. К тому же подобное признание стало бы для меня смертной казнью. Разлюбить могла одна она. Желательно со спецэффектами. Предложить руку и сердце? Но Натэлла разводиться не соби-

ралась, обеспеченная и состоятельная семья надежно хранила ее женский статус и благополучие. Да и в страшном сне я не мог представить, как живу вместе с этой гремучей змеей.

Предложить: «Давай останемся друзьями»? Разве это не издевательство? Нанеся и получив множество ран, предлагать противнику дружбу?

Расцепить нас могла только судьба.

Глава 43. Перестройка

Между тем с приходом нового, молодого генсека Горбачева началась перестройка. Кто-то назвал ее свежими ветрами перемен. Я бы сказал иначе. Началось брожение. Протухший коммунистический режим забродил, выделяя газы. Донные отложения токсичного марксистского ила взбаламутились. Горбачев подбросил в забродившую массу дрожжей и она запузырилась и вспучилась. «Процесс пошел», – как с удовлетворением отметил генсек, и его (процесс, да и генсека!) было уже не остановить.

Из щелей повылезали оракулы. Началось соревнование в вольнодумстве. Тот, кто еще вчера казался смельчаком, ныне становился ретроградом, а вперед выскакивал, как задиристый воробей, новый герой с взъерошенной шевелюрой и шальными от дерзости глазами. Началось, как в известной сказке: «И вовсе вы не великий, а всего лишь величайший», – а закончилось, как и следовало ожидать: «Бей его! Ломай!»

Рабы и лакеи гордо поднимали головы и, как когда-то их деды, готовы были запеть: «Кипит наш разум возмущенный». Коммунисты сдулись почти сразу. Все увидели, что и не такие уж они ужасные и всеильные, и злорадно смыкали вокруг них кольцо презрения и отчуждения. Скоро затрещит

обшивка корабля, который намерен был плыть через волны до самого края Истории; скоро повалятся мачты и пассажиры в панике начнут прыгать за борт; скоро смертельно усталый капитан скажет в телекамеры: «Кончено! Все свободны. Спасибо!».

Но это будет потом. А в 86-м корабль еще плыл в будущее с гордо реющим красным флагом.

Я-таки поступил с легкой руки Натэллы в УМЛ (Университет марксизма-ленинизма), что обязывало меня изредка появляться в парткоме ЛГУ, где секретарша ставила в мою зачетку отличные оценки. Я стал членом комитета комсомола университета и теперь периодически ходил на чудовищно скучные совещания, где на птичьем языке молодые люди с постными каменными лицами решали какие-то загадочные комсомольские проблемы. Я так и не научился придавать своему лицу каменно-строгую бесстрастность и выдавал себя то рассеянным, то скучающим, то глумливым выражением. Сразу было видно, что я чужой в этой стае, но секретарь был со мною вежлив и особенно не докучал. В газете я вел, как и предлагала Натэлла, комсомольскую тему. Тема требовала некоторых журналистских навыков. Нельзя было увлекаться и умничать, но не стоило и уходить в сухой формализм, используя набившие оскомину клише. Время требовало перемен. Что это значило в комсомольской работе, толком никто не знал. Партком не в состоянии был, как прежде, ясно и твердо указать курс. У них там тоже появились со-

мнения. Шли самостоятельно. Секретарь хмурился на совещаниях и производил впечатление человека, который знает как, но пока выжидает. Нам всем оставалось имитировать задористость и боевитость. Типа: «Ну что приуныли, чертяки?! Давайте-ка грянем дружно!».

Я всячески пытался выбить из себя искры задора и искренности. Вымучивал из себя мысли про то, как можно с энтузиазмом провести субботник. Размышлял, почему надо читать работы Ленина (почему? Да чтоб задор не иссяк!). Уверял заблудших, что только в марксизме-ленинизме человек может найти ответы на все злободневные вопросы. И опять, как и в Ладейном Поле шесть лет назад, мне пришлось писать про комсомольский билет. Некая Ирина Яковлева с пятого курса филфака потеряла комсомольский билет. Чрезвычайное событие или заурядный случай? Есть о чем поговорить в эпоху гласности. Мы встретились с усталой девушкой в пустой аудитории после занятий, и я сразу понял, что конфликта, из которого можно было извлечь острую драматургию, не получится.

– Как же так, Ира? Это же... билет. Комсомольский! Кошелек с деньгами и то...

– Вместе с кошельком и потеряла. В сумочке. В кошельке вся стипендия была. Хотела сапоги себе купить на зиму. Жалко.

Я не стал спрашивать, что жалко – кошелек или билет. Самому мне стало жалко денег почему-то.

– Да Бог с ними, с деньгами, – словно вспомнив забытый текст, торопливо поправилась Ирина, – билета жалко. Теперь как быть? Могут ведь и исключить?

– Могут, – вздохнул я. – Сильно переживаешь?

– Сильно.

– И раскаиваешься?

– Конечно. Пятый курс. Шутка ли? Может найдется?

Статью я писал два дня. Выжал из себя все. Главная мысль сначала была – большие беды начинаются с малого. Но! Утратить билет – разве это мало?! Задумался и родил: билет – это не красная книжица, это материальное свидетельство большой идеи! Символ, наподобие знамени! Клятва, которую мы носим в сердце! Святыня, которую бойцы хранили на груди во время Великой Отечественной. Пафос получился чудовищный. Я дописался до того, что билет – это пропуск в новую жизнь, что хранить его нужно вечно. В конце текста опять назойливо сигнализировал финал: «Ведь в этом и заключается наша правда!»

Поставив точку, я долго сидел на стуле перед секретером, тупо глядя в глаза Ричи Блэкмору, который сочувственно хмурился в ответ. Вспомнил, что нечто подобное о комсомольском билете писал уже в давно в Лодейном Поле. Мучила мысль – не повторяюсь ли? На душе было гадко. Пришла в голову простая мысль: «Как же я могу сказать то, что я думаю, если не могу сказать то, что я думаю?» «А ты не думай, – сказал Ричи, – лучше послушай мой «Сэйл Эвей»».

Что я и сделал. И когда в ушах начался мощный накат бури перед громом, и Ковердейл вновь позвал меня в дорогу, забыл про все на свете.

Я шел явно не своей дорожкой, но что делать? Честолюбие съедало. Хотелось наверх. Туда, где сидели эти люди в серых костюмах и тусклыми лицами, которые были посвящены в тайну власти. Моя «духовница» Натэлла настойчиво и умело пихала меня под зад наверх. Сама она расцвела. Пришло ее время. Сухие догматы застойных времен душили всех. Натка, обладая живым умом и бешеным темпераментом, только и ждала, когда подует ветер и наполнит ее паруса. Газета действительно преобразилась. Либеральная профессура нашла в издании платформу, где можно было опубликовать свои выстраданные мысли. Месяц от месяца они становились все крамольнее и крамольнее, пока партком не начинал стучать кулачком по столу.

Я высовывался, как мог и, наконец, меня заметили.

В январе 1987 года пригласили на собеседование в обком комсомола. По этому случаю я надел серый костюм и нацепил на лацкан комсомольский значок. Ждал чего угодно, но действительность превзошла все ожидания. Мне предложили должность инструктора обкома в отделе пропаганды! В памяти остался серый молодой человек в сером костюме, Валентин, который вежливо и благожелательно расспрашивал меня про мою жизнь, интересовался планами на будущее, увлечениями, друзьями. Предчувствуя, что на меня на-

двигается невероятная удача, я подобострастно лепетал правильные слова и пожирал собеседника влюбленными глазами. «Да свой я, свой! – кричали мои глаза. – Верьте мне! Возьмите! Я вам горы сворочу! В атаку на врага пойду! Пить перестану!»

Из обкома до метро я шел, как пьяный, пешком, в лютый мороз, который не отпускал в тот год Ленинград почти месяц. Вся прежняя жизнь отодвинулась. Новая требовала от меня полного подчинения и отречения от всего, что будет мешать. Я был готов.

Натэлла узнала новость первой.

– Ну вот, теперь, небось, и руки не подашь? Между прочим, тут есть и моя заслуга. Но вообще-то у них сейчас курс на обновление. Ты вовремя попал. Поздравляю. Будешь помогать, понял?

Да понял я, понял! Начались собеседования со всеми секретарями. Я заполнял анкеты и собирал характеристики. Серый костюм надежно прижился к моей фигуре. Мое лицо приобрело строгое и озабоченное выражение, которое сменялось унынием и подавленностью только в гостях у Китыча. Почему?

Дело в том, что с каждым днем я все отчетливее понимал, что шагнул в бездну. Серый дом на площади Пролетарской Диктатуры был населен особями, которые были совсем не похожи на моих милых редакционных дам. Это были даже совсем не люди, а существа, заgrimированные под людей. Их

цели были мне непонятны, их слова были начисто лишены человеческого тепла, их чувства были скрыты намертво; снаружи была только сухая черно-белая оболочка, на которой, как на фотографии, с утра и до вечера обозначалось одно выражение лица – как правило, глубокая сосредоточенность на рабочей повестке дня. Эта атмосфера плющила меня, как землянина на Юпитере, и не к кому было обратиться, чтоб услышать утешительную родную речь.

Смешно признаться, но я не нашел в обкомовских катакомбах духа комсомола. Смешно, потому что искал и ожидал увидеть. Кого? Ну, например, Павку Корчагина в косоворотке. Пусть с безумными в революционном порыве глазами, с фанатичной верой в идеалы, с готовностью отдать последнюю рубашку товарищу. Глупо? Ага. Только входя в кабинет очередного секретаря обкома, я невольно ожидал увидеть товарища Урбанского из фильма «Коммунист», с нагном на ремне и широкой щербатой улыбкой.

– Молодое пополнение? Входи, входи, товарищ! Чайку? У меня остался морковный! Нет? Ну, вольному воля! Слушай, нужен человек до зарезу. Срочно! Прокладываем узкоколейку в Лодейном Поле! Ребята там что-то закисли. Надо поднять боевой дух. Возьмешься? Хотя что я спрашиваю? Надо! Надо, товарищ!

Вместо этого я видел в кресле вальяжного молодого человека с пронизательными глазами, который вежливо задавал нужные вопросы и с трудом скрывал скуку. Сдалась ему эта

узкоколейка! У него отчет впереди на пленуме! И к первому завтра с докладом.

Функционеры были похожи на жрецов, которые забыли заветы отцов, давно потеряли веру, но ковчег с заповедями первосвященника берегли, древние ритуалы и обряды свято соблюдали и надеялись, что в них рано или поздно обнаружится какое-то высшее значение.

Абсолютного неверия я не видел. Вера была. Вера во власть. В священное право власти вершить судьбы людей. Обком был динамо-машиной, которая уже давно не приносила пользу, но продолжала крутиться и вырабатывать энергию. Винтики и шестеренки в серых костюмах исправно бегали по этажам, подпитываясь этой энергией. Снаружи выглядело эффектно.

Я пытался себя ободрить мыслями, что надо обкататься, привыкнуть, войти в новое русло, но с каждым днем понимал, что будет только хуже. Мне уже давали мелкие задания, в феврале состоялось бюро, на котором мою кандидатуру утвердили в штатной должности «комсорг ЦК ВЛКСМ». Меня поздравили жидкими аплодисментами, пожелали успехов. Я стоял красный, мокрый, прижимал руку к сердцу, бормотал: «Да, да, конечно, спасибо за доверие!» Наконец-то я получил заветную бумажку (до сих пор храню ее) о переходе на работу в обком с указанием должности. Оставалось сделать последний шаг. Мой куратор, Валентин, незаметно переменявший снисходительно-доброжела-

тельный тон в отношениях на грубовато-командирский (как я догадался, этот тон культивировался в обкоме), привел меня в кабинет и указал на стол с пишущей машинкой

– Вот, отсюда и начнешь. Свой скорбный труд.

Он хохотнул. В кабинете сидели еще двое молодых людей.

Они смотрели на меня с сочувствием.

– Знакомьтесь, Михаил. А это Павел, Костя. Времени на раскачку нет, учти. Ребята помогут. Ну бывайте.

И он выскочил из кабинета, как все они – словно его оторвали от очень важного дела и ему надо срочно вернуться.

– Садись, не стесняйся, – промолвил Костя, улыбнувшись, за что я полюбил его сразу и зачислил в близкие друзья. – Ты вовремя поспел. У нас тут квартальная распродажа. Книги. Вот список. Можешь заказать любую. Но поначалу не больше трех.

Список был отпечатан на машинке. Валентин Пикуль, Джек Лондон, Стругацкие... Павел протянул бумаги.

– Вот это надо перепечатать. В трех экземплярах. Умешь?

Я кивнул.

– Ну да, ты же журналист. А к нам по зову сердца? Или карьеру делать?

«По глупости», – чуть не брякнул я. Костя пришел на помощь.

– Дай парню осмотреться. Что ты сразу его за горло?

Спасибо тебе, Костя. Спасибо, дорогой. Домой я пришел

разбитый и сразу повалился в кровать. Телефон трезвонил, и я отключил его.

На следующий день я закончил перепечатывать список каких-то имен с должностями, сдал три экземпляра Павлу, который кивнул не глядя, вышел в коридор и направился в туалет. Там, зайдя в кабинку, я почувствовал такую тоску и одиночество, что слезы сами по себе хлынули из глаз. Я плакал чуть ли не в голос, долго, упав на стульчак. Что это было? Теперь у меня нет сомнений, что ангел-хранитель устал наблюдать мои мытарства и хорошенько стукнул по загривку. Пока я не накосячил в своей непутевой жизни по самое не могу.

Из тубзика я вышел просветленный. Мы столкнулись в коридоре с Костей, который в отделе пропаганды был едва ли не самым человекоподобным, потому что на его лице была заметна хроническая печаль и подавленность. С ним я мог обмолвиться нормальным языком.

– Слушай, Костя, – спросил я его, когда мы отошли в рекреацию, – а ты давно здесь?

– Год. А что?

– И как тебе?

– Не просто.

– А планы у тебя на жизнь, какие?

– Еще годик-другой здесь поскриплю, а потом вернусь в Политех, на кафедру, аспирантом. Обещали взять. Я ведь и уходил сюда аспирантом. А что?

– Нет, ничего, – пробормотал я.

На улицу я вышел другим человеком. Два года тюрьмы, чтоб вернуться на прежнюю должность?! С обкомом было покончено. Чтоб не резать хвост по частям, я объявил всему свету о своем решении сразу.

Началась расплата. В университете ахнули, да так громко, что я чуть не слег с нервным расстройством. В обкоме ахать было не принято, но там случилась немая сцена, как в заключительном акте гоголевского «Ревизора».

Объяснялся я с начальницей отдела товарищем Беловой (если не путаю), которая должна была стать моим непосредственным начальником. Ничего путного за бессонную ночь в голову мне так и не пришло, и я сказал, сидя у нее в кабинете.

– Ну, вот и все.

– Что все? Трудовую принес?

– Нет. Я заболел. Не смогу работать у вас. Надо лечиться.

Может быть, впервые в этом кабинете Белова вытаращила от изумления глаза.

– Чего? Ты... заболел? Чем?!

– Не могу сказать. Вдруг заболел. Каюсь.

До сих пор со стыдом вспоминаю эту сцену. Вернее, предпочитаю не вспоминать. Из обкома я выкатился мокрый. В голове стучало: «Ну, вот и все. Ну, вот и все».

В реальности все оказалось хуже, чем я ожидал. Ната реально испугалась. Декан факультета журналистики Комаров,

с которым мы еще два месяца назад говорили о том, что мне пора возвращаться на факультет на преподавательскую работу и в аспирантуру, оказался честным человеком. Он не отводил глаза, не мялся, как булка в жопе, не стал лукавить.

– Михаил, после всего, что случилось я не могу взять тебя на работу. Извини.

Я тоже не стал лукавить и не спросил его, почему. Просто кивнул.

– Понятно.

В комитете комсомола на меня смотрели, как на прокаженного. Секретарь ждал указаний на мой счет и избегал объяснений.

Но, черт с ними, с комсомольцами, меня больше всего уязвило, что съежились от испуга друзья-либералы. «Зачем ты это сделал?» – спрашивали они, оглядываясь. – «Потому что не смог. Тошно» – «Ну и дурак. Был бы свой человек наверху».

Потускнели взгляды девчонок, еще вчера излучавшие любопытство и кокетство. Я мгновенно перешел из разряда перспективных в разряд опасных чудаков.

Охладела и отстранилась даже ультралиберальная подруга Марина, с которой мы в последнее время вместе ходили на модные выставки, полуподпольные встречи с поэтами-авангардистами (Жданов, ау? Где ты, гений?), и засиживались у нее дома, споря о литературе и панславизме.

О Марине чуть подробней. Мы познакомились с ней в Со-

юзе журналистов случайно. Марина увлекла меня, во-первых, тем, что была дочерью знаменитого советского артиста, во-вторых, она была красива и ухожена, в – третьих, ее женское самомнение было столь космически велико, что я иногда чувствовал себя рядом с нею психиатром, изучающим редкую болезнь. Она в прямом смысле смотрела на меня сверху вниз, для чего ей приходилось задирать голову. Ей тоже было со мной любопытно – я был редкий экземпляр в ее коллекции: дремучий варвар с честолюбием Мартина Идена. «Они сошлись, волна и камень», – как говорится. И крепко сошлись! Говорить поначалу она могла только о литературе. Суждения свои она выносила, как приговор и обжаловать его было опасно, поэтому я больше слушал, кивал и поддакивал. Иногда, чтоб разогреть интерес, вякал что-то против.

Любить ее было легко, потому что других вариантов у ее кавалеров и не было. Королева милостиво позволяла себя обожать и не чуралась самой приторной лести. Свое достоинство она несла с поистине королевским величием – надо было видеть надменное выражение ее лица, когда она медленно, с прямой спиной, усаживалась на стул в кафе, словно в королевское кресло, а как брезгливо она брала кончиками пальцев (микробы!) меню, а сколько скуки и презрения было в ее красивом лице, когда, отложив меню, она обводила зал прищуренным взглядом! Как непохожа она была на советских тетенок, задерганных, тревожных, подозрительных, всегда куда-то спешащих, всегда что-то ищущих, с мятыми

лицами, с вульгарными манерами! Моя дама была воистину из высшего общества и это чувствовали даже официанты, которые видели клиента насквозь.

Я был пажом рядом с ней, обожателем. Самое смешное – роль мне нравилась.

Незаметно мы сдружились. Марина была по-еврейски скупа (или бережлива?), а я был по-настоящему, как и положено молодому советскому интеллигенту, беден, поэтому она была снисходительна к моим скромным подаркам. Один только раз, выкинув бумажный букетик в мусорное ведро, Марина сделала мне выговор.

– Знаешь, если очень хочется сделать мне подарок – купи к 8 марта не цветы, а банку растворимого кофе. Договорились?

Честно говоря, я тоже был хорош, частенько включал «иванушку-дурачка». Веселил ее своей простотой. Бравировал своей нищетой, не чурался задавать дурацкие вопросы, научился восторженно хлопать глазами. Кажется, я был единственным в ее окружении, кто не однажды отобедал в кафе за ее счет. Мы постепенно приближались с ней уже к опасной и вожделенной черте, когда наши умные беседы проходили у нее в квартире за полночь, в полумраке, под абажуром, на диване, где она возлежала на манер римской патриции, расслабленно опираясь на подушки, задрав ноги в белых чулках, облизывая полураскрытые губы и пуская в меня искры из темных глаз. Марина, несмотря на молодость,

три раза была замужем и готовилась к четвертой партии. Три предыдущих мужа оказались негодящими – непризнанные поэты, романтики в стиле 60-х, любители Хемингуэя и Ремарка, задумчивые не в меру, слишком вычурные и умные, чтоб смиренно нести советскую бедность. Каждый брак, как я понял, начинался с соревнования талантов и честолюбий, а заканчивался жестоким приговором: бездарен! Муж Марины по определению не мог быть бездарным, поэтому отползал прочь, зализывать раны. Теперь претендентов у нее было двое: я и молодой подающий надежды сочинитель из журнала «Аврора» Андрей. Андрей был не красавец, но излучал уверенность в своем благополучном будущем и смотрел на меня снисходительно, как на фигуру, оттеняющую его достоинства. Я же по-прежнему играл в наивного, ребячливого, искреннего дурака, который попал в высшее общество и не может рот закрыть от восхищения. Роль была выигрышная, особенно в перестройку, и я играл ее не в последний раз. У либералок за тридцать всегда возникало желание взнуздать и окультурить диковатого молодого человека, а там, глядишь, и до греха рукой было подать. Словом, в истории с Мариной я шел верной дорожкой и приближался к главной цели культурной программы, когда случилась вся эта байда с обкомом.

Узнав о моем предстоящем «вхождении во власть», Марина извела меня возмущением: «Это оковы! Ты умрешь, ты задохнешься в этой тюрьме! Стыд и позор!» Андрей был не столь категоричен: «Мариночка, пусть попробует! Это бес-

ценный опыт, поверь мне. Наоборот, нужно пихать наверх достойных людей!» Теперь, когда я «сбросил оковы» и ждал признательных аплодисментов, Марина резко перевернулась. «Чем ты им не угодил?» – гадала она. – «Что-то тут не так. Что-то ты не договариваешь. С какой стати тебе отказываться?!»

«Тебя просто выгнали!» – решила, наконец, она и успокоилась. Три предыдущих ее мужа были неудачниками, и четвертого она выбирала особенно тщательно. Ошибки быть не должно.

Мои акции упали почти до нуля. Ставки Андрея, напротив, повысились. В конце концов он добился своего – Марина вышла за него. Это был крепкий союз двух амбиций, двух соперничающих самолюбий, бок о бок прокладывающих путь к успеху. Наши пути-дорожки на долгие голы разошлись.

В двух словах закончу эту поучительную историю.

Беда пришла откуда не ждали. Сокрушая советский строй, Андрей не знал, что сокрушает и собственную судьбу. Сначала все ладилось как нельзя лучше. Андрей удачно влился в либеральный мейнстрим конца восьмидесятых, когда посредственные, но бойкие журналисты по всей стране, почувствовали себя властителями дум и были уверены, что не выпустят из своих рук знамя либеральной Победы до конца своих дней. Это был зигзаг их удачи, триумф журналистики вообще. Потом пришел тот, кого так страстно ждали – ка-

питализм без намордника и всяких там возвышенных «фиглей-миглей», пришел в своем натуральном виде вурдалака и стал с хрустом кушать в советском курятнике всех подряд. Сначала «крякнули» самые «независимые и умные», потом дошла очередь и до остальных. «Аврора» пошла ко дну. Вместе с коллективом. Марина была не из тех, кто опускает руки. Она верно поняла перемены. Договорились с мужем жить иначе. Со стихами было покончено, с глупыми разговорами о литературе тоже. Андрей решительно ушел в бизнес. Вернулся без гроша в кармане, обвешанный долгами и бандюками, которые волочились за ним, как волки за обессиленным бизоном. Марина бандюков боялась и намертво закрыла перед мужем дверь, стараясь не слушать стоны и мольбы снаружи. Но Андрей-таки уцелел! Хотя, по словам супруги, окончательно «десоциализировался».

Все это я узнал много лет спустя, когда нашел Марину через общих знакомых. Все-таки она была незаурядной личностью, меня снесло любопытство. Проживала она теперь в центре Петербурга, в старом доме. Дверь мне открыла худая женщина, в которой я с трудом разглядел прежнюю надменную красавицу. Мы обнялись по-дружески и сели за стол пить чай. Говорила она, я слушал. Про поэзию она говорила неохотно; теперь она занималась танцами. Про мужа скупо сообщила, что он «десоциализировался» и больше ничего. Я и не спрашивал. Потом начались странности. Через пять минут в дверь позвонили, еще раз настойчиво, потом

опять...

– Кто это?

– Так. Не обращай внимания, – отвечала Марина.

Ничего себе «не обращай»! Я неоднократно порывался встать, но Марина властно удерживала меня. Сорок минут (я засекаю время!) мы пили чай под непрерывный звон в прихожей. Наконец я не выдержал.

– Слушай, даже если это муж, зачем все это? Давай откроем. Он ведь не уйдет. И что подумает?

– Хорошо. Если ты хочешь.

Мы вышли в коридор. Я невольно напрягся и сжал кулаки, приготовившись ко всему. Марина впустила в дверь старенького простоволосого мужчину в поношенном драповом пальто. Я растерянно сказал: «Здрaсте», – но он меня, кажется, не услышал.

– Я вот сходил в магазин, принес вот... пряники, – пробормотал мужчина, встряхивая полиэтиленовым пакетом и глядя куда-то в бок.

– Снеси на кухню, – равнодушно сказала Марина. – И поставь чайник.

Ни «познакомьтесь!», ни «узнаешь, кто это?», «у нас гость!» – словно меня и не было. Словно не было сорока минут абсурда.

Мы вышли с ней на лестничную площадку. Я протянул руку.

– Ну... рад был тебя...

– Ты молодец, – сказала она твердо, – а я была дура.

И неожиданно грациозно обняла мой затылок ладонью, привлекла к себе и поцеловала в губы.

– Прощай.

Я вышел в питерский двор-колодец, поднял воротник и невольно перекрестился. «Мой Бог! До чего же причудлива судьба! И как мало мы знаем о том, что сулит нам благо, а что зло!» И все-таки Маринка внушала мне уважение. Сильная баба.

Глава 44. Изгои

Итак, я стал изгоем. Не отреклись только проверенные друзья. Китычу было наплевать на все эти райкомы-обкомы со всеми их обитателями, лишь бы заводился по утрам проклятый «Ераз», Андрей советовал смотреть на все, как на продолжение творчества, только Славик меня понимал, как никто.

Славка сам к этому времени испил кубок комсомольского блудодействия до дна. Из Петроградского райкома его перевели в секретари комсомольской организации Печатного двора, чтоб он набрался опыта руководящей работы перед предполагаемым повышением. Такой же несчастный чужак, как и я, в райкоме Славка уживался во враждебной среде более или менее благополучно, потому что спасала бессмысленная, но исключительно бумажная работа. На производстве его ждала банда неудовлетворенных молодых провинциальных баб, которые насмотрелись в детстве фильмов про комсомол и хотели видеть во главе себя альфа-самца с амбициями будущего генсека. Славку они приняли настороженно, сразу определив на глаз, что «не орел». Комсомольских «орлов» я и сам хорошо помню. Их удивительная способность вносить энтузиазм даже в похороны, всегда была для меня загадкой, а бойкая трескотня на собраниях была несносней

звука бормашинки в кабинете стоматологии. К тому же комсомолки Печатного двора, как и вся страна, хотели перемен! Перемены, так уж вышло, олицетворялись новым секретарем, то есть Славкой.

Какой из эстета, умницы, рефлексирующего интеллигента комсомольский вожак? Славка пытался обаять склочное бабье своим врожденным дружелюбием, покладистостью, но только разбудил в них злой охотничий азарт и женское презрение: «Нюня!» «Нюня» не хватал их за жопу в темных углах, не умел грозно рычать на непокорных, не заглядывал под юбки, не совращал обещаниями решить квартирные вопросы и найти подходящих женихов. «Нюня», как кот Леопольд, только просил: «Ребята, давайте жить дружно!» Теперь осмелевшие девки были недовольны всем, они демонстративно требовали от вожака подвигов. Вожак бегал с покрасневшими глазами по цехам и, подражая киношным комсомольцам 50-х, сыпал шутками-прибаутками направо и налево, изображая «рабочую косточку»: «Ну что, девчата, приуныли? Так и женихов распугать можно!» Новая роль не задалась. У Славки на лбу тиснеными буквами было написано: «Александр Блок. Избранное»...

К несчастью, на производстве был еще партком, и там сидела задерганная женщина лет сорока, которая так же, как и все секретари парткомов в то время, не знала, каких перемен еще надо было вечно недовольному начальству. Получив дозу адреналина в обкоме партии, она спешила поделиться ею

с комсомольским секретарем. Тогда на слуху было: «Партия сказала надо, комсомол ответил – есть!» Надо было «улучшить, углубить, вдохнуть новую струю, по-новому взглянуть и перестроить».

«Есть», – уныло отвечал Славка, собирал актив и петушился из последних сил, догадываясь, что ему уже давно никто не верит.

Назревал бунт. Как по заказу именно в эти месяцы развалилась окончательно Славкина семья и обиженная супруга в отместку и по настоянию своих родителей накатала на Славу жалобу... в партком. Устало и покорно Славка выслушал очередные упреки старших товарищей. Было очевидно, что наступили черные денечки.

Как он все это выдержал – не понимаю. Помню, как он признавался мне в то время, что самый тяжкий день для него на неделе – воскресенье. Потому что за ним приходил понедельник. Удачно совпало, что как раз именно в это время у меня случилась история с обкомом комсомола и я сочувствовал другу глубоко и искренно. В субботу мы встречались с ним у него дома, жарили куренка и напивались в дым.

Последняя попытка спасти положение была жалка. Славка пригласил свой актив к себе в гости по случаю 8 Марта, и меня заодно, чтоб разбавить ядовитую женскую массу. Так поступали в то время многие начальники. Совместная пьянка сближает, срезает острые углы. Выпускает пар, одним словом. Согласился я неохотно. Еще свежи были собственные

воспоминания о комсомольской карьере.

В гостиной за накрытым столом я увидел восемь пар внимательных девичьих глаз, которые не обещали ничего хорошего. «Ну-ну, – говорили они. – Попробуйте ребята, а мы посмеемся». Славка суетился, предлагал тосты, рекомендовал меня как холостяка с ленинградской пропиской. Старался, похоже, он один. Пили, как было принято, много, шутили вынуждено, молчали мрачно. Даже изрядно нагрузившись ликерами и ромом, все чувствовали какую-то фальшь в нашем якобы сближении. Девчонки переговаривались между собой, курили дешевые сигареты. Никто не пытался меня соблазнить, а это самый плохой признак. Мне приглянулась некая Оля, девица откуда-то из-под Иванова, точнее привлекли внимание ее ноги в черных чулках (голову не помню). Ноги то сдвигались, то раздвигались, то укладывались одна на другую, наконец поднялись и пересели. Потом была музыка, танцы, холодный, заснеженный двор, остановка трамвая, чей-то голос: «Да он же совсем пьян!» – и, наконец, родная парадная с запахом мочи и долгожданная дверь, в которую никак не втыкался ключ.

На следующий день мы гуляли с другом по Петроградской. Говорили о пустяках, потом Славка вдруг сказал выстрадаю:

– Стараешься, стараешься, а в ответ...

И тут голос его дрогнул. Я посмотрел сбоку – Славка плакал.

Дураки мы были с ним набитые! Куда лезли? Зачем?

Между прочим, вспоминается в связи с этим одна реальная история, популярная в узких партийных кругах. Был на предприятии секретарь парткома – мужчина средних лет, умный, образованный, порядочный и ужасно совестливый. Работе отдавался полностью. В партию верил безоговорочно, жену любил всем сердцем. Когда в партии с приходом Горбачева завелась измена, он мужественно терпел, когда изменила жена с близким другом – повесился у себя в кабинете на люстре. Правда, говорят, и пил он в последнее время сильно. Мука смертельная была в его глазах в последние денечки.

Бог спас Славку. И меня спас. Но, как всегда, вместо благодарности мы пеняли на судьбу.

Славка ушел. И с работы, и из семьи. Началась новая глава его жизни. У меня продолжалась старая, и конца-краю ей было не видно.

Глава 45. Тяжело

Я начал бухать по-черному. Именно тогда, когда пьянству в стране объявили решительный бой. Что бы теперь ни говорили об антиалкогольной компании, я свой камень в Горбачева не брошу. Россия спивалась стремительно. По сути, это был массовый запой. Пили назло, пили от тоски и безысходности, с куража, со скуки, с больших денег и на последнюю копейку, пили, потому что привыкли, но главным образом потому, что душила наполненная лозунгами и призывами, пустота. Бессмысленность рождается, когда пропадает цель. Так устроен человек, и никто не в силах это изменить: цель человек должен выбирать сам. Пусть самую пустяшную, глупую, но свою. Судьба – капризная особа. Она бунтует, когда ее втискивают в прокрустово ложе. Она хочет свободы. Пусть при этом сломает себе шею. Пусть ее ждет горькое разочарование. Это во сто крат лучше, чем прямая и безопасная дорога в могилу.

Упертые коммунисты были уверены, что в зоопарке лучше, чем в джунглях и до последнего пытались убедить народ, что сытая жизнь в клетке слаще, чем на воле, где опасностям нет конца. Оказалось, что не так. Для меня, например, лучше быть безработным, чем сидеть в тюрьме по 209-й статье за тунеядство. Я не смогу стать счастливым, если мне запретят

быть несчастным. Я не смогу помочь ближнему, если меня к этому принуждает не совесть, а надсмотрщик с нагайкой.

Я хочу лечь на скамейку, наподобие американского бродяги, и смотреть в небо.

«А ты работай!» – скажут мне. – «А не хочу!» – отвечу я. – «Но ведь сдохнешь?!» – «Не ваше дело!»

«Нет! – отвечают коммунисты. – Это наше дело! И ты будешь работать, вражина, из-под палки. А чтоб труд не казался повинностью, будешь ходить каждый год на демонстрацию 1 мая в знак солидарности с трудящимися всех стран!»

«Ну и пусть, – скажет очередной лох нашего смутного времени, которому уже насвистели в уши про сказочные советские времена ностальгирующие пенсионеры. – Подумаешь, демонстрация, схожу!».

Конечно, сходишь! Куда ты денешься? Тебя мучают неправильные мысли? Что ж, есть хорошие специалисты, которые вправят тебе мозги. Тебе зябко, хочется кушать? Тебя накормят, оденут и укроют от непогоды! Ты завистлив? Посмотри вокруг – все равны! Чему завидовать? Умный и талантливый зарабатывает чуть больше тебя, но ты можешь догнать его, если будешь активней орудовать лопатой.

Почему же так тяжело? Почему так хочется напиться и забыться? Потому что человека лишают надежды. В свободном мире каждый неудачник может мечтать стать миллионером. Отшельником. Путешественником. Бездельником. Бандитом. Нищим. У каждого есть шанс выйти из причин-

но-следственного плена материализма и воспарить в небеса, где действуют другие законы. Можно укрыться в подвале грязной фуфайкой и можно спрятаться в собственном дворце. Можно уйти в блуд и можно уйти в святость.

В коммунистической клетке мечтать бессмысленно. Утром на работу. Пайку принесут ровно в три. В семь вечера – вторую. В 11 – отбой. За хорошее поведение – прогулка. Никаких сомнений относительно правильного курса. Страхи запрещены. Побольше оптимизма, товарищи! Веселей держите шаг!

Алкоголь освобождал от рабства.

Пили мы в основном с Китычем и старыми, проверенными бойцами на Народной. Портвейн очень хорошо шел под альбом Юрия Лозы «Тоска». Тоска вообще была в моде. Надвигался какой-то мрак, который чувствовали даже толстокожие мастодонты. Апокалипсис не пугал, но завораживал, как белая бесшумная полоска цунами на горизонте и... возбуждал! А как же? Назревала долгожданная смута. Всеобщая погибель на Руси издавна сопровождалась пьяным разгулом. Русский человек исподволь всегда жил ожиданием долгожданного конца и тем самым отличался от европейца, который по кирпичику любовно отстраивал свой домик. «А! Не жизнь и была! Пропади оно все пропадом!» – с гибельным восторгом кричит русское сердце. А чего было жалеть? Ни кола – ни двора. Пусть попляшут те, кто копил и тщательно обустроивал свою жизнь.

С другой стороны, с середины 80-х нарождался класс каких-то смутных личностей, которые называли себя деловыми. Деловые шушукались особняком возле пивных ларьков и с презрением смотрели на гопоту. Нарождалась прямо на глазах, под аплодисменты, новая мораль. Почему-то в первую очередь гнобить стали совесть. На Народной популярной была присказка: «Там, где совесть была, – хер вырос». Произносили это с гордостью. Мне почему-то кажется, что так же гордо, подбоченясь, говорил о Боге в 17-м году вчерашний семинарист, вступивший в партию большевиков. И как же тут не вспомнить пророка Достоевского. Помнится, в «Бесах» Ставрогин говорит Верховенскому: «Право на бесчестье, – да это все к нам прибегут, ни одного там не останется!» В точку. Ломанулись толпой. Приврать, обмануть, сжульничать и раньше было не диво, но теперь это стало доблестью. «А ты клювом не щелкай!» – вот и весь ответ.

Коммунистическая мораль, выросшая из христианской традиции, но сразу потерявшая Отца, была беззащитна перед своими взбунтовавшимися незаконнорожденными детьми. Дети хотели сладко кушать. Они хорошо усвоили уроки Дарвина еще в школе и не понимали, зачем делиться, если можно съесть в одну глотку. Что мог возразить им комсомольский функционер в сером костюме и значком на груди? Что человек путем эволюции достиг уже такого уровня развития, что чувствует необходимость отдать ближнему последний кусок? Ну, кто чувствует – тот пусть и отдает,

а кто не чувствует – пусть отбирает.

Честная интеллигенция, напуганная открывавшейся перспективой, заговорила – не о совести, нет! – о гражданской ответственности, об уважении к правам личности, о преимуществах правового государства и неразделимой связи прав и обязанностей. Но в народе уже народилась новая обезьяна, весьма похожая на старую – заухмылялась глумливая харя торжествующего хама, который готов был опять ломать и низвергать, отнимать и делить, грабить и насиловать. Только теперь без всяких гуманистических лозунгов. Все по чесночку! Человек человеку – волк! Доказано наукой!

Все занялись бизнесом. Кто-то подворовывал на заводе гвозди и продавал за бутылку, кто-то шил брюки на заказ, кто-то занимался частным извозом.

Мы с Китычем тоже решили сделать бизнес. Он просто напрашивался, обещая прибыль в сто процентов. Предположим, бутылка портвейна в магазине стоила пять рублей. Купить ее можно было в строго ограниченное время и с боем, но эти вопросы решались. Зато вечером и ночью бутылка шла от десяти рублей и выше. Чем больше бутылок – тем выше навар. Было только одно «но». Нельзя было пить продукт, приготовленный на продажу.

Для этого – мы договорились сразу – портвейн делился на две части. Одна для честного пьянства, другая для обогащения. Закупили для начала на Китычин аванс сразу десять бутылок. Пять честно выпили в первый же день за успех

предприятия. Остальные пять выпили на второй день, уговаривая себя, что это «в последний раз». Еще пять купили у спекулянтов по десяти рублей в третью ночь и тоже выпили. На четвертый день заняли у знакомых шоферов в парке пятьдесят рублей и купили еще пять бутылок (почему-то считали, что шесть – это слишком много на двоих). Пили их на скамейке с незнакомыми водителями из соседнего таксомоторного парка. Заспорили о норманнской теории возникновения Русского государства. Таксисты считали, что никакого Рюрика не было, а был Гостомysl. Подрались. Приехала милиция и похватила самых пьяных и буйных. В отделении Китыч кричал, что он сын турецкого подданного и зачем-то требовал жалобную книгу. Сержанту надоел этот цирк и Китыча отволокли в соседнюю комнату, где побили резиновыми дубинками и привязали ремнями к койке до утра. Меня выпустили поздней ночью на все четыре стороны.

Это был, так сказать, заключительный аккорд моей комсомольской карьеры. Бумага из милиции пришла на работу и в комитет комсомола через три недели. В сущности, она была подарком для комсомольских товарищей. Теперь не надо было ломать голову, по какой причине меня нужно гнать в три шеи из приличного общества. Зам по идеологии пригласил меня в кабинет. Пряча глаза и улыбку, спросил, что со мной случилось.

– Шел из библиотеки домой, споткнулся на ровном месте, а тут патруль. Даже слова не дали сказать, запихали в пикап,

а в отделении разобрались и отпустили.

– Понятно. Бывает. Будем собирать бюро. Готовься.

– Я всегда готов. С детства.

Натэлла не ругалась. Она, давно поняла, что поставила опять не на ту лошадку и приготовилась к грустным похоронам наших незаурядных отношений. В ней проснулась мать.

– Мишка, ты ведь умный, талантливый, красивый. Зачем ты себя губишь? Ведь сопьешься! А настоящая жизнь только начинается. Перестройка! Сейчас надо быть на низком старте. Понимаешь, какие возможности открываются? Старперы уходят, молодым дорога! Я верю в тебя! Соберись!

Что я мог ответить? По существу, я заработал себе волчий билет. Своими собственными руками. В 26 лет! Десять лет старательно изображал из себя добропорядочного гражданина, чтоб поверили, что я свой. Поверили, распахнули ворота, а я пукнул от страха и сбежал! Забравшись в самый глухой угол нашего леса, я смотрел в небо и тупо про себя повторял: «Жизнь удалась, Миша, поздравляю!»

Глава 46. Бехтеревка

Я думал, что уйду из университета уже осенью, но судьба распорядилась иначе. Знакомая врачиха, которая устроила мне в свое время академотпуск, опять помогла. Открылась возможность подлечить нервы в Бехтеревке. И не только нервы, но и душу: известный в узких кругах психоаналитик Александр Моисеевич Штыпель набирал группу.

Нас было шестеро. Шесть страдальцев, замученных действительностью до состояния невроза. Четыре месяца подряд, после утренних укрепляющих процедур, мы запирались со Штыпелем в комнате и лезли друг другу в души. Александр Моисеевич разрешал выворачивать друг друга наизнанку. У некоторых обнаружили постыдные тайны. Альберт, например, не мог прилюдно справить малую нужду, Евгения была влюблена в Алена Делона и знать не хотела отечественных мужиков, чернобровая красавица Алиса отдавалась задаром дуракам, а умные почему-то ее боялись. Самая старшая из нас, Люба, возомнила, что умрет 17 числа в апреле, и мы дружно выбивали из ее головы эту пагубную глупость. Я с ужасом и стыдом признался, что уже давно выполняю сексуальные прихоти своей начальницы и, похоже, мне это даже нравится. Этот день, когда пришла моя очередь исповедоваться, я запомню на всю жизнь. Когда все

закончилось, я был мокрый, как мышь. Штыпель остался со мной, когда все вышли.

– Михаил, вот вы говорили, что ненавидите Натэллу за то, что она унижает и мучает вас, а как вы думаете, что вы испытали бы, если бы ваша начальница попала в беду? Смертельно заболела, например?

Я задумался.

– Не знаю. Злорадство? В жалости она никогда не нуждалась.

– Уверены?

– Не знаю. Она нас всех переживет. Такие не тонут и в огне не горят. Я же говорю – ведьма.

Натэлла умерла двадцать лет спустя. Мы не поддерживали отношения, но я знал, что последний год-два она сильно болела. Я был у нее дома на Петроградской незадолго до кончины. Позвал общий знакомый. Выглядела она ужасно. Бодриться было нелепо, успокаивать тоже. Мы не говорили о прошлом. Мы сидели с приятелем у кровати и молчали. Я вспоминал, стыдно признаться, каким роскошным было ее тело четверть века назад, и боялся смотреть на то, что от него осталось. Какими пустяками казались теперь все прошлые обиды и переживания! Как глупо выглядели все наши усилия побороть друг друга. И как страшно, невозможно было поверить, что смерть, о которой так много, так легкомысленно говорят люди, действительно существует! Вот она стоит в изголовье и терпеливо ждет, когда мы уйдем. И исчезнет, за-

брав с собой Натку... Куда? Господи, помилуй нас, грешных.

Товарищ мой торопился, ушел первым. Наталья лежала на диване и смотрела в потолок. Потом с трудом повернулась ко мне.

– Дочка у меня, Женька. Умница. Правда. На рояле играет. Что с ней будет? Семь лет всего. Квартиру вот университет дал, Гриша выбил.

Гриша был ее последний муж. Красавец греческого типа, умница, он был физиком, подающим надежды, но пришла перестройка и он сбился с пути истинного, как и тысячи других. Забросив свои атомы и электроны, он взялся за эпохальный труд «Как нам обустроить СССР». Оказалось, что он знает как. И доказательства его были глубоки и безупречны. Беда была в том, что истину знал только он сам и два-три его верных читателя, включая родных. Остальные пребывали в невежестве и СССР в конце концов развалился.

Больше всего я боялся, что наступит минута, когда начнется: «А помнишь? А помнишь?», – потому что вспоминать было мучительно. Ната и сама понимала это. А возможно, ей на все это было уже наплевать...

...Вообще-то, я считаю, что психоанализ полезная штука, хотя и далек от мысли, что он творит чудеса наподобие тех, что происходят в голливудских фильмах: когда маньяк вдруг вспоминает, что в детстве его изнасиловал родной отец и после этого все в жизни пошло наперекосяк, потому что вовремя рядом не оказалось психоаналитика. Мне, во всяком

случае, на исходе четырех месяцев полегчало. Я увидел, что каждый человек, благополучный с виду, несет в себе целый муравейник комплексов и проблем и достоин сочувствия. Мои страхи и переживания не были выдающимися, находились и те, кто мог дать мне сто очков фору.

На исходе четырех месяцев мы напоминали группу заговорщиков против остального мира. Слишком много знали друг о друге. Некоторые усвоили манеру Штыпеля трезво и сухо анализировать свои и чужие эмоции и немножко походили на чокнутых. За каждым словом нам чудился подтекст, за каждым сильным переживанием выглядывал диагноз. Но это скоро прошло, к счастью.

Я вернулся в университет и обнаружил, что в редакции произошли перемены. Появились новые сотрудники мужского пола и, как минимум, двое из них стали фаворитами неумной Наты. Мне была уготовлена судьба страдальца, который ежедневно должен был ревновать и скорбеть об упущенном счастье. Новенькие были молоды, талантливы и честолюбивы. Ревновал и страдал я сильно, но вида не показывал. Это Нату категорически не устраивало. Ей нужна была не просто победа, но торжество, когда сразу три незаурядных молодых мужика мутузят друг друга на глазах у всех за право быть главным любовником. Начался спектакль, который увлек всю редакцию. Судачили даже нештатные сотрудники, вовлеченные в эту драму. Моя роль в ней была самой неприглядной. Сгорая от обиды и ревности, я всячески старался

дать понять зрителям, что мне все равно! Что я свободен, «словно птица в небесах»! Что у меня другие цели, важные и таинственные, что меня домогаются другие женщины и я устал выбирать между ними. Что я всю жизнь только и мечтал, чтобы Натэлла была только моим начальником и не более. Жалкая роль!

Неофициально – и я сам настаивал на этом! – наши отношения закончились и теперь Натэла, на правах старого друга могла рассказывать мне интимные подробности своих амурных походов, ожидая сочувствия и советов. Это ли не попытка? Слушать о том, как «он поставил меня на колени» или «я просто не могла подняться» и изображать при этом понимание или полное равнодушие, острить, подсказывать, как правильно отреагировать на то, что любовник опоздал на свидание или не принес цветы. Догадывалась ли Наталья о моих страданиях? Конечно, знала. Чего хотела? Чтоб я перестал притворяться и признался ей в любви. Штыпель посоветовал бы объясниться. Зачем? Чтоб угас этот восхитительный яростный огонь в ее глазах, когда я с деланным равнодушием рассказывал ей о собственных, выдуманных любовных историях? Когда она дрожащим голосом выпрашивала подробности, комкая пальцами новой платок? Когда она готова была убить меня, а я готов был убить ее?

Беда была в том, что нам было интересно друг с другом. Но я стал сдавать. Выдохся.

Ведь надо было еще и работать! Каждый день встречаться

с людьми, которых хотелось обойти за километр. Спрашивать их о всякой ерунде, делая заинтересованное лицо, писать текст, который прыгал перед глазами от возмущения... Все это могло плохо закончиться.

И закончилось. Я опять запил. Разумеется, с Китычем. Его долго соблазнять не пришлось. Пили с утра у него в парке после того, как он, заглотив стопку подсолнечного масла, проходил врача, ставил у механика печать в путевку и выгонял машину за ворота. Да, забыл, надо было еще позвонить в «рыгаловку» и сообщить, что машина сломалась. В конце концов «рыгаловка» взбунтовалась, пришлось и вправду сломать машину и стать на ремонт. Заодно отпала необходимость проходить врача. Тут-то мы и развернулись с Китом! В пьянство вовлеклись еще три шофера – Чирика, Сергуня и Сашка Длинный. Портвейн брали у «спекулей», закусывали чем придется. Сначала «забодали» запаску Китыча, потом «запаску» Сергуни, который оказался тоже еще тот гуляка, потом откуда-то появились ненужные запчасти, канистры, талоны на бензин... Я примелькался в парке настолько, что меня принимали за шофера из соседней колонны. Скоро к нам прибился еще один белобрысый горбоносый парень с двумя выбитыми передними зубами, из 4-го таксомоторного парка, которого мы почему-то сразу окрестили Волком Ларсеном. Он пытался привить нам с Китычем «французский вариант». Это когда наливаешь всего четверть стакана, пьешь мелкими глоточками, а закусываешь исключительно

тонкими ломтиками докторской колбаски. Откуда у простого парня появилась эта барская привычка – не знаю. Может быть, подсмотрел что-то в кино, а может душа тосковала о возвышенном, но мы с Китычем на буржуазные соблазны не поддались. Кит глушил портвейн стаканами, а у меня вообще был собственный метод. Перед застольем с друзьями я наспех заглывал из горла в одиночку целую бутылку портвейна без закуски. Ждал, чтоб «торкнуло». А потом «догонял» наравне со всеми. Ребята заметили, что «Майкл сильно сдал», быстро отключается, посмеивались. Но я не буянил, никому не мешал, а просто мирно спал в кабине или где-нибудь в закутке, на этаже.

На подвиги меня не тянуло, по бабам я не бегал, не врал, как другие, про свою жизнь... Пил исключительно для того, чтобы забыться. Очнувшись, и увидев привычные небритые рыла, скорей хватался за стакан.

К нам тянулись. Вечером парк был во власти пьяниц. Я был в этом мире своим среди чужих.

Шофера могли часами до хрипоты спорить о своих «жиклерах» и «карбюраторах», о карданах и запасках, о выгодных «точках», о гаде колонном. Или дулись ночь напролет в «очко» или «буру». Иногда во мне рождался протест, и я вторгался в нудный шоферский разговор, как миссионер в толпу язычников. Тогда говорили о высоком: есть ли жизнь на других планетах, кто сильнее, слон или тигр, и может ли кашалот проглотить человека. О женщинах, как и на Народ-

ной, говорили скупно, целомудренно и по делу. Просто кто-нибудь вспоминал, как вместе «с Лехой» подхватил «трепака» в заводской общаге и после этого полчаса все бурно обсуждали, как от него лечиться народными способами.

Знало ли начальство, что твориться у него под носом? Разумеется, знало. Но что они могли поделаться? Рядом находились другие парки, где требовались шофера. Прогульщики и пьяницы кочевали с одного парка в другой, как северные олени в поисках подходящих пастбищ. В ЛПО-2 работали два биологических вида шоферов: пожилые, суровые, седые и ответственные, и молодые веселые «раздолбай», про которых Лоза пел: «Простые парни шофера, хозяева земли». В середине находились сомневающиеся средних лет. Иногда они примыкали к молодежи, иногда к старикам, в зависимости от обстановки в семье и расположения начальства. Старики помнили Сталина, окопы Сталинграда и работали на совесть. На молодых они смотрели, как на чуму, и никак не могли понять, почему их до сих пор не арестуют. Молодые смотрели на стариков, как на вырождающийся вид мастодонтов, век которых подходил к концу, потому что они не дали потомства. С точки зрения эволюции было совершенно непонятно, какие признаки второй вид унаследовал от первого. Произошел какой-то сбой, мутация. На собраниях оба вида сидели отдельно, на этажах общались только по необходимости. Неприязнь была взаимной и глубокой.

Я как-то подсчитал, что Китыч в конце восьмидесятых

полноценно работал в среднем три дня в неделю. Я сам – чуть меньше. Могучая страна просто кишела, как опарышами, молодыми тунейдцами. «Слава труду!» — убеждала партия. «А пусть работает зубастая пила!» – отвечал народившийся класс бездельников. В основном это были простые ребята, сильные и здоровые, отслужившие в армии, получившие хорошее образование в школах. Что свихнулось в их головах? Когда? Почему?

Один ответ приходит в голову. По кочану! Нельзя врать! Все, что начинается с вранья, заканчивается крахом. Когда-то большевики наврали всему миру, что знают, как сделать всех счастливыми. Не сразу, конечно, но в скором будущем. В молодежных театрах заслуженные артисты взволнованно обращались к залу: «Счастливые! Вы будете жить при коммунизме!» Через семьдесят лет старым большевикам ответило молодое поколение. Китыч, например, поднимая стакан портвейна, говорил: «Ну! Чтоб х... стоял и деньги были!».

С одной стороны, мы жили – не тужили. Вина было вдоволь, закуска доставалась почти даром. С другой... Как тоскливы были эти черные загулы! И вспоминаю, как хороши были юношеские пьянки! Иногда смотрю по телевизору, как худосочная певица, закатывая глаза, убеждает зрителя, что счастливее ее нет на свете никого! У нее видите ли грандиозные творческие планы! Вышел новый диск. Гастроли. Дура! Что ты знаешь о счастье, если не можешь вечером заснуть

от тревожных мыслей, а утром с тоской ждешь плохих новостей? Счастье живет на Народной. Недолго! Где-то с 16-ти по 18 лет. В здоровом теле. В чистой, беззаботной голове. В благословенные 70-е годы. Оно залетает в сердце, как беспечный жаворонок и, если его не вспугнуть, два— три года будет улаживать душу чудесными ликующими трелями. А потом – извините. Бал кончен. Жаворонок улетел. Прилетел черный ворон. Клюет он больно, каркает про беду, которая всегда рядом, только споткнись... Здравствуй, взрослая жизнь, мля...

Глава 47. Бегство

В конце концов сколько веревочке не виться... Мое пребывание в университете стало мучительным. Я уволился осенью. Ушел в никуда.

Бесценный опыт! Никуда – это как чистый лист. Можно поставить сразу жирную кляксу. Можно каллиграфическим почерком вывести: «Новая жизнь. Глава первая».

Я поставил кляксу и еще растер ее на всю первую страницу. Никаких перспектив, никаких планов, никаких надежд. 1988 год. Наверху – ветры перемен, которые дули исключительно с запада, внизу – огромные очереди в винные отделы после двух и растущая злоба на власть. Пьянствовал я безобразно почти два месяца. И один, и с кем придется. С простыми гопниками и авторитетными ворами, которые учили меня науке выживать в заполярных лагерях строгого режима. Однажды пьянка с ними чуть не закончилась для меня трагически. Старый рецидивист с перепоя заподозрил во мне мента. Пьянствовали мы в какой-то убогой квартире на первом этаже. Ангел-хранитель поднял меня вовремя с обоссанного дивана и, выбравшись в коридор, я услышал с кухни голос: «Говорю же тебе – мент поганый! Кончать его надо!» Ангел-хранитель и вывел меня под ручку на лестничную площадку, помог спуститься вниз и отлетел лишь тогда, когда я

упал во дворе в объятия трезвого Пашки Шапошникова.

Пил с молодой соседкой по лестничной площадке Галей, с которой мы просыпались утром в одной постели в верхней одежде, и, не снимая ее, бежали на кухню смотреть, не осталось ли еще чего в бутылках. Пил с дворничихой Люсей, которая жаловалась на свою жизнь, с продавщицей Валеёй, которая предлагала мне замужество и сына-подростка в придачу, с какой-то официанткой из «Ласточки», которая переспрашивала меня в постели раз двадцать: «Так ты журналист?! Во умора!», с какими-то моряками... Кончилось тем, что домой наведалься участковый. Родители поставили ультиматум: или я устраиваюсь на работу или – ко всем чертям, на помойку!

Нашел я себе теплое местечко на ПО имени Ленина. Опять сторожем на ставке стропаля 4-го разряда. Во времена всеобщей занятости таких местечек было много по всей стране. На заводской склад мне привезли будку, и я стал охранять какие-то чугунные болванки весом не меньше тонны и завалы из толстых бревен.

Начался, как я писал еще недавно про других в своих статьях, новый этап в жизни. Склад я вспоминаю до сих пор с нежностью. Служба – день через три. Зарплата – почти вдвое больше против университетской. Один. Тихо. Свежий воздух. Бревна и тяжелые железяки никому не нужны. В бытовке уютно, тепло, стол, печка, кипятильник. Морозным утречком, накормив кота и пегую собачонку Тузика, я заваривал

цифирь народным самодельным устройством из двух лезвий бритв и обыкновенных спичек, включал приемник на волне «Маяка», доставал бумагу, ручку и садился писать свой новый роман про юность, про школу, про любовь. Писал с восторгом. Иногда плакал. Впервые в жизни я писал искренне, не вымучивая из себя глубоких идеи, не пытаюсь вдохнуть жизнь в каких-то деревянных комсомолок, чугунных секретарей, картонных гопников, не изводя себя тоскливо-правильной моралью. Воспоминания жгли меня. Для меня стало очевидно, что самое главное в творчестве случается, когда отворяется окно в сердце, а не в голову и важно было не испугнуть этот момент истины, не проворонить; важно было не умничать и не кривляться.

Я любил свою юность, своих друзей, школу и мне казалось важным, чтобы читатель тоже полюбил их, а может быть и меня, дурака... Ведь я, в сущности, славный малый и никому не хочу зла. Я впервые писал роман, не преследуя себя мыслями о славе, о гонорах, о Нобелевской премии, черт бы ее побрал! Так рассказывают волнующие истории из жизни своему близкому другу, не сомневаясь в его отзывчивости и вдохновляясь искренним вниманием. Так признаются в любви. Так исповедуются впервые.

Иногда в будку заглядывал мастер, молодой, рыжий и нервный мужик по кличке Куриные Мозги, и я переворачивал листы. Рабочие склада знали, что я «не прост», что-то пишу, но не спрашивали из деликатности. Понятно

было, что меня занесло на склад случайно и ненадолго. С грузчиками и стропальщиками я дружил. Мы вместе пили крепкий чай, пожилые рассказывали интересные истории из своей жизни. Шестидесятилетний Веня вместо носа носил на лице сизую картошку. В молодости упавший ящик почти полностью оторвал ему нос. Врачи вовремя присобачили его на прежнее место, но прижился он кое-как, хотя и дышал; к тому же от употребления тройного одеколона нос неумолимо стал менять цвет. Это нисколько не испортило характер Вени. Он был весел и дружелюбен всегда. Работал, как и пил, исправно. Друг его Михалыч, цыганского вида, чернявый, высокий, крепкий, ушлый мужик, был бойчее, вороватее и говорливее. Он, как правило, и «делал тему», то есть левые деньги, сплавления на сторону доски и цемент; одеколону же предпочитал водку. Веня пил одеколон не из экономии, а потому что другие напитки его «не забирали», он пробовал – нет, не забирали! Дружья были неразлучны уже лет тридцать. Веня был из деревни, Михалыч городской. У Вени было три сына, и собака Тузик, у Михалыча сын, дочь и рыжий хомяк Тимка. Тимка прожил недолгую жизнь. Как-то он испачкался краской и Михалыч решил его помыть. Сунул под струю в ванной, а там оказался кипяток. От возмущения Тимка укусил его за палец и от неожиданности и боли Михалыч стукнул его об пол. Тимку торжественно закопали на газоне под окнами и Михалыч положил на холмик камушек. Не лишенный научной любознательности, Михалыч решил

как-то проверить, что будет с голубем, если напоить его допьяна. Для этого Михалыч смочил в водке хлебные крошки и рассыпал их на подоконнике.

– Смотрю – клюет! Боялся, что побрезгует. Не-ет! Водочку и птицы любят! Клюет-клюет, а потом, вижу – стал распушаться. Словно мячик стал. И пошатывается. Ну, думаю... а он покачнулся и – кувырк вниз! Как камень. Да об асфальт. Только перья в разные стороны!

– Может просто заснул?

– Вырубился! Перепил. Неопытный.

Это я к тому, о чем мы беседовали. Мне ужасно нравились эти разговоры. Пустые, дурацкие, но после них долго не покидало хорошее настроение. Совсем другие начинались, когда в будку навевались молодые грузчики. Дети перестройки. Начинался злой ор. Злословили обо всем. О своих женах, о работе, о погоде. Особенно не любили мастера, который не умел воровать, за что и получил кличку Куриные Мозги.

Недовольство у русского человека всегда, я заметил, приобретает метафизический характер. Он недоволен вообще. Начальством вообще. Работой вообще. Страной вообще. Миром, в котором нет ничего хорошего. Из этого вытекает отрадный вывод – так и пропади оно все пропадом. Чего жалеть-то? Разубедить такого человека сложно. Когда Китыч окончательно спился, я никак не мог втолковать ему, что не все пьют и не все свинячат. Эта правда была ему не по силам.

Когда молодые уходили, я проветривал свою избушку и делал уборку. На складе, как я уже говорил, было много разных железяк. Я нашел среди них удобные и приспособил для занятий спортом. В железных дверях обнаружил перекладину, на которой можно было подтягиваться. Мне выдали топор и вечерами я колот им огромные тополиные чурбаны. Меня словно прорвало. Спорт вновь спасал меня. Каждый месяц я обновлял свои рекорды: подтянулся сто раз за день, двести, триста, отжался четыреста... Со склада до Народной ходил пешком, а это километров шесть с гаком.

Я вновь сделался сильным, гибким и выносливым. Вновь распрямлялась спина. Вновь проснулись желания. Вновь проснулись амбиции. Я был готов к новому раунду.

Глава 47. Крещение

В начале февраля позвонил Андрей.

– Ну, долго мы еще будем дурака валять? Все ходим вокруг да около. Пора креститься.

– Когда?

– Давай завтра. Церковь «Кулич и Пасха» знаешь, где находится? Там и встретимся. Я все уже разузнал.

Что бы ни случилось в дальнейшем – навсегда буду благодарен Андрею за этот день.

В церкви нас было человек пять. Все молодые. Все немножко смущенные и испуганные. Молодой священник совершал обряд, волнуясь и с видимой радостью на лице. Возможно, обряд еще не вполне соответствовал строгому церковному канону. Так ведь князь Владимир тоже крестил киевлян, как умел. Русь советская стыдливо и робко вспоминала, как правильно накладывать на себя крестное знамение и повторяла за священником: «Аминь!»

Мы вышли с Андрюхой из храма в строгом молчании и отправились в наш лес. На любимой опушке разожгли костер. Я с непривычки вновь и вновь ощупывал пальцами латунный крестик, который щекотал и охлаждал грудь. Теперь он хранит меня. Теперь я был христианин. Теперь я был подвластен своду правил и законов, о которых раньше, как всякий

советский полуинтеллигент, что-то слышал, что-то знал, но не придавал этому серьезного значения. Теперь я мог твердо сказать кому угодно, столкнувшись с очередным соблазном: «Не могу, потому что моя религия запрещает» (увы, как редко мне приходилось произносить эти слова). Я стал членом древней организации со своей структурой, своими начальниками, своим уставом.

Душа волновалась. Хотелось какого-то знамения (на следующий день мы с Андрюхой узнали, что накануне было лунное затмение, обрадовались, и, боюсь, что возгордились). Хотелось сразу сделать христианский поступок, чтоб Бог заметил и похвалил за усердие. Так в первом классе, помнится, я тянул руку изо всех сил, чтоб учительнице понравиться.

Но в миру все было обыденно. День для февраля был теплый. Тихо трещал костер, наливалось желтизной подернутое облаками небо, в канаве плескался и булькал ручей, вороны каркали в поле...

И все-таки я чувствовал, что стал иным. Как это происходит? Пересказать трудно. Я слышал про тех, кто переродился в один день. Кому-то понадобился год. Кто-то не почувствовал ничего – не взошел, как семя, брошенное в каменистую безводную землю.

Мое семечко взошло. Прежде всего, рассеялся хаос. Руки, уставшие цепляться за пустоту, схватились за опору. Глаза увидели цель. Уши услышали Слово. Исчез страх полной наготы и незащитности перед жестокой правдой и мудростью

мира сего. Я стал сильнее и спокойнее. Так увереннее чувствует себя человек, который знает наперед, где его поджидает опасность и как ее можно избежать

Но главное, конечно, не в этом. Просто мне стало, наконец, хорошо после двух лет мытарств. Ничего более точного и исчерпывающего сказать не могу. Как будто лязгнули запоры, дверь в камеру распахнулась, вошел улыбающийся охранник и сказал: «Иванов, на выход! С вещами. Помилование тебе вышло, сукин сын! Смотри, больше не греш!»

Кто знает, что такое депрессия и благополучно вышел из нее, поймет меня.

Я почувствовал чудесную легкость бытия. Да, именно радостную легкость. Оказывается, жить легко, когда ты не мечтаешь стать сильнее всех и тебе довольно бутерброда с маслом. В весеннем лесу меня вновь, как в юности, настигало счастье. Подлинное счастье беспредметно. И беспричинно. Оно приходит всегда неожиданно и уходит, когда его встречают аплодисментами. Его просто выдувает пристальное внимание. И идти к нему напролом тоже бесполезно. Заглянув в душу и убедившись, что там чисто, счастье может погостить несколько минут, но зато аромат не выветрится и несколько дней спустя.

Весна в этом году была ранняя, снег сошел уже в начале марта, черемуха зацвела в апреле. Под окном моей комнату по утрам пели скворцы, в полях – жаворонки. В лесу целый оркестр зябликов, зеленушек, щеглов и прочих мелких птиц

ежедневно исполняли гимн Жизни; в канавах рано вылезла сквозь сухие листья сныть и крапива. Мы с Андреем на целый день уходили в лес, забирались в самые глухие уголки и говорили, говорили, говорили... Это были многочасовые исповеди и наивные уроки богословия одновременно.

Это была наша с ним Весна, хотя мы сразу это и не поняли.

Через полгода наступила осень, а за нею и зима. Легкость бытия ушла. В церковь мы заглядывали редко. Посты не соблюдали. О воцерковлении не могло идти и речи. Грешил я, как и прежде – много. Разница была в том, что раньше я грешил без покаяния и стыда, с нарастающим унынием и тревогой, а теперь я знал, что расплачиваюсь за грех и не роптал.

– Это, как с пьянством, – объяснял я язычнику-Китычу, – вечером тебе хорошо, а наутро – плохо: похмелье. Расплата то есть. Кто тебе виноват? Сам и виноват! Не хочешь страдать – не пей! А если пьешь – какого лешего плачешь? Терпи!

Китыч после стакана портвейна бывал благодушен.

– Оно конечно, – отвечал он, – только я утром терпеть долго не стану. Опохмелюсь и опять мне станет хорошо...

Ну что взять с язычника – эпикурейца?

Между тем перемены, как грозный вал, надвигались на всех.

Глава 48. Смута

Пропало курево. Говорят сейчас, что все это было устроено специально. Верю. Правнуки большевиков прекрасно знали, что Февральскую революцию спровоцировали беспорядки женщин, когда по чьему-то злому умыслу прекратились поставки хлеба в Петроград. Хлеба было вдоволь. Эшелоны с зерном были заперты на запасных путях.

Терпеливый советский народ, в отличие от женщин царского режима, только застонал.

Я сам уже бросил курить, но прекрасно помню, как ходил на свалку за улицей Народной, куда на грузовиках свозили огромные мешки с бракованным табаком. Табак был плохенький, вперемежку с пылью, но отец – страстный куряка – был и этим доволен. Теперь самокрутки вновь, как и после войны, стали не редкость.

Водка, вино, сахар были по талонам. Талоны на черном рынке бойко уходили за пару бутылок водки.

Народ ворчал, но терпел.

На улицах появились бочки из-под кваса, но с кислым сухим вином. Они сразу обросли очередями с банками и бидонами. Неравенство возникло сразу: одна очередь была для лохов, другая, короткая, для сильных и наглых. Сильные скоро сообразили, что можно делать деньги из своего привиле-

гированного положения и установили таксу для тех, кто не хотел долго томиться в очереди. Рупь сверху и заветная банка твоя! За день набегало до сотни. Продавец получал свою моржу и помалкивал. Недовольным в общей очереди затыкали рот – иногда кулаком, но чаще грозным матерным словом. Так на окраинах возникли многочисленные мелкотравчатые ОПГ. Каждая бочка находилась в окормлении местной мафии. Словцо это было популярным в народе после выхода на экраны итальянского сериала «Спрут». В мафию играли сначала «понарошку», но потом понравилось и стали играть всерьез. Вчерашние пацаны сделались «донами», которые появлялись время от времени у бочки и забирали выручку у своих бойцов. Буквально через месяц-другой вчерашние гопники, Мишки и Петьки, с которыми можно было запросто поделиться недокуренной папиросой, становились высокомерными и важными боссами, которые курили «Мальборо», носили черные кожаные куртки и никогда не отвечали на вопрос сразу, только через томительную паузу, да и то не всегда. Боссы были окружены прихлебателями, которые словно родились уже прихлебателями, и бойцами, которым с начальником было комфортнее жить, чем наособицу.

Когда дурная игра превратилась в нечто большее и серьезное? Да почти сразу. Бывшие одноклассники и товарищи по спорту словно ждали команды «старт». Рыхлая масса под воздействием невидимого магнита быстро выстраивалась в

четкие структуры. Процессы напоминали европейскую историю тысячелетней давности, только в режиме «ускоренного изображения»: прославленный на ринге или татами конунг собирал дружину и отправлялся грабить. Сначала своих. Потом соседей. Если удача сопутствовала ему, конунг становился графом или князем. А некоторые даже королями.

Я до сих пор покрываюсь мурашками, когда представляю себе, как советские мальчики в год-два превращались в отпетых бандитов. Мне случалось залезать в душу отморожков в минуту их просветления, но я не находил отгадки – как Петька сделался садистом, а Сашка безжалостным дельцом. Ведь вроде еще вчера пили с Петькой пиво на скамейке и потешались над дворовым котенком, который забавно играл с фантиком, а позавчера Петька сидел за школьной партой и делился конфетой с Вовкой Быстровым, и вот узнаю, что Петька натурально хотел выдавить глаз Вовке за то, что тот вовремя не расплатился с ним по долгу, и выдавил бы, если б его не оттащили испуганные дружки. Главное, что деньги этим Петькам были не столь уж и важны. И просаживали они их за одну ночь легко и с песнями. Могли и одарить какого-нибудь бедняка по-царски, могли и вновь раздеть его до трусов.

Какой темной ночью, в какой страшный час или даже минуту в мозгу Петьки нейроны соединяются в роковую конфигурацию и вот он уже готов убить человека? И сам становится уже как бы и не человеком, а хищником? Хотя внешне

остаётся прежним и даже иногда респектабельным и благообразным? Какая бацилла его укусила? Какое слово не было сказано вовремя и какое слово стало решающим в его падении в бездну?

У меня один ответ.

Зло реально. Как рыкающий лев, оно бродит среди нас и ищет слабых, которые мечтают стать сильными. Почему человек хочет стать сильным? Потому что потерял веру в всемогущего Бога. Как раненый медведь-шатун, бродит такой человек среди людей и рвет их зубами от боли и отчаянья. И нет ему утешения и прощения. И нет конца его мукам, пока не найдется охотник с ружьем, который прекратит его земной путь.

Глава 49. С чистого листа

Как мало знаем мы о своей судьбе! Помню, как году, кажется, в 1985-м мы гуляли с Андреем ранней весной по опушке моего леса и безрадостно говорили о судьбах своей Родины. Мысли были тяжелые. Я утешал друга, да и самого себя тем, что все непременно изменится, что невозможно жить в полной духовной темноте вечно, что рано или поздно падет проклятый «советик» и Солнце правды воссияет! Внезапно Андрей остановился и потряс руками:

– Матка Боска, да что мне с того, что будут перемены? Через двести лет? Через пятьсот?!

– Раньше! Раньше!

– Да мы сдохнем гораздо раньше! Мы то все это не увидим! Понимаешь? Мы будем до могилы смотреть в эти рыла, слушать этот бред! Что, не так?

«Не так!» – вопило все мое существо, но крыть было нечем. Андре был прав. «Советик», (так мы называли социализм) как огромная куча навоза лежал поперек исторических путей человечества, медленно истекая зловонной жижей. Запасов говна по нашим приблизительным прикидкам хватало еще на несколько столетий. Было отчего прийти в отчаянье.

– Писать, писать, писать! – как одержимый бормотал я.

Черный ворон в свинцовом небе накручивал круги и утробно хрюкал, сообщая картине должный трагический пафос.

– За что? – спрашивал Андрей меня, а может быть Бога. – За что что нам такое? Абсолютная бессмысленность. Абсолютная! Не могу больше!

И все-таки Андре ошибался. Терпеть оставалось не пятьсот лет. А всего лишь пять.

В 90-м году советская власть почувствовала, что уже не может держать вожжи ослабевшей рукой: конь помчался галопом черт знает куда. Лозунги кончились. Требовалось все больше вина, чтоб загасить недовольство. Бочки с вином были только прелюдией. Так сказать, рюмочной перед пиром Валтасара. Началась Великая Алкогольная революция. Реванш за бесцельно прожитые годы. В страну из стран полнощных хлынул спирт «Рояль». Одна бутылка «рояля» выбивала на сутки из строя несколько человек. Бутылок было много. Стоили они дешево. Безумие нарастало. Если у кого-то сохранилась вера в порядочность зачинщиков «перестройки», вспомните эту беспощадную войну на уничтожение. Этот подлинный геноцид. Потери исчисляются миллионами.

Человек, не верь на слово власти! Особенно крикливой, хвастливой, много обещающей!

Народная в некоторые дни напоминала покинутое солдатами поле боя: безжизненные тела валялись где попало, а тя-

жело раненые мычали и стонали на скамейках и под кустами. Жены и матери, во все времена грудью встречавшие зеленого змия и хранившие на Руси семейный очаг, понуро скитались посреди пепелищ. Женщинам вообще досталось... Больше всех падший мир невзлюбил чистых. Их презирали. Их высмеивали и травили, чтоб не жгли совесть. Добропорядочные мамы спрятались в своих норках. Проститутки гордо вышли на улицы в коротких юбчонках. Хабалки заполнили экраны телевизоров. Бесстыдство вновь стало знаменем прогресса.

Над страной, которая еще недавно вела за собой пол мира в светлое будущее под лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!», теперь висел огромный девиз: «После нас хоть потоп!»

«Рояль» был популярен среди пролетариев. Для тех, кто хотел уйти из реальности красиво, был припасен итальянский ликер «Амаретто» польского разлива и заветное пиво в заморских железных банках. Чтоб подсластить горечь, добавили сладостей. И стар и млад зачавкали «Сникерсами» и «Марсами». Сбылись мечты: совсем как у них!

Ценности перемешались так быстро, что обыватель не успевал найти пример для подражания. То ли в менты пойти, то ли в бандиты податься. То ли бизнесменом стать, то ли фермером. Интеллигенты страдали больше всех. Вчерашние признанные поэты вмиг стали неудачниками и пьяницами.

Мой друг Сергей вспоминал: «Самое ужасное зрелище

той проклятой поры, которое я до сих пор вспоминаю с содроганием, – пьяненький поэт Горбовский пытается развлечь за столом двух бугаев в красных клубных пиджаках, которые по старой памяти решили усладить старика бесплатной выпивкой и едой в приличном ресторане и в приличном обществе, куда затесался и я. Бугаи когда то, в «той жизни», почитывали поэзию, почитали знаменитого Горбовского, и вдруг, вознесшись на Олимп успеха, внезапно увидели, кто чего стоит в мире в истинном масштабе, и теперь наслаждались своим триумфом, своей подлинной крутизной и натурально сочувствовали дряхлому поэту, который всю жизнь, оказывается, занимался ерундой, а осознал это слишком поздно. Старик прекрасно понимал свою жалкую роль, но ничего поделать с собой не мог – пил много, ел жадно, хихикал; иногда, правда, уходил в мрачную задумчивость... Несколько раз он порывался прочесть новенькие стихи, но его мягко осаживали, похлопывая по плечу, давали понять, что время стихов кончилось – и слава Богу! «Кушай, батя, за все заплачено!» Горбовский не возражал, пунцовел, разводил руками: мол, и сам понимает, что глупости это все, так, по старой памяти хотел развлечь народ... Я смотрел на все это, помню, жадно, хотел понять, что происходит с нами, как теперь жить, во что верить, на что молиться. Не хотел, не мог верить, что пришло время бугаев, казалось, что сейчас Горбовский встанет, опрокинув стол, и крикнет страшным голосом: «Молчать, ублюдки! Встать! Сейчас поэт стихи чи-

тать будет!»

В конце ужина, насытившись стейками из мраморной говядины, испанским вином и хвастовством, бугаи демонстративно, чтоб видно было всем, засунули в нагрудный карман пьяненького хихикающего поэта три стодолларовых купюры – огромные деньги по тем временам! – и мягко подтолкнули его в спину вон от стола. Вечер продолжался, но без поэта было как-то легче и веселее».

...Писатели-прозаики сникли, хотя чувствовали себя бодрее, чем поэты. С неуверенным оптимизмом заговорили о некоей литературоцентричности России, что напрасно уповают некоторые на продажное кино и телевидение, что скоро спадет все непотребное, как грязная пена, и читатель вернется в библиотеки к любимым книгам. Я и сам верил в это. Невозможно было не верить. Ведь собственными же глазами видел, как читают на эскалаторах книги и молодые, и пожилые, и женщины и мужчины. Как можно прожить без книг?!

Знаменитые актеры прятались от публики, чтоб не шокировать верных почитателей своей нищетой. Помню рассказ Славика про встречу за богатым столом знаменитых актеров БДТ с Горбачевым и бизнесом в начале 90-х, которую Славик и организовал. Великие актеры, еще недавно внушавшие благоговейный восторг у своих почитателей, торопливо поглощали деликатесы, французский коньяк, заискивающе смотрели в рот довольным нуворишам, подхихикивали их плоским шуткам, талантливо (артисты ведь!) подыгрывали

их гротескному самомнению, и все потому, что надеялись на щедрое финансирование!

Вообще, в эти годы, было ощущение, без которого просто невозможно было выжить, что все это временно, что восстанут некие силы из гущи народной и, как это всегда бывало в истории, спасут Россию от чумы. Ведь так жить было невыносимо.

Мы вновь пили вместе с Китаем. Теперь было как бы можно. Теперь глупо было морализировать, что пьянство – это плохо, что это добровольное сумасшествие, вред здоровью и прочая мура. Все можно! И нужно!

Из тех времен мне особенно запомнился смех. У нас на Народной все смеялись, особенно после стакана разбавленного «рояля». Это был истерический бесконечный однотонный смех с остановившимися выпученными глазами и красными лицами. Ничего смешного не было. Веселья не было. Был этот жуткий однообразный смех, в котором чувствовался ужас бездарно прожитой жизни и неотвратимо надвигающегося конца. В безумии находили утешение. Всеобщая разруха обещала всеобщее равенство. Тотальная мерзость давала надежду на отпущение грехов.

Объявив капитализм, власть, по сути, объявила согражданам, что ответственности за судьбы слабых больше не несет. Каждый за себя. Все как хотели горячие головы. Для тех, кто не понял – шоковая терапия!

К этому времени «мафии» уже выросли из детских шта-

нишек, а умные головы во власти знали, как разбогатеть на «старых дрожжах» почившей советской экономики. Они нашли друг друга по запаху крупных денег и яростно совокупились. Средний когда-то класс тоже уразумел, что на сентиментальные переживания времени не осталось и надо приспособливаться. Вчерашние физики-ядерщики неплохо орудовали лопатой, генетики наспех осваивали мастерство клиринга, из инженеров получались неплохие грузчики. Хуже всего пришлось пролетариату, за счастье которого 70 лет боролась советская власть. Киты, Пеки, Пашки, Петрухи вдруг обнаружили, что до них никому нет дела. Еще недавно их опекала милиция, еще недавно на профсоюзных и комсомольских собраниях их песочили и учили уму-разуму седые мужики и пожилые мамочки из месткома, взывая к совести и уговаривая взяться за ум (об этом так весело было рассказывать потом в кругу хохочущих друзей), еще недавно они грозились начальству, что найдут себе другую работу, если их не оставят в покое... Оставили, наконец. Точнее сказали в лоб: «Идите в жопу! И делайте, что хотите!» Оказалось, что делать-то толком они ничего и не умели. И меньше всего они умели просто работать. Несколько лет они мечтали, как славно заживут без оков государства, хвастались у пивных ларьков, как разбогатеют «в один удар», провернув «дельце», и вот государство устранилось со вздохом облегчения. А сироты остались. Глупые и растерянные. Некоторые еще хорохорились, некоторые раскисли сразу. Все, что они умели

– продавать нажитое отцами. Сначала это были телевизоры, мебель, холодильники. Потом – квартиры. Шансов выжить в джунглях у них не было никаких. Они были обречены.

Начался мор, какого не было с последней страшной войны. За пять-семь лет середины 90-х на моей улице умерли или погибли почти все мои приятели, знакомые и друзья. Уходили молодые здоровые мужчины в 30-35 лет. Если нечто подобное происходило и в других местах (а почему нет?) то страна потеряла несколько миллионов не старых мужиков за пять лет.

Глядя теперь на постаревшее лицо Чубайса, который хвастался, что не любит Достоевского, пытаюсь понять, ведал ли он, что творит и если ведал, то какие оправдания себе находил? Как засыпал Гайдар, о чем думал, натягивая одеяло к подбородку и глядя в потолок своей спальни? «Я сделал это! Я! Я! Извини, дед, ты был не прав!» Чем отличается бесчеловечность строителей «нового мира», которые сгоняли в колхозы несчастных крестьян, от бесчеловечности реставраторов «старого мира», которые эти колхозы распускали спустя шестьдесят лет? Недаром их скрепляет кровное идеологическое родство. Это только кажется, что внуки восстали на дедов: коммунисты стали антикоммунистами. На самом деле и те и другие восстали против Бога. И тех и других категорически не устраивает сам человек и окружающий его мир. В нем слишком много сложного, тонкого и лишнего. В этом мире плачут, глядя на закат, и страдают, глядя на несчастно-

го калеку, ненавидят за обман и любят до полного самоотречения, молятся и проклинаяют. К чему это? Подсчитав норму калорий на день, можно обеспечить гомо сапиенсу безбедное существование и без Достоевского.

«Они» знают, как лучше. Горы трупов их не смущают. Потому что цели и смыслы их титанических усилий лежат вне человека. Они умеют строить египетские пирамиды, но никогда не смогут внятно объяснить, зачем это нужно Человеку. Нужно Хозяину, который незримо стоит за спиной. Они всегда спешат. Надо успеть. Что-то обжигает им пятки, что-то дышит им в затылок. Хозяин недоволен. Хозяин накажет. Быстрее! Еще быстрее! Их лица похожи на лица игроков в рулетку – тот же азарт, та же отстраненность от подлинного реального мира. Одно желание, одна страсть: выиграть фишки! Зачем? Нет ответа. Но когда фишек много – какой восторг, какое упоение! «Ты выиграл!» – доносится голос Хозяина сквозь аплодисменты и завистливые вздохи толпы. Но не с Небес, а откуда-то снизу.

Рухнул Союз. Впрочем, я соврал: постараюсь обойтись без штампов. Союз не рухнул. Скорее он протух и мягко развалился без грохота и пыли. Мир был изумлен. Красный дракон лежал поперек евразийского материка, обессилено раскинув крылья, и лишь слегка дергал хвостом, когда его осторожно и с опаской пихали в голову палками ротозеи.

«Сдох или не сдох? Рефлексы? – гадал мир. – Можно погладить? А что он любит?»

«Сдох! – успокоил пьяный Ельцин, забравшись на трибуну Конгресса США. – Похороним, не беспокойтесь, смердеть не будет».

«Ни фига! – ответил народ, сбросив шкуру дракона и неумело перекрестившись. – Живы! Только отощали маленько».

Я так долго изливал горечь и осуждал тяжкие те времена, чтоб никто не обвинил меня в благодушии или черствости.

Перестройка и в самом деле принесла много бед большинству населения страны, но я, честно признаться, принадлежу к меньшинству. Да! Да! Лично я получил после Революции все то, чего хотел, о чем мечтал в самые тягостные черные минуты застоя. И при этом никого не убивал, не грабил и не предавал. И даже умудрился прожить самые опасные годы среди порядочных людей. Как это могло быть?

В конце 90-го года Славик пригласил меня в газету «Аничков Мост». От того, что рассказал друг, у меня сперло дыхание. Газета была независимой! Ну, то есть был наверху какой-то там Совет каких-то народных депутатов, который становился вроде как учредителем, но – никаких райкомов, обкомов и прочих карательно-нежелательных органов. Газета общественно-политическая, демократическая, с чистой биографией и незапятнанной репутацией. В это невозможно было поверить, но я уверовал сразу и бесповоротно. Со складом было покончено. Я последний раз накормил Жульку, собрал свой нехитрый скарб и, окрыленный надеждами,

выпорхнул за заводские ворота. В новую жизнь!

За два года затворничества во мне накопилось столько энергии и энтузиазма, что разве что только искры не сыпались из ноздрей. Я жаждал подвигов и славы! За демократию я готов был лезть на баррикады!

Забегая вперед, скажу: мне довелось быть главным редактором четырех известных петербургских газет: «Комсомольской правды в Петербурге», «Петербург-Экспресс», «Вечернего Петербурга», «Невского времени» (про мелкие проекты пока умолчу), но ни в одну из них я даже наполовину не вложил так, как в свою первую любовь – «Аничков Мост».

Татарникова Вера, главный редактор, собрала разношерстную банду. Мы были похожи на наемников, которых набрали наскоро по объявлению, особо не придираясь к таким мелочам, как здоровье, возраст и даже квалификация. Главное – огонь в глазах и ненависть к режиму. Депутаты выделили нам шикарное помещение на Невском проспекте по соседству с известной газетой «Час Пик». Это уже укрепляло наш статус.

На старте нас было пятеро журналистов, не считая редактора и технарей. Все вылезли из многотиражек, где накопили революционное вольнодумство и серьезные амбиции. Все жаждали реванша за бесцельно прожитые годы и сатисфакции за перенесенные оскорбления от власти и более успешных коллег.

Я стал – благодарю тебя, Боже! – криминальным журна-

листом.

Газета, как я уже упоминал, заявляла себя демократической. Я вырос в убеждении, что все демократы свято верят в слова Вальтера: «Я не согласен с вами, но готов отдать жизнь за то, что бы вы имели право высказать свои мысли». За точность не ручаюсь, но смысл понятен. Сколько раз цитировали эти слова в 80-е годы все кому не лень! Теперь выясняется, что Вольтер вроде бы даже их и не говорил. Возможно, вовремя понял, что ничего кроме смеха они не вызовут у честного человека. Во всяком случае, в России 90-х эта фраза звучала бы иначе. Вот так примерно: «Я не согласен с вами, и проломлю вам голову поленом, если вы не перестанете кричать свой вонючий бред». Одним словом: «Всем молчать, сейчас Чапай говорить будет!» До конца я так и не понял, почему люди, выросшие в тоталитарном концлагере, с таким воодушевлением готовы были построить новый концлагерь, напичканный их собственными идеями. Ведь они только кажутся свежими на первый взгляд, но протухают очень быстро и вызывают рвоту, если их кушать каждый день.

Либеральнейший «Аничков Мост» не был исключением. Мы исповедовали единственно правильные идеи. Другие были преступны, их исповедовали красно-коричневые недобитки или глупцы. Беда была еще в том, что и собственные «правильные» мысли мы доносили до читателей неумело, полагая, что революционное вдохновение заменит профессионализм. Все ошибки, которые можно было совершить,

мы добросовестно совершили.

Начнем с того, что наша «районка» центральной темой первого номера выбрала Литву. Аншлаг на первой полосе кричал: «Литва, мы с тобой!» Это когда омовцы штурмовали телебашню в Вильнюсе. Передовицу с рыдающим пафосом писала сама главный редактор. Смысл – руки прочь от братьев-литовцев! Вся интеллигенция тогда очень любила прибалтов. Верили почему-то, что если любить сильно, то и прибалты, разнюнившись, полюбят их. И тогда наступит долгожданная Европа. Парламент, кофе глясе, нудистские пляжи, а с рынка обыватель несет под мышкой не Го голя, а копию «Квадрата» Малевича.

Газета вышла заявленным тиражом в 30 тысяч экземпляров. Из них продано было к исходу недели 200 экземпляров. Если учесть, что первый номер нового издания покупают чаще всего из любопытства, солидарность с Литвой продемонстрировали единицы. Вообще я заметил, что наш бедный измученный народ всегда был гораздо умнее и дальновиднее журналистов, особенно первой демократической волны. Каким-то верным чутьем люди понимали, что обниматься с прибалтами еще, ох, как рано, что у них свои шкурные интересы и до нас им нет никакого дела. Стыдно лезть с распростертыми объятиями к соседу, который захлопнул перед вашим носом дверь, бормоча ругательства. Стыдно каяться за то, чего не совершал, да еще от имени тех, кто с этим категорически не согласен. Но, как говаривал в свое время Че

стертон про одного джентльмена: «Как всякий либерал, он был несколько глуповат».

В глупом положении оказалась газета. Мы сочиняли ее по старым лекалам, полагая, что если заменить один идеологический маразм другим, «прогрессивным», то потребительская стоимость издания возрастет до небес. Роль райкома прекрасно исполнял некий невидимый, но столь же беспощадный орган контроля, который, как и положено, находился где-то наверху, гораздо выше Совета депутатов, и даже выше ленинградского обкома. Этот орган транслировал Татарниковой четкие установки и она их беспрекословно исполняла...

В этой атмосфере я чувствовал себя сносно в своем криминальном закутке. На долгие месяцы я сделался скитальцем по тюрьмам, изоляторам, колониям, судам, прокуратуре, отделениям милиции и кабинетам Литейного, 4, где находился тогда ГУВД Леноблгориполкома. Этот темный мир, словно тень сопровождающий мир светлый во все времена, сразу увлек меня. Здесь все было всерьез. Seriously грешили, серьезно наказывали. За «базар» тут принято было отвечать, а по долгам платить. Коварство в этом мире ценилось дороже ума, а беспощадность дороже доблести. Тут происходили трагедии, которые поразили бы воображение самого Шекспира. Тут жили чудовища, которые вылезали из самого ада. Тут делали свою работу герои, с которыми я запросто пил водку.

Этот мир был чужд политическим веяньям. Он был закрыт, и горе было праздному обывателю, если он отваживался спуститься в его катакомбы без надежной охраны.

Тут я и нашел свое журналистское местечко на долгие годы под крышей управления, а потом отдела, а потом и опять управления (время перемен!) уголовного розыска города Ленинграда, а потом Петербурга.

Писать о преступниках легче, чем о хороших людях. В преступнике все резко, все нарисовано жирными мазками. Поступки его незаурядны, мораль требует срочного опровержения. Преступник всегда бросает всем нам вызов. Он мобилизует наш инстинкт самосохранения, заставляет сплотиться даже равнодушных. Там, где политический обозреватель ломает себе голову, как пройти между очередной Сциллой и Харибдой совести и кривды, криминальный журналист рубит с плеча и отверзает свой пламенный гнев без страха и сомнений.

Преступник – это итог невидимого греха, его живое воплощение. Он сделал то, о чем другой только мечтает. Или опасается и трусит. Это зло, которое получило статус наказуемого и подсудного. Можно выносить приговор. Можно хорошенько поразмышлять и поморализаторствовать. Мораль читать я умел. Сказалась старая советская привычка заканчивать материал незыблемым выводом: «Ведь в этом и заключается наша правда!»

Я, как истинный сын улицы Народной, полюбил крими-

нальную журналистику и остался ей благодарен по сей день за то, что она избавила меня от необходимости постоянно врать за пустяшные гонорары, когда сей мир посетили дни роковые.

Глава 49. Бедный патриотизм

Отрезвление пришло, когда мы разгрузили грузовик с первым тиражом в пункте приема макулатуры. Взамен каждый получил талон на книжку Дюма.

С каждой пачки, перепоясанной крест на крест веревкой, надрывался заголовок: «Литва, мы с тобой!» «С тобой, с тобой! – ожесточенно думал я, забрасывая в окошко очередную порцию ненужной бумаги. – Только вряд ли ты этому рада».

Второй номер запомнился тем, что в нем обнаружилась страшная ошибка. Перевертали букву в фамилии какого-то политического деятеля, и опять на первой полосе. Вера была в истерике. Родилась дикая идея – замазать вручную букву фломастерами. Привезли в редакцию на третий этаж тираж. Приступили. Получалось по пять тысяч газет на рыло. Через час стало понятно, что затея убийственная. Татарников обессилено отложила фломастер.

– Черт с ним. Скажем, что опечатка. Не виноваты. Но скандал будет жуткий.

Скандала не получилось. То ли потому, что газету по-прежнему никто не покупал, то ли потому, что ей никто не придавал значение. Деятель, правда, прочитал о себе нужную статейку и остался доволен.

Третий номер еженедельника решили, скрепя сердце, продвигать рыночными способами. Аншлаг взяли из моей статьи о «Крестах». Я посетил эту знаменитую тюрьму и написал материал сразу на разворот на одном дыхании. Заведение было страшным. В камерах, рассчитанных на четверых, сидели по двенадцать и больше человек. Спали в очередь, на полу, где придется. Духота сводила с ума. Сидельцы поговаривали о бунте. Начальник тюрьмы Степан Демчук, мужик со стальными нервами, сам был на грани бунта.

– Так нельзя! Нечеловеческие условия, нечеловеческие!

Тогда я глубоко осознал мысль, которую хотел довести до читателей: если в жизни случится соблазн нарушить закон с минимальным риском очутиться в этом славном заведении – к черту соблазн! К черту миллионы, если на другой чаше весов хотя бы один месяц этого ада! Свобода – это самое дешевое, самое доступное и самое драгоценное благо в жизни каждого человека!

Сходить в лес, выспаться в собственной кровати, полюбоваться закатом из окна – когда захочешь! – этот дар мы не замечаем, как и крепкое здоровье, пока не потеряем. Я видел глаза несчастных, для которых наш визит в камеру был сродни явлению инопланетян. Мы были посланниками рая! Того самого, шум которого доносился из окна. Того самого, где одинокий рыбак забрасывал удочку в Неву, чтобы поймать обыкновенного окуня. Того самого, где мужик задумчиво решал идти ли ему пешком через мост или все-таки

сесть на трамвай.

Возможно, впервые я писал для газеты с настоящим вдохновением! По тому самому зову сердца, о котором так часто слышал.

Статья прозвучала. Правда, больше среди коллег. Ее перепечатали в дайджесте. В «Крестах» я был одним из первых посетителей среди журналистов.

Для меня было очевидно, что читатель только тогда купит газету, когда увидит в ней то, что тревожит или радует его сердце. Татарникова была уверена, что газета должна воспитывать и направлять. Она никак не могла усвоить, что направлять некого, аудитория пуста.

Иногда мне хотелось делать газету одному. Мы по три часа ночью по телефону обсуждали со Славиком, как взломать и завоевать газетный рынок, а наутро на летучке я с отчаяньем слушал, как в номер напихивали, словно в дражный рюкзак, всякий унылый бред про Советы «рачьих и собачьих» депутатов, про открытие выставки трижды гениального, а потому и неизвестного художника где-нибудь в Дряннинском тупичке, про поощрение интеллектуального прогресса в деревнях средней полосы. Ни звука про пустые полки магазинов, ни слова про нарастающее отчаянье русской глубинки...

Все, как один, вышли из ленинской «Искры», хотя и тянулись к воображаемой лондонской «Таймс». Меня спасали два года ссылки на складе в должности сторожа. Там окреп-

ла моя душа, там я избавился от налипших клише и въедливых идеологических страхов. Я тоже хотел поучать, но мой взгляд на журналистику был приправлен здоровым обывательски практицизмом: хотите успеха? Развлеките!

Развлеките?! Само это слово вызывало у нашего матерого либерала Вити Малкова не меньше негодования и ужаса, чем в свое время у секретаря парткома товарища Дубова. Развлекать – это низко! Журналист – это миссионер, наставляющий стадо тупоголовых в истине. Истину Малковы знали всегда, несмотря на то, что она менялась за последние годы диаметрально противоположным образом.

Когда Витя или молоденькая Вика, или Вера Татарникова говорили о буржуазной демократии, в их глазах плясал все тот же огонь, который спалил уже однажды страну дотла. Мне кажется, что людям подобного толка нужен именно пожар. Само по себе благополучие рождает в них протест. Демократия, которая дарует свободу мысли, им не нужна. Ведь мысли неизбежно становятся неправильными, если за ними не следить. Нужна крепость, которую надо одолеть. Нужна победа в сражении с инакомыслием, которое и является главным врагом либерала.

Нутром я чувствовал эту опасность, но до конца понять ее не мог. Слишком сильна была еще нелюбовь к советскому тоталитаризму, слишком трудно было поверить, что на смену ему в мир приходит новый тоталитаризм, возвращенный либеральной сектой – постмодернизм. Как и в социалистиче-

ском концлагере, в либеральном больше всего изнасиловано понятие свобода. При социализме замудоханная свобода всегда тащила на себе прилагательное – «истинная», «подлинная», «советская», «ленинская» и прочее. Либеральная свобода любит слово «подлинная». Свобода «по-ленински» была похожа на Статую Свободы в Нью-Йорке: такая же бетонная и бесчувственная, но грозная и пафосная. Либеральная Свобода похожа больше на Астарту, вмазавшую себе дозу и задравшую подол, из-под которого почему-то выглядывают мужские половые органы.

Вторым понятием, которое подверглось коллективному изнасилованию в извращенной форме, был патриотизм. Откуда у либералов было так столько страхов и ненависти к патриотизму, до сих пор понять не могу. Разумеется и к этому слову прилепились прилагательные-репейники. Например – квасной. Досталось бедным березкам. Почему-то именно эта порода деревьев вызывала стойкую неприязнь. «Страдания по родным березкам» приравнивались к идеологической диверсии. Любить «березки» мог только ретроград и враг свободы. Типичная картинка в сатирическом журнале начала 90-х: под пальмами, в шезлонге, с бокалами коктейлей, сидят два отвратительных толстяка, явно из советской номенклатуры в недавнем прошлом, и один говорит другому «скупаю, мол, по родным березкам». Сам я очень люблю березки за их неповторимую красоту и дивный аромат, и очень страдал, когда слышал, как какой-нибудь очередной «про-

грессист» язвительно шипел: «Ага, слышали: родина, березки, печки и навоз». Это он про то, что в родном краю больше ничего путного нет, а про «макдональдсы» и «сникерсы» в деревнях понятия не имеют.

Откуда-то вылезло новое словцо: «красно-коричневый». То есть помесь коммуниста и фашиста. Лично я такую породу не встречал, да и мне трудно представить себе, как Ленин обнимается с Гитлером. Что может их объединить? Разве что любовь к Дарвину? Тем не менее «красно-коричневые» расплодились на страницах газет, как тараканы. Самые ушлые борцы с инакомыслием нашли и выдернули фразу из английских источников: «Патриотизм – это последнее прибежище негодяев». Несмотря на вопиющую глупость и безнравственность, изречение получило широкую известность. Логично было предположить, что мысль в первоисточнике имела продолжение, например: «...А предательство – это последнее прибежище праведника». Или что-то в этом роде. Оказалось в дальнейшем, что английский автор вообще-то хотел сказать, что любой негодяй может искупить свою вину, верой и правдой послужив Отечеству.

Сентиментальная песенка «Как упоительны в России вечера» вмиг стала популярной в народе, но у «передовиков прогресса» вызвала неподдельное негодование: как можно – это же пошлость! Как могут быть упоительны в России вечера, если вокруг пыль, да комары, да мухи?! «Балы, красавицы, да хруст французской булки...» – вы о чем?! Не бы-

ло такого! Был стон народный, забыли? «Эй, ухнем! Еще разик, еще раз!». Забыли, сиволапые, про «немытую Россию»?! Про Салтычиху забыли? Про шпицрутены Николая Палкина?» – «Да мы понарошку, мы понимаем, что пошлость, захотелось вдруг поностальгировать, погрустить», – оправдывались русопятые. Те, которые уже мысленно были в европах, не унимались: какая низость воспевать все эти истлевшие дворянские прелести, мусолить фальшивые грезы, когда демократия в опасности и великодержавный шовинизм вновь поднимает голову! Какое безвкусие с привкусом квасного патриотизма! Фу!

Надрывались поборники чистого искусства в обличении пошлости с каким-то остервенением, словно злополучная «французская булка» колом встала в их жопах. И это при том, что вся страна вставала и ложилась, под нетленное «Ксюша, Ксюша – юбочка из плюша!», из каждого утюга хриплые глотки звали братву не убивать друг друга по пустякам, а похотливая девица радостно сообщала, что ей стукнуло 18 и теперь ее можно целовать везде.

Фильму «Сибирский цирюльник» досталось за то, что в нем курсанты военного училища царской России свободно говорили по-английски. Ха-ха-ха! Не было такого! Вранье!!! Они и по-русски то говорили с ошибками. И царь в фильме получился какой-то пряничный, «ненастоящий»! Михалков-подлец сыграл красавца, который любит Родину и своих солдат. Настоящий, разумеется, только тем и занимался,

что пьянствовал, развратничал и душил честную свободную мысль. Невыносимо «сусальная» Россия с ее бодрящим морозом, церковными перезвонами, горячими калачами, водкой, кулачными боями, черной и красной икрой и осетриной первой свежести была невыносима для тех правдолюбцев, которые еще вчера с умилением смотрели по телевизору на сочиненную сказочниками викторианскую Англию и таяли от умиления от благородных манер английских дворецких. Насквозь придуманная Голливудом Америка никого не раздражала, а «неумытая» Россия раздражала даже тем, что захотела помыться.

Зачем?? Зачем?! Зачем было отравлять души миллионов этим циничным враньем? До сих пор ищу ответ на этот вопрос. Какую отраду находили эти люди, плюя на могилы своих предков? Какую награду ждали они? И от кого?! И кем себя чувствовали?

Кем чувствовал себя молоденький лейтенант милиции, который на моих глазах встал на колени на грязный асфальт и вытер рукавом своего мундира ботинок у американского полицейского (члена делегации американских копов из Лос-Анджелеса), которому случайно наступил на ногу. Сцену наблюдал очумевший полковник из Куйбышевского РОВД и другие официальные лица. Сам американский сержант покраснел и не знал, что сказать, а лейтенант – худенький мальчик в форме не по размеру – встал, отряхнул колени и удовлетворенно произнес.

– Ну, вот и порядок!

1992 год. Разгар перестройки. Я свидетель.

Господа либералы, вы этого хотели, когда набрасывались на каждого, кто слишком высоко поднимал голову? «Стоп! Так нельзя! Это чванство! Это великодержавный шовинизм! Это фашизм!» И «фашист» Вася с медалью «За взятие Берлина», утверждавший, что негоже русским обезьянничать и преклоняться перед западной культурой, стыдливо сдувался. Кто-то протестовал, кто-то ругался, но исключительно в тесном загончике, куда спихнули всех особо «гордых» непримиримые борцы с фашизмом. Униженную большевиками страну добивали прямые наследники большевизма.

Назвать их предателями – язык не поворачивается. Скорее это были законченные, абсолютные, искренние, настоящие Дураки! Дураки гоголевского масштаба, щедринского замеса! Крепкие дураки, стойкие, 70-летней выдержки! Они всплыли на короткое время, но навоняли, как в деревенском нужнике. В награду получили обессиленную разложившуюся страну. И народ, который почти исчерпал свои силы: разувверившийся, циничный, закипающий от злости.

Слава Богу, остались березки! Они все так же поили страждущих своим соком в апреле, шелестели молодой листвой в мае, наполняя сердца каждого, кто понимал их язык, надеждой. Остались церкви, робко собирающие под свои своды оставшихся в живых. Осталась великая литература и музыка, простые, честные люди...

Кто-то верно заметил, что любить человечество легче, чем одного, конкретного человека. Любить человечество – это как любить океан. Ты его любишь, а он в благодарность катит свои могучие волны к горизонту. Остыла любовь – все равно катит. Ты бесишься, а он все катит и катит. Другое дело человек. Он требует внимания, часто – заботы. Иногда, если он заболел, за ним нужно ухаживать. Ухаживать нужно за своим щенком, который в любой момент может напрудить на полу. Ухаживать нужно и за своим домом, своим садом, своей страной, наконец. Ответственность перед своей семьей дорого стоит. Только из этого семечка может зародиться ответственность и за человечество. Можно спасти ребенка. Человечество спасают болтуны, жулики и политики.

Глава 50. Учимся

Однако мы зрели. Каждая машина, разгруженная собственными руками в утиль, приравнивалась к году обучения на факультете журналистики. Заголовки на первой полосе, наконец, стали вызывать к простому человеческому любопытству. Как и положено, газета разделилась на две части: в первой мы убеждали депутатов Куйбышевского райсовета, а также их покровителей, что едим свой хлеб не зря, а во второй старались убедить читателя, что он потратил свои последние копейки не даром.

Развлекали, как могли. Я – пугал. В уголовном розыске, где я прописался, хранилось много ужасных историй, которые я и рассказывал обывателю, да так, чтоб пробирало до костей. Истории были действительно чудовищны. Скоро я почувствовал, что нашел золотую жилу. Сам по себе получался сборник рассказов о самых крупных злодеяниях Ленинграда-Петербурга за последние четверть века (он и вышел вскоре тиражом 10 тысяч экземпляров). Как модно стало говорить: «Упыри и вурдалаки нервно курят в углу». Мои реальные монстры были страшнее. Человек падший обнаружил такие запредельно-жестокие способности, что реальность зла стала для меня очевидной. Зло было размешано в мире, как черная материя. Свет был отделен от тьмы неви-

димой границей. Каждый человек переступает эту границу постоянно, но некоторые так и не находят дорогу назад.

Самые «безобидные» преступления совершались ради денег, самые жестокие ради похоти. Не случайно Отцы Церкви так непримиримы к блуду. В похоти рождаются самые извращенные страсти. Их власть над человеком таинственна. Поэтому любимые персонажи Голливуда – сексуальные маньяки. Наверное, можно предположить, что в обладании маньяком своей жертвой есть что-то общее с желанием прародителя зла обладать человечеством.

Нужно ли знать человеку все это о себе самом? Думаю, все-таки нужно. Иначе представление о человеческой природе быстро скатывается к горьковскому пафосному благодушию: «Человек – это звучит гордо!» Напоминаю, что сказано это было на заре XX века, когда в Европе народилось слишком много гордых людей, готовых резать друг другу глотки.

И все-таки через год тема стала томить меня. К этому времени продажи выросли и приблизился к отметке 20 тысяч экземпляров из тридцати. Развлекали мы теперь читателя не только криминальными историями. Хорошо шли истории о самых разрушительных землетрясениях в истории человечества, о самых высоких волнах цунами, о самых сильных ветрах и торнадо.

Однако самая захватывающая история случилась в августе 1991 года – да, да, тот самый злополучный, дурацкий путч.

С самого начала мне он показался опереточным. Со всех сторон пугали, но было не страшно. И не потому, что я был смельчаком, просто повода пугаться не было.

Очень хорошо помню взволнованные серьезные лица взрослых людей, которые «творили историю». Некоторые искренно, другие напоказ. В самый разгар путча Вера Татарникова усадила меня за телефон в Куйбышевском райкоме партии и сказала, чтоб я отвечал на звонки. Несколько раз действительно позвонили из обкома. Спросили кто я.

– Миша Иванов, – отвечал я бодро.

– А где... Иван Николаевич? (не помню, кого спрашивали)

– Я за него. Что вам нужно?

Короткие гудки. И опять звонок.

– Николай?

– Нет. Михаил.

– Вы слышали, что к Ленинграду двигаются части военного округа?

– Правда? Танки? Так и передам Николай Ивановичу. А нам-то что делать?

– Не знаю...

Вечером сменили. Ночью вместе со Славкой я бегал по Невскому. Бегали еще какие-то возбужденные личности. Вместе мы искали, не нужно ли чего Революции.

Лично я не сомневался ни на минуту, что у ГКЧП ничего не выйдет. Коммунисты осточертели к этому времени на-

столько, что защищать их мог только идиот. Один жалкий вид заговорщиков внушал отвращение. Их робкая просьба вернуться в советские казармы вызывала у народа гнев и презрение.

Но тем не менее на Сенатской площади, стояли люди, готовые грудью встретить танки (главное, чтобы танки вовремя остановились). Как всегда, много было зевак, которым любая заваруха была, «как мать родна», потому что спасала от скуки, придавала некий возвышенный смысл убогому существованию и уравнивала успешных и безуспешных. По моим наблюдениям (поверхностным, разумеется), больше всего в толпе было представителей славного племени ИТР среднего возраста и мужского пола. Да, да, те самые бородатые барды у костров, которые не хотели «пропадать поодиночке», оракулы коммунальных кухонь, диссиденты дешевых пивных, аналитики институтских курилок, любители Окуджавы и Высоцкого, братьев Стругацких и Евтушенко. Те самые инженеры, которые в литературе и искусстве находили больше вдохновения, чем в скучной инженерной работе, а в политике понимали больше, чем Громько. Часто умные, образованные, энергичные, но бестолковые мечтатели. Как всегда, гвардию этих возбужденных масс составляли неистовые и прирожденные революционеры еврейской национальности. Они всегда спешили. Им всегда претила русская неторопливость, излишнее благодушие, а то и лень в решении неотложных вопросов.

– Я под гусеницы лягу! – кричала мне в лицо подруга по Бехтеревке Лариса Беркович, как будто я был полковником танковой дивизии.

– Не надо под гусеницы, – умиротворял я, но Лару было не остановить.

– Вы нас не остановите! Сатрапы!

– Лара, это же я, Миша, ты чего?!

– Ничего, это я так... – сдувалась моя подруга, с которой мы еще недавно говорили о любви, – это я не про тебя, извини...

Господи, избавь нас от этой неистовой стихии, когда в бессмысленный русский бунт дьявол плескает еврейского мессианства.

Возможно, я сгущаю краски и в толпе немало было и благородных, мужественных сердец – всегда неприметных в любом революционном движении на фоне жуликов и краснобаев. Мой будущий тесть во всяком случае принадлежал к числу искренних и бескорыстных (поэтому ему вдвойне безрадостно было наблюдать, что из всего этого вышло).

В любом случае танки не прошли. Грудью никому не пришлось ложиться под гусеницы. Просто пришла команда из Москвы, и они остановились.

Да! Чуть не забыл! Мы со Славкой бегали ночью по Невскому проспекту и расклеивали листовки с призывом встать грудью (опять эта героическая грудь!) на защиту демократии. Кто сочинял эти листовки – не знаю. Вообще, в сопро-

тивлении чувствовалась невидимая и умелая дирижерская рука. Я по чьему-то приказу сидел, как дурак, у телефона в Куйбышевском райкоме, по чьему-то приказу расклеивал листовки, кто-то эти листовки сочинял, кто-то печатал. Вера шагу не могла ступить, не согласовав этот шаг с теми, кого я в глаза не видел. Игра шла крупная.

Путч провалился. Кучка заговорщиков была столь жалка и беспомощна, что будь я режиссером всей этой истории, лучших актеров было бы не найти. Они были раздавлены и что-то блеяли, что «хотели как лучше». Горбачев с измученным от постоянного вранья лицом обещал все «наладить».

Народ злорадствовал. Царь, похоже, был не настоящим! Настоящий нарождался, как и положено, тайно, в гуще народной – ездил в трамвае, ходил с авоськой в магазин, пострадал от бояр, бился за правду, пил водку стаканами, матерился – ну свой, одним словом, мужик! Правда, нес по пьяни иногда околесицу, но это от усталости. Шутка ли сказать – бросил вызов московским воротилам!

«А если и правда дурак?» – осторожно сомневались самые трезвые. «Да и хрен с ним, – отвечало хмельное и легкомысленное русское сердце. – Хуже не будет. Главное, чтоб коммунаки поерзали голой жопой на раскаленной сковородке».

Так, мне кажется, отвечал народ в 17-м году, когда свой робкий голос подавали трезвые и разумные зануды, так, наверное, отвечал и в начале XVII века, накануне Смуты: «Хуже не будет!»

Будет, друзья, еще как будет! А что делать? Дураков надо учить.

Глава 51. Победа

Победа!

По этому случаю газета «Час Пик», с которой мы делили дом на Невском проспекте, устроила торжественный ужин в ресторане. Мне и коллегам вручили грамоты «борцов» за демократию. Пили шампанское, кричали: «Ура!» и пели: «Хотим перемен!» У многих в глазах стояли слезы. Завтрашние хозяева газет обнимались с теми, кто будет вскоре рабски исполнять их волю за скромное вознаграждение.

Что еще помню? На несколько дней в народе исчезли смешки. Всегда ненавидел этот смех – покорный, дряблый, бессмысленный. Люди последнее время смеялись над собой и над соседом, над страной, над жизнью вообще, не придавая ей никакого смысла. И вдруг смех исчез. В лицах простых людей появилась значительность и даже суровая важность. Массовка поняла, что пришел их черед выйти на сцену и сыграть решающую роль. Власть, наконец-то вышла к народу. Объявились новые Минины и Пожарские, открывались новые волшебные горизонты, без которых быстро сохнет русский человек: отныне будет, как у «них»! «У них» – это «мерседесы», жвачка, джинсы, порнография, мафия, чинзано, Мальборо, Канары и проститутки. У интеллигенции приоритеты были немножко другие, но столь же нелепые: пар-

ламент, кьянти, президент, Бродский, Нуриев, «Греческая смоковница» и натуральный бразильский кофе. Все это вместе обозвали словом «свобода»!

Вспоминать это все мне почему-то стыдно. Еще неприятнее признаваться в том, что я и сам был тогда типичным западником, то есть верил в то, что Запад есть мерило истины, светоч разума и культуры. В те дни я написал статьи, за которые сам себе сейчас набил бы морду.

Русский народ уверовал, что Запад возлюбит Россию братской любовью, накормит, оденет и научит Правде. Откуда эта наивная надежда? Может быть, из советского прошлого, когда мы помогали всем нищим и обездоленным, страдающим от ига колониализма? Может быть, мы были просто глупы, как и всякий влюбленный? А в Запад мы были влюблены по-женски. «Без ума», как говорят в таких случаях. Теперь, много лет спустя, я меньше всего склонен обвинять Европу в скупости и эгоизме. Она оставалась ровно такой, какой и была тысячу лет. Это наши проблемы, что мы придумали себе какую-то другую, бескорыстную, благородную, чистую, сострадательную Европу, а потом выдвинули ей претензии. Европа вовсе не хотела нам зла. Она, как обычно, хотела себе блага. Вот и все. В торговле действует вечный принцип взаимной выгоды: ты – мне, я – тебе. Мы им отдали свои восторги и любовь, они нам своих советников, которые вычистили наши карманы дочиста.

Наш вопль: «А вы полюбите нас черненькими, беленькими-то и всякий полюбит!» – остался без внимания. Наш упрек: «Мы сами сдались, а вы нас обдираете!» – вызвал в лучшем случае удивление, а то и насмешку. Медведь обиделся. Медведь хочет меду, а на дерево лезть не хочет!

К сожалению, настоящие недруги оказались по эту сторону границы. Помню, как на следующий день после провала путча, на первом канале увидел седую старуху с искаженным от ненависти лицом. Это была Елена Боннэр, о которой я уже много слышал. Меня поразило, что в столь славный день победы она не радуется, а продолжает злиться. Включив звук погромче, я услышал: «Россия – эта вонючая тюрьма народов...» Я заочно уважал Боннэр, как и всех борцов с тоталитарным режимом, и готов был услышать, что угодно, только не это. Злоба ее была абсолютно искренна и сразу понятно стало, что ненавидит она именно страну, а не советский строй и всю его неправду. Позже я прочитал у Зиновьева: «Метили в коммунизм, а попали в Россию». Пожалуй, философ имел в виду себя. Многие метили именно в Россию.

Россия очень удобна для критики. Бестолкова, наивна, безалаберна, пьяна, щедра до глупости, беззаботна, бесхитростна, не мстительна. Обличения и хулу принимает беззлобно, часто со смехом. Человек с твердым характером возмущается, что в России ему не на что опереться: все мягко, все неопределенно. Все расплзается. Деловой человек страдает от постоянных обманов, безалаберности и лени. Анек-

дот в тему.

В назначенный день хозяин ждет строителей его дома. Не дождавшись, звонит бригадиру.

– Вася, почему не приехали?

– Хозяин, цемент не подвезли. Ждем.

– А чего не позвонили?

– Так ведь все равно цемент не привезли!

Русский человек, в отличие от европейца, твердо знает, что рано или поздно он умрет, а в могилу с собой добро не заберешь. Часто русский богатеет исключительно ради куража, бахвальства – мол, гляньте, на какой машине Ванька катается, в каких ресторанах кушает. А в сердце у Ваньки – тоска. Ну, машина, ну ресторан... дальше-то что?? «Предположим, — рассуждает Ваня в минуту просветления, – миллиардер сидит за семью запорами во дворце в окружении охраны, а деревенский пастух сидит на берегу реки с удочкой в руках, один пьет от тоски «Дон Периньон», а другой самогон. А веселее-то будет пастуху, пожалуй. И тому и другому Господь отмерил лет 70 с гаком... Кому больше повезло? Кто умнее?»

Европеец со смертью играет в прятки. Или убегает в бешеную деятельность или придумывает Прогресс, который утешает его душу и который неведомым образом приведет его к пьедесталу Истины в будущем. Он принимает правила игры, которые заключаются в том, что неведомой эволюцией ему отмерено 70-80 лет жизни и нужно прожить их не только со

вкусом, но и соблюдая правила приличия. Поэтому его раздражает русский, который вечно задает вопросы «а зачем?» и не верит в порядок.

И в то же время все чувствуют в русском человеке силу. Он вдруг сделает такое, что все ахнут. Опять же, на кураже. Он словно посмеивается над собой, над своей силой, которую не знает куда применить. Не понимают его соседи, не понимает он себя сам. Русского человека невольно хочется согнуть, но как только ослабевает хватка, он распрямляется и вдруг становится тверже железа и упрямее осла. Русского человека легко обмануть, но отомстит он не обманом, а кулаком и всегда с избытком. Нигде так вольно не дышится, как в России, где закон и справедливость всегда шагают параллельно, а суровые приказы и постановления тонут в мутной воде пофигизма. Нигде не цветут так буйно сорняки свободы, потому что анархия – суть природы русского характера и взнуздать его невозможно.

Человек, рожденный в России, но чуждый этой природе или не способный постичь ее – страдает. И мстит. Честные правдолюбцы, уверовавшие в Закон и Порядок, страдают больше всех, потому что, сокрушая один бастион разгильдяйства за другим, они оказываются не на холме с чудным Градом, а в трясине и до их криков никому нет дела. Честные мечтатели, уверовавшие в очередное идеальное общество, мстят «биомассе», которая никак не хочет складываться в нужный узор и все время расплывается в кляксу. Отку-

да у них эта уверенность, что они знают «нужный узор» не берусь судить, но глядя на Валерию Новодворскую невольно сочувствую ей и невольно вспоминаю нашу «психогруппу» в Бехтеревке, где психоаналитик Александр Моисеевич вправлял нам мозги.

Умный и циничный человек, напротив, скоро понимает выгоды своего положения в этой удивительной стране. Да – безалаберность. Но зато можно опаздывать на работу каждый день на полтора часа, отделяясь безобидными: «В последний раз!» Да – лень. Но приходит день, когда и самому хочется плюнуть на все и завалиться в постель в сапогах. Или уйти в запой, сидеть на кухне в обнимку со школьным другом и, хлюпая носами, вспоминать свою первую любовь до утра. А потом выложить начальнику липовую справку на предмет внезапного приступа подагры. Да, безответственность. Еще Довлатов писал, что если в Нью-Йорке пятеро наших соотечественников договорятся о встрече в четверг в пять вечера, то в назначенный день не придет ни один. И никто не возмутится, что интересно, и не обидится. Ну, не пришли, ну и что? Значит не хотели! Да – беззаконие. Замучаешься пыль глотать в судебных кабинетах в поисках правды. Но зато можно гонять на своем мустанге под 200 километров в час, каждый раз отделяясь от гаишника красненькой, а то и просто удачной шуткой. Мой друг Китыч, например, умудрился пять лет не платить за квартиру ни копейки, потому что перестал работать за десять лет до пенсии,

и что же? Ну, отключили его от электричества года через два. Так он нашел какие-то нужные проводки на лестничной площадке и вновь подключился, пока соседи не взбунтовались. При этом все эти годы он умудрялся пить, курить и есть. Разве не чудо?

А главное, дельный и цельный человек, трудяга и честолюбец, всегда имеет огромные преимущества в этой стране перед теми, кто не рвет сухожилий, кто прекрасно понимает, что и богача, и бедняка ждет один конец и он не за горами.

Разумея все это, наверное, и появляется на свет «патриот разумный». Тот, что не станет пачкать себя дерьмом, потому что часто выезжает за границу. Возможно, из него в дальнейшем вырастит настоящий патриот, который знает толк в березках, в западных технологиях и хороших винах.

Жалею, что евреям не хватило терпения, выдержки и мудрости понять в 90-е годы, что они могли бы стать наследниками честных немцев, которые благотворно потрудились на благо России в XVIII и XIX веках и были самыми верными патриотами своей страны. Именно евреи вместе с Жириновским должны были стать решающей силой против продажного ельцинского режима. Именно евреи с их трезвой практичностью должны были понять и объяснить другим, что огромная и богатая страна, сбросившая с плеч коммунистического вампира, может обеспечить безбедное существование всем своим подданным, вне зависимости обрезаны они или верят в Искупителя Христа, если вовремя осадить зарвавшихся и

полоумных нуворишей, заложить фундамент правового общества, и, главное, не унижать национальное достоинство населения грубой ложью и отвратительным чванством. Если не навязывать людям способ существования, который у большинства вызывает рвоту, на том единственном основании, что «там так принято»

Я вспомнил про евреев, потому что они умеют как никто другой окапываться и обустроиваться в неожиданных обстоятельствах непреодолимой силы. Научились за 2000 лет. Умеют терпеливо вгрызаться в почву, по кирпичику отстраивая свое благополучие. Я никогда не верил, что из России можно сделать добропорядочную Швейцарию, но нам, в России, вообще до зарезу нужны люди, способные с утра до вечера, из года в год, из поколения в поколения печь обыкновенные вкусные пирожки с капустой и гордиться своим ремеслом не меньше, чем передовики-стахановцы гордились рекордной выработкой угля или первой очередью Днепрогэса. Нужны больше, чем герои. Потому что жизнь состоит не из непрерывных подвигов, а из монотонного, вовсе не геройского труда. Нужны бережливые и терпеливые. Занудные и педантичные. Выносливые и упрямые. Умелые. Рачительные. С обостренным чувством профессиональной чести. Достоинно несущие бремя богатства. С верой в то, что Бог благоденствует труженикам и осуждает бездельников.

Такие вот русские пуритане. Не хватает своих? Лично я не против, чтоб распахнулись границы и, замученные толе-

рантностью, политкорректностью, трансгендерами и открытым сатанизмом, новые европейские пуритане переселились на наши просторы. На границах будут стоять плакаты: «Придите к нам все обремененные содомскими грехами, и мы утешим вас!» Русский мир примет европейских узников совести с открытым сердцем.

Россия все еще спит, чтобы проснуться в главную минуту истории, когда все усилия человечества по разумному обустройству мира будут исчерпаны, когда умники выговорятся до конца, когда плуты устанут врать и признаются, что жизнь ужасна и бессмысленна, когда порок станет рутиной, а жестокость нормой. Проснется, чтобы спасти остаток уцелевших перед тем, как опустится занавес, и пьеса закончится. Так думаю я.

Слабость европейцев в их привычке к порядку. Новый бог европейца – неумолимое общественное мнение, которое стало прочнее цемента с появлением социальных сетей и других методов оболванивания добропорядочного обывателя. Европейец по-своему честен; его ахиллесова пята – вера в то, что дважды два будет четыре, а четыре плюс два – шесть. «Не обязательно! – возражает русский. – Если дать по харе, то может получится и шестьЮ и восемь, а если выпить стакан водки, то и вовсе ничего не получится». «Так нельзя!» – кипит европейец. – Нелогично!» «Зато дешево и практично!» – отвечает русский.

Ужас-ужас? Да как сказать.

Общественное мнение шаг за шагом вот уже на протяжении нескольких десятилетий выдавливает из европейца самоуважение, заполняя пустоту комплексами неполноценности, в результате чего на свет Божий появилось безвольное, сладострастное, пугливое и слабое существо, готовое исполнять любой приказ невидимого владыки. «На колени!» – велит владыка. И респектабельный белый господин падает на колени перед чернокожим, чтобы вытереть ему ботинки рукавом пиджака. «На митинг!» И толпа под руководством малолетней идиотки послушно поет псалмы в защиту белых медведей Арктики или заморских свинок, страдающих в тесных застенках зоопарков. «На гей-парад!» – приказывает хозяин. И в колонны несчастных педерастов вливаются толпы нормальных мужчин и женщин, чтоб продемонстрировать свою лояльность прогрессу.

«Мало! Мало!» – корчится хозяин. И тогда испуганный человек берет в руки нож и пытается вырезать из мальчика девочку, а из девочки мальчика. Бракованные изделия называют разными мудреными словами и пускают в свет пугать здравомыслящих представителей человеческого рода.

И все логично, дважды два – четыре.

Вы против??? Да вы... да вы... просто мракобес!!!

«Не-е-ет!» – визжит от страха толерантно-политкорректный европеец.

«Да! – рывкает русский. – Мракобес! И что?! А если будешь приставать, то получишь в нос!»

Хорошо помню эти кадры. Площадь в Москве. Лет десять назад. Митинг отечественных грешников в защиту греха. Какой-то английский педераст гордо вышагивает впереди толпы. Внезапно к нему подбегает казак (блин, опять эти казаки!) и в телеке отчетливо слышится, как с хрустом ломается нос англичанина. «Хелп!» – кричит бедолага. Его окружают соратники...

И что? Да ничего! Митинг закончился. Тоже самое случилось в Грузии. Нормальные отметили ненормальных, чтоб не высывались. Любишь чесать яйца, а потом нюхать свои пальцы? Нюхай! Никто тебе не запрещает. Только не за столом в приличной компании.

Испив кубок большевистского блудодеяния до кровавой отрыжки, Россия приобрела ценный иммунитет. Как та глупая крестьянка, которую солдаты заманили в кусты. В следующий раз она показала им кукиш: «Ишь чего захотели охальники! Знаю ваши грибы-ягоды! Ищите других дур!»

Теперь в дурах ходит Европа. Не думаю, что европейцы начнут скоро остервенело взрывать свои храмы и сжигать иконы – все-таки культурные люди. Не думаю, что станут расстреливать людей или сгонять их в лагеря за то, что они много зарабатывали и сладко жили, не задумываясь о пагубных, классовых последствиях... Их путь в бездну будет мягким, но неумолимым; их отречение от Христа совершится почти бессознательно, без комиссаров с маузерами, в некоей наркотической забывчивости, но под пристальным оглядом

князя мира сего. Последствия будут столь же чудовищны, просыпание медленным. И первое, что увидит, вернувшись из героинового транса больной – участливое лицо Ивана.

– Живой, братишка?

– Воды! Ради Бога – воды! – пробормочет Европа запекшимися губами.

Глава 51. Мысли

Страна, которая мучилась в агонии несколько лет, развалилась. Грандиозный Проект закончился. Защищать его не взялся никто. Нынче стало модно ностальгически вздыхать об «утерянном рае», о том, что можно было иначе.

Нельзя! Брешут, сукины дети!

Коммунизм хорош на бумаге. Когда-то умные бородатые люди научно (вот ведь какая штука – научно!) доказали, что этот строй – самый лучший на свете. И всего-то оставалось сбросить с плеч трудового народа кучку проклятых эксплуататоров и отменить частную собственность. Ну, чем плохо, когда все равны и берут из «общака» ровно столько, сколько нужно нормальному человеку? Но тут-то и возникает фатальная проблема. Человек. Не вписывается, гад, ни в какие рамки. Абсолютно свободен. Ему, сволочуге, куска хлеба довольно, чтоб набить живот, а он тащит с общего стола полпуда. «Куда, дурень?» – «А вдруг пригодиться!» Ему одной дюжины рубашек довольно на год, а он хочет в гардероб запихнуть целый галантерейный магазин. Ему государство – отдельную квартиру с горячей водой и совмещенным санузлом, а он, подлец, норовит за городом построить целую избу со всеми удобствами. Понимаю честного коммуниста, который с ума сходил от этого нелепого непотребства: «Куда

тебе столько, сволочь?! Или забыл про лагеря, где из тебя выкуют человека?» Ковали. К несчастью, после лагерей век человека был недолог и, как правило, он не давал потомства. Оставалось уповать на эволюцию. На смену поколений. Метод селекции. От осинки не родятся апельсинки, справедливо указывает поговорка. Ждали, что от коммуниста родятся коммунисты. Коммунисты и правда стали рождать коммунистов, но коммунизм не наступал. Напротив, стал вроде бы даже отдаляться. Новые коммунисты оказались хуже старых.

Человек продолжал удивлять.

Оказалось, что человеку вообще не хочется жить, когда порядка становится слишком много. Когда точно знаешь, что будет завтра и послезавтра. Когда нельзя ненавидеть. Когда нельзя ошибаться. Когда запрещается грешить. Когда получен, наконец, окончательный ответ на извечный вопрос: «В чем смысл жизни?»

Бог так устроил человека, чтоб он видел радугу, но не Царствие Небесное, которое приходится завоевывать усилием. Бесполезно с этим спорить и возмущаться. Бесполезно требовать от Создателя, чтоб он открыл окошко где-нибудь на центральной площади Нью-Йорка и каждый желающий мог заглянуть в ад, где мучаются грешники, и в рай, где добродетельные граждане вкушают райских прелестей. Потому что тогда кончится Божий проект «Человек» и в мир народится столь любимый фантастами киборг без стыда и совести, но только со страхом в усохшей душе. Умрет искусство,

умрет литература, умрет сама добродетель. Достоинство человека исчезнет за ненужностью. Коммунизм и есть мир, где человеку запрещено быть человеком. Этот мир должен быть заселен существами безгрешными, иначе он развалится. Как сделать из человека существо безгрешное? Способ только один – загнать его в концлагерь, где за нравственностью будут следить бездушные истуканы, а над ними будет восседать мрачный Царь.

Будь прокляты непрошенные благодетели человечества, чьи руки в крови, а сердца в злобе! Будь неладны умники, сочиняющие новые рецепты, как обустроить мир ценой свободы.

...На этот раз попытка сорвалась. Враг рода человеческого выбрал не ту страну. Не понял, что в российской распутице завязнет любая «аглицкая» телега. Великая утопия, в которую вложили столько сил служители красного культа, рухнула, не устояв в жидкой среде. Русский ум, который обзывали все кому не лень и ленивым, и лукавым, не соблазнился. Не вышло! Опять же, не хватило привычки к порядку. Остыл энтузиазм, когда народ понял, что мечта о рае сугубо земная, а небесная утеряна. Не получилось и с земным изобилием. Как в насмешку, выбрав живот, как главный орган человеческого тела, большевики не сумели накормить его, а по соседству капиталисты жировали и посмеивались.

Впервые в истории абсолютная власть, перепробовав все способы «загнать человечество железной рукой в счастье», с

облегчением и добровольно скинула с себя непосильное бремя и сказала измученному народу: «Проект закончен, всем спасибо». Ответ прозвучал на нецензурном языке.

В 92-м году отпустили цены и началась шоковая терапия. Трудно сказать, в чем заключалась терапия, но шок был реальным. Перемерли миллионы людей. Умирали не от голода. От пьянства и отчаянья. Рухнувшее государство погребло население горой неразрешимых проблем. Никто не умел быть свободным, как та львица из популярного в 70-е годы американского фильма «Рожденная свободной», которую выпустили из клетки в саванну. Никто не умел взять ответственность за себя. Ждали, когда у Ельцина проснется совесть. Ждали, когда Гайдара сожжет молния с небес. Ждали, когда американцы накормят бесплатным кормом. Ждали, потому что не могли поверить, что старая жизнь закончилась, коммунистическая партия в очередной и последний раз обманула, помощи ждать неоткуда и надо начинать жизнь заново. Легко сказать заново, когда тебе 20 лет, а если за шестьдесят? На этот вопрос родился революционный ответ: «Это ваши проблемы!» Звучал он все чаще: и на работе, и в политических спорах, и в кругу друзей, и у пивных ларьков, которые доживали последние годы. Многим и в голову при этом не приходило, что большая часть этих проблем лежала на совести правительства. Это им следовало ежедневно напоминать, что развал страны – это их проблемы.

Но, что поделаешь – каждый решал свои проблемы как

умел. Мы с отцом, например, в 92-м сгоряча и со страху насадили в деревне 15 соток картошки. Осенью собрали не меньше трех тонн. Смогли увезти в город три мешка. Остальное отдали родне. Вообще, всерьез обсуждали в семье переезд в деревню. Возможно, на несколько лет. Благо домик от деда в наследство остался. А что? Грибы, ягоды, рыбалка. У двоюродного брата ружьишко: лося подстрелить можно.

Главное впечатление той поры – брошенная на произвол судьбы страна. Одинаково ненужная как врагу внешнему, так и своей власти. Враги одного только боялись: чтоб атомная бомба у этих русских не упала с телеги во время учений. Власть втихомолку решала в кабинетах и ресторанах свои шкурные дела, время от времени объявляя себя народу, чтоб сказать: «Демократия на верном пути. Свободы все больше, а остальное дадут американцы».

Народная улица уверенно спивалась. Квартиры пьяниц стояли пустые. Продано было все до последнего гвоздя. Каждый раз, встречаясь со знакомыми во дворе, слышал о новых потерях: умер Петька, умер Витька, умер Славка... Петька Епифановский, когда-то сильный красивый мужик, почерневший от регулярного употребления стеклоочистителя, умер в лесу под елью, обняв ее напоследок рукой. Он любил природу и, как волк, почуяв приближающийся конец, ушел умирать в чащу. Нашел его Витька, собутыльник и школьный друг. Он же тащил его до дороги. Мы вместе справляли панихиду на лавочке во дворе. Слов было мало. Все больше:

«Да... Ну и ну... Во как...» А и в самом деле – что тут скажешь? Еще вчера сидели за одной партой, играли в индейцев, и на те... Нет Петьки. И никогда не будет. Вскоре ушел и сам Витька. В неизвестном направлении. То есть пропал в прямом смысле. Обыскали все подвалы, укромные закоулки – так и не нашли. Славку нашли в квартире – на полу. Вокруг лежали фантики от конфет и флаконы из-под стеклоочистителя. Царствие Небесное ребятам! Шансов выжить у них не было.

Дарвинисты говорили: «И черт с ними! Шлак, мусор! Зачем нужны?» Конечно, если встать на точку зрения обезьяны, то жалеть нечего и некого. Одним миллионом обезьян меньше, одним больше – какая разница? Материя народит новых обезьян и они побегут, задрав красные задницы, по пути прогресса. Куда? В могилу, разумеется. Зачем? Так ведь материя! Чего спрашивать? Беги и все тут. Если станет совсем не вмоготу – почитай Маркса, может проблюешься.

Вообще-то, я заметил, дарвинисты приумолкают, когда наступает полная жопа. Страх очищает. Пыжиться, изображая из себя бесстрашных циников, уже некогда – черный зев совсем рядом, тут не до бравады. Лишь самые упорные и отпетые уходят в могилу с бесовской ухмылкой и реющим флагом «Череп и кости», остальные скукоживаются и тайком просят у Бога прощения. Так, на всякий случай. А вдруг простит, если Он есть? «Житие мое, Господи! Смилуйся! Я больше так не буду!». В 92-м вспомнили про Церковь. Власть

искала союзника против озверевшего народа, народ – защитника от власти. Немногим она распахнула в том время двери. Остальные ввалились грязной толпой. «Ну? – выдохнули пьяные глотки – Чаво у вас тут? Где Бог? Давай его сюда! У меня вопросы!» Испуганные попы отвечали, как умели, (а умели и знали тогда немногие): «Окститесь, ребята! Бог в душе! Молитесь! Кайтесь! Перестаньте губить друг друга!»

Первыми беззастенчиво и гордо надели на себя кресты бандиты. И не простые кресты, а золотые. И по рангу: большие у больших злодеев, а маленькие у начинающих. Теперь уже трудно разобраться, как вошла эта мода в криминальный мир. Говорят, что все началось с фильма «Крестный отец», который пользовался у главарей братвы большим успехом. Вполне допускаю, что причина была иной. Слишком близко от смерти ходили душегубцы. Боялись. Надо было соломки подстелить на всякий случай, все как-то полегче убивать и грабить. Как бы то ни было – золотой крест стал символом успеха и богатства. А вслед за этим и серебряный сгодился. Ну, а бедняки и верующие обходились латунными.

Была ли вера бандитская насквозь притворной? Не думаю. Не притворялся даже Березовский Боря, когда крестился в православие. Притворяется, скорее, чиновник, осеняющий деревянной рукой оловянное сердце перед телекамерами; притворяется популярная певичка, украсившая свою голую грудь бриллиантовым крестом, притворяется модный писатель, сделавший после мучительных усилий публично

признание, что так и быть, допускает – может быть Он и есть, но только если Он не разочарует писателя в дальнейшем. Разбойнику не до кривляний. Судьба разбойника запечатлена в Евангелии. Надо только выбрать, по какую сторону Креста придется рано или поздно висеть: по правую или по левую.

В прошлом разбойники в России часто становились героями. Народ наделял их благородными чертами не случайно. Потому что они не были накопителями, не были скопидомами, не были торгашами по духу. Европейский разбойник мечтал на старости лет открыть лавочку, обрести дворянство или стать членом городского совета; мечтал обратиться в добропорядочного гражданина, жениться и вечерами попивать пиво с бургерами в уютной таверне. Джон Сильвер благоразумно складывал награбленное в разные банки под присмотром жены и готовился стать джентльменом. Русский разбойник «гулял». Да так, что «чертям было тошно». Русский разбойник искал правду и справедливость, становился в народной молве защитником бедных и угнетенных, превращался в Степана Разина или Емельяна Пугачева, в Котовского или, на худой конец, в Мишку Япончика.

Постсоветский разбойник измельчал духовно, но некоторые черты от своих предков – показное мотовство и безрассудную лихость – унаследовал. Унаследовал от далеких предков и примитивную религиозность, помноженную на голливудскую моду. Сохранился даже некий нравственный

кодекс, карикатурно отраженный в понятиях. Ведь в основе понятий лежит принцип справедливости!

Так же, как русскому революционеру (недалеко ушедшему от разбойника) тесно в парадигме классовой борьбы, но непременно нужно штурмовать Небо, а затем сделать всех счастливыми, русскому разбойнику нужно доказать окружающим, что убивал он не зря, а во имя высокой цели. Не верите? Тогда посмотрите на церковь, которая была воздвигнута на его деньги. Или спросите деятелей культуры, которые кормились за его счет. А еще лучше – дайте ему власть. Например, выберите в парламент, и он отмолит свой грех верным служением государству и народу.

Пожалуй, в Петербурге личностью подобного масштаба стал только Кумарин, о котором слагали легенды верные скальды. Хороший русский ответ «американской мечте» – приехал из тамбовской деревни, всех победил и стал мультимиллионером. Правда, ненадолго, но это уже совсем другая история.

Повторяю, ни над кем не смеюсь и фигу в кармане не держу. Как говаривала моя тетка: «Живем не как хотим, а как можем». А можем в последнее время все как-то через задницу.

Разбойники в 90-е годы, как и проститутки, стали самыми популярными персонажами. И, конечно, не кинематограф или газеты стали этому виной. Причина глубже. Разбойник трогает самые потаенные струны русского сердца, которому

любо жить на воле. Любо жить по своей прихоти. Любо выскочить за флажки, слыша «изумленные крики людей». Любо перейти на красный свет улицу просто потому, что это запрещено. Добровольно жить по закону, по установленному порядку – это, увы, не про нас. Потому и крепчала от века в век деспотия центральной власти, потому и бежали на окраины непокорные люди, потому и освоила, и заселила Россия целый континент от Балтики до Тихого океана.

Миф о врожденной покорности русских – самый бездарный и глупый. Русский терпит власть, потому что инстинктивно боится скатиться в анархию, которая обещает настоящие беды. Самоорганизоваться на основе правил, которые соблюдаются всеми не за страх и даже не за совесть, а потому что выгодно, он не умеет и не хочет. Знаменитая поговорка: «Закон, что дышло, куда воткнул туда и вышло», – родилась в результате общественного консенсуса, а не по прихоти господствующего класса. Не менее знаменитый лозунг: «Анархия – мать порядка», – собрал под свои знамена сотни тысяч приверженцев.

Излечимо ли это? Безусловно. Лекарство? Частная собственность. Священная и неприкосновенная. Только она способна обеспечить человеку свободу. Только она рождает уважение к закону и порядку. Только она гарантирует права личности. Только в ней можно найти убежище, когда становится невыносимо жить под тяжким бременем государства.

Именно поэтому коммунисты ненавидели частную соб-

ственность и боролись с ней непримиримо. Именно поэтому коммунисты так пламенно любили пролетариат, которому якобы нечего было терять, кроме своих цепей. Именно поэтому сейчас новые коммунисты – глобалисты, получив в руки страшное оружие электронного контроля, стремятся изничтожить средний класс, отобрать собственность у населения – чтобы человеку некуда было скрыться!

Однако я отвлекся. Вернемся к вечным вопросам.

Вера спасает.

Сто раз слышал вопрос: «А почему тогда грешники не становятся святыми, или хотя бы хорошими людьми? Почему вера, если она искренняя и горячая, не преобразует человека, не изгоняет из него грех?» Встречный вопрос материалистам: «А почему диабетик продолжать жрать сладкое и жирное, если знает, что может умереть? Почему, заработав цирроз печени, человек продолжает пить спиртное? Почему врач, посвятивший себя лечению легких, курит? Почему, зная, что утренняя зарядка полезна для организма, человек до полудня нежится в постели?» Потому что ворота в здоровье – узкие, и само доброе здоровье достигается усилием. Иногда, когда здоровье под угрозой, усилие требуется воистину титаническое: строгая диета, специальные упражнения, четкий распорядок дня...

Легко сразу поднять себе настроение, выпив стакан водки. Трудно сохранить его на следующий день. Водка понадобится опять и опять, пока черный мрак депрессии не пленит

душу. Благодать, напротив, приходит после долгих духовных усилий. Как награда. Трудно каждый раз заставить себя пробежаться по парку рано утром и умеренно есть полезную пищу. Зато через год постоянных тренировок тело возликует и возблагодарит. Трудно соблюдать посты, ходить на утренние службы в церковь, бороться с назойливыми и привычными грехами, зато рано или поздно в душу приходит исцеляющая радость и покой.

«Почему, – вопрошал еще апостол Павел, – плохое, злое делаем, а полезное, доброе не делаем?» Потому что доброе требует усилий. Часто более серьезных, чем усилия тела. Потому что человек обретает подлинное достоинство только тогда, когда преодолевает свою слабость.

Кто любит изнеженных и слабых? Трусливых и злых? Почему мы уважаем сильных и смелых?

Ответ простой – потому что так хочет Бог.

Глава 52. Здравствуй, капитализм!

В редакции наступило уныние. Коммунизм пал, но счастье не наступило. Не наступило даже простое благополучие. Зарплата, которая еще вчера внушала самоуважение, теперь вызывала стыд. Цены в магазинах вызывали истерический смех. Вообще, реальность казалась абсурдом. Мозг не поспевал за событиями, которые то стремительно бежали, то нагромождались и с грохотом падали на головы. По телеку мелькали все новые и новые лица. Они обещали, ругались, грозились, а страна отвечала протяжным стоном.

Здравствуй капитализм!

В 92-м я впервые увидел оборванца, который ковырялся в помойке в поисках еды и одежды – немыслимое зрелище, которое я раньше много раз видел только в репортажах Валентина Зорина из Америки. Как грибы после дождя, расплодились попрошайки. Улицы украсились убогими ларьками, из которых выглядывали смуглые лица.

Говорят, что зато была свобода, что правительству Ельцина многое можно простить за это.

Ерунда! Свобода действительно была, но не благодаря заступничеству Ельцина или Гайдара. Собственно, это и не свобода была, а, скорее, столь любезная нам анархия. У правительства были задачи куда более серьезные, чем благо-

получие населения или развитие экономики. Им было не до нас. Нужно было раздербанить страну, пока она не очухалась, урвать кусок пожирнее и послаще. Делать это куда сподручнее в хаосе и смуте, чем в пресловутом правовом государстве или в автократии. Гуляй народ! Мели Емеля – твоя неделя! Плохо тебе, дружище? – Возмущайся! Обидно? – Обличай! Топай ножками от негодования! Можешь даже угрожать и грязно ругаться! Свобода! Демократия! Ура, граждане!

И возмущались! В том числе и мы, в «Аничковом Мосте». Прибалтика к этому времени уже отсоединилась и лозунг «Литва, мы с тобой!» стал неактуален, потому что Литва готова была стать другом хоть черту, лишь бы не России. Русские в Прибалтике были едва ли не больше счастливы, чем сами аборигены, «скинувшие оковы». Это было горше всего. Предательство было всеобщим, как и в 17-м году, и совершалось прежде всего в сердцах. Опять наплевали на могилы предков, опять уверовали в химеры, опять за побрякушки готовы были продать самое святое – свое достоинство. И русские, больно об этом говорить, вновь отличились самым худым образом. Никто не поносил свое, родное так безжалостно, глупо, несправедливо, как мы. Никто так не изгалялся над своей историей, которой еще недавно гордились. Что находили в этом подлом самоотречении? Возможно оно было у многих искренним. Надеялись и верили, что разумные народы простят нас, как нашкодивших дошколят, и возьмут-

ся перевоспитывать с нежностью и любовью? Искали купель, в которой можно было очиститься от засохшей грязи и войти в будущее обновленными? Пытались сжечь ненавистную карму, которая жгла совесть и самолюбие?

Вспоминаю встречу с одной латвийской активисткой уже в 1994 году, когда перешел работать в «Комсомольскую правду». Нервная худая женщина с бегающими глазами по имени Фатима ерзала передо мной на стуле.

– Это невыносимо! Нас унижают, нас презирают, выгоняют с работы. За что?! Ведь мы стояли с ними, взявшись за руки, во время протестов. Помните лозунги? «Мы едины! Свобода! Руки прочь!» Через всю Прибалтику протянулась наша шеренга! А теперь, выходит, мы не нужны?

– Что вы от нас хотите?

– Помогите!

– В чем? Как?

– Объясните, что мы хотим того же, что и они, что мы с ними, что мы не хотим вернуться в Россию...

Кажется, она и сама поняла, что городит дичь, покраснела, потупилась. Наступила пауза. Наконец она поднялась.

– Ладно. Я поняла. От вас помощи не дождешься.

Честно? Хотелось плюнуть ей в след.

...А в «Аничковом Мосте» мы продолжали бороться за демократию, которой угрожали «красно-коричневые». Лично я так и не увидел в своей жизни ни одного «красно-коричневого», но слышал, что в Москве их много. На слуху тогда

был некий Баркашов и Проханов. Иногда к ним добавляли писателей Валентина Распутина (не вру!) и Василия Белова. Коллеги на верхних этажах, где помещалась газета «Час Пик», каменели лицом, когда слышали эти имена.

Я уже давно заметил – и не только я! – что угроза демократии обостряется всякий раз, когда готовится грандиозная обдираловка простых людей. Это как артобстрел перед атакой. Услышали, что демократия в опасности? Пригнитесь! Сейчас начнется.

И точно. Началось. Приватизация!

Как-то во дворе я слышал, как Кит вразумлял Яшку на скамейке, куда вложить ваучер.

– Слушай внимательно. Берешь ваучер и аккуратно, подчеркиваю, аккуратно! сворачиваешь его трубочкой. Можешь слегка смазать его вазелином. Снимаешь штаны и становишься раком. Правой рукой берешь трубочку и аккуратно вводишь ее в задний проход. Обязательно до упора, пока вся не влезет. Все! Одеваешь штаны и – свободен. Вечером приходишь на поле дураков – это пустырь за помойкой! – выкапываешь ямку и срешь в нее золотыми рублями. Понятно?

– А если не золотыми рублями, а простым говном?

– Значит, ваучер был фальшивым. Можешь сообщить об этом в ООН.

Не все были согласны с Китычем. Безработный физик-ядерщик Геннадий возмущался так, словно у него отняли последнюю надежду.

– Дурак ты Колька! Ничего не понимаешь, а других учишь. Умные люди скупают ваучеры, потому что на них завод купить можно будет в будущем. Я вот свой и за сто тысяч не продам! А ты свой за сколько продал?

– Две бутылки водки! – с гордостью сообщал Кит. – Две пачки «Беломора» в придачу.

Настоящие трагедии начались, когда приватизировали квартиры. Началось великое переселение городских алкоголиков в деревни. Туда, откуда в город прибыли их родители. На свежий воздух.

Перед тем, как отправиться в последний путь в Тверскую область, Сашка Пончик хвастался в кругу собутыльников.

– Воздух – ножом резать можно! Из окна можно удочку забрасывать в речку! Банька! Огурчики – помидорчики! Что еще надо?

– А работа? – осторожно спрашивал кто-то.

– Да сколько угодно! Я же слесарь. Трактор там починить, сеялку... Да и зачем? Если живешь на всем готовом.

Сашку уже несколько месяцев опаивали какие-то темные личности какой-то дрянью. Он заходил как-то ко мне перехватить денег – сжавшийся в комок, мокрый, с подавленным ужасом в глазах. Уверял, что у него все отлично.

– Люся щец наварила, а хлебушка нет. Сейчас сбегаяю в магазин. Скоро огурчики свежие хрумкать буду. Приезжай, на рыбалку ходим!

– Ты хоть дом-то сам видел?

– А как же! Фотографии показывали. Хороший дом. Сруб. Пятистенок. Сарай...

Сашка, Сашка! Балагур, враль, весельчак, от рассказов которого, бывало, угорали со смеху ребята. Увезли его рано утром, впотьмах. В фургоне. Андрюха рыжий, друг, рассказывал: покидали мешки за борт и впахнули туда Саньку с пьяной, плачущей Люськой. Прощай Народная! Прощай непутевая, но такая славная жизнь! И укатил грузовик в Тверскую область, а в Сашкину квартиру заселилась семья из Казахстана с двумя детьми.

Витя Горохов переселился на Псковщину, Володя Войтюк в Новгородскую область. Вскоре бандитская логистика стала проще: увозили в Сланцы. Звучало так же неумолимо, как в гражданскую – в Могилев. Догадываюсь, что даже до Сланцев не все доезжали, но если и добирались, то жили недолго. Конвейер работал четко. Привезли, разгрузили, через месяц отвезли на местное кладбище или в лес. Чем поили бедолаг – не знаю. Думаю, не мудрили. Паленая водка сама по себе была страшным ядом. У нас с Народной, с Веселого Поселка в Сланцы переселились десятки.

Самые страшные трагедии разыгрывались, когда выселялась семья с малолетними детьми. Спившийся отец с матерью прощались с пьяными слезами с соседями, а детишки смотрели на провожающих сверстников такими глазами... я видел такие же детские глаза в журнале, в репортаже про вьетнамскую войну.

Очень хочется глубокомысленно сказать: «Ну, ведь мы были этого достойны! Что посеешь, то и...» Но – не могу. Ну – достойны, ну пьяницы, бездельники, лентяи... ну и что? Пьяницы помирали быстро. Оставались трезвые, умные, сильные, а счастья как не было, так и быть не могло. Потому что все мы, оставшиеся, были сволочи. Трусливые, бездушные уроды. Какое тут счастье?

Буквально через два-три года Народную было не узнать. Не слышать было уже вечерами пьяного смеха в кустах, не бренчали расстроенные гитары, не лупили в сумерках на спортивной площадке по волейбольному мячу подростки, не бубнили на скамейках возле парадных седые бабули в платочках. Тишина. Нехорошая тишина. Унылая. Разбит асфальт, разворочены клумбы, разломаны скамейки. На газоне, словно на постаменте, стоит огромная черная чудо-иномарка. По утрам в нее садится широкоплечий парень в кожаной куртке, на лице которого написано крупными буквами: «Я – страшный! Не подходить! Хуже будет!» Никто и не подходит. Уже давно все знают, что, если в черной куртке, да без волос, значит – этот, по которым фильмы снимают и в газетах пишут.

Как змеиная кожа, сползает с народа советский менталитет.

Ларьков все больше, к ним привыкли, в государственных магазинах растерянные продавщицы по старой привычке еще хамят, но уже чувствуют свою погибель. Покупателей

все меньше, а те, кто пришел, смотрят дерзко и готовы уйти, если натыкаются на грубость – навсегда.

Таксисты стерли с лиц самодовольство. Только дурак теперь скажет с наглым вызовом: «Еду в парк!» Езжай хоть в задницу, извозчиков полно!

Рассказывали, как в «Ласточке» наглый официант получил по морде за то, что нелюбезно ответил простому русскому бандиту. Да так получил, что доктора челюсть потом складывали по кусочкам. Остальные официанты вскоре либо сменили работу, либо сменили самооценки.

Хуже всех, конечно, пришлось работника сферы обслуживания. Мне рассказывал новый владелец «Пассажа» на Невском, с каким трудом он искал продавщиц. Опытные, из советской торговли, отвергались сразу. Хозяин считал, и не без основания, что их не переделать. Новых хозяин учил лично. «Улыбайтесь! – умолял он. – Пожалуйста, улыбайтесь! Вот так!» И раздвигал губы до ушей. Девушки возмущались: «А если настроения нет?!» – «Все равно улыбайтесь», – отвечал терпеливый капиталист, хотя, по его признанию, хотелось ответить иначе: «Нет настроения? Иди мыть полы!»

Воспитанные в духе «Господа все в Париже!», советские люди считали оскорбительным всякое проявление не только угодливости, но и элементарной любезности. Гордость советского человека часто находила свое выражение в грубости и жлобстве. Равенство провоцировало на постоянное выяснение отношений: «Тут вам слуг нету!» Советский человек

был похож на беспризорника из детдома, который изначально ненавидит все эти «барские замашки и гнилые манеры». Тем более, что государство было на его стороне.

«Тонкошкурые» интеллигенты буквально выли от всего этого, но! «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».

Менталитет меняется труднее всего.

С трудом менялась и журналистика. «Аничков Мост» был типичным недоношенным уродцем Перестройки. Передовицы писала главный редактор и какие-то закулисные личности, которые иногда приходили в гости и запирались с Татарниковой в ее кабинете. Тогда в каждой газете был свой «колокол», который будил гражданские чувства. Наш был скорее колокольчиком с дребезжащим жидким звоном, но тоже трезвонил изо всех сил. Про демократию, свободу и приватизацию. Дурная наследственность коммунистической пропаганды тут обнаруживалась ярче всего: чугунный язык, неумеренный пафос, оптимизм, навевающий тоску... все, «как было», как теперь пишут на мороженом. Это – политики.

Вторая беда – культура. Ее в газете было много, и она была высокой настолько, что на ее вершине начиналась асфиксия. У каждого журналиста той поры был огромный багаж культурных амбиций. Каждый второй вытряхивал из личного архива в кладовой свои стихи и прозу – пора было являть себя миру! Целая армия непризнанных гениев стояла в оче-

реди к долгожданной славе. Немало было и умников, которые знали, как обустроить Россию. Их читали такие же умники, страшно далекие от народа.

Учить, даже просто советовать что-то подобным деятелям культуры было опасно. Рафинированный интеллигент тут же превращался в австралийского тайпана. Антидотом могло стать только крепкое матерное слово.

Мирно сосуществовать в одном издании эти два вида могли только на устойчивой платформе презрения к своей стране и своему народу. Если назревал конфликт интересов, достаточно было бросить: «Ну, что вы хотите! В этой стране...» Откровенным дуракам так и не приходило в голову, что эту страну строили и они сами... Что вы! Они стояли рядом, прижимая к носикам надушенные платочки.

Ближе всех к человеку простому и грешному был я со своим криминальным отделом. Моя задача была – пугать читателя. Я старался. Извлек из архивов и памяти сотрудников ГУВД и городского суда (сам был в ту пору народным заседателем – «кивалой», если по блатному) самые страшные истории и рассказывал их зловещим шепотом. Истории пользовались успехом, но особого удовлетворения мне это не приносило. Иногда я напоминал себе закутанного в белую простынь Богдана в гениальном исполнении Весника из мюзикла «Трембита», когда он изображал перед громадянами привидение на развалинах замка. Вспомнили? Выдавливал из себя: «И тогда он ударил его топором по голове!» Ах! «И

мозги разбрызгались по паркету!» Страшно? То-то же...

Чтобы не усохнуть совсем в однообразии, я повадился также развлекать публику разными забавными историями из жизни человечества.

Но и я стал выдыхаться. Во-первых, местные упыри перевелись. Во-вторых, они уже не торкали в полную силу и вызвали у автора тошноту. В-третьих, страна катилась к чертовой матери и возникало сильное желание ей посочувствовать и помочь.

Одним словом, в «Аничковом Мосту» стало тесно. К этому времени Славик взял бразды правления в свои руки и готовился переформатировать газету в рекламное издание. Самое время валить! Сначала я выбрал все еще популярный в городе «Час Пик» и три месяца принаравливался к новой стилистике издания, но однажды главный редактор Наталья Чаплина выложила у меня на столе полосу из газеты «Смена» и сказала:

– Вот. Читай. И пусть тебе будет стыдно

Огромная статья называлась «Бандитский Петербург». Автор – некий Андрей Константинов. Прочитав всю, залпом, я понял, что в «Часе Пик» не останусь. Мой путь лежал в «Смену».

Глава 53. «Смена». Константинов

Прежде всего я хочу сказать добрые слова в адрес своего нового шефа, заведующего криминальным отделом «Смены» – Андрея Константинова.

Так бывает, живет человек и не знает, что сыграл в жизни другого человека огромную роль. Не заслонило его от пули, не пожертвовал своей кровью, не оплатил непосильный долг, а просто жил рядом, работал и не подозревал, что на него смотрят, открыв рот, и учатся, учатся... Таких «учителей» в моей жизни было по пальцам одной руки пересчитать, и Андрей один из них.

Он пришел в газету прямо из армии, более того, из-за границы, более того, с театра военных действий, да еще с заграничными орденами на груди. Выпускник, пожалуй, самого престижного, восточного факультета ЛГУ, военный переводчик с арабского. Это само по себе вызывало уважение, но меня привлекало другое. Андрей был амбициозен и не скрывал этого. В нашей журналистской среде в то время было немало одаренных журналистов, которые по старой советской привычке несли бессребреничество, как знак качества своего таланта. Бедный – значит честный. Нестяжателя легко можно было узнать по заношенным до медного глянца брюкам и угрюмому взгляду исподлобья. Легко было спутать при

этом бездельника с рыцарем правды. Но я не об этом.

Андрей хотел всего и сразу. Денег. Славы. Почета и уважения.

Он не хотел барахтаться в мелкой луже, ему нужно было большое плавание. Он ломился в благополучное будущее, как солдат-фронтовик в бордель для господ офицеров. «Сменовские» коллеги его побаивались, поговаривали, что «казачок-то засланный»; кто-то, возможно, хотел уронить этими сплетнями Андриюхину репутацию, но она росла от этого, как на дрожжах. Девчонки просто млели рядом с этим обаятельным Джеймсом Бондом. Только он курил запросто сигареты «Кэмел», только у него была машина «Жигули» четвертой модели, только у него в дипломате с мудреным замком хранился газовый (а вдруг настоящий?!) пистолет.

У Константинова было огромное преимущество перед журналистами советской заправки. Он был не обременен тяжелой профессиональной наследственностью: вьедливыми журналистскими штампами, ненужными условностями, предрассудками, страхами. Он был дерзок, как недоучка и смел, как человек, вернувшийся с войны.

Криминал он выбрал естественным образом, как сферу жизни, близкую ему по духу. И чувствовал он себя в этой среде своим.

Криминальный отдел «Смены» был единственный и уникальный в своем роде. Даже внешне он производил впечатление «особого» отдела – решетки на окнах, железные нары,

привинченные к стене, фотографии мужиков в камуфляже и с автоматами на стенах... В углу – огромный, чугунный сейф, в котором могли храниться только очень важные документы. Посетители и коллеги заходили в отдел с робостью.

Восточный факультет привил Андрею не только привычку к порядку, но дисциплинировал его ум – он мыслил системно, по-научному и тем самым обретал дополнительное преимущество перед взбалмошными, «творческими» натурами. Но главная черта его характера, привлекавшая мое внимание и очаровавшая меня – он уважал труд, как таковой. И трудолюбивых людей. Труд был для него нравственной категорией. Ленивый человек вызывал в нем неприязнь, бездельник – презрение. Это разительно отличало его от многих моих знакомых, которые чуть ли не гордились своей праздностью, своим умением сделать работу играючи, без особых затрат ума и таланта. Работать в поте лица своего, а тем более надрываясь – было в этой среде не комильфо. Джентльмену это было не к лицу. Джентльмен мог вспотеть только на охоте на лис или играя в регби. Это была типично русская болезнь, национальная философия, символом которой стал сказочный Емеля на печи, да волшебная щука в проруби. На улице Народной любой босяк гордился легкой халтурой куда больше, чем честно заработанными упорным трудом деньгами.

Не буду скрывать, и во мне был этот снобизм. Был, и сидел крепко! Я считал низким плебейский ежедневный труд.

Работа за деньги представлялась мне обязанностью, которой не стоит предавать слишком большое значение, а тем более гордиться. Забота о хлебе насущном напоминала мне заботу о некоторых естественных физиологических потребностях, о которых не принято говорить вслух. В этом смысле я тоже нелепым образом походил на типичного англичанина высшего сословия, который неохотно говорит о своей службе, но готов азартно рассказывать первому встречному о своем хобби – так должен вести себя джентльмен! Говорить о работе – скучно. Серьезно относиться к ней – смешно! То ли дело выращивать розы! Или крокусы. Об этом можно говорить до бесконечности!

Откуда взялся этот снобизм в России – отдельный разговор. Но в глазах Андрея – это была очевидная нелепость. Его высшая похвала была: «Он трудяга». Сам он работал не покладая рук. К тому же в нем не было иронично-стыдливого отношения к самой профессии журналиста, которая прививается только годами унижений и страданий в многотиражной, советской прессе. Я помню, как он вразумлял новенького в нашем отделе паренька.

– Ты чего такой постный? Уши повесил. Не позорь отдел! Девчонка ушла? Да и хрен с ней! У тебя очередь должна стоять из желающих. Ты – журналист, твою мать! Криминальный! Да ты только начни рассказывать про нашу работу – она сама тебе в постель упадет.

Когда я вышел на работу в спортивных штанах, Констан-

тинов отвел меня в сторону и сказал.

– Миша, в таком наряде – последний раз, договорились? С деньгами худо? Ничего страшного. Заработаем. А сегодня съездим в магазин. Прикинем тебя.

И, действительно, вечером мы погрузились в его «Жигуль» и проехали по магазинам на Петроградке. Купили джинсы, джинсовую куртку, джинсовую рубашу и ботинки. Облачившись в американские доспехи, я почувствовал себя неуязвимым. Таким и должен был быть, по мнению Андрея, сотрудник его отдела.

– Ну вот, другое дело.

– Да, а деньги?

– Не думай об этом. Заработаем.

Поначалу я и в «Смене» пугал публику страшилками в стиле Стивена Кинга, но Константинов считал этот жанр легкомысленным. Его манили лавры серьезного расследователя. Он копал системно и глубоко. Тогда еще только восходила звезда Кумарина, такие имена и клички, как Костя Могила, Акула, Мальшев, Кирпич, были не менее популярны, чем имена звезд эстрады. Мой шеф внедрялся в эти круги с азартом исследователя-арабиста, который налаживает связи с бедуинскими племенами. Племена воистину были дикими и непредсказуемыми. Помимо денег они жаждали славы и признания. Обид не прощали. Как-то помню (уже в «Комсомолке») мне пришлось вызывать на подмогу ОМОН и выступать на телевидении, когда отморозки из группировки «Тяп-

Ляп» позвонили в редакцию и пригрозили, что уже едут к нам, чтоб навести большой шухер. Виной всему была публикация, в которой о бандитах говорилось без должного уважения.

Мне повезло вообще-то. «Смена» в ту пору была самым интересным изданием в городе. Тираж – 70 тысяч экземпляров. Общая идеологическая позиция: «Здравствуй, Запад!», но без тухлого русофобства. Молодые талантливые журналисты еще не потеряли азарт и не растеряли идеалы. Я пришел вовремя. Как оказалось, месяцем раньше в газете произошел переворот. Кучка энергичных заговорщиков во главе с Константиновым сменила главного редактора и назначила своего. Старого редактора, которая сравнительно недавно сама сместила ставленника обкома на волне демократизации, «путчисты» милостиво оставили в газете, понизив в должности, новым стал Леша Разоренов, товарищ и соратник Константинова, такой же ловец счастья и успеха, непримиримый антикоммунист и законченный либерал. Победителям нужны были кадры из новой колоды, и я был очень кстати.

Работать в этой команде было весело. Рулили газетой молодые пассионарии, в том числе Горшков Саша, Чертинов Влад, Петя Годлевский... Я чувствовал себя среди единомышленников. Мы все верили, что все только начинается, что надо потерпеть и необыкновенная, щедрая на подарки, жизнь наступит. Не без нашей помощи!

Это был золотой век журналистики в Петербурге. Толковые журналисты поймали кураж. Владлен Чертинов, например, захотел посидеть в тюрьме (прямо как в сериале по сценарию Кивинова). Послали запрос в милицию. И ведь разрешили! «Чалился» Влад на «красной» зоне в Ленинградской области, по весьма уважаемой статье. Несколько дней хлебал баланду, завел знакомства, собирал информацию для своего журналистского расследования... Тут я даже не знаю, кем восхищаться больше: смелым журналистом или смелым начальником колонии, который отважился пойти на такое. Времена были такие!

Мне самому пришлось участвовать в оперативной разработке УБОПА в качестве провокатора. Я хотел якобы купить некоторые важные сведения у сотрудника-руоповца. Так сказать, в органах шла проверка на вшивость. От волнения играл роль начинающего злодея я не плохо – заикался, потел, краснел, бегал глазами... Мент оказался правильный и доложил куда следует. Слава Богу!

В то время мне могли позвонить и сообщить, что на Московском вокзале, в такой-то ячейке, хранится дипломат, в котором я могу найти интересные вещи. Трагедия с Димой Холодовым еще не случилась, и я доверчиво поехал на вокзал. В дипломате действительно хранилась интересная кассета. На ней популярный в городе человек занимался сексом с двумя проститутками... Известный на всю страну бандит Мадуев одарил меня знакомством с двумя замечательными

дамами – его любовницей, которая вручила мне его аудиописьма из тюрьмы, и следователем прокуратуры Воронцовой, которая уже сидела в женской колонии в Саблино и так и не выдала тайну, за каким лешим она пронесла бандиту в камеру огнестрельное оружие.

Правовые нормы были еще не отработаны, и журналисты творили, что хотели. В своих статьях я лихо называл убийцами подозреваемых еще на стадии предварительного следствия и все это сходило мне с рук. Андрей прекрасно справлялся с ролью разводящего не только криминальных группировок, но и группировок милицейских. Мы с ним четко разделили сферы влияния – он курировал УБОП, я по старой дружбе дружил с уголовным розыском.

Веселое было времечко, все правда. Но!

Тиражи газет неумолимо ползли вниз. Причин было много и когда-нибудь честные исследователи назовут и проанализируют их объективно и дотошно. Я назову, на мой взгляд, главные.

Журналисты скурвились. Советская журналистика воспитала целую армию начетников, которые растерялись, получив вольную. Некоторым просто нечего было сказать, другие пугались прошлого, из которого выглядывали страшные призраки, третьи выжидали, чья возьмет. Молодые, как обычно, знали больше всех и неслись галопом в даль светлую, не замечая, что читатель остался далеко позади.

Когда осела первая пыль после Великого Крушения, са-

мые ушлые стали приноравливать. Деньги! Оказывается, они были нужны, как кровь. Подписка и продажи давали газете крохи. Появилась реклама, но ее не хватало. Приходилось, наступив на горло гордости, вспоминать навыки «первейшей и древнейшей». Расцветала «джинса» – так назывались заказные статьи. Писались они по согласию автора и редакции, иногда и втихаря. Как водится, первое грехопадение совершалось тайно, с мокрыми от волнения ладонями и мучительными переживаниями в бессонную ночь, однако вскоре торг стал циничным, публичным и обычным. Тогда в газете появлялись статьи, которые читателя, пытающего понять, туда ли он попал, сводили с ума. Газету кидало, как шхуну в шторм, то вправо, то влево. Репутация изданий рушилась. Капитан какой-нибудь шхуны, как правило с красными и бегающими от вранья глазами, пел: «Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»», – а сам искал взглядом спасательную шлюпку. Матросы бражничали. Все искали Остров сокровищ, но находили лишь мели и камни. Вспыхивали бунты, которые гасились жалкой зарплатой. Иногда шхуна шла ко дну, но редко кто из коллег по этому поводу выказывал сочувствие – ведь денег на Острове сокровищ становилось больше!

Я надеялся, что привычно пересажу в своей камере самое лихолетье, однако ошибся. Грешить пришлось и мне, да еще и с избытком. Каюсь. Каюсь. Крыть нечем.

... Передо мной сидел типичный бизнесмен первой волны – молодой, симпатичный и уверенный в себе мужчина,

который еще не наигрался с «жар-птицей», которую недавно схватил за хвост и из задницы которой все еще сыпались золотые монеты.

– Поймите, нам не нужна прямая реклама. Мы продаем стеклоочиститель по прямому назначению. Чтоб домохозяйки мыли окна. Вжик-вжик и готово! Мы не склоняем людей к пьянству. Не наше дело, что некоторые мужчины путают стеклоочиститель с водкой.

– Понимаю. Это дешевле.

– Разумеется. И при этом, ненавязчиво так, между делом, мы говорим с улыбкой, что вред стеклоочистителя для организма сильно преувеличен. По существу, это просто спирт с добавками.

– Добавки вредные?

– Какая разница! Об этом говорить не стоит. Любая добавка вредна, конечно, но ведь мы же не запрещаем крепленые портвейны к продаже? В целом говорим, повторяю, о стеклоочистителе, как таковом. Договорились?

Договорились, кажется, о пятистах долларах. Из них мне достались сто.

Расплата была жестока. Буквально через неделю после публикации на эту проклятую сотню я запил по-черному. С мордобоями и какими-то блядьми, с ментовкой, рыданиями на плече Кита и курсом уколов, очищающих кровь. Бог вразумляет сурово.

Другие сделки, к счастью, были более безобидны и осу-

ществлялись часто в союзе с адвокатами: кто-то потерял квартиру, кто-то пострадал от мошенников, а кто-то от властей, кто-то воевал с бюрократами. Самый крупный гонорар отвалили «пивные воротилы», которые не могли поделить свой бизнес – тогда я внес первый вклад в свой личный «стеклянный, трехлитровый» банк на чердаке.

Еще раз! Говорю, как было, категорически себя не оправдываю. Но – вот оно долгожданное «но!» – хочу подытожить: если бы власть была способна тогда прекратить криминальную практику «ты мне – я тебе», ничего не предложив взамен, питерская журналистика сдохла бы, не протянув и полгода.

Андрей ушел из «Смены» в Комсомолку в 94-м и меня позвал с собой. Но прежде произошло событие, которое полностью изменило мою жизнь – я, наконец, женился!

Я познакомился со своей будущей женой в зале городского суда, где шел громкий процесс над угонщиками самолета Мусатовыми. Рядом со мной сидела красивая женщина. Я спросил ее о чем-то. Из суда мы вышли вместе и отправились пешком в Лениздат на Фонтанке, 59. Напротив площади Островского я, а мне было 33 года, подумал: «Она станет моей женой!» Подумал как-то всерьез, словно иначе и быть не могло. Два часа знакомства. Пятнадцать лет безуспешных поисков. Было время, когда я окончательно смирился с тем, что останусь холостяком. И вот, наконец, встретились.

С этого дня вся моя жизнь разделилась: до и после. Через

три месяца мы поженились.

Слава Богу!

Глава 54. Бульварная пресса

Из сорока лет работы в профессии более четверти века я проработал на руководящих должностях. Поочередно возглавлял вкладку в «Комсомольской правде в Петербурге», первую в городе «желтую», российско-норвежскую газету «Петербург-Экспресс», был главным редактором «Вечерки», десять лет руководил газетой «Невское время», шесть лет выстраивал вертикаль районной петербургской прессы, был директором Дом журналистов. Я уже давно потерял счет грамотам, дважды был лауреатом «Золотого пера», дважды премии «Сезам», лауреатом премии правительства Петербурга. Входил в Общественные советы ГУВД, МЧС, ФМС... Был доверенным лицом Путина на выборах 2012 года и петербургского губернатора Полтавченко на выборах 2013 года. Три года носил в кармане удостоверение советника губернатора на общественных началах... Был телеведущим и писал сценарии к фильмам, автор двух напечатанных книг и еще больше не напечатанных...

Словом, имею право сказать о своей профессии несколько слов. Они будут нерадостны.

Журналистика в Петербурге больна еще с 90-х годов и надежд на выздоровление становится все меньше. Как я уже говорил, расцвет профессии пришелся на середину 90-х, ко-

гда в стране две общественно-политические силы уравновешивали друг друга: коммунисты и либералы. Когда-то великий Бисмарк сказал: «Во все времена сильные государства вели себя, как бандиты, а слабые – как проститутки». Иначе говоря, пока сильные бодались, слабые искали патрона, к которому можно было прибиться с максимальной выгодой.

Газеты тоже искали. И находили.

В либеральном стане в первой половине 90-х было еще немало искренних журналистов, которые честно следовали профессиональному кодексу. Коммунисты же в очередной раз вставали под красными знаменами в «последний и решительный бой». В свои идеалы верили обе стороны. Явного перевеса сил не было, электронных технологий, позволяющих оболванивать массы людей, еще не изобрели, а в России компьютеры вообще были в диковинку. К тому же население еще было образованным и умным. Поэтому востребованы были талантливые перья и незаурядные умы.

В 96-м я голосовал за Зюганова. Не потому, что он вызывал во мне симпатию. Просто хотелось бросить свой маленький камешек на весы оппозиции. Наглая, жадная, циничная рожа народившейся за пять лет «либеральной» власти, пугала. Капитализм без намордника походил на взбесившегося зверя. Прожорливость его не знала границ. Есть такое выражение в народе: «Не знает сытости». Глядя на олигархов, легко было поверить, что это сумасшедшие. Обратные, страдающие булимией. Наделенные какой-то дьявольской неисся-

каемой энергией, они жрали и жрали все подряд, отпихивая друг друга от корыта, огрызаясь, пукая и рыгая на всю страну, постанывая от вожделения, когда натыкались на особо лакомые куски. Их сытые рожи, даже припудренные в гримерной, лоснились на экранах от сала, а в свинячьих глазках светилось самодовольство, которое вытесняло все остальные чувства. «Я хорошо сегодня покушал, – говорило лоснящееся лицо, – я скушаю вас, если захочу. Не сомневайтесь, места в животе хватит».

«Да, да, – кивал в телевизионной студии журналист с подострастной улыбкой, – давно пора меня скушать. Что я без вас? Нищий писака, щелкопер! А в вашем брюшке тепло и покойно. И даже не слышно хруст костей, когда вы кушаете очередную жертву. Спасибо, благодетель!»

Глядя на эти человекоподобные рыла, хотелось спросить: «Ребята, когда будете умирать, не жалко будет денег? Столько старалась как-никак. Или вы знаете великую тайну, которой не знаем мы? И вход в загробное блаженство стоит миллиарды долларов? И в загробном мире нет праведников и святых, а за круглым столом, под председательством господина Скуперфильда в черном фраке, сидят в строгих костюмах самые богатые банкиры планеты Земля и обсуждают, как преумножить свои богатства? Зачем? А зачем в соседней Валлгале викинги продолжают свою вечную битву? Они бьются во славу доблести и мужества. А банкиры во славу денег. Непонятно? Поэтому вы и не банкир».

Страсть к деньгам так же непостижима, как и любая другая страсть. У нас во дворе в детстве была популярна игра в спички. Зажимаешь двумя пальцами спичку и пытаешься сломать такую же в пальцах соперника. Сломал – выиграл. Сломал все, а у самого остались целенькие – богач! «Богачи» ходили гордые, задирали нос. Пока не возникал ажиотаж во-круг фантиков. Ценности менялись. Страсть к накопитель-ству оставалась.

Обуздывать страсти призвана Церковь, но она была еще очень слаба в середине 90-х. Слаба была и власть, в той ее части, которая не участвовала в грабеже. Слаба оказалась и журналистика.

Какое-то время особо продажные журналисты вызывали отвращение даже у собратьев по цеху, но весьма скоро об-выклись и брезгливые. «Заказухи» стали нормой. Наказы-вались – начальством – только те, ушлые, которые пыта-лись пронести денежку мимо кассы. Когда начались выбо-ры, СМИ и вовсе потеряли стыд. Брали, что называется, да-же «борзыми щенками». Некоторые серьезно обогащались, другие возносились в должностях. Совежливые заговорили о падении нравов. Над ними посмеивались удачливые. Для них новая жизнь только начиналась.

Беда наша была в том, что мы вовремя не поняли простую истину: держаться и «правым» и «левым» надо было вместе. У журналиста, как и у Британской империи, нет вечных дру-зей, есть только свои цеховые интересы и принципы. Отни-

мите у журналиста искренность и он мгновенно превращается в писаку. Снимите с него защиту и он дрогнет от страха. Журналист не герой из сказки. Он обыкновенный человек, выполняющий необыкновенную работу. Кому еще дозволено лезть в мозги и уши тысяч людей? Вы хотите, чтоб в ваши уши лез испуганный писака и лжец? Нет? Тогда защитите журналиста. И он попробует с чистого листа. С уважением к себе и правде.

Союз журналистов в Петербурге так и не состоялся. Не по вине властей, не из-за отсутствия денег. Отсутствовала профессиональная солидарность. Отсутствовало простое понимание, что свобода слова – ценность, которая многократно выше любой идеологии, любой партийной принадлежности. Это ценность, один лишь намек покусения на которую, должен мгновенно спланивать ряды, ошестинившиеся копьями и мечами, будить колокол, который звенит в набат! Вместо этого начались постыдные цеховые междусобойчики, война до последнего честного журналиста. Победили либералы, которые крепче держались за руки, исповедовали симпатичное идеологическое учение и имели безусловно более щедрую финансовую поддержку.

Вообще, ничего более жалкого, чем журналист-патриот в конце девяностых трудно себе представить. «Патриотов» гнобили в журналистском сообществе, власть же исповедовала принцип, который озвучил триста лет назад Петр Первый, говоря о полицейских: «Эта сволочь сама себя прокор-

мит». Корм был неважнецкий. Патриотическая пресса едва сводила концы с концами. Хорошо помню, как у Гостиного двора какие-то темные личности торговали газетой «Завтра». Однажды купил и я. Тут же напротив остановилась бдительная гражданка в очках и сделала мне строгий выговор. Оказывается, я отдал свою копейку в фонд фашистской партии России. От стыда я сунул газету в карман и не смел развернуть ее в метро.

Смешно, но коммунисты в России сомкнули свои ряды с патриотами, окончательно запутав вопрос, кто правый, а кто левый. На мой взгляд – никто. Были, как и двести лет назад западники и были почвенники. И были чудаковатые представители меньшинства (и я принадлежал к нему), которые верили, что можно скрестить эти два непримиримых вида.

Популярный конкурс «Золотое перо», который придумали и осуществили Андрей Константинов и вице-губернатор Саша Потехин, блеснул в первые годы, как маяк честности и свободы во тьме! Побеждали не «правильные», а даровитые. Все изменилось через несколько лет. Дело в том, что жюри конкурса по уставу пополнялось за счет победителей в номинации Гран-при, а ими становились исключительно заслуженные либералы. Разумеется, они двигали своих. Со всем скоро «свои» вытеснили и задавили «инакомыслящих», и шансов на победу у «патриотов» почти не осталось. В конце концов конкурс потерял свою репутацию.

Еще несколько лет спустя произошло неизбежное: если

раньше «своих» сплачивала идеология, то теперь шкурный интерес. Круг замкнулся.

Для меня осталось загадкой, как люди, испытавшие все прелести коммунистического тоталитаризма, так легко и быстро сами стали душителями всяческих свобод. Сохраняя при этом благопристойный вид и достоинство. Кем-то руководил страх перед прошлым, кто-то забивал, следуя примеру Чубайса, «последний гвоздь в крышку гроба», а гвозди все не кончались, да и азарт тоже... Лозунг всех революций: «Добить гадину!» – не изменился со времен французской революции, менялись только победители, который били и добивали гадину инакомыслия до тех пор, пока их самих не начинала добивать История. Любая истина из-под палки, по принуждению, по лукавству, по расчету становится сделкой с совестью. Рано или поздно она встанет поперек горла или застрянет в кишках. Правда способна сохраняться в святой чистоте только при условии, что ее будут испытывать на прочность постоянно и всерьез. Любой заговор против правды во имя благих целей – опасная ложь и бороться с ней должны и «справа» и «слева».

Постсоветские либералы взяли от коммунистов все, кроме частной собственности: тупой догматизм, религиозную одержимость, безжалостность к человеку во имя человека, упрямство, беспринципность во имя благородной цели и – победили.

С чем я всех нас и не поздравляю.

Из «Смены» в «Комсомолку» меня перетянул Константинов, которому предложили стать собкором. Так я познакомился еще с одним человеком, который многому научил меня за семь лет совместной работы. Ирина Петровна Потехина была генеральным директором представительства «Комсомолки» в Петербурге и в числе прочего отвечала за выпуск питерской вкладки в газете.

У меня всегда, особенно со времен спорта, была слабость – я любил честолюбивых людей. Слабость пагубная, согласен, но в окружении неудачников, которые всю жизнь уныло и зло ищут виноватых на стороне, мне становилось физически дурно. Когда-то мне было неважно, какую цель выбирает честолюбец – выиграть ли в спортивном состязании, заработать миллион долларов, написать гениальный роман, стать губернатором, стать праведником или уйти в затвор, – главное, чтоб ветер в ушах свистел и захватывало дух на покоренной вершине.

Обратившись к христианству, я меньше всего понял, что такое смирение. Я всем сердцем, с восторгом принял мысль, что мир создан Богом для человека и человек создан для счастья. Надо только очистить душу от грязи, не суетиться и не желать зла ближнему, молиться на восходе и закате солнца о здравии души и тела, помогать друзьям и нищим... ну и так, по мелочи. Это была молодая, сильная полуязыческая вера вчерашнего комсомольца и демократа, который окончательно расстался с химерой атеизма.

Мысль о том, что Царствие Божие усилием берется я воспринимал как-то буквально, по-спортивному: мол, под лежащий камень вода не течет. Встань, расправь плечи, оттолкни с дороги праздного лентяя, чтоб не мешал, и делай важное, доброе дело. Например, карьере. Выше залезешь – больше сможешь сотворить добрых дел. А если и погибнешь, то с музыкой!

И вот я встретил человека, который по части честолюбия мог дать мне сто очков форы.

Ирина Потехина еще в кубанской станице мечтала о незаурядной судьбе. Как-то сказала в запальчивости ошарашенному отцу, председателю колхоза, когда зашел разговор о будущем: «Все равно уеду в Ленинград, поступлю в институт и выйду замуж за африканца!» Приблизительно так кубанская школьница представляла себе настоящий успех.

Закончив школу, Ира действительно перебралась в Ленинград. Поступила и текстильный институт. Подходящего африканца не нашла, но зато встретила красивого парня, мастера спорта, чемпиона Ленинграда по боксу. Это была ее первая вершина, с которой ей очень скоро захотелось спуститься вниз. Жених был ослепительно хорош, но оказался – ревнив и скучен. Развод был неизбежным. Она уже работала корреспондентом в «Смене», когда судьба забросила ее в ленинградский обком комсомола. Нужно было взять интервью у секретаря обкома по идеологии. Беседа то и дело соскакивала с темы, поскольку молодые люди разговаривали больше

глазами и этот разговор с каждой минутой становился все более бесстыдным.

– Скажите, – спросил, наконец, секретарь, – а что вы делаете сегодня вечером?

– Все! – призналась Ирина.

Это был второй брак для обоих, удачный, давший городу в дальнейшем двух вице-губернаторов и двух популярных персонажей для пересудов.

Высокая стройная, Потехина мало напоминала грудастых, задастых и звонкоголосых казачек. Ругаться не любила, грубость не переносила. Выносливость ее была феноменальной, упорство – непобедимым. Как-то, несколько лет спустя, она спросила меня.

– Знаешь, в чем секрет успеха? Нужно просто тупо биться головой в стену, пока стена не рухнет. Это один известный японец говорил. Я с ним согласна.

Я согласился, чтоб ее не расстраивать, но в глубине души возмутился: драгоценной головой и об стену?! Она же потом болеть будет! В это была наша разница. Я тоже хотел успеха. Но голова была все-таки дороже.

Ирка дополнила воспитание, которое начал Андрей Константинов – по-крестьянски уважительное отношение к труду. Успеха в первые годы вообще добились не столько талантливые и умные (их всегда на Руси было немало), сколько выносливые трудяги. Пока остальные ждали волшебного знака судьбы, они кропотливо отстраивали свое благополу-

чие, пядь за пядью отвоевывая свое будущее.

Время было сумасшедшее. Вспыхивали и гасли, как искры, эстрадные звезды, Леня Голубков плакал от счастья, вовлекая простаков в очередной грандиозный обман, звездочеты и предсказатели достали свои клоунские колпаки и заварили густую кофейную гущу, какой-то ушлый экстрасенс научился оживлять трупы на телекамеру и при этом даже не подал заявку в Нобелевский комитет; все сочиняли утопические проекты и обманывали друг друга с легким сердцем. «Комсомолка», как огромный ржавый дредноут, устояла в волнах перемен, даже не поменяв названия. Но зато круто изменив курс. Теперь она стала флагманом желтой прессы России. Петербургская газета «Петербург-Экспресс» стала кораблем сопровождения, я стал главным редактором, а Потехина генеральным директором представительства.

Нынче, глядя на иных блогеров с лицами и мыслями, которые примиряют с дарвинистской гипотезой происхождения человека, я всегда останавливаю свой гнев: «Стоп! Вспомни «Петербург-Экспресс» и заткнись».

«Проще! Еще проще!! Глупее! – требовали вчерашние комсомольские активисты из Москвы. – Большие тексты – в корзину! Мысли – в унитаз! Помните, мы обращаемся не к разуму, но к чувствам!»

– А умище-то куда девать? – отшучивалась Наташка Ланцова, которую мы взяли из «приличной» газеты.

– Засуньте себе в задницу, – отвечали продвинутые моск-

вичи.

Некоторые из них успели скататься на Британские острова и набрались там английского снобизма гораздо больше, чем знаний.

Мои мечты, что газета станет ужасом для властей и защитником для читателей, быстро увяли. Газета – трибун, газета-воин, газета-скандалист, газета-расследователь, газета – «600 секунд» была не нужна. Нужна была газета-сплетница с интересами домохозяйки и интеллектом охранника супермаркета.

В первом номере мы произвели фурор, рассказав какие клички носят популярные и важные персоны города в своих трудовых коллективах. Клички были скорее забавные, чем обидные. Потехину тоже записали в випы и, после долгих споров, дали ей кличку – «Мымра». В Москве первый номер похвалили.

Во втором целый разворот вышел под огромной шапкой: «Дорогая, то, что мы считали оргазмом, оказалось астмой». Вообще, шокировать публику в начале 90-х было довольно легко. Достаточно было крупно набрать слово «секс», и красная лампочка читательского внимания уже мигала. Оказалось, что женское тело вообще самый ходовой товар.

Никто не сможет устоять перед женским телом. Посадите красавицу в «Москвич» и он сразу прибавит сто лошадиных сил. Разденьте ее до трусов – и он станет иномаркой.

Порносайты еще не появились, поэтому газетчики осваи-

вали целину. Тогда на слуху была страшная болезнь СПИД и в продаже появился «СПИД-ИНФО» с миллионными тиражами. В части сексуальных отношений нам было до этих столичных ребят далеко. Если наше бесстыдство было целомудренно прикрыто мини-юбочкой, московские охальники срывали покровы тайны полов решительно и до конца. Не было в мире такого извращения, которое не прозвучало бы на их страницах. Пока читатель, вытаращив от изумления глаза, узнавал, что сношаться можно даже с телеграфным столбом, в печать готовился материал о некрофилах, которые вождедеют к египетским мумиям.

К чести женщин, скажу, что это было все-таки преимущественно мужское чтиво.

У женщин были свои приманки. Извечная сказка о Золушке пользовалась в это тяжкое время наибольшей популярностью. Бесконечная история про то, как девушка из провинции или бедной семьи поразила в самое сердце молодого циничного богача, расхватывалась, как горячие пирожки. Непонятно было, что мог найти в необразованной провинциальной девчонке прожженный магнат, но это-то как раз и завораживало! Чудо! Аллилуйя! Каменное сердце финансового вурдалака растаяло! Спешите! Значит и у вас есть шанс!

Грустно вспоминать все это. Вообще шанс у многих действительно появился бы, если б у элиты нашлись умные головы, совестливые сердца и хоть немножко любви к Родине. Тогда, быть может, на телевидении появились бы передачи, в

которых, наконец-то, всем нам рассказали, что такое эта пресловутая протестантская этика, как нужно вкалывать и беречь копейку, чтоб она превратилась в рубль. В связи с этим не могу не вспомнить одну реальную историю, которую мне рассказал обыкновенный русский таксист году так в 2010-м.

Дорога была дальняя и мы разговорились (вообще люблю поболтать с таксистами, у них какой-то повышенный индекс искренности). Итак, у таксиста был друг, русский, петербуржец, который с юности мечтал о красивой жизни, и был начальник, то ли немец, то ли американец, не помню, у которого таксист работал личным шофером. Немец (пусть будет так) выкупил в начале 90-х долю в предприятии по производству плитки в селе Никольское. Предприятие дышало на ладан и немцу пришлось изрядно потрудиться, чтоб выправить дело. Вставал он ни свет ни заря, заваривал кофе в термос, готовил бутерброды и отправлялся на свою голгофу на «Жигулях», где его ждали полупьяные, нищие работяги и ворох производственных проблем. Не буду долго останавливаться на том, какие испытания проходили в то время бизнесмены в России, я бы с огромным сочувствием поставил им памятник в центре Москвы, скажу лишь, что немец не раз был на грани краха и нервного истощения. Но он выстоял. Питался впроголодь, экономил на всем, но водитель (мой рассказчик) получал свои денежки исправно, и на заводе рабочие в конце концов стали получать зарплату. В то же самое время друг таксиста начал крупное дело. В дорогом офисе

он снял помещение, шикарная блондинка-секретарша сидела у него в приемной, утром за ним приезжал черный «Мерседес»: соседи прилипали к окнам, дворничиха почтительно замирала в полупоклоне, опираясь на метлу. Приятели завидовали, друг восхищался. А потом наш бизнесмен застрелился из дорогого охотничьего ружья. Оказалось, что год назад он взял крупный заем и вложил его в офис и секретаршу. И в «Мерседес». Делом, под которое он брал деньги, предприниматель практически не занимался. Срок кредита подходил к концу. Рассчитав все до последнего дня, выпив напоследок французского коньяка, мужик снес себе полбашки.

Такая вот реальная история.

Мы годами учили молодежь, как тратить деньги, и совсем не учили, как их заработать. По старой глупой привычке труд считался у молодых занятием неудачников. Успешные обогащались «в один удар» и брали от жизни все.

Но вернемся к «Петербург-Экспресс». Мы тоже не стояли на месте. Мы тоже бодро шагали на пути к прогрессу. Мы увлеченно извлекали из заморского ящика Пандоры все новые и новые ранее запретные темы, шокируя добропорядочную публику. Первыми в городе мы заговорили о трансгендерах. Нашли мужика, который хотел стать бабой. Этакое чудо-юдо. Кто мог предполагать, что эти мутанты скоро возьмут за горло нормальных людей? Придумали «голубую мафию», которая вознамерилась захватить власть в городе, сочиняли скандальные истории про местных звезд, предва-

рительно договорившись не обижаться друг на друга.

Нас заметили. Приезжало телевидение. Коллеги-газетчики рассматривали нас с любопытством. Лишь старики ворчали. Меня все это увлекло с головой. Работали иногда с утра и до полуночи. С азартом.

Вскоре появились и конкуренты. Например «Калейдоскоп». Бравые ребята, не имевшие никакого опыта в журналистике, сразу пошли в гору. Оказалось, что мы в «Петербург-Экспрессе» вовсе не самые дерзкие и безбашенные. В «Калейдоскопе» ввали наглее и агрессивнее. Они могли запросто сообщить, что на Луне американские астронавты нашли джинсы «Вранглер», а из сверхглубокой скважины на Кольском полуострове выскочил черт и утащил с собой бригадира бурильщиков. Наша газета рядом с этими хулиганами выглядела как ученик воскресной школы, впервые взявший сигарету.

Я хорошо знал одного из «хулиганов» – бывшего политрука советской армии. Как-то он в минуту мудрой грусти он поведал мне свою жизнь. Когда случилась перестройка и голодную армию распустили по домам, Миша зарабатывал на хлеб тем, что продавал прессу в пригородных электричках. В том числе и новую газетку «Калейдоскоп», которую делал со своими друзьями буквально на коленке. Оказалось, это был бесценный опыт маркетинга. Выкрикивая аншлаги газет, продавец четко отслеживал реакцию полусонных пассажиров. Вспыхнул интерес в глазах, вскинулись головы, под-

нялись руки – значит в точку. В точку бил криминал, секс и ужасы. Слова, которые открывали золотым ключиком тайники обывательского любопытства, тоже были известны – убил, изнасиловал, ограбил, вампир, миллионер и прочее. Значит? Значит получите, чего хотите. Газетку бывшие офицеры советской армии изготавливали в формате А-4, чтоб легче было выбрасывать.

Смешно, но мы в «П-Э» относились к «Калейдоскопу» точно так, как к нам относились коллеги из качественной прессы: снисходительно-высокомерно. Американские джинсы на Луне – это было слишком. Мама скушала свое дитя – фу, какая гадость! Если бы мы не вылезли на свет Божий из одного нужника, я бы посчитал, что мы имеем право задирать нос и брезгливо морщиться. Увы, на рынке мы были в одной весовой категории. И задирать нос было нелепо. Я бы сравнил нас с «понаехавшими», которые успели сходить в культурной столице в «МакДональдс», а потом встретили на вокзале односельчан с котомками и презрительно отвернулись.

Одно время «калейдоскоповцы» набивались к нам в друзья, предлагали создать лигу желтой прессы, а потом махнули рукой. Их тиражи чудовищно выросли, наши болтались в районе пятидесяти тысяч. Их концепция победила. Глупость оказалась бездонной.

Торжество пошлости было тотальным. Это было похоже на протест. Глупость требовала признания. Казалось, обы-

ватель говорил сам себе и кому-то совестливому, что вечно лезет в душу: «Вы кормили нас всякой нудной моралью 70 лет, а теперь свобода! Эвона, оказывается, сколько интересной развлекухи вокруг! Скрывали?!»

Мы спорили с Китычем, который подсел на мультики.

– Колян, ну ведь отупеешь окончательно. Сколько можно смотреть эту дурь про Бамбра?

Кит злился.

– А мне нравится! Про Павку Корчагина лучше? Вот и смотри свое серьезное кино.

Словно сбросили оковы, словно прозрели. Не надо было умничать, притворяться, вымучивать чувства, глядя с тоской в экран. Бамбр, обнявшись с Брюсом Ли, занимали города. Тем более, что ворота были распахнуты.

Все это напоминало мне «Окаянные дни» Бунина. По площади идет пьяная баба, видит монаха, кричит, грозя кулаком: «Знаем вашего Бога! Намалюет маляр на доске портрет – вот и весь ваш Бог!!»

Так хочется разразиться сейчас бранью! Но перед зеркалом не получается. Вычурно и смешно.

Интерес к газетам в Петербурге падал неумолимо.

Петербург оказался самым депрессивным городом в России по тиражам газет и журналов, начиная с середины 90-х. Да что там в России – на всем постсоветском пространстве. Возможно, виновата пасмурная погода, возможно потому, что процент умных и образованных жителей в нем пре-

вышал средний уровень по стране. Вспоминаю, как поднимал уровень журналистики в Худжанте, Таджикистан, в 2001 году. Собрались местные журналисты; в президиуме гуру из Европы, то есть я. Гуру – шеф-редактор питерской «Вечерки», которая десяток лет назад имела тираж в 300 тысяч экземпляров. Сижу за столом с таким видом, как будто тираж сохранился. В Средней Азии тиражи газет в последние годы поскромнее – 80—100 тысяч. Учю местных, как завладеть вниманием масс. И вдруг вопрос из зала: «А какой тираж у вашей газеты сегодня?»

Честно? Пишем 14 тысяч. Реально... боюсь сказать. Нет, правда боюсь. Но это я про себя. А вслух я не могу выговорить эту позорную цифру.

– Тиражи меняются в зависимости от спроса или других факторов. Суммарный несколько сот тысяч экземпляров.

Чтоб не уточнять, что такое «суммарный», тараторю всякую всячину про великую миссию местной печати. Суммарный – это за год. Мое изобретение. Восточные люди – деликатные, не спрашивают.

Так в чем дело? Трудно сказать. И учили вроде бы умные люди. И учились, как полагается, за границей. Ездили с Потехиной в Испанию, в Англию, в Италию, в Норвегию и Швецию, в Финляндию – уровень газетной культуры в Скандинавии считается вообще самым высоким в Европе. Когда норвежцы выкупили долю в «Петербург-Экспрессе» у «Комсомолки», они и сами зачастили в Петербург. Учили нас газет-

ным премудростям. В итоге, наш рекорд – 70 тысяч экземпляров. Да и тот простоял месяц.

Развлекать мы научились, но этого было мало. Тиражи все равно падали. Повторяю, мы утратили доверие. И вернуть его было невозможно. Так бывает, соврал человек раз, соврал два, а потом его перестали слушать, хотя он стал говорить правду.

Союз журналистов Петербурга к концу 90-х чем-то напоминал СССР конца 80-х. Объединение без внятной цели, с утраченной привлекательностью, скрепленное слабым аппаратом власти, с нищим бюджетом, огромной территорией и фантастическим ресурсом.

Петербургский союз журналистов помещался в шикарном доме в центре Невского проспекта. На втором этаже, в кабинете имперского стиля, сидел очередной председатель с бегущим взглядом, который не знал толком, что делать с доставшимся ему добром. Особые надежды по традиции возлагались на ресторан, который должен был удовлетворять все материальные потребности. Одно время ресторан арендовали двое сметливых африканцев. Они развернули дело с размахом: новые популярные наркотики как нельзя лучше ассоциировались с новым идеологическим дурманом. Местечко стало модным у бандитов и бизнесменов средней руки и средней в их среде продолжительности жизни. Все были довольны. Кроме тех, кто остался не у корыта. Они потребовали долю. Их послали далеко и надолго. Тогда недоволь-

ные застрелили африканцев. Журналисты, которым принадлежал дом, благоразумно стояли все это время в стороне, дискутируя под расписными сводами XIX века, о новых вызовах времени, о демократии и свободе, и поощрении интеллектуального прогресса в России.

Сменился председатель, потом другой, потом третий... Каждый начинал свое правление с торжественной клятвы, что Союз, наконец, станет профсоюзной организацией, которая встанет на защиту обездоленных и защитит права честных. Хорошая идея, и как всякая хорошая идея она была похоронена нехорошими людьми. А может быть равнодушными людьми, но никак не враждебной властью. Власти до поры до времени было не до Союза.

Думаю, что, если бы случилось чудо и Союз обрел статус профсоюза, то развалился бы он неизбежно и быстро. Началась бы схватка между правыми и левыми, красными и серо-буро-малиновыми, демократами и либералами и... кто там еще на новенького? Привычка властвовать безраздельно и роковая непереносимость инакомыслия сыграли бы очередную злую шутку. Солидарность мелких групп во имя общей большой цели, инстинкт самосохранения вида перед лицом общего врага, так и не выросли на почве, обильно унавоженной советскими традициями тоталитаризма. «Умри ты сегодня, а я – завтра», – этот лозунг лагерников вполне сгодился бы висеть над входом в Дом журналистов.

Какие же скрепы остались? Творческие! Прекрасное сло-

во. Вмещает все что угодно. Творческий союз имел право на существование, пока существовало творчество.

Талант в 90-е годы еще был востребован в журналистской среде. Современные технологии еще не сыграли с человеческим достоинством дурную шутку. Еще говорили в полголоса: «Он хорошо пишет». Еще имя, честно заработанное долгим трудом, открывало двери в Смольном, а удостоверение газеты могло напугать нерадивого чиновника; еще знаменитый журналист получал письма от благодарных читателей и мог поспорить на равных с главным редактором и настоять на своей точке зрения; еще было куда сбежать правдолюбцу, если в своем коллективе кислорода становилось мало. Невольно – в тему – вспоминаю разговор с главным редактором интернет-издания «двадцать лет спустя». «А зачем мне хорошее перо? – спрашивал он. – Мне вообще неважно, умеет ли он писать. Главное, чтоб первым добывал информацию. А стилистику, если надо, подправим». Он произнес эти слова с гордостью. Как человек, шагающий в ногу с прогрессом. Статус журналиста к этому времени упал ниже плинтуса. Человек, владеющий словом, вызывал сочувствие. Умный человек просто менял профессию. Самого главного редактора, о котором идет речь, вскоре поставили в стойло и дали охапку не самого лучшего сена.

Но это было потом.

А в конце 90-х журналисты еще мнили (а некоторые не напрасно) себя властителями дум. Страна трещала по всем

швам. Либеральные лозунги были столь же ненавистны, как и коммунистические в конце 80-х. Терроризм стал обычным явлением. Изнасилованный рубль вызывал брезгливость. Московский «царь» и «бояре» – отвращение и ненависть. Возникло ощущение, что катастрофа неизбежна и поэтому не стоит суетиться, а лучше подумать о вечном.

...А мы в «П-Э» по-прежнему развлекали народ. Развлекали умело, опираясь на московско-скандинавский опыт, но успех это не приносило. Я съездил в Москву, в «Комсомолку» к Сунгоркину, к Куприянову в «Экспресс-газету»... Учился, учился, учился, как завещал Ленин. И чувствовал, что все это впустую. Читателю было страшно жить, а мы утешали его глупыми байками, читатель возмущался и клял на чем свет стоит власть, а мы пугали его маньяками и бандюками, читатель хотел услышать слово правды, а мы измеряли, чей кот в городе весит больше всех. Это напоминало разговор глухих со слепыми. Как говорят нынче, мы «включали дурака» и остались в дураках. От нас отворачивались.

В конце концов москвичи решили, что не хватает полезной информации. Добавили. С избытком. Как экономить на продуктах и как сварить суп. Тираж пополз вниз. Москвичи негодовали.

Как порядочный человек, я подал в отставку.

Хочу сказать несколько слов тем, кто решил уйти с постылой работы. Уходите! Не тяните! Замешкавшись, только потеряете время и нервы. Трижды в своей жизни я уходил

в никуда. И трижды Бог показывал мне дальнейший путь. Оглядываясь назад, ясно вижу, что всякий уход – это открытая дверь. Куда? Посмотрим. Главное – откуда.

К концу 90-х некогда популярная «Вечерка» с тиражом в 300 тысяч экземпляров была подобна стареющей женщине, которую бросил состоятельный муж, после чего она пошла по рукам. Как водится в таких случаях, руки были нечистыми, а расплачиваться приходилось репутацией.

К довершению всех бед в газете случился пожар, который сожрал все ее скромные материальные накопления.

Я пришел в газету на должность шеф-редактора в буквальном смысле слова на пепелище. В черных от копоти коридорах «Лениздата» гуляли сквозняки. В полной темноте хрустели чьи-то шаги, переговаривались приглушенные голоса, мелькали зыбкие тени. Воняло гарью. В уцелевших помещениях погорельцы обустроивали, как могли, свои рабочие места.

Не хочу наводить тень на плетень, но все-таки интересно, что за год до этого так же горела питерская «Комсомолка» на улице Декабристов, а лет пять спустя полностью сгорела «Комсомолка» в Москве. Весело уходила старая журналистика, с огоньком.

Три года в «Вечерке» я вспоминаю с содроганием. Газета была никому не нужна, кроме трудового коллектива и убывающего отряда своих верных читателей. Город передавал ее из рук в руки с трогательным напоминанием, что это «ста-

рейший и заслуженный бренд города с 70-летней историей». Новый владелец, которому этот бренд нужен был, как собаке консервная банка на хвосте, вздыхал, вызывал своего финансового директора и уныло спрашивался, сколько денег потребуется, чтоб откупиться от власти. Разумеется, чтоб «впритык». Финансисты умели «впритык». «Впритык» был такой, что журналисты «Вечерки» ходили на работу с волчьим блеском в глазах и задирать их без нужды было опасно. Случалось, что даже эти крохи иссякали. Тогда мы с моим коллегой, директором Угрюмовым Володей доставали свои семизарядные «кольты» и шли на тропу войны с воротилами бизнеса. Кого-то уговаривали, кому-то кланялись, кого-то умоляли, кто-то соглашался под дулом пистолета, но деньги, пусть и скромные, находились. Тогда дверь в редакцию наш славный директор открывал ногой, высыпал мятые купюры на стол и произносил бессмертную фразу Андрея Соколова из фильма «Судьба человека»:

– На всех!

И обессиленно падал в кресло.

Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что неоднократно, спасая коллектив от голодной смерти, мы с шефом ходили под реальной статьей и, что любопытно, мне до сих пор не совестно.

О политической линии газеты мне говорить трудно, поскольку ее не было, но костяк команды составляли заслуженные либералы старой закалки и в городе «Вечерка» име-

ла репутацию форпоста либерализма еще со времен Собчака. Десять лет газету сотрясали внутренние мятежи и разьедали интриги. Менялись редакторы, менялись хозяева, менялся формат, незыблемыми были только падающие тиражи и репутация. Только обнищав вконец, газета обрела некоторую моральную устойчивость. Уцелевшие коллеги сообразили, что делить больше нечего и не с кем, что дырявый корабль вот-вот пойдет ко дну и спасти его может только тихое и незаметное плавание в маленькой бухте. Немножко «культурки», немножко спорта, немножко полезных советов и позитивная идеология в жанре «ребята, давайте жить дружно».

Тем не менее прошлое давало о себе знать.

Пришел, помню, как-то раз в «Вечерку» крохотный, сморщенный человечек неопределенного возраста, в замызганном пальтишке, в кепке, которую он смахнул нервным движением, усаживаясь на стул. Представился.

– Василий.

Чем-то он был похож на гнома из мультфильма про Снежную Королеву, только захворавшего, исхудавшего и придавленного большой нуждой.

– Чем могу служить?

– Член районного комитета коммунистической партии большевиков. – пробормотал гном, глядя в пол и комкая кепку.

– Слушаю вас.

– Предупреждаю... по поручению товарищей... прекра-

Тить...

– Что именно?

– Прекратить пропаганду... Антикоммунизм, то есть...

Воцарилось молчание. Я перестал улыбаться. Василий устало и глубоко вздохнул. Он сказал самое главное, что велено было товарищами, и покорно дожидался ответа.

– Э-э-э... а-а-а... что вы имеете в виду?

– Все пройдет, а мы вернемся! – голос гнома окреп, и он впервые поднял голову. – Вот тогда и посмотрим... Посмотрим, кто есть кто. Возмездие предателям будет неотвратимым. А те, кто заблуждался... остановитесь! Вы думаете все кончилось? Рабочий класс себя еще покажет. Все будут наказаны.

– А вы рабочий?

– Кировский завод. Слесарь.

– Коммунист?

– С 1970 года. Да. К нам Романов приезжал. Да.

Мне почему-то расхотелось ерничать.

– Василий! Вы же добрый человек. Добрый?

Вася пожал щупленькими плечами, опять уставившись в пол.

– Не надо никого наказывать. Я вас прошу. Хватит уже наказывать. Надо быть добрее.

– К предателям?

– Они не предатели. Они просто слабые люди. Не все поверили в коммунизм. Простите их. У вас семья есть?

Вася не ответил, засопев носом.

– Ну, не важно. Мы слабые существа, Васек, мы все чего-то хотим, но – никак. Силенок маловато. Так вот и живем, как можем. Давайте обнимемся и будем жить поживать, да добра наживать.

Вася встал, потоптался, спросил неуверенно.

– Так вы поняли? Я товарищам должен передать. Мы следим за вашей газетой. Не сомневайтесь.

– Понял, Вася, понял. Передайте товарищам, что мы желаем им скорейшего выздоровления и счастья.

Не успела за Васей закрыться дверь, как в кабинет ворвалась разлохмаченная Ольга с сверкающими глазами.

– Заходил? Коммуняка чертов! Я выгнала его на фиг! К вам направила. Начал мне перед лицом «Манифестом партии» трясти. И почему мы не расстреляли их в 93-м? Дышать стало бы легче.

– А он предлагал расстрелять вас.

– А меня-то за что?!

Помню еще одну несчастную жертву коммунистического режима. Николаю было лет 45. Молчаливый мужик, трудяга, всегда на вторых ролях. На собраниях отмалчивался, задания не обсуждал. Но в глазах то и дело вспыхивал ропот. Он был из тех тихих терпеливых недовольных, которые ждут своего часа. А час этот знали только таинственные люди из таинственного и еще совсем недавно страшного ведомства на Литейном, 4. Там, в темной башне, хранилась подлинная

власть, там люди с вежливыми манерами, стальными нервами и трезвой головой, ждали, когда схлынет грязная пена и придет их черед расчищать авгиевы конюшни. Николай имел с этими силами некое сношение и выполнял иногда их безобидные задания, намекая очередному редактору, что «лучше не ссориться». Сам Николай был уверен, что Родина его не забудет, когда вострубит труба возмездия и победы. Дадут или должность или что иное. Годы шли, а труба не трубила, да и в таинственном ведомстве шла непрерывная кадровая текучка. Николая забыли. Думаю, текучка тут ни при чем. Просто в ведомстве, на которое он уповал, работали люди, далекие как от сантиментов, так и от ясного понимания цели своей запутанной деятельности. Грубо говоря, им было наплевать на Колю. Они боролись с врагами. А патриоты им были не нужны.

В конце концов Коля понял это и ушел из профессии. Думаю, с тяжелым сердцем.

Беда эта – небрежение своими, которые и так свои – сыграла с Россией уже не первую злую шутку. Свои не святые. Свои тоже хотят кушать, свои так же хотят земных благ и удовольствий, как и не свои. Свои так же могут предать или погибнуть, если их бесконечно обижать и отталкивать. Свои – не ангелы. Просто им дано понять, что они никому на этой земле не нужны, кроме своих. Что со своими легче выжить и победить, легче разбогатеть и стать сильнее. Что свой – это Твоя защита. Гарантия Твоей безопасности. Не хочешь кор-

мать своих – будешь кормить чужих. Они уже ждут у порога.

Последние полгода в «Вечерке» перед тем, как ее приобрела «Балтийская Медиагруппа», были воистину ужасны. Денег от хозяина не стало от слова «совсем». Убежден, те, кто перекрыл краник, были убеждены, что газете не выжить. Ошиблись, толстосумы несчастные. Мы, как тараканы, не только выжили, но и дали потомство. Деньги зарабатывали, как могли. Получив тышчонку-другую за проплаченную статью, я тут же бросал ее в клюв самому крикливому птенцу, лишь бы не слышать его воплей про то, как она разнесет «к чертовой матери весь этот гадюшник и подаст в суд на вас всех!».

С той поры на планерках я научился врать, как большевик в гражданскую войну. Пафосно, с дрожанием в голосе, со слезой. Про светлое завтра, про то, что нужно потерпеть, про неизбежную победу коммунизма, про то, что наши близко. Эта комиссарская привычка рвать рубаху на груди и хвататься за маузер еще долго преследовала меня даже в благополучные годы работы в «Невском времени». Так что мой заместитель Миронов Андрей неоднократно во время совещания удивленно останавливал мое истеричное красноречие:

– Да вы чего? Не кричите. Сделаем все, не беспокойтесь.

И в дальнейшем, видя, что я закипаю, предупреждал:

– Не надо комиссарить. Все сделаем, как надо.

Нет худа без добра. В профессии не заладилось, зато

проснулся интерес к подлинному творчеству.

Я вновь почувствовал тягу к подвигам. В «Вечерке» я вновь сел за роман (мой размерчик!), который назывался «Дитя во времени».

«Дитя» я напечатал за собственные деньги. Может быть поэтому, а может быть, и вполне искренне, издатели и печатники роман нахваливали. Писал я его прямо на работе, в своем кабинете, и часто любопытные могли слышать, как из-за двери раздавался вопль восторга, похожий на индейский боевой клич – это я поймал вдохновение, которое было похоже на алкогольную эйфорию. Писал я о своей юности, о своей Народной улице, о первой любви и дописался до того, что сбросил с плеч четверть века и влюбился в свою героиню, как мальчишка! Мы целовались с ней в ее квартире, гуляли по майскому лесу, встречали закат на изумрудном поле и возвращаться из этого дивного мира в редакцию категорически не хотелось. Гордая черноокая красавица Вика – ты оказалась живей многих реальных воспоминаний. Как Господь Бог, я сотворил тебя своим воображением и любовью, вызвал тебя из небытия, сделал бессмертной... Кто испытал эти чувства, тот обречен быть инакомыслящим в кругу своих коллег и товарищей, чудаком, пришельцем, мечтателем не от мира сего, потому как имеет ключи к прочим мирам – и кто сказал, что они не реальны?! Плюньте им в лицо, как говаривал старина Гоголь, «врут бисовы дети»: реальны! Как в высшей степени реальна мысль, способная изменить чело-

вечество.

Увы, зачем-то я придумал Вике трагический конец. Заигрался в литературу. Чуть не убил ее. В самую последнюю минуту укутал финал тайной. Прости, Вика.

Как хорошо, как вольно, как сладостно играть с воображением! Мы воображаем всегда и везде. Хаотично, бессмысленно, нерезультативно. А ведь стоит направить эту стихию в русло, как воды могучей реки к мощным турбинам, и творческая энергия начинает творить чудеса! Весь мир освещается и обогревается этой энергией. Мы не задумываемся об этом. Нам кажется, что обогревают только батареи, а освещают электрические лампочки. Но изымите из мира несколько десятков святых, сотню-другую гениев, пару тысяч талантов и человечество будет блуждать в потемках шоу-бизнеса, ежась от холода и страха.

Желаю всем, кто чувствует в себе творческую силу, безрассудной отваги. Не верьте начальникам, не верьте телевизору, не верьте завистникам и подлецам, которые улыбаются вам в лицо.... Улыбаешься, гад?! Тогда получи! Кованным ботинком по яйцам, а потом коленом в зубы. И – за письменный стол. Или в храм искусства. А лучше всего в настоящий храм.

Времени чертовски мало. Китыч, бывающий трезвым дней пятьдесят в году, презирующий медицину, врачей и таблетки, считающий здоровый образ жизни блажью трусливых интеллигентов, как-то поутру встал перед трюмо, от-

крыл рот и увидел, что половина зубов куда-то исчезла. Куда-то исчезла и половина жизни – и он не мог, как ни пытался, вспомнить куда. Вроде бы еще вчера пришел из армии, пили с Мишкой водку, горькая была водка, дрался с кем-то, лежал связанный в милиции, крутил баранку «ЕрАза», а потом, как у бессмертного Гоголя – не помнит Петрусь ничего. Сидит перед зеркалом, оброс, почернел, одичал... Силиться вспомнить, куда заныкал годы – нет, никак! И скрежещет зубами и вскакивает с места и бегаёт по комнате, бормоча ругательства. А впереди что-то страшное надвигается и по ночам бесовская рожа Басаврюка встает перед глазами и ухмыляется, значительно поводя усами...

Чур, чур, чур!

«Дитя...» гуляет в интернете под псевдонимом Артура Болен. И не пытайтесь понять, откуда взялось это имя и фамилия. «Оттуда». Приказ есть приказ, Артур, так Артур.

Денег Артур не заработал, но читатели благодарят. Их уже несколько тысяч. Рецензенты, как водится, ругают. Цензура пока молчит.

Как в свое время Церковь была последним бастионом, который так и не смогли взять большевики, литература остается ныне последней цитаделью, которую не одолел еще шоу-бизнес. Преимущество литературы в том, что она не нуждается в больших материальных затратах. Довольно обыкновенного компьютера, интернета и неистребимого желания писателя «сделать ЭТО». Отсутствие денег – некая гарантия,

что творчество будет подлинно искренним. Делая изначально ставку на успех и деньги, писатель невольно переходит в разряд шоуменов. Трудно сохранить дар, если угождаешь толпе. Невозможно. Толпа сожрет любой талант и не подавится.

В «Вечерке» я перешагнул 40-летний рубеж. Говорят, что рубеж серьезный. Это правда. Конечно, каждый переживает этот рубеж по-своему. Я потерял некоторую беспечность. Я всегда комфортно чувствовал себя в роли пацана с улицы Народной и немножко растерялся, когда понял, что это уже неумно. В тридцать с гаком еще уместно. Уместно быть шалопаем, милым простецом, легкомысленным обаяшкой, которому прощается наивный эгоизм, бабником, который еще не наигрался, честолюбцем, который еще не ожесточил свое сердце – славный малый, одним словом, а если еще умный и симпатичный, то баловень судьбы.

В сорок, вы – зрелый муж. Извините, но ваши легкомысленные замашки дурно пахнут, а запоздалое «пацанство» просто неуместно. Возьмите себя в руки и займитесь делом.

Мир ровесников становится скучным. Куда-то уходит искренность, непосредственность становится смешной. Словно взрослый пес, мужчина перестает радостно вилять хвостом и тявкать от избытка чувств. Взгляд его становится суров, а речи исполнены унылого практицизма. Надо подстраиваться, иначе начнут коситься. К тому же растет живот и

начинается одышка.

К этому возрасту успешные уже окончательно размежеваются с неудачниками и чураются их; неудачники злятся, завидуют и злословят. Взрослый советский мир был, конечно, гуманнее. Задавались барыги и известные артисты. Секретарям обкома и генералам было не положено, хотя они, бывало, и важничали на публику, изображая трудяг на благо народа. При желании их всегда можно было упрекнуть в чванстве (было еще комчванство, но этих осуждала уже партия по политической линии). Коммунистическая мораль была четко и научно обоснованно (!) сформулирована научными сотрудниками университета марксизма-ленинизма и утверждена в ЦК. Это вам не кот чихнул. Можно было, конечно, и не соблюдать, но это до поры до времени, пока не найдется кто-то из завистников и не сделает партийную предьяву – мол, коммунист-то липовый! Грешит, сукин сын! Высокомерен, советы товарищей не слушает, ходит налево, уклоняется вправо, пьянствует, автомобиль в личных целях использует, и вообще «свинячит». Это было серьезно. Особенно если грешник встал кому-то поперек дороги. Это держало в моральном тонусе. Отсюда мрачность партийных чиновников высокого ранга – всегда зажатые в нравственные и идеологические догмы, идущие вразрез с простыми человеческими желаниями, они страдали и всегда были начеку.

Теперь свинячили открыто, весело, с огоньком. Кутежи в ресторанах ничем не отличались от кутежей купцов пер-

вой гильдии при царском режиме. Чванство нуворишей было карикатурно-индюшачьим. Баловни фортуны жили напоказ, словно догадываясь, что их век недолог.

Мой друг Славка, разбогатеv в середине 90-х, купил себе черное модное пальто, нанял водителя, который возил его по городу на «Мерседесе» и совсем перестал говорить о литературе. Только о деньгах и своих новых, московских знакомых из Белого Дома. Когда я настойчиво склонял его к писательской теме, он хмурился, вспоминал, как будто далекое прошлое, с трудом и неприязнью, выдавливал ставшие чужими слова.

– Да, было, помню, поэма в трех частях... Что-то про благородного рыцаря, кажется... Сейчас литература не нужна. У нас с Гуринским сейчас на стапелях новый проект. Будем пиларить одного кремлевского чувака в Германии. На русском, на немецком и английском. Тираж – 50 тысяч экземпляров. Если выгорит – куплю себе домик в Испании, уже присмотрел.

– Понимаю. Ну а для вечности? Для большой литературы? Для души?

– Душу счет в банке лучше всего греет. Миша, я не хочу быть навозом для будущих поколений, вот и все. Корпеть над грязным листком бумаги, выдумывая благородные образы, а потом питаться дерьмом из дешевых магазинов? Увольте. Живем один раз. У нас есть один клиент в Москве...

О клиентах в Москве он мог говорить часами, доводя ме-

ня до полного уныния и даже бешенства. Это был какой-то бесовский морок. Ни единого теплого лучика из серых облаков! Монотонный холодный дождь из скучных слов про клиентов, банки, деньги, счета, заказы, рестораны, гостиницы... Хотелось нащупать рубильник и выключить этот чертов монолог, а вместе с ним и растворить в воздухе это пугало в черном пальто, с одутловатым лицом и пустыми, слезящимися глазами, которое когда-то было романтическим остроумным Славиком.

А кем был я? Как-то в конце 90-х, в обеденный перерыв, гулял я по привычке по перрону Витебского вокзала. Привычка была странная и я никому на работе о ней не рассказывал. На вокзале душа моя расцветала, как когда-то в лесу. Может быть, в памяти воскресали воспоминания о многочисленных путешествиях, которые прочно связывались с этими резкими и вкусными запахами угольной пыли из открытых вагонов, маслянисто-горьким ароматом мазутных шпал, дымком дешевых сигарет и папирос, стоявших в ожидании людей... Волнующей музыкой звучали эти несносные оглушительные звуки вокзальных динамиков, которые всегда неожиданно пугали людей строгим женским голосом откуда-то с небес, возвещая то прибытие, то отбытие поезда, яростно чирикали и устраивали кучу-малу воробьи, отчаянно гудел в пластмассовую трубу ребенок... Я просто бродил под стеклянными сводами вдоль вагонов, вглядывался в лица отъезжающих, в которых причудливо сменялись тени ра-

достного предвкушения и грусти; погружался в детские воспоминания, мечтал, как придет лето, я сяду в поезд и уеду в деревню, забуду проклятую газету и буду, как буддист смотреть на стремнину реки Великой, погружаясь в сладостную нирвану...

Однажды я прислонился к перилам и стоял так долго-долго. Вдруг рядом раздался голос.

– Молодой человек!

Я поднял голову. Передо мной стояла пожилая женщина, которая смотрела на меня с состраданием.

– Не переживайте, молодой человек. Все наладится! Вот увидите. Все пройдет!

Не цыганка. Не попрошайка. Не проститутка. Обыкновенная женщина лет пятидесяти, с усталым, добрым лицом.

– Да я, собственно... я просто задумался, извините, – проворчал я. – С чего вы взяли...

Женщина улыбнулась, тронула меня за рукав, как бы награждая мою речь, и ушла прочь. А я остался стоять с разинутым ртом.

Вообще-то я представлял себя другим. Сильным, статным, уверенным в себе молодым человеком, которого любят женщины и уважают мужчины, физиономия которого примелькалась на ТВ и в газетах, краткая биография которого напечатана в «Синих страницах»... Потерял бдительность, как начинающий неопытный шпион, и на тебе... Разоблачили. И кто? Какая-то сердобольная тетка. Но сколько же муки

было написано на моем лице, если оно, как светофор привлекало внимание на многолюдном вокзале?

То был трудный год. Мы только что переехали с улицы Декабристов на Апраксин двор. Тиражи не росли, и каждый вторник на совещаниях я чувствовал себя, как на жаровне. С утра до вечера я придумывал, как мне увлечь читателя какой-нибудь остроумной выдумкой, какой-то убойной темой. Только купи, родной, газету и ты не пожалеешь потраченного фарфинга. Все для тебя, тупой, бессмысленный урод!

Как-то Саша Потехин, уже снявший вериги вице-губернатора, будучи навеселе, рассказал занятный случай. Миллиардера Евтушенкова, у которого работала в то время супруга Александра, в минуту редкой релаксации осенила глубокая (не смеюсь) мысль.

– А ведь мы уже не молоды. Сколько нам осталось? Полноценной жизни, когда еще не угасли желания, лет 15, от силы 20. Миг! Хочется прожить их по-человечески. А то ведь придет пора уходить, и кроме совещаний вспомнить будет нечего.

Миллиардер был взволнован, уверял Потехин, по-настоящему и говорил искренне. (Сашка был атеистом, а для атеиста миллиардер уважаемая фигура, почти как святой для верующего). Я заметил, что смерть богатых людей буквально обижает. Словно их кинули как последних лохов. Как же так, ведь старались, работали, не покладая рук, копили, наконец разбогатели и куда теперь все это девать? А где же счастье?

Погодите, дайте еще лет тридцать, а лучше пятьдесят и таблетку, чтоб ничего не болело.

«Кому на Руси жить хорошо?» – призадумался как-то миллионер Некрасов и даже написал поэму на эту тему. Похоже, тоже припекло на старости лет. Кто счастлив? Когда мне приходится читать чью-то биографию, я прежде всего смотрю на годы жизни. Например, прожил человек 82 года. Неплохо. До революции не дожил – слава Богу! Особо не болел, стал знаменитым, жена любила, дети обожали, не разорился – мне б так жить! Какого же лешего этот счастливый человек ночью сбежал из дома и отправился помирать, как бездомная собака, куда глаза глядят? От чего убегал бывший миллиардер Березовский, когда накинул себе петлю на шею? От голодной смерти?

Что тебе, человек, вообще надо для полного счастья? Власти? Но все известные в мировой истории тираны с неограниченной властью были несчастны (Наполеон на финише своих лет признавался, что у него было в жизни всего-то два-три счастливых дня). Славы? Она бесславно заканчивается за неприступным забором с охраной, где прячется от журналистов измученная до нервного истощения «звезда». Богатство? Это иллюзия, способная соблазнить только несчастного бедняка или хронического неудачника.

Я припоминаю в своей жизни только одного человека, который прожил счастливую старость: своего деда. Не думаю, что молодость его была беспечна. Тут и колхозы, и две вой-

ны, и послевоенная разруха.

Мы по-настоящему познакомились и сблизились с дедом уже в семидесятые, когда я стал приезжать летом в деревню.

Ему было уже за семьдесят. Поджарый, сухой, неутомимый, он доживал жизнь с мудрым спокойствием, с загадочной крестьянской стойкостью, с которой его предки встречали в назначенный срок старую с косой. Жизнь сама подводила итоги. Заготавливать сено для коровы ему становилось все трудней, в магазин за необходимым приходилось шагать в обе стороны восемь километров, и по летней жаре, и по зимней стуже... а значит и держаться в этой жизни было особо не за что. Тут главное вовремя уйти, чтоб не путаться под ногами. Дед и жил так, словно всегда готов был на выход. Радовался хорошей погоде, в плохую слушал радио или читал газету, нацепив на нос уродливые ломанные-переломанные очки. Курил он махорку и при этом исполнял такой сложный, завораживающе-точный и неторопливый ритуал изготовления сигарки, что невольно хотелось закурить вместе с ним и тоже махорку, чей вкусный едкий дым я вспоминаю с удовольствием до сих пор. До последнего он любил ходить за грибами и заразительно радовался, если находил белый, чистый боровик. «А ну-ка полезай в кузов», – приговаривал он, но сначала давал мне полюбоваться и пощупать великолепный крепкий гриб. Любопытство его было воистину детским и поразительно контрастировало с равнодушием и леностью ума супруги, которая оживлялась только, когда ей грозила

какая-нибудь напасть. Он ахал, когда я рассказывал ему про могучие волны цунами и про вершину мира Эверест, про огромных удавов в Африке и гигантских гребнистых крокодилов в Австралии.

В зимней половине у деда стояла десятилитровая бутылка с самогонном и время от времени он к ней наведывался в моем присутствии и в отсутствии поблизости бабы Насти. Наливал с полстакана, примерялся с сосредоточенным лицом, и выпивал мелкими глотками. Замирал на несколько секунд, выдыхал с шумом, потом неторопливо брал ложку и зачерпывал ароматный золотистый мед из молочного бидона. Этого меда и самогона хватало ему иногда на весь день.

На мой взгляд он не хмелел, но бабка каким-то женским чутьем сразу угадывала степень его опьянения и, если оно было выше среднего – ругалась заученными словами и в тональности заевшей пластинки. Дед не обращал внимания. Ему от самогонки становилось хорошо. Мы выходили с ним во двор, разогнав стадо квохчущих кур, присаживались на щербатый выступ фундамента, раскидывали в бархатной траве ноги. Дед натренированными пальцами мастерски сворачивал из газетной бумаги сигарку, закуривал и мы погружались с ним в неторопливый, по-крестьянски степенный разговор, а то и просто в молчание.

Огромное преимущество деда перед Евтушенковым состояло в том, что он никому ничего не был должен. У него не осталось в жизни соперников и врагов. На вопрос: «Как

жизнь?» – он мог с полным правом ответить: «Отлично! Никто не завидует». У него было отменное здоровье и ни капельки честолюбия. Дети выросли. Война научила его довольствоваться малым, колхозы – запастись впрок и полагаться на свои силы. Он был свободен!

Выпивал он в последние годы часто, но разумно: словно подливал масла в меркнувшую лампадку жизнелюбия, когда собственные силы иссякали. Спасал крепкий крестьянский организм, никогда не знавший ожирения, диабета, артрита, гипертонии, невротозов и депрессии. Если бы не самогонка – прожил бы до ста лет, как дед его, который умер от голода в сто четыре с полным ртом зубов.

Умер дед так, что Лева Толстой пролил бы слезу умиления. Как-то вечером, по весне, вернулся из хлева в избу с трудом передвигая ноги. Лег на кровать, сказал жене, глядя в потолок.

– Что-то плохо мне, Настя. Умираю...

И – умер. Заглох мотор в груди – топливо кончилось. Я заканчивал четвертый курс в университете, приехал на похороны.

Поминки были шумными и... веселыми. Деда поминали добрым словом, без пафоса и слезы. Как-то не выдавливалась трагичность. Пожил человек и ушел. Куда? На небеса, конечно! Так и говорили уверенно: «Царствие ему Небесное!» Пели песни, обнимались. Смерть, как хозяйка засто-

лья, уравнивала всех, смиряла; каждый с нежностью и сочувствием к себе думал: вот ведь и я когда-нибудь... так же на столе. И мысль эта не пугала, особенно после третьей стопки самогонки, а наполняла душу гордостью: вот ведь, не боюсь, смотрю Ей в глаза и усмехаюсь... Бери, мол, когда придет срок! Впрочем, это я про себя.

Царствие тебе Небесное, дед! Вспоминаю тебя чаще, чем отца. Сидели мы когда-то с тобой под стожком убранного сена в поле, одни во всей Вселенной, слушали как шуршит под ногами ветер и думали горькую думу. Я о том, что вот, сидим, а вокруг ни души, только волки по кустам прячутся, а Ленинграда и нет вовсе, выдумки все это, есть только это унылое поле и одряхлевший дом под шатром старой груши, где в гробовой тишине бьются в окна заблудившиеся пчелы. А ты, наверное, вспоминал какую-нибудь Ньюру из соседней деревни с круглыми титьками и удивлялся про себя, зачем не взял ее тогда в жены. А может быть вспоминал плен, о котором ни разу мне не рассказывал, коллективизацию, когда был милиционером.

Удивительная у меня память! Я очень редко вспоминаю Токио, Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Лондон, Пекин, Барселону... а вот утопанную до каменного блеска тропинку вдоль реки Великая и огромный валун на берегу вспоминаю часто и всегда вроде бы не ко времени: то на совещании, где обсуждаются важные государственные дела, то на центральной площади какого-нибудь европейского городка, то в бане.

Я не кокетничаю. Зачем? Это действительно так. Мало того, как вспомнишь – так все в голове переворачивается. Все ненастоящее! И докладчик на совещании кажется пустомелей, и европейский городок игрушечным.

Глава 55. Позитивизм. Вера

Одно время я был совершенно болен прошлым. В прошлом, даже в самые тяжкие дни, было не страшно. В настоящем все было лживо, страшно и убого. Меня учили: прошлого нет. Оно плод памяти и ничего больше. Надо жить будущим! Как американцы! Не оглядываясь назад. От одной цели к другой! С надеждой и верой в удачу! «Let it be», – как пел Маккартни. Но вопросы остаются. Например, будущего тоже нет. А если напрячь воображение, то в будущем маячит только одна единственно реальная и неизбежная перспектива – смерть. К ней что ли бежать с распростертыми объятиями? Если у человека отобрать прошлое, то и умирать не надо. Он уже умер.

Прошлого чураются карьеристы-стоики, которые боятся сбиться с проложенного курса. Они не понимают, что находятся в плену позитивных суеверий. И деспотия хороших мыслей ничуть не лучше, чем анархия плохих. На этот счет у меня было много споров с так называемыми позитивистами. Позитивистской после 50 стала Вера. Как-то мы встретились с ней после давней разлуки в ресторане. Верка заказала какой-то безупречно-здоровый салат с рукколой. Долго выпрашивала у официанта ингредиенты рыбного блюда; на десерт попросила фрукты и стакан свежавыжатого со-

ка из свеклы и моркови. Крепко повеяло здоровым образом жизни. Расправившись с жирным супом бозбаш и с вредным шашлыком из свинины, без всякой задней мысли я признался, что бываю несчастен. Вера возмутилась.

– Как не стыдно! Умный, тем более успешный человек не может быть несчастным!

– Так ведь оно, несчастье, не спрашивает. Приходит и – все. Страшно.

– Что тебя пугает?

– Дураки. Подлецы. Власть. Болезни. Смерть. Словом, сама жизнь и пугает. Тебя это не пугает?

– С какой стати? Я и думать об этом не хочу. Ты пойми, мысли – страшное оружие. Хорошие мысли могут поднять человека и сделать его великим, а плохие делают из него слабака.

Верка была олицетворением успеха. Стройна, но без выпирающей худобы, приятно, в меру загорелая, со здоровыми, блестящими, уложенными в прическу «а ля леди Диана» светло-русыми волосами, в розовом легком платье, едва прикрывающим красивые загорелые колени, с едва уловимым ароматом незнакомых, но явно дорогих духов; на губах ровно столько перламутровой помады, чтобы выглядеть соблазнительной, но не вульгарной; в ушах платиновые сережки в виде ящерок; серые глаза смотрят смело, но с достоинством, как редко умеют глядеть в нашей стране пятидесятилетние женщины. А все-таки была во всем этом какая-то карикатур-

ность. Словно она вышла на подиум. Сейчас раскланяется и исчезнет за кулисами. А там скинет с себя платье, наденет халат, упадет в кресло, устало закроет глаза и на лице враз выступят упрятанные под слоем пудры морщины.

– А помнишь, как мы с тобой сбегали после планерки в мороженицу и съедали по триста граммов сливочного с орехами?

– Триста?! Не может быть.

– А как стояли под аркой у главного входа во время дождя и боялись смотреть друг другу в глаза, помнишь?

– А почему боялись?

– Не знаю. Наверное, боялись влюбиться.

По лицу Веры пробежала тень.

– Глупости. Это ты боялся. А я... ждала.

– Ты... не врешь?

– Сам ты врешь, Иванов. Ты струсил. Я думала, ты будешь посмелей. А ты все – хи-хи, да ха-ха...

– Ну и сделала бы первый шаг.

– Не могла. Я же женщина. Да и зачем мне такой... слюняй. Чего боялся-то?

– Не знаю, Вер... Знаю только, что ничего бы у нас не вышло. Нам хорошо с тобой в период спаривания, когда все красиво и дух захватывает. А грязные тарелки в раковине и носки под диваном ты бы не перенесла.

– Это ты бы не перенес, – усмехнулась Вера – ты всегда был романтиком. А я родила двух сыновей, развелась,

вырастила мальчиков... Изнанку жизни видела и грязными тарелками меня не напугаешь. Женщина вообще существо земное. Можешь себе представить, что такое роды? Когда лежишь в собственном дерьме и радуешься, что все кончилось? А советские обоссанные пеленки, которые стирала вручную?

Я крикнул и с удивлением поднял на нее глаза.

– Что, Иванов, испугался? Сам же хотел только правду. Я в прошлое дверь давно закрыла и замок повесила. Ну, было и было, и еще будет – не хуже. Мы все эмигрировали из одной страны в другую. Кто-то ностальгирует, а кто-то принял новое гражданство, выучил новый язык и влился в новые нравы. Я из этих. Мне новая страна нравится. По крайней мере по сравнению со старой. Хотя, конечно, жизнь не сахар. Раньше, помню, для меня встать утром раньше девяти – проблема. Помнишь, у нас летучки были в 12? Потом чай, потом болтались с тобой по университету, смеялись, мечтали, потом опять чай, разговоры, а там, глядишь, и домой пора.... А теперь в девять я уже за рабочим столом. И строго до пяти. В деловом костюме и с дежурной улыбкой на устах. В банке, как в армии, даже строже... Сантиментов не любят. Если бы я сопли жевала, то быстро вылетела бы с работы.

– А Натэллу... вспоминаешь?

И опять тень пробежала по ее лицу и опять она ее стряхнула, тряхнув головой.

– Почти никогда. Зачем?

– Тяжело она уходила. А какая крепкая баба была! Как она гоняла нас с тобой!

– Ревновала, вот и злилась. Ты, как тряпка – ни бе, ни ме, ни кукареку... Бесил меня. Прятались... как дети от злой мамы. Стыдно вспомнить...

Мы замолчали под тихую грузинскую мелодию. Вдруг Верка встрепенулась.

– Нет, ну вспомни: «Иванов, ты куда пошел?! Я же Веру одну посылала! – Ната, я только проводить! – Вернись, я сказала! Не забыл – у нас вечером с тобой мероприятие». Что за мероприятие, Иванов, давно хотела спросить?

– Не помню

– Тебя что, любая вот так могла взять за шкурку и уволочь в постель? Кому ты такой нужен?!

Я совсем некстати вспомнил, как мой дед, когда ему было уже под восемьдесят, ругался с бабой Настей из-за какой-то Нюры, которая в тридцатые годы прошлого столетия вскружила голову bravому милиционеру Ване – всякий раз, когда дед выпивал лишнего, бабушка вспоминала эту Нюру матерными словами.

– Ты чего улыбишься?

– Так, вспомнил.

– И тебе не противно было... из-под палки?

– Палки не было. Плетки и кожаной юбки тоже. Просто она всегда любила... сверху.

– Вот только давай без подробностей, Иванов! А ты небось

любил снизу? Чтоб тобой повелевали?

– Наверное.

– Какой же ты... слюняй. Ты прав. Ничего бы у нас с тобой не вышло. Мне настоящий мужик нужен.

– Понимаю. Успешный. Богатый.

– Причем тут... Сильный он должен быть, понимаешь? Силь-ный!

– Нашла такого?

Вера вздохнула.

– Нашла. Только он женат... Но мы любим друг друга! В Америку вместе ездили. Он мой начальник в банке.

– Понимаю... есть о чем поговорить после оргазма.

– Иванов, уймись. Секс не самое главное.

Последние слова она выговорила неуверенно.

– Вера, а что самое главное? Ответь? Деньги? Статус? Что?

– Ты знаешь, какое он мне кольцо подарил? Я даже надевать его боюсь. Он очень порядочный. Только...

– Ну, ну?

– Понимаешь, есть мелочи, которые способна заметить только женщина. Недавно я проснулась с ним в его съемной квартире, пошла в ванную, а там, на зеркале, внизу, прилипшие крошки от туши для ресниц...

Я невольно вспомнил рассказ своего водителя-осетина про свою сожительницу. Как-то раз, летом, она вернулась с работы поздно, уставшая. Зевая, скинула с себя все, повер-

нулась... а на ягодице – прилипший фрагмент обертки от сигаретной пачки. Это как «пробка-предатель» от бутылки портвейна в юности, которая закатилась под кровать – крыть абсолютно нечем, лучше сразу колоться.

– Ну вот, опять ты смеешься. А мне было не до смеха.

– Расколола его?

– Да... не сразу.

– И...

– Больше не звонит.

По залу кавказского ресторана тихо заструилась «Сулико». Верка постарела; на углах губ обозначились две морщины, в глазах блеснули слезы.

– Я не буду звонить первая, а он тоже – гордый. Что делать, Иванов?

– Найти себе нового любовника.

– Мне нужен муж! Кому вы нужны, любовники? У самого брюшко висит ниже... сам таблетки глотает от гипертонии, а туда же. Любовники хороши, когда им по 18, а пожилые ищут молоденьких. Я хочу встретить светлого надежного человека, чтоб уже до конца...

Мы оглядели зал, как будто приступили к поиску. За соседним столиком вальяжно расположилась компания южан с седыми усами. По их умиротворенным лицам можно было понять, что жизнь их вполне удалась и кинжалы давно висят без дела на стенах их сакли.

– Говорят: хороших кобелей еще щенками заботливые ру-

ки разобрали.

– А-а-а... кобель он и до старости кобель. Мой тоже... без «Виагры» уже не боец, а корчил из себя мачо.

– Так ты уже разлюбила его?

– Да! Но ты знаешь, если бы он покаялся – простила бы его. Хоть он и сволочь. Дети выросли. Сережа в Москву переехал, Колька здесь – женился, живут отдельно. Квартиру новую купила. Машину «Вольво»... Ничего! Что-то я расклеилась, Миша, это ты виноват. Растравил душу. Нельзя раскисать. Нельзя копаться в прошлом! Хватит. Я решила заняться танцами. Сальса – слышал? Хочу научиться рисовать маслом. Черчилль твой любимый спасался живописью в депрессии. Путешествовать буду. Сiju на сайте знакомств – много дураков, но быть может блеснет и жемчужина... Ничего. Меня не сломишь. Ничего.

Верка говорила с внутренней силой, не бравировала, не хвасталась. Я верил, что сломать ее трудно. Она по-прежнему билась за свое счастье, и оно представлялось мне неким пьедесталом, встав на который, она победно вскинет руки и торжествующе улыбнется врагам: «Что, не ждали? Смотрите! Я счастлива! Я наверху, а вы у моих ног!»

Не хотелось бы мне гордиться собой, вспоминая эту встречу. Мы были не на равных. Я уже давно никого не искал, потому что нашел, я любил и был любим, я жил в теплой и уютной норке и ел вкусные зернышки, я был снисходителен и мягок к людям, как толстый избалованный кот на

коленях хозяйки, и что я мог сказать полезного Вере? Что счастлив тот, кто любит без оглядки? Просто, доверчиво и бескорыстно? Кто больше радуется, когда отдает, чем, когда ему дарят? Что мне по сердцу пословица: «Брак – это заговор двоих против всего остального мира?» Что правильный выбор сделал тот, кто в любви находит крайнюю степень родства и не сгорает от страсти, а греется в лучах нежности, тихо мурлыча и сыто жмурясь? Что для меня идеалом семейной пары были «Старосветские помещики» Гоголя?

В лучшем случае она выслушала бы меня вежливо и пожала плечами. А могла бы и фыркнуть:

– Я не старуха, чтобы доживать свой век в покое и тишине. За меня еще можно и побороться! Ведь я этого достойна?

Мне так и не удалось выковырять ее в тот вечер из тресклятой американской раковины. А так хотелось по старой памяти открыть свое сердце и излить свою душу! Увы, увы... Больше того, моя собственная раковина в конце концов захлопнулась. Остаток вечера я провел позитивистом. Мы сдержано хвастались о своих успехах, с оптимизмом поговорили о своих планах, позитивно оценили общественно-политическую обстановку в стране, скучно посплетничали о своих друзьях и сослуживцах, и разошлись, так и не поняв, для чего встречались. Наверное, для того, чтобы подтвердить, что мы успешные люди.

Глава 56. Успех

Успех вообще вторгся в отечественную жизнь неожиданно. Поначалу был кураж, игра в «хозяина горы». Этакое общенациональное шоу «А ну-ка возьми от жизни все! Если ты храбрый и сильный!» Игнали по-крупному, нечестно и жестоко. Победители получали миллионы, проигравшие – место на кладбище и памятник из мрамора. Впрочем, довольно часто победители пристраивались на кладбище по соседству с побежденными. Век успеха был недолог. Сама жизнь была подобна искре из популярной песни, которая гаснет на ветру. Что есть жизнь? – «миг между прошлым и будущем». Но когда буйные пассионарии упокоились в братских могилах, добропорядочные буржуа осторожно, но настойчиво начали отстраивать свою реальность, этаж за этажом, и социальные лифты с каждым годом все неохотнее поднимались вверх, а последние этажи и вовсе стали неприступны.

Теперь, конечно, смешно было вспоминать, что всего лишь двадцать лет назад успех ассоциировался с проституткой или бритым малым за рулем раздолбанного БМВ. Расслоение в обществе набирало силу необратимого химического процесса, когда в осадок откладываются никому не нужные элементы, а над ними булькает агрессивная среда, над которой в свою очередь конденсируется пар небожите-

лей. Неизбежное классовое расслоение, о котором так долго и настойчиво предупреждали коммунисты, свершилось! Разумеется, по-нашенски. Без всяких там протестантских фиглей-миглей. Без страха Божия. Без правосудия и всевидящего ока правоохранительных органов. Без контроля общественных организаций. С молчаливого одобрения напуганных международных организаций. Хамовато, жлобовато, с гротескными нечестностями, вульгарностью, жестокостью, плутоватостью и вороватостью, с шутками и прибаутками, с цинизмом и разгильдяйством, с жадностью и предательствами – словом, как на Руси повелось!

И ведь получилось! Проклятый капитализм, как борщевик Сосновского, несколько правда странной формы и пугающего цвета, вылез на белый свет и даже растолкал европейских чистоплюев. Обозначился средний класс, о котором мечтал в свое время Собчак – самый независимый, самый непокорный, самый нелюбимый властью класс.

Частная собственность, которой большевики пугали народ 70 лет, творила чудеса. Я полюбил рестораны. Я быстро привык к тому, что меня рады там видеть. Милые девушки в униформе улыбались, протягивая меню. В магазине отпала необходимость понравится продавщице, чтоб тебя обслужили с должным усердием. Покупатель был нарасхват и ходил, задрав нос.

Но самая приятная перемена произошла в нравах. Из обихода стало уходить повальное хамство. Эра жлобов заканчи-

валась. Сильные и бесстрашные жлобы загрызли друг друга в стычках за добычу еще в 90-е годы. Оставшиеся в живых пересели в «Мерседесы» и не маячили в общественном транспорте. Многие спились и были непригодны даже для мелко-го хулиганства. Некоторые жлобы стали перекрашиваться в порядочных, хотя в советское время выглядели устрашающе, как бармалеи. Прогресс помаленьку приносил плоды. Помог и кинематограф. На сцену вышел новый герой. Он мало говорил, не рвал себе рубаху на груди, не пил водку стаканами, не истерил и не ругался, как малахольный гопник. Он молчал, но демоническое лицо его не обещало ничего хорошего. Он умел смотреть так, что хотелось спрятаться. Он бил и стрелял без промаха. Безжалостность его была запредельной. При этом, если его не злили враги, он был вежлив, носил чистые рубахи, блестящие ботинки, модный галстук и дорогие костюмы, хорошо справлялся с вилок и ножом за столом и мог отвесить остроумный комплимент красивой женщине. Было с кого брать пример подрастающему поколению. Популярными во дворах 60-70-х типажи «а ля Промокашка» доживали свой век на зонах.

По подвалам и помойкам расплозились алкоголики, которые отвращали от пьянства и тунеядства убедительнее, чем самая оголтелая пропаганда.

За «базар» и взятые на себя обязательства приходилось отвечать. В годы моей юности набрать долгов, а потом забыть про них «до лучших времен» было плевое дело. Посме-

иваясь, должники говорили: «Всем прощаю!» Иногда дать в долг означало откупиться от приставалы.

Но вот пришли новые учителя с наколотыми генеральскими погонами на плечах и взялись учить дурака-обывателя по понятиям. Всерьез. Расхлябанности, безответственности, разгильдяйству, бессовестному вранью бандиты объявили беспощадную войну. В стране началась азартная охота за должниками. Излюбленное «завтра отдам!» больше не срабатывало, потому что будущего у должника не было. По той же причине не срабатывало и «я больше не буду!» Проблемы решались исключительно в режиме «здесь и сейчас». В кругу моих интеллигентных знакомых случилась неприятная история. Молодая семья, решившая разбогатеть на примитивной схеме «купил-продал», заняла у друзей 10 тысяч долларов. Знакомые – вполне приличные люди с высшим образованием и гуманистическими идеалами. Прошел срок, а денег нет. Должники разводили руками, улыбались, приглашали на чай, поговорить о Маркесе или Брехте, предлагали билеты на концерт; обещали вскоре разбогатеть... Но время шло, а богатство не прибавлялось. Тогда молодые стали по старой отечественной привычке в подобных случаях избегать своих займодавцев. На телефонные звонки не отвечали. Сами на встречу не напрашивались. Так прошло несколько месяцев. Наконец, Боря (назовем его так) подкараулил Мишу (назовем его этак) у парадной, вечером и объяснил, что, если деньги не появятся к исходу недели, весь долг перейдет

в распоряжение известной бандитской группировки. И они вытрясут все, до последней полушки. Удивительно, но деньги нашлись! Я говорю «удивительно», потому что, будучи в теме, думал, что денег действительно нет. Нашлись! Мне удалось сохранить нормальные отношения с обеими сторонами, но вот друг друга они видеть после этого не могли. Причем каждый считал себя обиженной стороной.

«За базар – ответишь!», – эти слова быстро вошли в обиход. За оскорбление можно было и пулю получить в живот. Шукшинские «чудики» нервно курили в углу. Они быстро скатились в разряд никчемных слюнтяев. Страна со вздохом облегчения избавлялась от рефлексирующих интеллигентов и болтунов. На смену приходил делец и решала. Даже заведомый пустомеля теперь укорачивал язык, чтоб не попасть в разряд придурков. Умные прятали свой ум, чтоб не прослыть умниками, то есть неудачниками. Шашки и шахматы стремительно теряли популярность. Образованные не выпячивались. Очень хочется показать всем свою значимость? – купи новую иномарку и грейся в лучах зависти и почтения. А с умом не лезь. А то и по голове можно огрести...

Конечно, лично я, как и многие другие, ждал расцвета культуры. Той самой, необыкновенной, о которой грезились нам, дуракам, в конце 80-х. Которой не бывает и быть не может. Так ведь и правового государства кто-то ждал, и демократии, и рыночных отношений. А получилось, как всегда.

Еще каких-то лет двадцать назад карьеризм высмеивался,

а карьеристов презирали. Теперь успех стал идолом, которому поклонились все. Началось великое капиталистическое соревнование «кто круче».

Если в начале 90-х путь к успеху был подобен штурму Измаила, то в нулевые это было уже терпеливое восхождение на Эверест. Одной безрассудной смелости было мало. Мало было и ума. Требовалось выносливость и твердость...

У Китыча и Андрея не было ни того, ни другого. Вход в средний класс для них был не просто закрыт, но – замураван. Несмотря на то, что они были крайне непохожи, в основном они были единоутробными братьями. Андре читал Марселя Пруста и Джойса, писал на досуге японские хокку, слушал «Лед Зеппелин» и Густава Малера, смотрел Тарковского и Бергмана и любил армянский коньяк, подогретый в ладонях. Китыч читал исторические романы про викингов и пиратов, писал последний раз только объяснительные в отделении милиции, с удовольствием смотрел диснеевские мультики и любил холодный спирт, разбавленный один к трем. Но тот и другой неизменно выбирали в своей жизни «хочу», когда в дверь настойчиво стучало «надо». Интересно, что в стране Советов такая жизненная философия не вызывала осуждений. Скорее наоборот. «Хочу» – означало некое своеволие, которому противостояла скучная общественная мораль. «Надо» было парторгу Петрову в ЛПОГЕ №2, когда он взывал к дисциплине на собрании шоферов, надо было главному редактору многотиражки «Путь в бездну» Тютю-

кину, когда он взывал к читателям поднять производительность труда, а шоферу Никитину и корреспонденту Бычкову надо было только одно – чтоб их оставили в покое.

Ну и оставили... Китыча с перебитыми ногами после аварии в 90-м году, Андрюху у разбитого корыта, когда закрыли автостоянку, которую он охранял 13 лет после того, как сбежал из газеты. Надо было как-то переформатироваться, чтоб встроиться в новую жизнь. Но ни у того, ни у другого не было ни сил, ни желания. Китыч пристроился таскать мешки на складе и честно пропивал зарплату за неделю, а потом питался картошкой и гречкой; Андре подвизался одно время у меня в «Вечерке» литературным обозревателем, но литература в России к этому времени утратила всякое величие, а писатель из властителя человеческих душ превратился в посмешище и символ неудавшейся жизни: Андрюха быстро остыл, разочаровался, скис и повис на плечах супруги, которая, к счастью, крепко стояла на ногах и мужественно содержала и мужа и сына.

Вымерли все мечтатели, ожидающие волшебного часа, когда придет необыкновенная удача и все наладится само собой. Умирала и великая советская культура.

«Скоты, – бормотал Андрей, возвращаясь со мной после обеда в офис редакции. – Ничего, скоро подавитесь своей блевотиной. Сами себя возненавидите. Сдохните от тоски. От пошлости сдохните. Туда и дорога».

Это он про современную постсоветскую культуру. При-

знаю, я и сам ждал, верил, что вот-вот придет час и народ взвост от ужаса и возмущения: довольно! Хватит с нас голливудской чепухи! Хватит пичкать эстрадным дерьмом! Дайте натуральную пищу! Где великие имена? Где великие произведения искусства?!

Счастье наше, что мы не знаем, что нас ждет впереди. Думаю, Толстой или Достоевский сожгли бы свои романы, заглянув в нынешний интернет.

Несколько слов скажу и о провинции, в которой перемены происходили особенно зримо, карикатурно и трагично. Я о своей любимой Псковщине.

В деревне перемен не хотели, не ждали и боялись. Колхозники к 80-м годам достигли невиданного благополучия и мудрым крестьянским сердцем понимали, что не надо от добра ждать добра. Но, кто ж спрашивал крестьянина в России?

Как-то в юности, летом, лежа на русской печи, я спрашивал от скуки свою безграмотную бабуку, какое время она помнит в своей жизни, как самое благополучное, и какое – самое тяжкое и страшное? Бабука – ровесница века – не ангажированная партийной принадлежностью и не плененная вредными философскими учениями, чистая умом и совестью, прожившая самый драматический век в истории человечества, включавший четыре страшных кровопролития, была самым подходящим объектом для социологического эксперимента. Она не задумываясь (о, как это важно!) ответила.

– Хуже всего было в гражданскую. Озверел народ – ужаси! Вспомнить страшно.

– А как же Великая Отечественная? Немцы? Партизаны?

– Ой, и не говори! Немцы пришли – сначала ничего, не трогали. А потом все пожгли. Партизан боялись. В землянках жили. Бывало, соберут нас в кучу – бабы, ребятишки – и гонят по большаку в Крюки. Куда? В Германию ихнюю, на работы. А из лесу вдруг – бах! бах! Наши! Полицаи бросят ружья, да наутек! Твоему батьке лет семь уже было, плачет! А партизаны нам говорят: «Поворачивайте оглобли, возвращайтесь!» А мы и рады. Немцы ведь сразу пришли. Как войну объявили по радио, так – глянь! На мотоциклах и заявились. «Мамка! – кричат. – Мамка! Млеко! Кура! Яйки!» А ночью партизаны, бородатые, страшные: «Мать, где еда? Показывай!» Худо – если найдут. Все начисто забирали. Если полиция найдут – тут же и повесят рядом с домом!

И помолчав, задумавшись, бабка добавляет твердо:

– Нет, в гражданскую было хуже всего. Озверел народ тогда, озверел.

– А самое благополучное? Ну, когда хорошо жилось?

– Хорошо жилось, когда землю раздали. После гражданской. У моего батюшки было пять гектаров. Хлеба стало вволю... А потом колхозы...

– Ну и? В колхозах-то хорошо было?

– Так кто ж нас спрашивал? Собрали и объявили – в колхоз! Бабы плакали...

– За колосок-то с полей, я слышал, в тюрьмы садили.

– Строго было. Работали за трудодни. Дед твой был в милиционерах. А гражданская – прости, Господи, и сохрани!

– А вот если бы сейчас все вернуть? Раздать землю – сей что хочешь! Коров держи – хоть десять штук!

– А кто же работать будет, глупенький? Работать-то разучились! Легко ли хлебушек растить? У нас кто остался? Тимоха, да Авдоха! И те пьют кажин Божий день... Что ты, сынок!

Тимоху я помнил. Вредный был мужик, угрюмый, завистливый. После войны бригадиром был в колхозе. Мама моя рассказывала уже в перестройку – я поверить не мог:

– Не любил он нашу семью. И наряды выписывал невыгодные и притеснял. Издевался. Бывало, косим траву, а он на пятки наступает и покрикивает: «Ну ты, безотцовщина, поворачивайся живее!» Это он меня обзывал за то, что без отца жила, отец на фронте погиб... Так обидно было! До сих пор помню и простить не могу. Ведь без отца в деревне – гиблое дело! А где матери было взять нового хозяина в дом? Считай половины мужиков как корова языком слизнула. За что нас так?

– А чтоб жизнь медом не казалась! – ответил бы сволочь-Тимоха. Сам прожил никудышную жизнь, так с чего бы ему и не повредничать? В деревне Юршино, куда переселился дед уже перед смертью (тут и магазин был рядом и Киевское шоссе) случилась такая вот интересна история. Жил-

был в деревне мужик, чем-то напоминавший Тимоху – такой же заросший неопрятной бородой, такой же ядовитый на язык, скупой и вредный. Жил – не тужил, с соседями не дружил, но и не враждовал. Однако решил съехать куда-то в Белоруссию. Собрал свой скарб и как-то ранним утром погрузился в грузовик, не попрощавшись. Днем сельчане пришли к общему колодцу и ахнули. Из колодца воняло соляжкой. Рядом валялись два искалеченных ведра. Такую вот добрую память оставил о себе человек из рода Каинова, пусть ему икнется на том свете!

Новый человек, о котором любили порассуждать советские пропагандисты, в деревне доживал свой исторический век по-гоголевски ярко. Расскажу только про двух.

В деревне Юршино мне довелось провести отпуска в дедовом доме не одно лето. Одно время я даже мечтал навести здесь порядок, чтоб на пенсии стать фермером (ну молодой был, наивный, извините!). В соседях у меня в ту пору был долговязый смурной мужик по имени Борис. Сам с этих мест. Когда-то эмигрировал в Ленинград, женился, потом стал попивать, скандалить, воровать, и наконец, вернулся в деревню без копейки в кармане и со своеобразным, аскетически суровым взглядом на жизнь. Главное, что вынес из городской жизни Борис, было убеждение, что работают только законченные дураки. Сам он отказывался работать категорически. Когда весной еще дышавший на ладан совхоз предложил ему пару мешков посевного картофеля – Бо-

ря только сардонически усмехнулся. Правда, картофель взял и съел. Дрова он не заготавливал тоже принципиально. Когда пришли суровые зимние холода – стал выламывать половицы из собственного пола, ими и топил печь. Стулья и скамейки пошли в первую очередь. Чем питался, на что пил Боря – можно было только догадываться. Во всяком случае в моем доме за зиму не осталось ничего металлического (ценного не было давно). Выдрано было все до последнего гвоздя, даже печная затворка пошла в дело, то есть в скупку металлолома. При этом чудак готов был отмахать десять километров, чтоб набрать грибов и продать мне по цене бутылки самогона. Как-то раз я вместо денег дал ему две банки тушенки – пусть поест человек! Зная пагубные наклонности Бори, банки вскрыл. И что же? Через полчаса вижу, как Борис несет вскрытые банки на вытянутых руках к тетке Зое, которая открыла у себя шинок. Вот у ж воистину, не хлебом единым...

Век подобных особей был недолог. Как и местные коты, они погибали в пьяном виде под колесами рефрижераторов, которые неслись в ночи, не снижая скорости в деревнях.

Второй тип – несет в себе типично русскую загадку. В середине 90-х (Боря уже освободился условно-досрочно из земного заключения) я понял, что печь в моем доме надо менять. Она разваливалась на глазах и страшно дымила. Я навел справки у соседей и родни и отправился в соседнюю деревню, к некоему Гене, о котором все говорили, уважитель-

но понизив голос.

Гена жил один в большом желтом доме. Ни кур во дворе, ни собаки в будке. Из покосившегося хлева – ни звука. Из-за дома, правда, высовывался старый сад с яблоками и в траве я заметил пару старых ульев. Колхозы, переименованные в АО, в ту пору платили копейки и крестьяне жили исключительно натуральным хозяйством. Чем же тогда жил Гена?

Печник оказался мужичонкой средних лет с черным от загара лицом и голубыми глазами.

Я предложил ему за работу сумму, которая равнялась годовалому заработку рядового труженика АО. Приготовился поднимать его с колен со словами:

– Ну что ты, старина, не стоит благодарности. Без печки сам понимаешь – никак!

Печник выслушал меня равнодушно. Он не переигрывал, не набивал себе цену. Спросил только.

– У тебя курево есть?

– Не курю.

– Я «Приму» курю, если «Примы» нет – бери «Беломор». Две пачки.

Только тут я понял, что от меня требуется. Так и не закрыв рот от удивления, задом вышел из избы и оправился в магазин. Взял десять пачек. Вернулся.

Гена, распечатав пачку, оживился. Я описал ему ситуацию и еще раз, значительно напирая голосом, назвал сумму. Может не расслышал человек?

– Ну и, как водится, – играючи подмигнул я, – с меня магарыч за хорошую работу: армянский или дагестанский? Какой коньяк предпочитаете?

Печник подыгрывать не стал. Он на своем веку насмотрелся на всяких ломак, ему было неинтересно.

– Глина нужна. Есть глина?

– Вы, может быть, глянете печь-то?

– Печь разобрать нужно. Приготовить все. Но без глины никак.

– А где ее взять-то?

– На берегу ее полно. Но надо места знать.

По виду Гены стало понятно, что «места» выдавать он не намерен.

– Мне бы к августу – во как нужно! У меня отпуск будет. Семья приедет. За два месяца управитесь?

– Я за два дня сделаю. Ты, главное, глину давай!

Договорились, что перед отпуском приму работу. Напоследок я еще раз (!) озвучил сумму гонорара, дожидаясь увидеть в глазах печника огоньки долгожданной алчности, но тот лишь буркнул

– Ладно, сочтемся.

Из избы я вышел вспотевший, но в душе зародился оптимизм, столь опрометчивый в России. Я рассчитывал на родню. Дядя Толя, оказывается, знал про нужную глину. Юра, двоюродный брат, помог и накопать ее на берегу Великой и довести до моего дома на своей лошади. Печку разобрали

вместе с братом, воду приготовили. На стол я водрузил целую упаковку «Примы» и уехал в Петербург с легким сердцем.

Два месяца спустя я обнаружил глину на том же месте, только покрытую сухой коркой. На месте были и кирпичи, и ведра с водой и даже «Прима».

На месте оказался и Гена. Я вскочил в его избу, как угорелый.

– Ген?! Что случилось?! Печка где?

Гена, казалось, так и не вставал со своей лавки. Он откашлялся от никотиновой мокроты и сказал через силу.

– Песок! Забыл про песок! Речной нужен. Чистый!

– Будет золотой, только едем прямо сейчас! Машина у подъезда!

Семья временно приютилась у родственников. Печку клали втроем – я, Юрка и бригадир Гена. За два дня соорудили. Зажгли. Синий дымок полез было из топки наружу, но вдруг всосался, огонь вспыхнул, потянулся вверх, печь ожила, запела свою извечную, радостную песню и сразу захотелось обнять и расцеловать печника, простив ему все прошлые и будущие грехи!

Через два года печка развалилась – прогнили столбы под полом. К этому времени мы окончательно расстались с мыслью обосноваться в дедовом доме и поэтому не сильно переживали. Гена умер тоже года через два. Спился. Умер он в авторитете, как незаменимый специалист. О нем долго вспо-

минали.

Покойся с миром, Генка!

В самую пору воскликнуть, подводя итог рассказу – ну вот он, непутевый русский народ! Но вот – фигу вам! Не воскликну! Во-первых, русский народ – это далеко не только Генка и Борька. А во-вторых, я с любовью вспоминаю Генку-печника! Он для меня ближе и симпатичней, чем вертлявый нервный прыщ в приталенном пиджачке и с галстуком на тощей шее, который бежит с одного совещания на другое, прижимая к уху раскаленный телефон. Генка никуда не торопился, никого не обижал, никому не завидовал. Жил в свое удовольствие и наполнял окружающих отрадной уверенностью, что они не самые непутевые на свете, есть люди и похуже. И ничего ведь, встречают рассветы, провожают закаты, бывает даже попивают армянский коньяк (я-таки свое обещание выполнил).

Глава 57. Русская литература

Меня часто спрашивают, что я люблю в жизни. Отвечаю: природу, русскую литературу и английскую рок-музыку 70-х годов.

Русская литература была для нас, интеллигентов, почти религией. Говорят, что умный Черчилль в конце войны не скрывал, что главная его цель – сломать хребет не только нацизму, но в первую очередь Шиллеру, то есть сломить сам германский дух, из которого рождались не только великие философы, композиторы и писатели, благородные разбойники и романтические герои, но и свирепые завоеватели. Зигфрид был повержен, но не умер. Добивал его Голливуд.

Нечто подобное случилось и с русской литературой в конце XX века. Запрещать ничего не понадобилось. Достаточно было положить рядом на прилавок Чейза и Толстого. Или Стивена Кинга и Достоевского. Если перед ребенком поставить стакан простокваши и стакан кока-колы, выбор будет очевиден. Голливуд только и ждал, когда перед ним распахнут двери. Как матерая раскрашенная блядь, с визгом и хохотом, вломилась в них и западная массовая культура. Высокомерно задирать нос было уже поздно. Демонстративно отворачиваться бесполезно. С глазами испуганных сусликов взирала на это буйное непотребство кучка уцелевших оте-

чественных интеллектуалов. Некоторые, по вьезшейся привычке, стали находить глубокие смыслы в происходящем, как некогда их деды находили оправдание сумасшествию Пролеткульта; некоторые даже пытались встроиться в новую реальность, чтобы «незаметно» внедрить в нее ген высокой культуры и хоть немножечко подзаработать. Напрасно. Высоколобых выдавал высокий лоб. Их презирали. Их оттерли в темный угол, а на страже поставили огромного, бритого под ноль бугая с бейсбольной битой в руках. Наглые красавчики в островерхих колпаках с подобающим названием «Отпеченные мошенники» грянули с экранов песенку: «Эй, хали-гали, наши времена настали!» Как тут не вспомнить публикацию (названия не помню, прочитал в воспоминаниях священника Федченкова) в православном вестнике от 1905 года. Крестьянин Тульской (кажется) губернии рассказывал, что однажды летним утром вышел на берег пруда и вдруг увидел, что на ветках деревьев (кажется, ивы) сидят странные существа. Не больше метра росту, в островерхих колпаках, на которых были намалеваны звезды, с бородатými лицами старичков, но весьма подвижные, они раскачивались на ветках и громко пели: «Наши времена настали!»

Таки настали. За советскими воротами, наглухо запетыми несколько десятилетий, захватчиков встречали толпы восторженных коллаборационистов.

Не было заговора издателей против классической литературы. Просто всем хотелось разбогатеть. Все искали золотую

жилу. Быстро исчерпался интерес к запрещенным именам, быстро надоели шуты, которые воображали себя непризнанными гениями, спились или ушли в глухое подполье совестливые правдолюбцы, честные подвижники русской литературной традиции, которые до последних дней своих считали, что поэт в России больше, чем поэт, а удел писателя – будить в душах доброе, светлое, вечное.

На смену пришли те, кто еще вчера глядел на литературное творчество с робостью, как на удел избранных. Попробовал один – издали, попробовал второй – напечатали и даже заплатили. Молва о том, что еще и платят, стала началом Ренессанса графоманской литературы. Читать стало скучно. Гораздо интереснее писать. Что мог сочинить мозг средних размеров, закончивший на тройки среднюю советскую школу? Правильно, сагу про богатыря, наделенного таинственной силой, который изгоняет из леса трехглавого дракона. Кто мог прочитать подобную дребедень? Правильно, тоже мозг среднего размера, но слишком ленивый, чтобы самому сочинить нечто подобное. Кто мог напечатать подобное? Да кто угодно! Лишь бы шла прибыль. Драконы плодились, как кролики, и становились все крупнее. Им не сиделось в своих пещерах, они упрямо хотели погубить человечество и героям с волшебными мечами приходилось туго. На помощь пришли пришельцы из других миров. Тут границ фантазии не было вообще. Впрочем, хоть границы отсутствовали, фантазии были скучными – у инопланетян были надоев-

шие огромные глаза и вытянутые затылки; для особо продвинутых сочинители придумали некую кремневую жизнь. Непонятно? То-то же. Чем страшнее была реальность вокруг, тем глубже в космос убегал человек. В миры, где самый страшный монстр был милее и безобиднее, чем коллектор, позвонивший в дверь.

Собственная жизнь, реальная реальность, потеряла всяческую ценность. Человек, который не мог прыгать, как кузнецик, с одного дома на другой и сокрушать магическим лучом неприступные стены, читателю был не интересен. Слишком обычен и слаб. Необходимо было модернизировать устаревшую модель «гомо сапиенс». Опытные конструкторы навесили ему дополнительные датчики, заменили мозг на компьютер последней модели, вынули за ненадобностью душу, форсировали сердечную мышцу и пустили гулять по всему белу свету с лазерным автоматом наперерез. Сработало. Киборги и терминаторы сокрушали гомо сапиенсов на раз, к восторгу гомо сапиенсов. Лично я уверен, что, если бы в мир явился Большой и Ужасный Терминатор пятого поколения, большая часть человечества добровольно и благоговейно встало бы перед ним на колени. Такова сила искусства.

Когда-то Гитлер бредил сверхчеловеками, а Сталин обожал марш про настоящих мужчин, у которых «стальные руки – крылья, а вместо сердца – пламенный мотор». Подозреваю, что диктаторам необходимо было повелевать необыкновенными людьми, потому что обыкновенные никак не хотели

становиться рабами. У обыкновенных всегда в голове чепуха про пеленки-распашонки и полуденное чаепитие под липами, а штурмовать крепости и страшно, и хлопотно. Теперь, дорогие тираны, проблема близка к разрешению. Маленький чип в жопу и гомо сапиенс полезет не только на вражеские штыки, но и на Небо, и при этом умерен в еде и послушен, как ягненок.

В «живых» после нашествия инопланетян и духов преисподней в кино и литературе остались маньяки и бандиты. За ними было оставлено право сохранить человеческие черты и производить злодеяния в мире, который был похож на настоящий.

Такие вот дела, братья и сестры.

Удивительно, что, гоняясь за выдуманной тайной, читатель не задумывался, что тайны окружают его со всех сторон. Что он сам – главная тайна во Вселенной. Что Библия буквально напичкана тайнами, которые не меркнут вот уже три тысячит лет с гаком и поражают воображение до мурашек на коже. Что перед каждым человеком стоит задача понять, зачем он родился на свет и что ему предстоит сделать в отмеренные годы. Что обыкновенная летучая мышь – это творение Гения, а смешной голливудский уродец из созвездия Альфа Центавра – жалкое подражание Творцу

Все эти вопросы, которые столетиями поднимали человека из беспросветного уныния и скотства, теперь высмеивались или затирались. Надоело! Куда актуальнее было понять,

что предстоит сделать человечеству, если оно столкнется с враждебной неземной цивилизацией. Или как взорвать астероид, который мчится к земле по роковой орбите. Словом, любая проблема, которой нет и в помине, любой вопрос, который уводит в пустые мечты.

Глава 58. Писатели

Кто же остался верен наследию великой русской литературы? Мне довелось в начале нулевых присутствовать на встрече читателей с писателями в доме Пушкина на Мойка, 12, которую проводил журнал «Родные просторы». Я только что опубликовал роман «Дитя во времени» и был в числе приглашенных.

Собрались люди, которые еще лет пятнадцать назад верили, что литература – это святилище, куда простым смертным вход воспрещен. Что писатель – это баловень богов, которому даны ключи от даров небесных. На одутловатого старика с одышкой и лиловыми узорами капилляров на обвисших щеках экзальтированные еврейские девушки из интеллигентных семейств смотрели почти с эротическим обожанием – еще бы, старикан издал уже дюжину книг общим тиражом в миллион экземпляров. У него дача в Комарово, а летом он отдыхает в Варне! Само слово «писатель» обладало магией. Поэт в советской России был больше, чем поэт – он был уважаемым человеком!

И вот... Пожилые тетушки с тусклыми лицами, в вязаных шапочках, тяжелых зимних пальто, рассаживаются на стулья, растерянно оглядываются, кого-то ищут взглядами; суетливые старички в поношенных, советского покроя ко-

стюмах, занимают места поближе к сцене; некоторые бодрятся, другие надменно-мрачны, ненатурально зевают, пытаются играть на публику, которой нет до них дела – и все знают друг друга, все члены одной ассоциации бедняков и неудачников, которым выделили помещение на один вечер, чтоб обменяться своим нытьем и жалобами.

Не в бедности, конечно, дело, кого удивишь бедностью в России? Нет огня, который бушевал на литературных собраниях в прошлом, нет наглой уверенности в своем призвании, в своем великом предназначении, нет чувства превосходства над обывательским миром, где господствуют трусливые мещане, нет восторга великой миссии и благодати глубоких идей.

Жалобы, ностальгия, хныканье, не вызывающее сочувствия, оптимизм, вызывающий стыд... Кто-то читает свои вирши, кто-то хлопает, потому сейчас подойдет и его очередь читать... Все писатели и никто этим не гордится. Потому что раньше нельзя было, а нынче «всем раздавали бесплатно, ну, и я взял!» За деньги книжку мог издать даже полный идиот. За дополнительные деньги можно было даже купить восторженные отзывы критиков.

Вот тут и выяснилось, что писать худо-бедно умели многие, а вот сказать было нечего. А потом и некому.

Невольно хотелось огородиться от этой публики. Подать жирный знак: «Я не с вами! Я – другой. Не прикасайтесь ко мне! Я боюсь заразиться.

Если входил я в Пушкинский дом еще с некоторыми иллюзиями, то вышел с твердой мыслью: «Я не писатель! Боже упаси! И не хочу им быть!»

Возможно, мое сравнение покажется кому-то надуманным, но мне оно представляется забавным и поучительным – коммунисты и писатели. И те и другие обладали сравнительно недавно сокрушительной властью в обществе. Одни направляли, другие вели. И те, и другие старались на совесть, создавая новый тип человека. И ведь создали! В кино, в повестях и романах, на съездах и пленумах. В стихах. В музыке! Инопланетянин, задавшись целью понять землян, изучая документы партийных съездов и советскую художественную литературу, остался бы доволен: еще немного, еще чуть-чуть и пик Коммунизма будет покорен! И вдруг кто-то содрал белую простынь с рамы и луч кинопроектора ушел в глухую ночь. Все! Кина не будет. Кинщик спился.

Глава 59. Наши и ваши

В людской среде своими часто становятся вчерашние враги, которых породнила сама жизнь. Дворовые соперники, подравшись, становятся закадычными друзьями на всю жизнь. Разноязыкие народы, стиснутые судьбой и лютыми врагами, становятся одной семьей. Своими. Это хорошо понимал профессиональный подлец Александр Невзоров* (сам он гордился тем, что в совершенстве овладел «наукой» оскорблять людей), когда назвал в начале 90-х свою популярную телепередачу «Наши». «Наши и ваши» были и будут существовать, пока существуют границы государств, пока существуют народы, самобытность которых закреплена в языке и культуре, пока в человеке не иссякнет воля к истине и правде, в которых он находит единомышленников и союзников.

Патриотизм не может быть ни квасным, ни умеренным, не чрезмерным. Он просто или есть или нет. Любое уточнение к нему – непристойность. Любое принуждение к нему – мерзость. Клятвы, пафос – неуместны. Уничуждение – пагубно.

Патриотизм рождается и развивается из самоуважения. Самоуважение – чувство с глубоким корнем. Нужно триста лет поливать траву, прежде чем она становится английской. Нужно, чтобы в уютном доме из красного кирпича и живописной лужайкой перед крыльцом с чугунными перилами,

в котором вы проживаете от рождения, висели портреты ваших прапрадедов, желательно в мундире с орденами, чтобы вас невозможно стало соблазнить мировой революцией и дурацкими социальными экспериментами. Нужно, чтобы ваши дети приезжали домой на каникулы в форме университета, которому уже шестьсот лет, а где-то в Лондоне, в заветном сундуке хранилась «Великая хартия вольностей», датированная тринадцатым веком.

Отмените это все, начните все сначала, и страна рухнет в мрак и отчаянье. Смешайте принудительно разные народы в единую семью, и вместо симфонии братской любви получите советскую коммуналку, где соседи боятся оставить кастрюлю со щами на общей кухне.

Моей стране на момент моего рождения не было и полувека. Я уже писал вначале, как любил ее в детстве и как пытался сохранить эту любовь с годами. Любить и уважать с подачи школьного образования было трудно. Невозможно!

Судите сами.

Школьное образование втолковывало мне без малого десять лет, что где-то тысячу с лишком лет назад мои предки обратились к скандинавским соседям с нелепой просьбой: «Придите и владейте нами, потому как порядка у нас нет и не предвидится!» (Ого? Так ведь и сейчас нет!) Ладно. Скандинавы не долго упрямылись (еще бы, подфартило-то как!), выбрали главного и приплыли с воинами на драккарах, и завладели. Земли и правда было вдоволь, и зверя, и пушнины,

и рыбы – тоже. Казалось бы, живи и радуйся. Так нет же, дорогой пионер Миша, радоваться было рано! Богатые сразу захватили власть и сделали жизнь бедных невыносимой! Началась великая и бесконечная война классов! Впереди – столетия нужды, несправедливости, войн, жестокости, мракобесия, пьянства и варварства, каторжных работ и виселиц. Ни капельки свободы. Деспотия, черт бы ее побрал! Голод и холод! Сволочи монголы, гады князя, безжалостные са-трапы – цари, подлые бояре и продажные дворяне, жадные попы, ненасытная Церковь и, конечно, проклятое крепостное право, которое цепями висело на шее крестьянина и, что особенно угнетало, – от века к веку все усиливалось и усиливалось, так что создавалось впечатление, что при Рюрике крестьяне должны были жить, как в раю. Как полюбить такую страну? Как уважать ее? Как уважать себя? И зачем нужен Гитлер, который хотел обезличить наш народ, железным кулаком вогнать его в беспамятство и первобытную дикость, если есть советские учебники истории, которые справляются с этой задачей наилучшим образом?

Ах, да! Извините. В конце концов, когда Россия уже корчилась в предсмертных муках, пришли большевики с благой вестью от Маркса. Спасены! Отныне и навсегда! Мессия прибыл в поезде из Женевы! Встречайте! Этот на крест не пошел. Принял и власть, и славу, и богатство. Воцарился без промедления и без промедления начал резню. Во имя новой жизни.

Проблема была в том, что эту новую жизнь я уже отчасти видел собственными глазами. Жизнь... так себе. Абсолютно непонятно, зачем было мучить и уничтожать миллионы людей, чтобы добиться этого результата. Ну, накормили. Можно подумать, что пропали бы с голоду без большевиков. Я где-то читал воспоминания, кажется, Микояна, как Хрущев представлял себе коммунизм: лужайки, беседки, в беседках бабы в нарядных сарафанах у самовара, на столе выпечка свежая. Хочешь бублик? Бери! Хочешь рогалик – пожалуйста. Бесплатно! Хорошо! Спасибо родной партии! Бублик, правда, подгорел, но об этом промолчим, а то как бы не отправили клюкву за полярный круг собирать.

И это все??!!

До подобного изобилия я не дотянул. Но хлеба при мне действительно было вдоволь. Был первый спутник, был Юрий Гагарин, была мощная армия, чугуна выплавляли, если не ошибаюсь, больше всех. И была эта чертова партия, которую никто не выбирал, и которая шарахалась то вправо, то влево, пока не сошла с рельсов.

Такая вот история. Тысяча лет бесправной нужды и полсотни лет сомнительного социалистического счастья. Мало-вато будет. Не мудрено, что соблазнить нас другими мифами было так легко и просто. «Ах, обмануть нас было не трудно, мы сами обманываться были рады!» Есть, есть на Западе мир, где все по-другому! Там пользуются биде, там на завтрак круассаны обмакивают в чашку с кофе. (Как мило! А

мы, дураки сиволапые, до сих пор по старинке – вприкуску!) Там фермеры читают Фолкнера, а в засохшей какашке, выставленной в музее, находят непостижимые смыслы, которые на аукционах оцениваются в тысячи долларов! Там ядовитый смог становится романтическим туманом, вдохновляющим художников, а о бандитах слагают саги! Там любое непотребство превращается в искусство, а безобразия становятся модными.

Дивный мир! Недоступный и желанный!

И я был заражен этим мифом, и я прошел все этапы грехопадения вместе со своим поколением – от и до.

Излечение началось в начале 90-х. В школе я смотрел на Запад, как деревенский пастух на «Голубой огонек» по телевизору в новогоднюю ночь. Открыв рот. С нарастающей эрекцией и раздражением к своей конопатой неопрятной Душе, которая чавкает за столом, к раздолбанной гармонике, закинутой на печь, к засранным коровами полям и лугам.

В середине 90-х я понял, что меня и мою страну кинули, как последних лохов, взрослые дяди в смокингах, с фальшивыми зубами и обещаниями. Поняли это и миллионы других, но остановить вакханалию воровства и беззакония было невозможно. Страна уже сдохла. Рабочие муравьи ждали, когда со стола упадут хоть какие-то крошки. Гиены ждали, пока самые жирные куски туши не обглодают голодные львы. Это был триумф победителей. Тех самых, которые стояли в тени, пока простой народ драл глотки на митингах.

Это был триумф советской историографии, советских уроков пролетарского интернационализма и манифестации общечеловеческих ценностей.

Глава 60. БМГ

Путин стал полной неожиданностью не только для Запада. Никто не ожидал его и в России. Сначала не принимали всерьез. Особенно в Петербурге, где многие еще недавно жали ему руку. Рука обыкновенная. И сам из простой семьи. Учился в обыкновенной ленинградской школе. Наверное, даже на трамвае ездил и пирожки с капустой по шесть копеек у метро покупал. Нет, не мессия!

Нет пророка в своем Отечестве!

В «Комсомолке» вышло интервью с каким-то заслуженным психологом, который уверял, что у Путина астенический тип личности и долго он на Олимпе не протянет. Тогда на виду были краснобаи, вроде Бориса Немцова или Ирины Хакамады. Чувствовалось, что элита перетрусилась и растерялась. Не ихний был человек. Не прикормленный. Простой народ сомневался. Настоящий герой должен был появиться из грозowych облаков, с голосом, подобным басу генерала Лебеда. Спаситель! Огромного росту и в красной рубахе!

А тут... Тихий, вежливый. Правда – спортсмен, разведчик. По-немецки знает.

Года через три даже до самых упертых дошло – мягко стелет, да жестко спат. Иронизировать перестали, умные бросились искать дружбы хотя бы с друзьями друзей главного

друга.

Мне довелось работать без малого десять лет с человеком, который другом Президента действительно был. Олег Константинович Руднов возглавлял Балтийскую Медиагруппу и входил, пожалуй, в первую десятку самых влиятельных персон Санкт-Петербурга.

Человек невероятно сложный, порой тяжелый, он стал надолго моим учителем в профессии, которую я, казалось бы, уже знал назубок. Как и все успешные люди, он верил в свое дело, но придавал ему значение, которое было шире и глубже простого успеха. Это была его миссия. Получив авансом в руки огромную власть, Руднов понимал, что становится должником человека, которого боготворил и которому верил безоговорочно во всем. Эту веру чувствовал каждый. Те, кто не разделял ее или не соответствовал, скоро выпадали из команды.

Главная заслуга Руднова в том, что он вернул в профессию моральное измерение. Он требовал от журналистов совестливости. Те, у которых совести не было, вынуждены были притворяться. В начале нулевых само слово «совесть» было еще старомодным. Произносили его в приличной компании с ухмылкой, которая в лучшем случае должна была свидетельствовать, что разговор приобретает чересчур сентиментальный и пафосный характер, в худшем – это было обвинение в ханжестве и мракобесии.

Руднова тоже пытались обвинить в ханжестве. Свидетель-

ствую, как на духу – это неправда. Руднов был совестливый человек. И ранимый. Возможно, это было причиной его крайней неуравновешенности и подозрительности. Он мог по-царски одарить человека за ударный труд, но легко терял доверие к нему, если тот был стал жертвой банальной клеветы. В БМГ он был царь. Как и при всяком царском дворе, у трона толкался разный люд. Были и льстецы, и несчастные правдолюбцы, и шуты, и были откровенные подлецы, которые демонстрировали свою рабскую преданность с таким звероподобным усердием, что руководитель невольно отвечал им стыдливой признательностью. «Знаю, – признавался он своему другу в приватной обстановке, – знаю, что подлец, но дело знает и грязную работу, если понадобится, исполнит».

Я верю, что в истории отечественной журналистики Олег Руднов займет достойное место. Так думаю не только я. Большое, как известно, видится на расстоянии. Крупный был человек. Шероховатый, колкий, тяжелый... как глыба. Об него разбивались, если вставали на пути, но за него и цеплялись, когда нужно было пробить неприступные стены. С ним заискивали и хотели дружить многие именитые и богатые. С его подачи назначали министров. Он был в силах помочь и знаменитому режиссеру и бедной вдове. К Церкви он относился подчеркнуто лояльно, но при этом оставался типично советским человеком. Думаю, Господь Бог был для него управителем чисто мирских дел, которому требо-

вались честные помощники для построения идеального общества на Земле. Небесное вызывало в нем недоверие, хотя ему доставало ума и смирения не умничать и не ерничать на эту тему. Он был по-советски идейный. Некоторых это раздражало. Нелепо звучит, я понимаю, и все-таки именно так. Идейность в нашей среде приветствовалась на праздничных застольях и торжественных мероприятиях. Блокадников любили в День снятия Блокады. Ветеранов чествовали в День Победы. Родину славили 4 ноября. Это была некая обязанность, которая не отнимала у занятого человека много времени и сильно не обременяла. Это вроде как праздничношающемуся поставить свечку у иконы, случайно забредя в храм, и тут же забыть об этом, поскольку дела есть и поважнее. У Руднова эта свечечка горела постоянно. Пусть неярко, но засыпать ему безмятежно не давала. И он подчиненным не давал засыпать. Тема маленького человека была для него главенствующей. Оскорбить высокомерием маленького человека было для него столь же недопустимо, как оскорбить его собственную мать, которая поднимала его на ноги, трудясь на тяжелой работе.

Десять лет в БМГ стали самой счастливой порой в моей журналистской карьере. Я возглавил газету, которую читали, помимо Петербурга, во всех областях Северо-Запада и, что немаловажно, в Москве. В этом огромном королевстве у меня был всего один начальник, и этот человек обладал огромным политическим весом, который позволял нам быть

воистину независимыми. Для журналиста писать то, во что веришь – несбыточная мечта. Мы не просто могли критиковать власть, мы были обязаны это делать. Власть сообразно своей природе за это на недолюбливала, но уважала. Не буду подробно распространяться о подвигах, скажу лишь, что благодаря непримиримой позиции БМГ, Петербург не потерял тогда многие памятники архитектуры в центре города, а тысячи нуждающихся бедняков получили помощь благодаря «Общественной приемной» при нашей Медиа-Группе.

Газете «Невское время» имела прочную репутацию либерального издания. Костяк коллектива составляли проверенные борцы за свободу слова, которые весь смысл своей своих профессиональных усилий видели в том, чтобы подавлять инакомыслие. Никакого заговора против правды. Никаких злобных инсинуаций! Эти люди действительно боролись со свободой во имя свободы! Любимый ленинский вариант! Всю жизнь они страдали от запретов, маялись от единомыслия, ломали идеологические оковы, и вот, наконец, сломали. Ура! Демократия! Свобода! Кто против свободы?! Казнить его! Напоминает анекдот:

В партизанский отряд попал в плен грибник и говорит удивленно:

– Мужики, вы че? Война уже давно закончилась?

Командир партизан задумчиво трет лоб.

– Да? А чьи же поезда мы до сих пор под откос пускаем?

Даже самые умные из либералов становились в тупик, когда сталкивались с иной точкой зрения. Сергей Ачильдиев искренне пытался достучаться до моего сердца:

– Миша, но ведь это же бред! (бред – любимое словцо по обе стороны идеологических баррикад)

– Сережа, это просто другая точка зрения. Автор имеет на это право.

– Но это же мракобесие! Эту точку зрения давно опровергли.

– Кто?

– Как кто? Да все!

Ортодоксы свободы слова были и в «Вечерке», но у тамошнего корабля и трубы были пониже и дым пожиже. «Невское время» же задумывался как серьезный общественно-политический проект с серьезными политическими амбициями. Слово «патриотизм» для Руднова не было ругательным и в мою задачу входило донести это до всей редакции.

Крайне правый фланг идеологического фронта представлял Паша Виноградов. Сибиряк с польской родословной, крупный, бородатый, громкий, расхристанный, жил он полуполюгально в полуподвальном помещении при газете в доме Набокова с незапамятных времен. Паша очень был похож на православного, каким его видит напуганный либерал, и был им. Давным-давно он даже учился в семинарии. Взглядов своих, кои сейчас назвали бы консервативными, Павел

никогда не скрывал и когда брал слово на планерках и летучках, либералы склоняли головы и начинали нервно чертить в блокнотах всякие рожицы. Характер у Паши был далеко не всегда православно-елейный. Недаром в свое время он пострадал от власти, будучи в Сибири радикальным неформалом. Когда дело касалось веры, вспыхивал как порох.

– Я православный! – кричал он поникшим головам. – Забыли? И другой точки зрения у меня быть не может!

Надо отдать должное Паше – свою точку зрения он никому, в отличие от либералов, не навязывал и в редакции всегда был в меньшинстве. К нападкам относился со смирением.

– Ты видел, как они возбудились? – говорил он мне после планерки, хитро улыбаясь в бороду. – Это им бесы покоя не дают. Подзуживают...

Я испуганно оглядывался вокруг, чтоб не дай Бог нас услышали, и говорил торопливо:

– Да, да, конечно. Только и ты, Паш, особо не дразни, бевсов-то... А то сожрут они нас к черту.

Пашу много раз еще до меня хотели схарчить, но вот ведь чудо – уцелел! Возможно, был очень колоритен, тот случай, когда человека можно демонстрировать гостям, как пример плюрализма; может быть, обезоруживала ясность его мировоззрения, в котором трудно было найти крамолу, хотя православие в целом, в глазах его бывших начальников, было крамольным, не знаю... Во мне он сразу почувствовал за-

щитника и распрямился. Писал он хорошо, кругозором обладал, как историк по образованию, широким, и умом глубоким.

На первых порах он был и единственным настоящим консерватором в команде. То есть человеком, который не верит, что завтра будет непременно лучше, чем вчера и сегодня, и поэтому не спешит туда, задрав штаны.

Несколько человек в редакции Пашу откровенно не любили и время от времени мне приходилось разбирать их доносы. Один раз я не выдержал и прилюдно сказал всем:

– Виноградов – единственный, кто еще не пожаловался на других. Берите с него пример!

На либеральном фланге кипели мысли. Время от времени Смольный подбрасывал новые идеи, которые нужно было в кратчайшие сроки привить необразованному простонародью. Толерантность. Это когда человек может выпить литр водки и не запьянеть. Или когда раскрашенные бляди прилюдно запихивают в свои вагины дохлых цыплят, а ты деликатно смотришь в другую сторону. Политкорректность. Это когда проститутку называют сначала «путаной», потом «ночной бабочкой», а потом «девушкой с низкой социальной ответственностью». Труднее было с однополыми браками. Вспоминаю как либералка Казакевич рассказывала, краснея (еще краснея!) про прием в консульстве Швеции.

– Торжественная часть закончилась, гости разошлись, остались только мы, самый ближний круг, так сказать. Кон-

сул говорит: «А сейчас я познакомлю вас с моей женой!» И входит здоровенный такой... мужик! Я чуть в обморок не упала!

Здоровая реакция психически здоровой женщины. Приблизительно так же любой из нас отреагирует на предложение отведать бифштекс из мужчины. Шокирует? Тогда можно подискутировать. А если мужчина молодой? А если его откармливали экологически чистыми продуктами? А если он спал всегда на свежем воздухе? Не убеждает? Ну и ешьте свою баранину, а другим оставьте право питаться человечинкой.

К счастью, у меня был свой начальник, который придерживался привычных ценностей и который Смольному был не по зубам. Руднов был очень ревнив к власти. По-настоящему разозлить его было можно, грубо навязывая что бы то ни было. Тогда он вставал на дыбы и болезненно лягался. Случались стычки, и весьма серьезные, с губернаторами, и Олег Константинович выходил победителем. Несколько раз наезжали и на меня лично. Тогда я звонил Руднову. Жаловался.

– Что? Угрожали?! И даже мне?! Значит так, посылай всех на хер и продолжай свое дело. А если им что-то нужно – пусть на меня выходят. Так и говори всем.

Я и говорил всем. С удовольствием. Упиваясь растерянной тишиной в ответ.

Это было благословенное время, когда пресса выполняла свое прямое предназначение – осуществляла общественный

контроль за властью и объясняла народу, чего хочет власть.

К тому же это были тучные годы. Время роскошных пиров. Откуда взялась эта мода на богатые застолья, не берусь судить, но не проходило и недели, чтоб я не получал по два, а то и по три приглашения на различные праздники, презентации, юбилеи, годовщины, по случаю революции, по случаю дня рождения императора, королевы... некоторые застолья были просто от избытка чувств, амбиций и денег, а то и просто от скуки. Под Новый год вакханалия праздников зашкаливала все пределы. Люди буквально не вылезали из-за праздничных столов. За две недели отрастали животы, опухали красные лица, заплывали свинячьим жирком глазки. С трудом ворочались усталые от бесконечных здравниц языки. В некоторые дни одни и те же лица успевали появиться на двух, а то и трех собраниях. Праздничные подарки совершали в Петербурге новогодний круговорот, когда в каждой приемной появлялись целые склады бутылок шампанского и коробок с конфетами; уже на следующий день они отправлялись в дальнейшее праздничное турне по известным адресам, часто с теми же поздравительными открытками, что и пришли. Ты мне – я тебе!

Я быстро усвоил новые забавы и за несколько лет отрастил порядочный животик. Входя в зал, научился мгновенно оценить диспозицию и как только заканчивались не слишком длинные и утомительные речи, пристраивался к самому вкусному и богатому местечку. Если гуляли нефтяники,

можно было вдоволь наесться камчатских крабов. С размахом гуляли и ребята из топливно-энергетического комплекса. Хорошо помню огромного осетра в Мраморном дворце, которого не осилил бы и Собакевич. Я поедал свой кусок за одним столом с английским консулом, который имел наглость в светском разговоре небрежно отозваться о группе «Дип Перпл» и был очень удивлен ярости, с которой я на него обрушился в ответ. («Приличия, сэр! Что с вами?») Но самое богатое застолье на моей памяти закатила вице-губернатор правительства Матвиенко по случаю своего юбилея. Первый раз в жизни я тогда ел черную икру столовыми ложками, как в фильме «Белое солнце пустыни». Ел так же, как Верещагин, без всякого аппетита, с каким-то комичным чувством пролетарской ненависти к нуворишам – вот вам, гады-буржуи, убыток, долларов на пятьсот! Чтоб помнили, зарвавшиеся и зажравшиеся эксплуататоры: простой народ голодает!

Денег в БМГ было вдоволь. Цели были благородны. Что еще нужно для полного журналистского счастья? Ложка дегтя все же нашлась. Подлецы.

Я встречал в своей жизни много нехороших людей, злых, жестоких и жадных, но впервые столкнулся с настоящими подлецами в БМГ – видимо вышел на уровень, где они уже водились. Одного из них, даже на некоторое время возненавидел.

Это был невзрачный, гладенький человечек, с суетливы-

ми движениями, бегающим, как и у всех подлецов, взглядом – всегда каким-то тревожно-настороженным, иногда подавленным, порой злобным. Всегда у него был вид, как будто он только что вышел из комнаты, где ему сообщили гадость. Всегда он куда-то спешил, хмуρο пробегая мимо коллег, и коллеги многозначительно переглядывались. У меня сложилось впечатление, что он всю жизнь убегал от чего-то страшного. Туда, где не будет страшно. Я видел, как он вскакивал буквально по стойке смирно, когда звонил Руднов. Лицо его обмирало от преданности, краснело, бледнело, увлажнялось. Голос трепетал от самой настоящей любви.

– Да, да, Олег Константинович, уже исполнено! Сделаю! Скажу! Да я его... ладно, понял. Есть!

Отложив трубку, он с минуту сидел в полной прострации, переживая каждое слово разговора, потом наполнялся вдруг злой решимостью и начинал кричать:

– Ну что сидим? Мы сидим, а дело стоит! Замечательно устроились!

Как-то раз я позвонил Руднову, чтоб решить некий рабочий вопрос, в присутствии коллег и этого уroda. Поговорили, повесили трубки. Смотрю – урод сидит красный, взволнованный. Когда мы остались с ним в кабинете одни, услышал:

– Иванов, ты что, не знаешь?! В присутствии посторонних Олегу Константиновичу звонить нельзя. Говорим о нем только так: «Руководитель»! Это что за фамильярность?

Я ни разу не видел, чтобы он искренне рассмеялся, улыбался он редко и как-то криво, двусмысленно. В деле он смыслил мало и злился, если ему намекали на некомпетентность. Мой товарищ из газеты «Смена», как-то сказал в узком кругу – и, клянусь, лучше не скажешь:

– Он не любит людей.

Мы только что пытались понять, добравшись до фрейдистских глубин, причину, которая толкала нашего подлеца мучить людей, но журналист «Смены» поставил в дискуссии жирную точку.

– Он не любит людей.

Да, есть и такие. Просто никого не любят. Не потому, что их обижали в детстве. Не потому, что ничего не добились в жизни. А потому, что пращур их был – Каин.

Интересно, что в своего начальника, особенно деспотичного, подобные типы влюбляются искренне и беззаветно. И при этом часто плохо кончают. На Руси к лакеям всегда относятся жестоко. Я знал двух абсолютно преданных своим хозяевам слуг. Об одном только что рассказал. Его дальнейшая судьба в БМГ поучительна и печальна. Добившись полного признания в должности помощника руководителя, он стал начальником самостоятельной структуры, которая вошла в состав БМГ. Впервые в жизни ему предстояло самостоятельное ответственное дело, в котором успех определялся не дутыми отчетами, а конкретным результатом. Впервые в жизни он стал зависим от людей, которых надо было поднять

на большое дело. Вдохновить, зажечь и раскрыть их таланты. Сделать из них единомышленников и соратников. Вместо этого он с первых дней дал ясно понять, что вольница закончилась, либерализма он не потерпит, что сотрудники компании возомнили себя творцами, а на самом деле они всего лишь подчиненные и обязаны подчиняться ему безропотно в любой ситуации. Начались раздоры. Начались взаимные подставы и откровенное вредительство. О, в журналистике есть немало способов мести. И мстителей предостаточно. Новый начальник смешил своей некомпетентностью, о которой тут же доносили наверх. Его ошибки поощрялись, а глупости приветствовались с нескрываемым торжеством. Бедняга спал с лица. Последние недели в должности он походил на затравленного кота, который шипит и выгибает спину, завидев человека. Так долго продолжаться не могло. В конце концов Руднов снял его с должности со скандалом и ничего не предложил взамен.

Другой случай был еще в «Вечерке». Новый владелец газеты, как и положено, проводил кадровые перемены. Нам прислали нового директора. Молодой, неглупый, образованный, но невероятно нервный и напуганный чем-то на всю жизнь мужчина, при одном только упоминании о руководителе бледнел и напрягался. На редких совещаниях он пожирает глазами своего шефа, ловил каждое его слово. Не сомневаюсь, что он прыгнул бы за него в огонь и в воду, заградил бы его от вражеской пули. Он тоже вскакивал со стула, когда

звонил даже не сам шеф, а его помощница. Как-то, поймав мой сочувственный взгляд, он простодушно признался мне:

– Знаешь, Мишка, ничего не могу с собой поделаться. Когда звонит начальник, меня что-то прямо подбрасывает со стула. А помощница его еще страшнее. Она у шефа в полном доверии.

– Тяжко тебе...

Лицо директора дернулось.

– А у меня вся жизнь такая. Отец – еврей, мама русская. Отец в Америке, я здесь. Занимаюсь чем придется. Кто я – сам не пойму. Я не про антисемитизм, черт с ним. Всегда был он в России, всегда и будет. Я про свою судьбу. Не могу цель себе поставить...

– Веруешь ли?

– Ты знаешь, – после молчания, с трудом подбирая слова, ответил директор, – пробовал... но никак не пойму: вот у меня есть машина, старенькая, так я из нее максимальную скорость не выжимаю, берегу, знаю, на что она рассчитана, знаю, что мотор стукнет, если буду давить на газ... Так почему Он, создавая человека, дал ему запас прочности, как у «Жигуля»? А требует, как от... «Мерседеса»? Вот я. Такой, какой есть. Ты меня знаешь. Трусоватый, в меру хитрый. Ну, не святой и не герой! За что же меня... мучить?! Не пойму. И не принимаю.

Любимая песня интеллигенции про «мир, который я не принимаю», кажется, была директору еще в новинку, и он

ждал сочувствия или похвалы, однако он так неожиданно и по-детски раскрыл душу, что поучать совсем не хотелось.

Быть может, на Страшном суде зачтется рабу Божьему, что помощница руководителя действительно была страшнее королевской кобры. Ее побаивались все. И все-таки, может лучше ему было взять палку и хорошенько стукнуть ее по голове? Я так и поступил в самом начале, когда столкнулся с нею один на один и, похоже, больше всех такому исходу была удивлена она сама. И ведь не выгнали! Хотя, конечно, спасло меня только то, что мы недолго были вместе.

Мы расстались, когда «Вечерка» вошла в БМГ. Директора вышвырнули вон. Жестоко, без всяких там золотых или серебряных парашютов. Во всяком случае ему теперь не надо было испуганно вскакивать со стула, когда звонил телефон.

Вообще, я ставлю себе в заслугу и признаюсь в этом с робостью, что всегда старался помочь в карьере не только энергичным и толковым, но и порядочным и (да, да!) добрым. Добрый в нашем удивительном мире – это почти блаженный. Добрый – слабый. Я сто раз слышал фразу: «Добрый – это не профессия!» Означает, что нужен дельный, толковый. Сильный. Придумали эту фразу, безусловно, злые, а добрые повторяют ее покорно, с чувством вины за свою неизбывную доброту, которую они вынуждены прятать. Между тем, мой опыт подсказывает, что любое дело может испортить именно злой человек. Злой – это всегда обиженный, всегда трусливый, всегда закомплексованный. Злой всегда кусает-

ся от страха, от неуверенности. Злой самоутверждается всю жизнь, потому что кто-то напугал его в детстве до смерти. Злой недоверчив. Уши его всегда прижаты, потому что он ждет тумака. Рычание его быстро переходит в повизгивание, когда он встречает крупную опасность. Злой не ценит, не верит в достоинство, мстит ему, потому что оно напоминает ему собственные унижения. Злой в любом деле продвигает прежде всего себя и нет такой подлости, которую он бы не сделал ради своей карьеры. Я бы вслед за персонажем из популярного советского фильма повторил, но на полном серьезе: «В анкете приема на работу нужно ввести графу «злой человек» и «добрый»». Что значит – порядочный или непорядочный. Ненужное зачеркнуть. А если человек претендует на высокий пост, пусть его поверят на детекторе лжи – злой он или добрый.

Глава 61. Умер Руднов

Умер Руднов за границей. Незадолго до смерти, в начале января, позвонил мне из отеля где-то в Испании

– Как жизнь молодая?

В этот момент я сидел на пенечке в сосновом бору в Псковской области. Дул сильный ветер, сосны кряхтели и осыпали меня сверху сором и сухими иголками. Я кратко описал свою диспозицию.

– А я стою на балконе пятизвездочного отеля. С бокалом красного испанского вина. Передо мной Средиземное море. И кому из нас лучше, признайся Иванов? Только честно.

– Мне, – не задумываясь ответил я.

Руднов засмеялся.

– Это ты от зависти. Море красивое, Мишка. Волнуется. У нас градусов восемнадцать. Купаться можно. Ну что, завидуешь?

– Подумаешь. Месяц назад я любовался Индийским океаном. А сейчас вокруг меня зеленые мхи и бронзовые стволы сосен. Макушки качаются. Пахнет хвоей. Ни души вокруг.

– Ты же на Псковщине? Я раньше часто ездил: Печоры, Пушкинские Горы, Изборск... Знаю эти места. Люблю.

Мы поговорили недолго. Он всегда звонил своим после Нового Года, на каникулах, как правило из Германии, где у

него был дом, и всегда с новыми идеями, которые хотел обсудить. На этот раз идей не было и голос был грустным, скорее, даже задумчивым. Я не придавал этому значения. А через несколько дней позвонил его сын. Поздоровался.

– Добрый день, Сережа.

– Если только его можно назвать... добрым, – запнувшись отвечал сын. – Отец умер. Звоню вам первому. Такие вот дела...

Как-то сразу я понял, что жизнь изменилась полностью. Вот буквально в эту минуту. Странное ощущение.

Все произошло в три дня. В ресторане Олег Константинович почувствовал себя плохо. Вечером стало еще хуже. Печень отказалась работать. Немецкие доктора развели руками – медицина бессильна. Одна моя знакомая рассказывала мне о своих переживаниях во время автомобильной аварии. Ее машина вылетела с дороги на большой скорости в кювет, и она успела подумать, но очень ярко, отчетливо перед ударом: «Так вот оно, как это происходит!» Мне почему-то кажется, что так приходит и смерть. Выскакивает из-за поворота и растопыривает костлявые руки: «Стой! Куда? Приехали!»

Руднов знал, оказывается, что его ожидает, только скрывал. Возможно, и от самого себя. Стало понятно, почему в последние месяцы он остыл к своим проектам. Стал задумчив, рассеян. Мне даже показалось, правда задним числом, что он из последних сил разыгрывал интерес к жизни перед публикой, которая неизменно и беспощадно требовала

от него уверенности в завтрашнем дне. Мне кажется, что богатый человек в последние месяцы своей жизни вообще дурачит головы близким. Делает вид, что все под контролем, что ему все еще интересно жить, что дело, которому он отдал себя – важно, что богатства, которые он накопил, теперь спасают его от отчаянья и страха. А на самом деле важно только одно, сдохнуть без мучений: хоть в постели из красного дерева, хоть на помойке. И желательно, чтоб никто не мешал.

Похороны были пышными. На входе в Дом Радио, где проходило прощание, на мой взгляд не хватало транспаранта с цитатой из Библии: «Живая собака – лучше мертвого льва». Еще Лев Толстой в своей повести «Смерть Ивана Ильича» подметил эту слабость человеческую – радоваться тому, что жив, именно на похоронах. Особенно если хоронят важного человека, который при жизни вызывал зависть: «Вот, с Путиным дружил, богат, и – лежит, голубчик, а я жив! Хе-хе!»

Похоронив Руднова, мы похоронили в Петербурге и журналистику, которую Олег Константинович терпеливо защищал и защищал, и которую многие коллеги считали старомодной. Из Москвы приехал новый руководитель. Современный. При слове «культура» он готов был выхватить пистолет быстрее Геббельса, а слово «совесть» не знал, поскольку не владел иностранными языками. Зато в совершенстве владел матом. В интернете в то время можно было послушать, как наш новый руководитель проводил совещания на прежнем месте работы. Женщины, слушая, краснели и за-

тыкали уши. Я дотерпел до конца. Больше всего это походило на летучку грузчиков, которых распекает пьяный бригадир. Впрочем, не будем обижать грузчиков. Скорее, это напоминало бандитские разборки после неудачного налета на пивной ларек.

Было очевидно, что пахана прислали, чтоб он похоронил все наследие Руднова. И физически, и морально. Так оно и вышло. За год управился. Медиаимперия, в которой числилось полторы тысячи человек, развалилась. Без шума и пыли. Союз журналистов что-то робко твякнул после моих прямых угроз выйти из рядов со скандалом, и спрятался под лавку. Коллеги промолчали в лучшем случае без злорадства. Что-то это напоминало... Ну конечно – похороны Руднова! Когда в скорбных лицах коллег перед гробом читалось: «Вот, ты уже лежишь в гробу, а я еще нет!».

«Вишневым садом» назвал (обозвал?) БМГ Директор Агентства Журналистских расследований Андрей Константинов. Пусть будет так. Только почему некоторые коллеги мстительно возрадовались? Красивый был сад. И урожай давал хороший. Жаль только, что на его месте не воздвигли хотя бы дачные домики на продажу. Даже пни до конца не выкорчевали. Так и поросло все борщевиком Сосновского...

О многом еще хочется рассказать, но на этом пока все. Боюсь растерять искренность. Возможно, вспомню что-то важное и добавлю. Возможно, наберусь мужества и расскажу то, о чем еще не решился рассказать. Смерть собирает жатву.

Андрей Константинов умер в декабре. Совершенно неожиданно для тех, кто видел в нем всегда успешного, веселого, здорового человека. Бывшего спецназовца, известного писателя, журналиста, жизнелюба, глядя на которого можно поставить вердикт: «Жизнь удалась». Что особенно важно – без зависти. Умер Володя Гронский, который производил впечатление человека, способного обмануть любой вызов, любую болезнь и даже старость. Китыч, мой старый, добрый Китыч, как мощное дерево, которое долгие годы точили жуки-короеды, затрещал и повалился на землю: потерял здоровье, квартиру и оптимизм, который спасал его многие годы. Зеленый змий победил-таки богатыря, который честно бился с ним почти полвека. Андрей Бычков полностью закрылся в своей раковине, и я потерял с ним всякую связь. Потом, потом как-нибудь расскажу...

Еще три года я числился советником губернатора, семь лет собирал в единую команду петербургские районные СМИ, которые норовили разбежаться кто куда, но за кормом приходили в Смольный и дружно требовали добавки. Круг замкнулся: начинал с районок и закончил ими. Круг длинной в сорок лет.

Интересные получаются итоги. На моих глазах и не без моего участия страна СССР развалилась. Социализм, не к ночи будь помянут, сдох. Еженедельнике «Ленинградский университет», в котором я начинал – сдох. Отдал лучшие по-

рывы души газете «Аничков Мост». Сдохла. Работал в популярной когда-то газете «Смене» – сдохла. «Петербург-Экспресс» – сдох. «Та самая», «старейшая» «Вечерка» – сдохла. «Невское время» – сдохла. Районки не сдохли, но и жизнью полноценной их способ существования назвать трудно.

Журналистика, которую я знал, которую любил, которую умел делать – сдохла в пугающем равнодушном молчании, которое сдерживает меня от бурного возмущения. Надо разобраться, что случилось. Без истерик и злобы.

Как получилось, что мегаполис, в котором проживают около семи миллионов человек, остался без газет и журналов?

Я не собираюсь воевать с интернетом, но надо понимать, что газету не заменит ничто. С тем же успехом можно заменить прокуратуру, суды и парламент, народным вече, бандитским толковищем или «камеди-клубом». У газеты должен быть серьезный финансовый ресурс, мощный общественно-политический статус, позволяющей ей на равных разговаривать с властью.

Нам это не надо? Что ж, будем молчать.

Больше всего лично меня тревожит, что в последнее время все чаще заговаривают о том, что надо вернуться в социализм. В концлагерь, только не строгого режима, а общего, так сказать «мягкого». Чтоб в камерах не больше двух, по субботам банька, и карцер отапливался. И прогулки каждый

день. Допускаю, что туда и вернемся, на этот раз вместе с «европейской семьей народов». Тогда одно могу сказать – туда и дорога! Не люди и были.

Когда-то, пятьдесят лет назад, я решил круто поменять свою жизнь. Я стал сознательным конформистом, поскольку устал получать тумаки. Трудно быть конформистом, когда горячее сердце требует правды, когда от унижений вскипает гордость, когда хочется вынуть из ножен меч и сразится с чудищем на глазах толпы... Я умирал себя годами и научился. Правда, стал чуточку мертвым. Со стороны вроде бы ничего не изменилось, разве что погрустнел человек, погружен в себя, но что разглядишь со стороны? Впрочем... Вспоминаю, как в гостях «Невского времени» побывал художник Илья Глазунов – проводили мы тогда традиционные встречи редакции с известными людьми. Говорили о культуре, о возрождении России, конечно, и о политике. Глазунов, которого уж никак не назовешь конформистом, воспламенился, заговорил горячо, громко, выстрадано. Вспомнил, как бился с властями за сохранение Спаса-на-Крови на канале Грибоедова... Внезапно мы встретились с ним глазами, и он слегка осекся. Когда все разошлись он с пониманием посмотрел на меня, усмехнулся.

– Что, тяжело?

– А что, видно? – невольно заинтересовался я.

– А то. Трудно все время притворяться?

У меня перехватило горло. Я только кивнул.

– Главное, помнить: не так страшен черт, как его малюют. Я имею право так сказать, всякое видел-перевидел. Делай, что должно и будь, что будет.

Я невольно вспомнил встречу с женщиной на Витебском вокзале, о которой уже писал здесь: как она утешала на перроне совершенно неизвестного ей человека просто потому, что на лице его светился SOS!

Правда нужна душе, как организму нужны витамины. Без нее начинается цинга. Мне приходилось жить среди людей, которые разучились говорить правду в принципе. То есть вралли даже тогда, когда в этом не было никакой необходимости. На всякий случай. По привычке. Из страха проговориться. Фальшивыми были не только их слова, но и улыбки, глаза, суетливые движения, деревянный хохот... Хотелось иногда взять за грудки такого мученика кривды, встряхнуть и рывкнуть: «Эй, очнись! Расслабься! Тебе никто не угрожает. Скажи хоть слово честно. Открой сердце. Порадуй иссохшее сердце глотком искренности!»

Некоторым помогал только хороший глоток какого-нибудь крепкого пойла. Тогда из измученного сердца лезла какая-то ушибленная правда. «Миша, я очень доверчив. В этом моя слабость. Но меня предавали. Предателя надо давить как клопа! Я никому не верю! Все рано или поздно становятся сволочами!» Говорил эти слова умный успешный человек в минуту пьяного просветления. Трезвым он

производил впечатление искрометного шутника и беспечно-го балагура. «Кто он?» – иногда спрашивал себя я. Страшный ответ пришел с годами: «Никто!» Пустышка. Человек без свойств. Эффективная социально-общественная функция. Идеальный болт в государственном механизме. Смысл жизни таких людей зачастую умещается в трудовой книжке или на банковском счете. Это аскеты карьеры, подвижники власти. С дороги их не спихнешь, красивыми пейзажами не растрогаешь. Только вперед! На финише – оркестр и как можно больше венков.

Были и «болты» похуже. Ржавые и дребезжавшие. Некоторые способны были стать сентиментальными, слезливыми, но искренности в этом было не больше, чем в чугунной болванке. Способны ли такие люди к молитве? О чем может попросить Бога вице-губернатор? Наверное, о том же, о чем может попросить губернатора. Тогда зачем беспокоить Господа Бога?

Понимаю, что выгляжу двусмысленно: «А сам весь в белом и пушистый!» Не белый, конечно, да и пух повыдергали добрые люди. Но про двадцать миллиардов световых лет помнил и разницу между земным и небесным чувствовал. И обращаюсь, конечно, не к «винтикам», а уцелевшим и страдающим, как и положено уцелевшим.

Отгремело очередное русское землетрясение. Мы живы! Какой восторг! Оглянитесь вокруг – может быть вы услышите под завалами стоны. Помогите спастись, протяните руку.

Нам опять предстоит большая работа. Нужно строить заново все, что разрушили. В том числе и в душах.

Но что я все о карьеристах?

Как-то раз в Токио, дожидаясь какого-то мероприятия, я сидел на скамейке в парке перед государственным учреждением. Был чудесный весенний денек. Внезапно парк наполнился толпой молодых клерков – все одинаково худенькие, все в одинаковых темных костюмчиках, белых рубашечках, галстучках. Как стая птиц, они расселись по скамейкам, достали свои пластмассовые туюски и палочки и принялись есть, изредка чирикавая на своем инопланетном языке и бросая на меня быстрые удивленные взгляды. Моя верная помощница Юки потом объяснила, что в Японии так традиционно обедают служащие многих компаний – и экономно, и полезно на свежем воздухе. Так вот, отдельно от всех сидел на скамейке молодой японец, который сразу привлек мое внимание. На его лице было написано столько смертельной муки, ожесточения, злой решимости, словно он вот-вот готов был совершить харакири и только ждал чьей-то команды. В России к нему непременно подсел бы кто-нибудь, чтоб утешить, но японским коллегам до него не было никакого дела. Не удивлюсь, если оказалось, что бедняга пополнил в скором времени печальную статистику самоубийств. В Японии высокий уровень жизни и высокий уровень самоубийств.

Но я не про японские нравы, я про Человека. Я про то, что в мире незаметно присутствуют и плодятся с пугающей

быстротой новые мученики. Мученики комфорта и прогресса. Часто вполне обеспеченные, при должностях и уважении окружающих. Больше всего я видел их в органах государственной власти. Они хронически подавлены и скрывают свой гнет под завесой бешеной деятельности. О них с уважением говорят коллеги: «Трудоголик!» Неважно, чем занимается трудоголик, важно, что в конце рабочего дня он валится с ног от усталости. Смысл жизни трудоголика – доказать, что он сидит на своей должности не зря. С гордостью говорит он о своем 14-часовом рабочем дне (привирает, конечно), но при этом не в силах будет объяснить, в чем заключается его 14-часовая деятельность, наполненная совещаниями, отчетами, письмами, звонками. Вид его на работе значителен, хмур. Трудоголика всерьез оскорбляет веселость коллег. Если это подчиненные – он сделает выговор, если начальство – он скорбно улыбнется в ответ, как бы говоря: «Вы, конечно, можете себе позволить, а вот я не имею права». Трудоголика гложет мысль, что в любой момент кто-то может прийти и обнаружить его полную профессиональную несостоятельность. И это действительно нетрудно сделать, поскольку дело, которым занимается трудоголик, часто наполнено дутым смыслом. Кто-то придумал гениальное определение этой деятельности: «блеф-менеджмент».

Комфорт, к которому тысячи лет стремился человек, оказался обманкой. Он прельщает по-прежнему только бедняков. Богатые скоро поняли, что жить в достатке скучно. Кто-

то полез от отчаянья на Эверест, кто-то опустил в батискафе на дно Марианской впадины, кто-то ушел в пьянство и разврат, кто-то ринулся в политику. Отвергнув высший смысл в Боге, человек упрямо старается доказать себе подобным, что нашел смыслы не хуже. Например, можно собрать целый зал разукрашенных мужчин и женщин, и они, дружно улыбаясь и аплодируя, будут уверять себя и зрителей, что смысл в том, чтобы стоять на сцене и держать в руках статуэтку. А можно отрезать себе яйца, вколоть гормоны и вообразить, что ты женщина. Можно создать, наконец, искусственный интеллект и делегировать ему ответственность за будущее и право решать человеческие проблемы.

Человек куражится перед Создателем, воображая, что обрел свободу. Напоминает избалованного ребенка, который назло маме собирается отморозить себе уши.

Я, конечно, не про всех. Я против пессимизма. Пессимизм – это вера в то, что ты появился на свет случайно. Не, ребята, это не так. Если гложет уныние, выключите телевизор и компьютер, выдерните из ушей наушники, умойте лицо прохладной водой и встаньте у окна и посмотрите на небо. Может быть, вы увидите ворону. Как она прекрасна! Какое чудо перед нами! Ни один самый сложный компьютер, придуманный человеческим гением, не сравнится с нею! Да что ворона. Простой комар устроен в миллион раз сложнее, чем МиГ-31, созданный интеллектом тысяч ученых и инженеров. Поставьте в рюмку цветок незабудки, сядьте на стул и

всмотритесь в него. Если ум ваш не пленен баснями злых и несчастных умников, вы увидите доказательство Божие, во сто крат превосходящее аргументы Канта или Спинозы. Да и сами аргументы будут вам не нужны. Отворите двери ада, в котором пребывает ваша душа, и хотя бы на сутки убегите в лес, в поля, на море, где вас не могут настигнуть лучи цивилизации, побудьте голыми, озябшими, голодными, встряхнитесь, задышите глубоко, очистите уши и зрение, и тогда вашего сердца, может быть, коснутся первые лучи благодати. И тогда вы увидите мир в истинном свете. Тогда вы увидите, что новая икона прогресса Грета Тумберг – всего лишь несчастная кукла, которую дергают за нитки циничные дяди, что педерасты прекрасно понимают, что с ними что-то не так, что роскошные глянцевики, выставяющие свои задницы и груди изо всех журналов и каналов, столь же не нужны и незначительны в вашей судьбе, как макаки в далеких джунглях.

Обращаюсь не к неудачникам, которые просрали свою жизнь перед экранами сначала телевизоров, а потом и компьютеров; не к недоношенным взрослым, которые до седины играют в гоблинов и эльфов, помнят пофамильно всех голливудских спасителей человечества и знают сколько голов должен иметь настоящий дракон. Обращаюсь к тем, кто находит реальный мир настоящим чудом, выходящим за рамки любой человеческой фантазии – реальный мир, повторяю, в котором чудеса не спрятаны, а вопиют на каждом шагу.

Теперь я завидую принципиальным бескомпромиссным людям. Сокрушаюсь о своих ошибках, поскольку многие из них были преднамеренны и преследовали только одну цель – избежать неприятностей. Избежал раз, избежал два. Больше стало денег, выше стал статус в обществе. Больше хвалят, еще больше завидуют и ждут, когда ты споткнешься... А самоуважения не прибавляется. Прибавляется тревога. Возникает подозрение, что ты – жулик, и твой обман вот-вот раскроется. «Эге-ге! – скажут. – А шапка-то не по Сеньке!» И крыть нечем.

Уходит задор. Уходит вдохновение. Вялые мышцы требуют покоя. Уходит тестостерон, который не только вдохновляет на подвиги, но и позволяет ощутить весь божественный букет бытия! С каждым компромиссом словно отсыхают вкусовые рецепторы души. Красивый пейзаж уже не вдохновляет, воспоминания не тревожат. Хочется есть и спать. Силы, опыт, интеллект есть, а радость, желания, любопытство уходят. Приходится по привычке притворяться.

Когда-то в 18 лет я был готов пешком (да, да!) обойти весь земной шар. Даже прокладывал маршрут по карте. Даже вычислил, что на путешествие уйдет три года. Я дважды отправлялся на товарных поездах в путешествия на Кавказ и в Крым. Поездка на автобусе в райцентр Ленинградской области была для меня событием, о котором я потом долго рассказывал друзьям. Спустя три десятка лет я заметил, что меня в заграничных командировках тянет спать. Запереться в

своём номере и отключиться. Оставьте меня в покое!

Завидую Проханову... Завидую Лимонову. Завидую Прилепину. Завидую Новодворской. Что хотели – то и делали. Во что верили – то и говорили. Радость-то какая! Прийти домой с блестящими глазами и объявить домашним с гордостью: «Как я их уделал, сволочей! Век будут помнить!» Грубо? Но это лучше, чем виновато прятать глаза и бормотать с порога: «Да нормально у меня все! Ничего я не грустный! Чего привязались?»

Да, некоторые погибли. Но! Смерть в бою – это хорошая смерть. В бою храбрый человек становится красивым. А значит угодным Богу. Не случайно победители с почестями хоронят отважных врагов после битвы. А как скучно жить без героев! Вообще скучно жить, когда нечего будет сказать Богу. «Как жил, Господи? Хорошо. Вот, до восьмидесяти дотянул с Твоей помощью. Закаты помню, в детстве. Красиво, согласен. А потом все больше совещания, совещания... Клизма и пурген»

Глава 62. И опять лес

А мой лес, вы не поверите, жив до сих пор! Вот ведь чудо! Сохранился, хотя город, как агрессивный паук, пожрал окрестности за последние десятилетия на много километров вокруг. Мне выпала невероятная удача собирать грибы в нем и в семь лет, и в шестьдесят с гаком! Моя любовь к Родине имеет начало безусловно в этом чудесном лесу. Все мои друзья, добрые товарищи, многие коллеги прошли через этот лес, а значит получили некоторый градус посвящения в святая святых моей судьбы. Тут я зажег своей рукой не одну сотню (а может быть тысячу, кто их считал!) костров на любимой опушке, тут спасался от уныния и отчаянья в самые тяжкие дни испытаний, именно тут мечтал встретить белокурую девушку с голубыми глазами, которая увлекла бы меня в сладостную погибель своей роковой любви, тут зарождалась моя вера в Создателя и тут она утверждалась; на этих тропинках в моей голове рождались гениальные образы и сюжеты, которые исчезали в городе как зыбкое сновидение; тут пили мы с Китом до полной отключки под цветущими черемухами в мае, здесь отсыпались, как два суслика в обнимку, под чмоканье соловья, посыпаемые белым снегом цветов; здесь вели богословские беседы с Герасимовым и Андрюхой... Здесь бывали мои знакомые англичане и немцы,

физики и лирики.

Есть у меня собственный психологический тест, который я предлагаю друзьям в канун Нового Года. Нужно – не задумываясь! – воскресить в памяти самые важные кадры уходящего года – это те, которые сразу приходят в голову после вопроса. Задумался – тест не прошел. Потому что ум всегда солжет, выискивая что-то значительное, потребное тщеславию.

– Ну? Ну? – торопишь человека.

– Озеро... шашлыки жарили, помню... Воздух был, как в горах! И на небе ни облачка! В этот день я впервые в году искупался, хотя был сентябрь. Вода была-а-а... ледяная! Бр-р-р..! Я тогда белый нашел величиной с ведро! Вот... но вообще-то самое главное событие было весной – это когда я ТЭФФИ получал за лучший сценарий...

– Стоп, стоп, стоп! Это – уже не интересно!

Любопытно, что вот такой вот «белый гриб величиной с ведро» всегда главенствовал в опросах, реже побеждал какой-нибудь «обалденный» пляж на берегу Средиземного моря, еще реже – новый автомобиль или даже новая квартира. Лично я чаще всего вспоминал свой лес. Причем в контексте самой прозаической обыденности: сентябрьский вечер, желтый костер пляшет, корчится из последних сил в ямке, то выбрасывая с треском искры в небо, то вдруг забившись в судороге синего цвета. Славкина черная фигура на фоне остывающего темно-синего неба, разрезанного напополам сереб-

ристым инверсионном следом самолета, а вот и сам самолет, как светлячок сияющий в лучах закатившегося солнца, а вот и едва слышимый глухой рокот его достиг земли... Лес молчит, но сдвигает свои сумрачные объятия, чуть слышно дышит в затылок сыростью и запахом опавших, осиновых листьев, осторожно ощупывает прохладой плечи, шею, спину. Он не враждебен, нет. Скорее он напоминает большое животное, которое с любопытством обнюхивает пришельцев. Мы со Славкой молчим уже вечность. И в этом молчании понимаем друг друга так глубоко, что невольно начинаешь верить в телепатию. Я слышу, как прохладный воздух втягивается в мои ноздри и, согревшись, выталкивается наружу. Рот непроизвольно открывается, в ушах нарастает звон, пальцы на руках немеют... вот – вот, кажется, и душа оттолкнется от занемевших плеч и всплывет над лесом, как пар, чтобы оглядеться, а тело обмякнет и завалиться набок.

Что важного впитала душа в эти минуты, если они остаются в памяти иногда на всю жизнь? Может быть, в эти мгновения непроизвольно открываются загадочные чакры и божественная энергия касается измученного сердца? Может быть, эти минуты были самыми важными в жизни?

Я придумал себе новый тест, прожив на свете уже 62 года. Да, да, сейчас закрою глаза, а потом открою и вспомню самое важное, что было в моей жизни.

А что вспомнишь ты, мой дорогой друг?

Глава 63. Не для протокола

Ну, а теперь, скажет читатель, скажи что-нибудь умненькое. Так всегда говорят. «А в заключение...»

Ладно, несколько слов не для протокола.

Знаю, все мы ищем счастья. Поделюсь опытом. Если вдруг навалится тоска, дома, на кухне, налейте себе стопку холодной водки, нарежьте сала из морозилки, приправленного чесночком, представьте, что перед вами сидит занудный диетолог и смотрит с укоризной вам в глаза – чокнитесь с его лбом и выпейте водочки, закусите салцом или соленым огурчиком. Хорошо станет непременно! Гарантирую! Выгляните в окно, во двор, вдохните прогорклый, мартовский воздух, послушайте, как чирикают воробьи на помойке, посмотрите, как смешно, словно креветка, быстро перебирая лапками, бежит за хозяйкой рыжая собалька... Смешно ведь? Хорошо? Клянусь, ничего лучшего у вас и не будет на свете! Да, да! Это говорю вам я, человек с 62-летним стажем, много переживший, много знавший и гонявшийся не один год за счастьем, как кот за своим хвостом. Потом непременно дождитесь вечера и посмотрите в звездное небо. Двадцать миллиардов световых лет во все стороны – это вам не кот чихнул! Сядьте на стул и оглядите свою кухню – сколько у вас? Десять, двадцать квадратов? А вокруг двадцать милли-

ардов... Какой смысл углубаться до полной усрачки, чтобы заработать пару лишних квадратов? Может быть, лучше сходиться на рыбалку?

Вам страшно? Немудрено. Вокруг так много трусов! Они бегают, кричат: «Все пропало!», плачут и дерутся. Спрячьтесь в церкви. Просто найдите уединенную церквушку в будний день и зайдите. Сядьте на лавку. Услышите стук собственного сердца, которое отсчитывает секунды вашей жизни.

Главное, поймите: ваш ум – ваша крепость. Не пускайте в него врагов.

Похоже на мир надвигается очередная жопа. Славные годы застоя скоро станут золотым веком человечества, о котором чувствительные мечтатели и умники начнут слагать новые мифы. Умники, как водятся, начнут мудрить: мол, недоглядели, не учли, не продумали, недоделали... Чего не доделали-то, уроды? Счастье? Как вы себе это представляете – полное счастье? Это когда стоят в чистеньком европейском загоне чавкающие человеки и, сыто рыгая, смотрят в гаджеты? Или так: в легких туниках с белыми венчиками из роз кружатся в вихре веселого танца и стар и млад под приглядом менеджера, который безошибочно вычисляет, кто еще способен танцевать, а кого пора уже отправлять в мир теней? Безболезненно, разумеется, гуманно. Приблизительно так: на центральном пульте Нового Храма Прогресса, Демо-

кратии, Свободы, Политкорректности и Толерантности, помощник главного Жреца в белом халате нажимает на нужную кнопку и чип в мозгах выработавшей свой ресурс особи перестает излучать энергию радости – особь падает, как осенняя муха, замертво. Прямо в гроб. Или, что разумнее, в перегной будущего урожая картофеля. И что важно, к месту переработки своего тела в перегной особь отправляется на своих ногах! Что окончательно решает вопрос транспортировки.

Никаких страданий! Никаких тягостных мыслей! Все под контролем! Вредные вопросы в бунтующих головах: «Зачем, почему, в чем смысл жизни?» – зажигают красную тревожную кнопку на центральном пункте и источник тревожных помыслов быстро вычисляется и погружается в анабиоз. Или, если это уже не первый случай – в навоз.

Чушь? Черная антиутопия?

Пусть так говорит глупый западный либерал. А я-то прекрасно помню, что Ленин еще недавно был живее всех живых и ныне лишь затаился в своей таинственной обители до лучших времен; отлично помню, как миллионы людей в моей стране два раза в году покорно вываливались на площади городов с кумачовыми флагами, портретами своих поработителей и кричали: «Ура!» – до хрипоты по команде с трибун партийного муэдзина. Прекрасно помню, как где-то в верхах кремлевских башен неизвестные существа, наделенные могучей властью, решали, что будут любить и что ненавидеть

миллионы сограждан, во что им верить, а во что можно уже и не верить, сколько метров жилья полагается на человека и какие книжки ему предстоит читать. Кто это не пережил – поймет с трудом, да и не до конца. А кто пережил – не молчите. Не включайте дурака. Перестаньте юморить. Уже давно не смешно

Не надо радоваться, что Запад наступает ногой в то же говно, что и мы сто лет назад, только мы лаптем, а они в модных кроссовках. В кроссовках еще хуже – дальше уйдешь. Да, Россию в соответствии с национальной традицией увлекали в блуд фанатично преданные революции Корчагины в дырявых гимнастерках, а Запад – мастурбирующая на сцене певичка Мадонна, но цель всегда была одна: обмануть и погубить. Да, да, вот так просто, примитивно начинается всякая беда – с обмана. Со лжи. Иногда, как учил Геббельс, грубой и наглой. Иногда приторно-благородной: «Мы сделаем вашу жизнь счастливой!» Поверили? Тогда ждите продолжение, но уже в принудительно-приказном порядке: «Жить стало лучше, жизнь стала веселей». Верно ведь? В глаза, в глаза смотри товарищ, не увиливай! Верно или нет?! Вот так вот, сволочь...

Как быть? Объединяться.

Граф Лев Николаевич Толстой полагал, что совестливые порядочные люди должны научиться объединяться во имя благих целей так же, как объединяются в своих корыстных помыслах люди дурные. А ведь старик был прав! Кучка него-

дьяв способна поработить целую страну, граждане которой ищут в жизни только удовольствия и удовлетворение своих похотей. «Идеальный потребитель» приходит на смену воспетым пролетарским поэтам «гвоздям» (Помните рожденное в СССР: «Гвозди бы делать из этих людей»?) Гвозди сломались, потому что были слишком твердыми. Легче лепить фигуры из теплой биомассы, одухотворенной живительной энергией рекламы. При этом особой разницы между «Слава КПСС!» и «Возьми от жизни все!» нет. И стоят за этим безумием одни и те же лица. Если охарактеризовать их одним словом – сумасшедшие. Именно поэтому вразумлять их бесполезно. Можно только спастись. Окапываться. Обустроить свой блиндаж и не пускать в свой круг свиные рыла. Сожрут и не подавятся! Работайте, братья! Кто как может. Всегда будьте начеку. Пугайтесь, если слышите закадровый смех. Пугайтесь, если вместо музыки вам впаривают женские трусы. Не слушайте безумцев, которые пытаются вас уверить, что это красиво. Не ходите на выставки, где издеваются над вашими мозгами и чувствами. Просто не ходите! Это так легко! Лучше сходите в парк или лес. Можно прокатиться на велосипеде. Это полезно. А выставку оставьте дуракам. Они чахнут наедине друг с другом. Им всегда нужна свежая энергия наивного обывателя, который тарашится в очередную кучу хлама, изводя себя мыслями о своей художественной несостоятельности.

Обустройвайте свой собственный мир. Ищите единомыш-

ленников!

Только не нужно пугать себя большими проектами. Во-все не обязательно сразу начинать создавать партию или масонскую ложу. Для начала найдите себе друзей одной крови. Например, любителей классической литературы. Или найдите свой приход, поговорите с батюшкой, которому как никому другому известно, кто нуждается в помощи. И помогите. И поймете, насколько приятнее и радостнее дарить, чем принимать. Не воюйте с пошляками, имя которым – легион. Ищите своих. Берегите их. Помните, каждый умный человек стоит сотни глупцов. Просто умные проиграли дуракам, потому что горды чрез меру. Умные одиноки и несчастны, потому что живут в культурном гетто, куда их загнали энергичные проходимцы. Умные поверили, что там им и место. Войну нужно объявлять глупости! Помните, как пели в перестройку: «Сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками!» Услышали «Бузова» – заткните уши. Увидели дурацкую рожу Милохина – переключите канал.

С дураками в России всегда нянчились, пока они не вцепились умным в глотку. Не надо путать дурака с юродивым. Дурак всегда напыщен, самоуверен и знает больше всех. Его наглую морду теперь видно из каждой программы телевизора. Плюньте в морду ему! Слюну потом можно вытереть салфеткой. Отведите душу! Не бойтесь, никто не видит. Скажите сквозь зубы: «Пошел на хер, чмо!» И – в другую программу, а лучше в умную книгу, а еще лучше – за рабочий стол.

Работайте, зарабатывайте деньги, купите дорогую машину, чтобы дурак видел, что едет умный человек! Не стесняйтесь показаться умным. Умные, образованные обязательно должны быть наверху, потому что там им и место. Кто подаст руку дураку, если он будет тонуть? Умный. Кто будет вразумлять дурака? И кому поверить дурак, если умный будет беден и несчастен?

У человека, который хочет оставить в своей измученной душе остатки достоинства и благодати, нет другого пути, кроме как отказаться для начала от вопиющего зла. Хотя бы понемногу. Хотя бы не смотреть для начала голливудскую чушь по телеку, не читать тексты в интернете, после которых хочется засунуть два пальца в рот, не слушать людей заведомо злых, ничтожных, глупых, коварных, которые порой за деньги, а порой и от злобной своей похоти отравляют своим ядом сердца и умы людей. Зачем отравляют? Да просто потому, что у самих в жизни ничего не получилось. Пропадать так всем, и с музыкой!

«Только зачем же всем? – ответим мы. – Овцы направо, козлы налево! Не так ли?»

Вдумайтесь, у нас плохие, глупые люди собирают в интернете миллионные аудитории. Эти люди не только собирают обильную денежную жатву, они напитываются вашей энергией и плодят зло, как тухлое мясо опарышей. Понятно зачем ИМ это надо, но зачем это ВАМ? Надоело улыбаться? Измучило хорошее настроение? Поверили, что Вельзе-

вул добрый? Полноте! Проверено поколениями – не добрый. И вовсе не справедливый и мудрый, как булгаковский Воланд. Сука он. Гопник из подворотни. Шулер за карточным столом. Матерщинник в грязной пивной. Унылый неудачник. Кто-нибудь, когда-нибудь видел, чтобы Невзоров от души рассмеялся? Не сможет, даже если его будут смешить лучшие комики из «Камеди Клаба». В лучшем случае его смех будет похож на карканье старого ворона или хрюканье борова, а скорее всего он просто кого-нибудь укусит, а может быть даже самого себя, как взбесившаяся на жаровне змея. В Петербурге этот мрачный чародей проводил мастер классы науки оскорблять. Да, да, он и не скрывал этого: учил, как убивать наповал людей откровенной хамской ложью, чуточку приправленной правдой. Его, похоже, вообще забавляла готовность экзальтированной публики подставлять свои головы под потоки дерьма, которого у Невзорова всегда было в избытке. «Вам с перчиком? Пожалуйста! Вам пожиже? Извольте. Есть последняя, западная новинка – тошнотворная смесь про Православную Церковь и патриотизм, попробуйте! Блевать будете до упора. Ах, вы русский? Ну тогда вот вам свежая кашка про русский народ. Простите, и не народ вовсе, оговорился, а вонючая биомасса. Попробуйте! И смените фамилию. Что значит Петров? Петруччо – так будет лучше!» И вот Петров хихикает, как идиот, потому что уже вроде бы и не идиот, а Петруччо, и теперь он право имеет Петровых презирать. Как вам, дорогой читатель, такое кино?

И ведь я лишь слегка преувеличиваю, в основном все верно. Я знал одну даму, любовницу московского чиновника высокого ранга, которая с гордостью признавалась мне, что ее 14-летняя дочка ходит по средам на курсы этого старого рогоносца, играющего в дьявола, и дочка весьма довольна. Мама тоже была довольна.

– Мне кажется ей полезно будет знать и темную сторону жизни, – с гордостью говорила она. – Вчера Глебыч рассказал про Патриарха такое....

Невольно вспомнилось, как в советские годы говорили: «Кто в тюрьме не бывал, тот жизни не видал». Я знал многих, кто отсидел в тюрьме, иногда и не по одному разу. У меня сложилось твердое убеждение, что именно они о жизни не знают ничего! Просто проехали мимо нормальной жизни по этапу в Воркуту, где получили необходимые навыки выживания в аду.

Не ходите на спектакли, которые унижают вас, не пытайтесь найти в них высокий смысл, которого нет и быть не может, потому что в оскорблении заложен только один смысл – оскорбить! То есть унижить ваше достоинство. Взбунтовать не вашу совесть, но вашу гордыню. Сердце – лучший критик, первое впечатление самое верное, верьте ему. Помните, что современная культура содержит целую армию лжецов, проходимцев, развратников, рвачей и бездарей, цель которых нажиться на вашем простодушии и мнимом невежестве. Не спорьте с ними, спорить они умеют виртуозно, не ругайтесь

– они только обрадуются; просто обходите их стороной. Держитесь подальше, как обходили бы за версту грязный притон с наркоманами. Лишите их главной пищи – вашего внимания, вашего времени, ваших эмоций, ваших мыслей, ваших денег, наконец. И они усохнут. Как та кашка, выставленная в модной галерее, которую профессиональные жулики-искусствоведы оценили в 10 тысяч долларов, но не смогли продать, поскупившись на рекламу. Бегите, как только услышите обольстительные речи их обученных зазывал. В мире есть немало мест, где можно укрыться от химической атаки современного псевдоискусства. Пока.

Помните, идет война. За каждого из нас. Каждая минута, которую вы потратили на созерцание свиноподобного рыла Дани Милохина, откликнется вам через годы беспричинной тоской, когда вы будете мучительно искать ответ, почему вам в сердце перестало светить солнце Правды и радость осталась лишь в памяти, как угасающее сияние дня на небосклоне. Напитавшись черной энергией Невзорова, вы однажды убедитесь, что остались без друзей, но вас окружает сонм бесноватых, которые отплясывают вокруг вас чертовского трепака. Платить придется за все! И по полной программе. Оргазм, который испытывает маньяк, мучающий жертву, длится минуту, наказание – вечность.

Никаких компромиссов и заигрываний с нравственными идиотами! Никакого подхихикивания пошлости. Никакого смешения. Из смешения бочки меда с литром говна получа-

ется... правильно, бочка говна. Проверено. Нравится Моргенштерн? Пожалуйста. И до свиданья! Мне с вами говорить не о чем. И, главное – незачем.

Объединяйтесь! Почувствуйте тепло родственных душ, радость общей, благородной цели. Цель – повторяю! – может быть до смешного простая. Например, благоустроить, наконец, свой замызганный двор. Или создать с друзьями свой интернет-журнал, наподобие виртуального английского клуба, со строгим нравственным и эстетическим уставом и кодексом поведения. Или можно помогать беднякам. Да не пугает вас скромность подвига! Копейка, которую вы отдали ближнему от самого чистого сердца, перевешивает в лице Бога щедрый дар миллионера, который получил свою награду под гром подобострастных аплодисментов на конкурсе «Лучший меценат года»!

И еще. В последнее время нам назойливо внушают, что там, на Западе, живут враги рода человеческого и с ними не может быть никакого сношения, кроме как на поле боя. Вранье. Причем пагубное. Во-первых, не стоит забывать про то, что мы сам натворили всего лишь сто лет назад со своей страной и соседями, во-вторых, на Западе живут миллионы (абсолютное большинство!) людей, которые до сих пор хранят в сердце искру веры Божией, но лишены права голоса и самовыражения. Они подавлены вражьей силой, загнаны в катакомбы, как первые христиане, но не умерли. Они жаждут правды. Многие ждут и молятся об избавлении, другие пы-

таются протестовать. Многие из них до сих пор верят, что в России люди отапливают квартиры дровами из ближайшего леса и прячутся от медведей на телеграфных столбах. Многие из нас верят, что американский Джо спит и видит, как бы ему погубить русского Ивана. Нам следует во что бы то ни стало пробить эту стену, воздвигнутую с обеих сторон. наших братьев по разуму гораздо больше, чем мы привыкли думать, пялясь в телевизор. Мы станем во сто крат сильнее, если поверим в это!

Как-то в начале 2000-х мой помощник и советник, известный журналист с «Радио Свобода» итальянец Марио Корти, которого Руднов пригласил в Россию на правах старого друга, после планерки, когда мы привычно устраивали с ним у меня в кабинете идеологические баталии в формате «один-на-один», гневно воскликнул.

– Да зачем вы делаете из американцев каких-то уродов? Это же неправда, и вы сами же себя загоняете этой неправдой в угол. Американцы в большинстве своем абсолютно нормальные законопослушные люди. Христиане. Каждое воскресенье они ходят в церковь. В России многие верующие ходят каждое воскресенье в церковь? Вот со мной был случай. Как-то раз я застрял во время путешествия на шоссе в штате Монтана. Заглохла машина. Местечко глухое, шоссе пустынное. Стою. Внезапно рядом остановился легковой автомобиль. Вылез хозяин, в салоне остались жена, дети. Мужчина спросил, в чем дело, потом залез под капот моего дран-

дулета, долго копался – увы, без толку. Тогда они забрали меня с собой, привезли в свой дом, вызвали техпомощь; накормили и устроили на ночлег. Все это абсолютно искренне, я бы сказал обыденно, без всякого намека на пример библейского доброго самаритянина. И так в Америке готовы поступать многие! Американцы наивны, доверчивы, готовы прийти на помощь. И эта Америка не имеет ничего общего с истеблишментом Нью-Йорка или богемой Лос-Анджелеса. Для них Россия – далекая загадочная страна, русские – сильный народ с непростой судьбой...

Марио Корти – человек мира. Родился в Аргентине, жил в Италии, работал в Америке, Европе... Говорит на пяти языках. В 70-е годы работал в СССР, был выслан. Умница. Ему можно верить, потому что Россию он любит, а правду ценит.

А кого по телевизору привыкли видеть мы? Полуголого верзилу в лифчике и кожаных трусах? Бритого сатаниста с тремя шестерками на лбу? Нелепое затравленное существо неопределенного пола, иступленно отстаивающее свое право быть ненормальным среди нормальных? Долго ли еще будем на них смотреть? Может быть лучше обратимся к нормальным?

Пожмем друг-другу руки без политических посредников. Обнимемся без санкции властей. Нас много. Мы сохранили веру в Создателя Мира. Нам есть чем гордиться. Потому что мы остались нормальными.

Кажется, в России кристаллизуется-таки национальная

идея. Сама по себе вырастает из прошлого и становится все более зримой и очевидной вопреки бешеному сопротивлению умников всех мастей. Москва – Третий Рим! Увы, господа либералы-западники, похоже это действительно так. И выдумывать ничего другого не придется. Само придет. Неизбежно. Кому-то всегда приходится поднимать упавшее из ослабевших рук знамя.

Запад слишком быстро бежал к Прогрессу, а Россия долго пребывала в спасительной дреме. Пока Россия протирала глаза спросонья, Запад успел наделать кучу фатальных ошибок, особенно в эпоху Просвещения. Слишком много было энтузиазма, слишком мало было знаний. Гордый ум торопил. Казалось, что вот-вот, еще одно усилие, и человеку откроется дверь в тайны мироздания, в заветную сокровищницу, где хранятся все отгадки на вечные загадки. И тогда начнутся подлинные чудеса. Искусный хирург пришьет к обезглавленному телу человека чужую голову и пропустит (ах, как это убедительно выглядит в голливудских фильмах) электричество! И вот вам новый человек! А если добавить силу тока?! Так ведь и до бессмертия недалеко! А еще можно зарядить в гигантскую пушку капсулу с ученым и выстрелить в Луну, а там – чудеса дивные и лунатики такие симпатичные! А еще можно при помощи скальпеля и гормонов сделать из мужчины женщину, а из женщины мужчину, и будут они любить друг друга по-новому – толерантно и политкорректно! А еще можно отобрать детей из семей и сделать из

них идеальных потребителей, и тогда не будет страданий и глубоких переживаний, а будет бесконечный смех и танцы до утра. А еще можно совокупляться с животными, позаботившись об их согласии, а можно и с роботами, которые будут запрограммированы на постоянное согласие, и детьми, а еще можно есть человечину... А еще...

А Россия, проснувшись, только пялится на это непотребство и бормочет: «Ну, ребята, вы даете! Так нельзя» – «Дура! – кричат бесноватые подвижники прогресса. – Как была валенком, так и осталась! Отстала от жизни! Теперь так принято на Западе!» – «Вот и катитесь на свой Запад! – в сердцах отвечает Россия. – Охальники!»

К счастью, отставание в соревновании за Кубок Прогресса будет для России фатальным. Не догнать. К адской пропасти Запад прибежит первым. Ахнет, попятится, но будет уже поздно. Инерция велика. Психов слишком много. А может... все, однако, может быть.

Похоже, России предстоит последний выход на сцену перед тем, как Господь скажет: «Занавес!» Мы распахнем двери и скажем: «Придите к нам, все обремененные и угнетенные безумием своих властей. Утешьтесь! Ибо в России жить по совести легко, а служить Богу радостно!» Это и будет наше главное предназначение. Последний глоток свежего воздуха. Последняя улыбка мироздания. Пока остаток спасается.

Ведь именно в этом, как я писал когда-то в своих статьях

в советском прошлом, и заключается наша правда:)))

—

* Признан в РФ иноагентом.